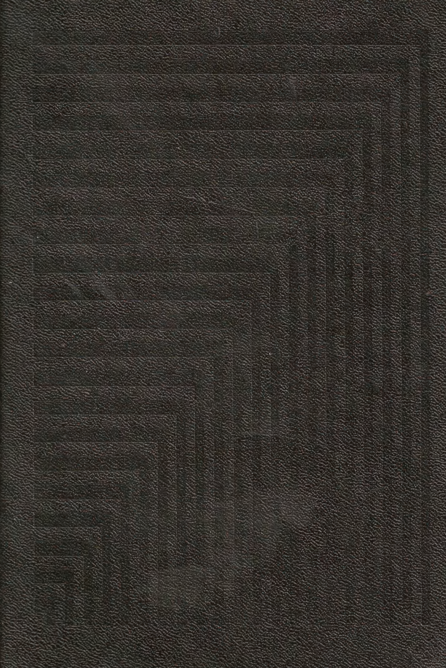
ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

БРАТЬЯ ЕРШОВЫ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

1*

Р 2
К 75

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

К $\frac{70302\text{-}046}{028(01)\text{-}74}$ Подп. изд.

Братья Ершовы

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

На пороге они обнялись.

— Здравствуй, мой милый! Здравствуй, голубчик! — Хозяин был взволнован, густой, рыкающий бас ему изменил. — Входи, входи, не бойся, — радостно говорил он, подталкивая гостя в спину. — Да не смутит тебя эта безумная роскошь!..

Переступив порог гость осмотрелся. В довольно большой комнате, кроме двери, через которую он вошел, были четыре стены, два окна, потолок и пол, очень чистый, еще не утративший строительной новизны. Ни стола, ни стульев, ни вообще какой-либо мебели не было. Только под одним из окон плашмя лежал распухший старый чемодан, накрытый четырьмя снежной свежести носовыми платками. На чемодане, окружая бутылку с водкой и два стаканчика из дешевого ярко-розового стекла, расположились коробки со шпротами и бычками, полуметровое полено колбасы, каравай хлеба, четверть головки голландского сыра, крупные желтые луковицы, помидоры, огурцы. В углу комнаты, свернутый в тюк, ожидал ночи полосатый тощий волосяной матрац; на нем, сложенное в несколько раз, лежало зеленое одеяло из верблюжьей шерсти. На стенах, оклеенных пестрыми обоями, кое-где были пришпилены булавками странички чистой тетрадочной бумаги.

— Прямо к столу, прямо к столу, дорогой Витенька! А то мой личный повар и так уже ворчит. Индейка,

говорит, перетомилась. И черепаховый суп перекипел. А знаешь, какие они капризные, эти черепаховые супы?

Присели на пол возле чемодана, один против другого: хозяин комнаты — старый драматический актер Александр Гуляев и гость — недавно отпраздновавший свое тридцативосьмилетие художник Виталий Козаков.

— Подымем прежде вот эти драгоценные венецианские кубки с бургундским, а потом уже и поговорим.

Хозяин наполнил стаканчики. Чокнулись, сказали: «За встречу», — выпили, поморщились, принялись закусывать. Отламывали хлеб, резали колбасу, поддевали бычков на вилки, говоря: «Как все-таки восхитительны эти дальневосточные сардины», или: «А печеный лангуст—изумительнейшая из закусок». С хрустом грызли огурцы, называя их то корнишонами, то какими-то андивами. Нюхали лук.

— Так-таки и не привел свою принцессу, — сказал Гуляев, вновь подымая стаканчик. — Упрямый. Прячешь.

— Я же вам объяснял, Александр Львович, что она во вторую смену работает, в вечернюю. Освободится только в одиннадцать.

— Вот и пришла бы после одиннадцати.

— Устает очень. Не сможет.

— Жаль, дружок, жаль. Что ж, давай за ее здоровье, за успехи, за трудовое процветание. Как зовут-то супругу?

— Искра.

— Да что ты? До чего же чудесно!

— Время было такое, двадцатые годы, Александр Львович...

— Не объясняй временем. Чудесное имя, и все тут! За Искру!..

Закусив сушеным снеточком, Гуляев сказал:

— Ты вот двадцатые годы вспомнил... В двадцатые годы мы с отцом твоим были молоды и могучи. Мы ощущали себя гигантами духа. Мы играли матросов и комиссаров, людей революции, ниспровергателей и созидателей. А сейчас, Витенька, я таких мозгляков играю, таких хлюпиков... тьфу! Приду вот сюда, в свой вертеп, среди ночи, еще морда в гриме, на матрац тот, в углу, лягу, и хоть вой, знаешь, или тявкай — что выйдет. Характер портится, нелюдимом становлюсь. Не повстречай тебя на улице, я и сегодня сидел бы тут бирюком. А узнал тебя сразу, верно ведь? А сколько лет прошло? Семнадцать? Или восемнадцать?.. Когда я на похороны твоего отца приезжал? Давай-ка помянем его. Редкостной души был

человечище. — Гуляев поднялся, пошел в тот угол, где лежал свернутый матрац, и из-за тюка извлек вторую бутылку. — «Энзе», — сказал он, выбивая пробку.

— Не много ли, — встревожился Козаков. — Или, во всяком случае, передышечку бы устроить?

— Передышечку — это можно. Давай переведем дух. Осмотрим тем временем мою коллекцию. Ну иди сюда, подымайся на ноги. Как по-твоему, это что такое? — Гуляев указал пальцем на один из чистых листов на стене.

— Это? — Козаков прищурился, отступил назад, шагнул в сторону, как делают посетители в картинной галерее, выбирая подходящую точку для обзора. — Это, конечно и несомненно, «Девятый вал». Копия.

— Ан нет! — воскликнул Гуляев. — У меня не пивная, не дом отдыха и не аэровокзал, чтобы валы эти держать и медведей на лесозаготовках. Ренуар, милый мой, Ренуар. Огюст Ренуар. В подлиннике. Всмотрись, какое лицо у красотки, глазищи какие, сколько скрыто в них... Боже, чего только в них нет! Специально для тебя раздобывал, памятуя, что ты, еще когда учился, имел влечение к импрессионистам, к французам. А сам я, Витенька, по простоте своей российской, Левитанами довольствуюсь, Куинджами, Коровиными. — Гуляев обводил рукой стены с бумажками. — Репина люблю, Сурикова. Видишь, какой я квасной. Выпьем-ка за них, — пора. Хотя — стоп!.. Твоего отца мы еще не помянули. За него давай. Эх, и человечище был!..

Когда выпили за покойного отца Козакова, Гуляев спросил:

— Неужели Москву свою покинул ты навеки? И что же ты приехал сюда искать? — Он сбросил на пол просторный пиджак, сидел в подтяжках, накрахмаленный воротник сорочки расстегнул; голубая «бабочка» в белых мелких горошинах съехала от этого набок; седые, редкие волосы растрепались; серые глаза в припухших веках щурились, но улыбки в них не было.

Козаков смотрел на него и с трудом узнавал человека, который почти ежедневно бывал у них в доме при жизни отца. Мальчишкой будущий художник ходил на спектакли, в которых участвовал этот артист. Завидовал ему, переживал за него. Тот всегда был при маузерах и лимонках, носил френчи, гимнастерки и кожаные куртки, сражался только в неравных боях, произносил корявые, но такие горячие речи, что не сиделось на стуле, подымало

тоже ринуться в бой, громить беляков, интервентов и агентов Антанты. «Дядя Шура» звал тогда юный Козаков Александра Гуляева. Был это молодой дядя Шура, веселый, энергичный; он знал сотни фокусов с платками, картами, спичками, монетами. Страшная сила — время. До чего же оно изменило дядю Шуру! Прежний дядя Шура водки не пил, в уныние не впадал, хлюпиков играть его в ту пору никто бы, конечно, заставить не смог.

Гуляев спрашивал о Москве — навеки ли покинул ее Виталий, а Виталий будто и не слышал вопроса: встреча с Гуляевым остро напомнила ему детство, юные годы...

В жизни своей он не так уж часто бывал с отцом и с матерью. Днем они дома, но зато он в школе, а возвратишься домой — уже им пора отправляться в театр. И все же он их любил, это были самые светлые, самые умные, самые красивые для него люди на земле. Мама погибла от взрыва примуса. Загорелось платье, ее всю обожгло, и она умерла после трех недель страшных мучений в больнице. Дядя Шура сразу же уехал из Москвы. Он оставил отцу письмо, в котором признавался в том, что десять лет любил только ее, Натану, Наталью Андреевну, что ни она, ни отец никогда бы о том не узнали, если бы не это несчастье, что теперь он уйдет от жизни, которая утратила для него всякую цену.

Отец сразу лишился двух лучших своих друзей. Он затосковал, запил и однажды зимой, уснув в сугробе, схватил такое жестокое воспаление легких, что вылечить его уже не смогли. Дядя Шура приехал на похороны откуда-то издалека, с берегов Волги. Тогда Козаков в последний раз видел старого друга отца. Было это за несколько лет до войны.

— Почему же навеки? — ответил наконец Козаков на вопрос Гуляева. — Поживу год... два. Понаблюдаю жизнь, накоплю впечатлений... Нет худа без добра. Поначалу, если уж откровенничать до конца, я был категорически против этой поездки. Бросить Москву, бросить квартиру, оставить все привычное, знакомых, друзей... И во имя чего? Во имя, видите ли, того, что твоей жене захотелось на производство, надоело сидеть в главке и контролировать работу других, понадобилось самой выплавлять чугун. Но я подумал: а надо ли доводить дело до рокового конфликта, ведь все равно через годик-другой она сама потянется к привычному московскому уюту?.. Ведь она же, что там ни говорите, женщина. Разве я не прав?

Гуляев встряхнул пустую бутылку.

— «Энзе» кончилось. А мы с тобой еще не все свершили в этом мире. — Он встал, и его слегка качнуло. — Ты знаешь такие стихи?

Все свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь.

Это о старом корсаре, умирающем в темнице. — Гуляев снова качнулся.

Козаков увидел, насколько успел опьянеть дядя Шура.

— Больше не надо, больше не могу, — заговорил он, чувствуя, что сам-то, пожалуй, еще пьяней.

— Надо, — ответил Гуляев упрямо. — Надо. — И вышел из комнаты.

Козаков подтащил к себе его пиджак, сброшенный на пол, прилег на него боком, закрыл глаза — и пол под ним пошел большими плавными кругами, меняя наклон то в одну, то в другую сторону. Ужасно, думал он, только три недели живут они с Искрой в этом городе, и он уже напился так, как случалось редко, очень редко за все шесть лет их совместной жизни. Как доберется он до дому, как придет к Искре, что ей скажет?

Возвратившийся Гуляев застал Козакова спящим на полу, на его, Гуляевском, пиджаке.

— Вот видишь! — Гуляев пытался его разбудить, в руках он держал новую бутылку. — Добрые люди не дадут погибнуть. За стеной у меня знаешь кто живет? Начальство твоей жены. Обер с доменных печей. Тоже вроде меня — бобыль. Жену во время войны потерял. Ну, давай теперь за тебя выпьем.

Козаков не ответил.

Погасив свет в комнате, Гуляев подошел к раскрытому окну, смотрел вдаль, крепко держась руками за подоконник. Завод и море сливались за окном воедино. Дымное, неспокойное, вспыхивающее пламя доменных печей постепенно переходило вдали в лунную широкую дорогу, рассекшую надвое тихое ночное море. По лунной дороге шел пароход. Он был похож на фонарик. Между ним и заводом плыли темные тени рыбачьих парусных баркасов.

Гуляев вернулся к чемодану, взял в левую руку стаканчик, в правую бутылку. Луна освещала лицо спавшего Козакова. Черты этого лица были до тоски в сердце зна-

комы. Наполнил стаканчик и, обращаясь к кому-то, кого видел только он один, стал читать стихи:

Немало они болтали,
Немало вздора плели,
Но главной моей печали
Тебе открыть не могли.
По косточкам разбирая,
Меня называли злым.
Жалели тебя, вздыхая,—
И ты поверила им.

— Да, вот так... — Он осушил стаканчик. — Главной моей печали... тебе открыть не могли.

У входных дверей в передней послышался звонок. Гуляев включил свет, взглянул на часы: половина третьего. Кто может так поздно? Сосед дома, спит. Водкой ссужала соседова тетка, симпатичная старушенция, всегда готовая всем, что только в ее силах, услужить ближнему. Кто же еще?

Когда звонок повторился, Гуляев пошел отворить.

2

Чугун, рокоча и хлюпая, тек по желобам, тяжелыми жаркими струями падал в ковши чугуновозов. Дым и пламень клубились над желобами; взлетая сквозь неплотную кровлю литейного двора, они вставали заревом в черном августовском небе.

Смена Искры Козаковой подходила к концу. Через несколько минут закончится выпуск чугуна, горновые вновь заделают чугунную летку, приступят к очистке и набойке желобов углеродистой массой. Но этими работами руководить будет уже другой мастер, он уже ходит вон там, вокруг печи, осматривает фурмы. Искра сдаст ему смену, пойдет под душ, смоет с себя доменную копоть, и можно отправляться домой.

Никогда в жизни она еще не уставала так, как устает все эти три недели работы на заводе, возле доменной печи, но и никогда не чувствовала себя такой счастливой. Здесь она поняла, что шесть лет после окончания института были прожиты ею очень и очень плохо. Если не совсем прошли они зря, то и без особой пользы. Она вышла замуж ровно через месяц после того, как получила диплом горного инженера, и спустя несколько дней после приезда в Кузнецк. Странное дело, многие подруги ее стара-

лись после института пристроиться непременно в Москве или на крайний случай поблизости от Москвы — даже и не москвички, даже и те, которые в институт приехали из далеких краев. Одни из них раздобывали справки о несуществующих болезнях, другие бегали по влиятельным знакомым, и знакомые устраивали молодых металлургов в московские канцелярии, третьи поспешно выходили замуж, почти за кого попало, лишь бы поскорее оказаться за спиной мужа.

Искра с охотой отправилась в Кузнецк. Приехала, устроилась. Но...

Этим «но» оказался художник Козаков.

Художник Козаков ухаживал за ней около года — со времени последней производственной практики в Магнитогорске. Он приезжал туда на завод, писал большую картину в мартеновском цехе. Встретились они в заводской столовой, за одним столиком, представились друг другу; услышав имя Искра, Козаков выразил восхищение. «Это поразительно: Искра! — восклицал он то и дело. — Ну кто мог так здорово придумать?»

Знакомство продолжалось и в Москве. Чуть было не порушилось оно с отъездом Искры в Кузнецк. Козаков уговаривал, умолял ее остаться. Она зажимала уши ладонями. «Поедем со мной», — отвечала упрямо — и все-таки уехала. Ее поставили на подготовку шихты в мартеновском цехе; работа оказалась неинтересной, нудной, однообразной. Подруг еще не было, знакомых тоже не успела завести. Все горести и трудности самостоятельного вхождения в жизнь переживала в одиночку, тосковала, плакала по ночам в общежитии.

И в это время вновь появился художник Козаков. Он приехал за Искрой, он не представлял свою дальнейшую жизнь без нее. Он не мог без нее работать. И вот увез. Женился на ней и увез. Сотни хотели остаться в Москве — и не все смогли это сделать. Искра рвалась из Москвы — и не смогла вырваться.

Любила ли Искра Виталия Козакова? Да, любила. Иначе бы она, конечно, не вышла за него. Он был умный и красивый. Правда, это еще далеко не все для любви. Он был талантлив. Это тоже еще не все. Главное — с ним было хорошо. Что это такое «хорошо», трудно объяснить. Ну, хорошо и хорошо. Легко. Никаких ссор, никаких сцен, драм и надрывов. Даже вот после шести лет работы в главке, после шести лет аккуратного «хождения в долж-

ность», когда началось сокращение штатов и когда Искра вдруг объявила, что она хочет на завод, что она непременно уедет на завод, пусть если он, Виталий, и не согласится, — даже и на этот раз с его стороны, к величайшему ее удивлению, особых возражений не последовало. Поуговаривал с неделю довольно спокойно, а потом сказал, что он тоже поедет, что неизвестно, как ей, но ему-то такая поездка будет, безусловно, на пользу. «Истинному художнику что необходимо? — рассуждал он. — Холст, кисти и краски. Остальное все в нем самом. Некоторые думают о нас так: привыкли к многокомнатным квартирам, к мебели павловских и николаевских времен, к большим гонорарам, к автомобилям и дачам, мозги у нас закостенели. Чушь ведь, чушь! Вот будем с тобой жить где-нибудь на чердаке, а писать я стану настоящие, значительные вещи». В самом деле, работает Виталий сейчас здорово. Написал два прекрасных портрета: горнового в час выпуска чугуна, лицо такое — все в отсветах, в сполохах, сильное лицо, сразу видно — хозяин жизни, и рыбака в минуту отдыха, возле корзин с рыбой. И не на чердаке они живут вовсе, завод дал им хорошую комнату; обещают в дальнейшем даже целую квартиру. А сама она, Искра? О ней и говорить не приходится. Разве та, московская, учрежденческая жизнь, с каждодневными бумагами, со стуком арифмометров, с беготней из комнаты в комнату, выстоит против здешней? Ведь вот распорядишься, загрузят в домну руду, кокс, известняк, установишь режим плавки, пройдет несколько часов — и он уже рокочет и плещется в желобах, чугун. Он сделан твоими руками, ты сделала его вместе с ними, с этими людьми, которые стоят сейчас в жару возле желобов и тоже следят за тяжелым бегом выплавленного металла. Хорошее это чувство — чувство родства, товарищества с ними.

Искра сдала смену, умылась, переоделась, вышла на асфальтовую дорожку, которая от доменного цеха вела к главной заводской дороге. С моря ей в спину, из темноты, дул теплый и влажный летний ветер, подгоняя и торопя домой. Возле проходной ее окликнули:

— Искра Васильевна!

Всмотрелась, узнала и расстроилась. Снова после вечерней смены дожидался тут Дмитрий Ершов, старший оператор блюминга, брат доменного обер-мастера Платона Тимофеевича Ершова, начальника Искры. Он уже два раза провожал ее до дому, шел возле нее молча, только

время от времени спрашивая: «Вы на меня сердитесь?» Она отвечала, что нет, не сердится, но и никакой нужды в его сопровождениях не видит, напрасно он себя беспокоит. Он говорил, что вовсе себя и не беспокоит, а что у него тоже окончилась смена и им все равно по дороге. Во всяком случае, до Пароходной улицы, где живет она, до ее дома.

— Ну зачем, товарищ Ершов?.. — с трудом скрывая досаду, сказала Искра, когда он подошел.

— Что зачем, Искра Васильевна? Что провожаю-то? А чтобы чего не случилось. Город у нас такой. Разные народы его населяют. Не одни передовики да рационализаторы. И вообще.

— Вот, видимо, главная причина в этом «вообще», — сказала Искра, — потому что никакие «народы» меня пока что не беспокоили. Тем более сяду вот в автобус...

— Не надо в автобус, пешком лучше. Надышались газу в цехе. Легким отдых-то нужен, верно же?

Очень хотелось сесть в автобус, но вспомнила, что Виталий ушел навестить какого-то дядю Шуру, старого актера, дружившего в молодости с покойным отцом Виталия, согласилась пройтись пешком.

На этот раз Дмитрий Ершов не молчал.

— Вы в судьбу верите? — спросил он.

— В судьбу? Как-то не размышляла над такой проблемой.

— Зря.

— А почему вас интересует — верю я в эту судьбу или не верю?

— Потом скажу. Не сейчас. Сегодня у вас не то настроение. Сегодня я про другое полюбопытствую: надолго к нам приехали? На время или насовсем?

— Вы задаете вопросы, на которые трудно ответить. Ну как я вам могу сказать: насовсем? Бежать не собираюсь, но вдруг какие-нибудь обстоятельства...

— Понятно, — перебил он. — Только нам, трудовой кобылке, определено навечно прирастать к месту. Интеллигенция может свободно перемещаться. Ей везде готов и стол и дом.

— По-вашему, она, эта интеллигенция, что-то вроде попрыгуньи-стрекозы?

— Есть такое в ней, есть. — Он остановился, закурил на ветру, пряча в ладонях спичку. — Немцам служили из вашего брата.

— Из вашего тоже такие были, — резко ответила Искра. — Были такие братья, нечего говорить.

— Что? — Дмитрий остановился. — Какие братья? О ком вы?

— О тех же, о ком и вы, — кто немцам служил. Из разных они были, товарищ Ершов. Тут категорией труда не отделить одного от другого. И вообще я не понимаю, взялись меня провожать, а изо всех сил прорабатываете интеллигенцию, к которой я принадлежу. Не очень-то это дружелюбно.

— Не понимаете, значит? Что ж, не понимайте. Время придет, все поймете. А пока до свиданья, вот ваш дом. Спокойной ночи.

Искра стояла у крыльца, слушала, как стучали его сапоги по булыжникам, отчетливо, твердо, уверенно. Из темноты он крикнул, как будто бы знал, что она смотрит ему вслед:

— А насчет судьбы-то... Есть судьба! От нее не уйдешь.

Поднявшись на второй этаж своего дома, Искра нашла под дверью ключ, отворила дверь, зажгла свет. Привычно смотрели со стен комнаты горновой-доменщик и отдыхающий рыбак, плескалось на холстах море, весело зеленели овощами колхозные ряды шумного городского базара, шли рабочие к проходным в косых и дымных лучах утреннего солнца. Пахло красками. В углах громоздились подрамники, листы картона, какие-то странные, совершенно излишние в обычной городской жизни предметы: два рыбацких весла разной длины, колесо от телеги, старая керосиновая лампа-«молния», железный рыцарский шлем, ботфорты со шпорами... Все это называлось у Виталия «натурой» и не выглядело таким мертвым, когда Виталий был дома. Сейчас Виталия не было, комната казалась нежилой, холодной, неуютной. Будильник показывал первый час. Идти на кухню, к газовой плите, не хотелось. Из тумбочки, заменявшей им с Виталием буфет, Искра достала сыр, колбасу, хлеб, принялась есть, запивая водой из графина. Так бывало в студенческие времена, в ту пору, когда она готовилась стать металлургом. Из всех девушек ее курса только трое, в том числе и она, стали в конце концов металлургами. Остальные — кто где, большинство — домохозяйки, пекутся о домашнем уюте. Искре вспомнилась московская квартира Виталия; в ней они прожили шесть лет; подумала она о том, что уже неделю нет писем от ма-

тери, которая, специально для этого приехав в Москву, осталась там с маленькой Люськой до того времени, когда Искра устроится на заводе как следует и возьмет дочку к себе.

А будильник все стучал и стучал, и стрелки приближались уже к двум... Здесь, в чужом городе, Виталий еще ни разу не оставлял ее так надолго одну. И как можно сидеть бесконечно с человеком, который более чем на двадцать лет старше тебя, у которого, наверно, совсем другие интересы? О чем они там говорят?

Хотелось поскорее лечь в постель и уснуть — Искра очень устала. Но она не привыкла засыпать, не дождавшись Виталия. Она посидела несколько минут за столом, поддерживая руками клонившуюся голову. Не выдержала, вместо жакета, в котором пришла с завода, накинула пальтишко, спустилась на улицу. Ноги пошли сами по тому адресу, который минувшим днем назвал ей Виталий. Искра нашла дом, где жил Гуляев. Во всех окнах было темно. Это тревожило. Поднялась по лестнице и позвонила.

— Это вы? — воскликнул Гуляев, отворив дверь. — Я вас никогда не видал, я не видал даже ваших портретов, но представлял вас именно такой.

От этого очень немолодого человека пахло водкой. Искре стало горько: так вот он каков, старый друг семьи Козаковых!

— Где Виталий? — спросила она сухо.

— Пардон, — ответил Гуляев смущенно. — Мы немножко не рассчитали с вашим супругом. Заходите, заходите. Вот он, бедняга, на полу.

— Витенька, милый! — Искра опустилась рядом с Виталием. — Что же это такое? Ну проснись, проснись, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Пойдем домой.

Она приподымала его голову, голова падала как мертвая, мертвыми были и руки, о жизни свидетельствовал только торопливый, неровный пульс, ловимый дрожащими пальцами Искры.

— Он может умереть. У него плохое сердце, — сказала она со слезами на глазах. — Что же вы наделали, как вам не стыдно!

— Немало они болтали...
И ты поверила им,—

продекламировал Гуляев. Потом он сказал:

— А если и у меня плохое сердце, если и я умру, кто и кому тогда скажет: что ж вы наделали, как вам не стыдно?

Искра не слушала его. Она все еще старалась привести в чувство своего Виталия.

— Ничего не выйдет, — сказал Гуляев. — До утра он будет не с нами, а где-то там, в иных мирах. Потом день, а то и два у него будет ужасно болеть голова. Вся беда в том... Да это не только его, а наша общая беда: пить умеем, пьем хорошо, — закусывать не научились. Вы замечали, наверно, на любых вечеринках, при любых застольях, что́ остается на столах? Пустые бутылки и полные тарелки.

— Да перестаньте же вы, честное слово! — не выдержала Искра. — Какой жестокий человек!

— Я не жесток, я объективен. Я не меньше, чем вы, желаю счастья этому человеку, который лежит у ваших склоненных колен. Мне он, может быть, дороже, чем вам. Он единственное, что связывает меня с прошлым. Я знал его отца, мы были друзьями, большими друзьями. Я знал его мать...

Гуляев, беспокойно шагавший по комнате, остановился и прикрыл на мгновение глаза ладонью. Затем он развернул матрац в углу, лег на него и притих.

— Какой ужас! — сказала Искра вполголоса.

Если бы не эта чужая пустая комната, если бы не этот старый человек в подтяжках и мятых брюках, но с какой-то легкомысленной пестрой «бабочкой» вместо галстука, она бы, наверно, заплакала, омывая слезами лицо своего глупого, несчастного Витьки. Но тут плакать было невозможно. И сделать ничего было нельзя. Ужасно, но человек этот прав: Виталия до утра не подымешь, и, что еще ужасней, утром его будет жестоко тошнить, голова у него будет раскалываться. За шесть лет так случалось несколько раз. Но то было дома, дома, а не черт знает где, не в чужом месте. И не так — ни с того ни с сего, а или в Новый год, или в ее, Искрин, день рождения.

Искра подобрала зеленое одеяло, откинутое Гуляевым, расстелила на полу, погасила свет и легла рядом с Виталием, держа его руку в своей и все время слушая пальцами пульс. Не спалось. Она подумала о человеке, тяжело дышавшем в углу на матраце. Ведь он и в этом прав — закусывать мужчины не умеют. Бывает, стараешься-стараешься перед гостями, что-то печешь, выдумываешь, а все

и останется, только водку выпьют. И Витька ничего не ест за столом. И тут, наверно, ничего в рот не взял. Интересно, что же у них было?

Домашний ужин всухомятку ей впрок не пошел. Искра очень хотела есть. Она встала, зажгла свет, осмотрела то, что было на чемодане, взяла вилку, подумав: «Наверно, это Витина», и принялась за шпроты.

Бежали слезы по щекам, под носом и на губах было мокро. Искра часто и тяжело вздыхала, но это не мешало ей поглощать оставшееся от недавнего пиршества.

3

Крикнув на прощание инженеру Козаковой что-то о судьбе, Дмитрий Ершов долго шагал через город на Овражную улицу, к мазанке, которую строили еще его покойные родители, лет тридцать назад переехав в эти места из-под Юзовки. Мазанка стояла на окраинной дальней улочке, по уклону сползавшей в размытую дождями балку. Многие на этой улочке были тоже из Донбасса, потому вокруг каждого домика тут теснились вишневые садочки.

Добираться до дому в слабом свете редких уличных фонарей было нелегко: недавние дожди напитали глинистую землю влагой, ноги скользили, к подошвам и каблукам липли тяжелые комья, и нес ты на ногах не ботинки, а пудовые гири. В этот раз, правда, немножко помогала луна — освещала дорогу с разъезженными, полными воды колеями. Было тут не как в городе, а как в плохой деревне. Горсовет этой окраиной не очень-то занимался, город строился в другом направлении, вдоль моря, в сторону от заводов, уходя подальше от дыма и гари доменных и мартеновских печей.

Братья и сестры Дмитрия покинули отчую мазанку — кто давным-давно, кто совсем недавно. Наистарейший брат, Платон, обер-мастер доменного цеха, тот переехал в заводской дом всего полгода назад. Жили теперь в мазанке вдвоем: он, Дмитрий, да Андрей, племяш, сын погибшего на войне Игната. Андрей окончил вечерний техникум при заводе и работал мастером участка в доменном цехе. Парень взрослый, вот-вот женится, тоже уйдет, и жить тогда в старой хате Дмитрию вовсе одному.

Дмитрий дошел до калитки, взялся за холодную и влажную от вечерней росы скобу.

— Дима, — услышал он под тополями знакомый негромкий голос. С лавочки, устроенной возле калитки, поднялась женщина. — Совсем озябла.

— А что в дом не шла?

— А чего там одной сидеть? Одной страшно. Мыши скребутся.

— Ну пойдем, ужинать будем. — Дмитрий обнял озябшую женщину за талию, подтолкнул к калитке.

Засветив электричество в горнице, он скинул куртку, стянул через голову тугой черный свитер; за перегородкой без дверных створок, там, где когда-то была кухня и хозяйничала мать, принялся умываться под рукомойником.

Худенькая и по-цыгански смуглая женщина тоже сняла жакет, осталась в коротком легком платье. Туфли — они были в уличной грязи — женщина сбросила, ходила по горнице босая. Из плетеной сумки, которую принесла с собой, она извлекла свертки, в свертках была еда.

— Может, горячего чего сделать, Дим? — спросила она.

— А чего у нас есть-то?

— Яичницы, хочешь, нажарю! С колбасой, с помидорами.

— Давай жарь. Зажечь тебе керосинку?

— Зажги.

Они разговаривали, держась друг с другом, как муж и жена, которые уже много прожили вместе. Но они не были мужем и женой. Он звал ее Лелей, лет ей было почти столько же, сколько ему, разве двумя-тремя годами меньше. За двенадцать километров, из поселка Рыбацкого, она приходила к нему каждую субботу и в воскресенье вечером уходила. Обязанностей здесь у нее было множество в эти ее свободные часы: она прибиралась в доме, мыла полы, стирала Дмитриеву одежду; даже огород развела на участке, зелень всякую выращивала.

Встретились они спустя два года по окончании войны. Дмитрий возвращался из Германии после демобилизации; она тоже возвращалась из Германии; правда, не прямо из Германии: где-то в Белоруссии пожила, поскиталась по чужим местам. В вагоне держалась особняком, все дни, отворотясь от людей, смотрела в окно. Дмитрий понял почему: лицо у нее было изуродовано, в рубцах, в ожогах. Усмехнулся, подумал: «Вот мне и пара», — подсел к ней. «В плену была, что ли?» — спросил, рассматривая ее изношенные, с чужого плеча, одежды. «В пле-

ну», — ответила она. «Откуда родом-то?» Назвала его родной город. Обрадовался, стал расспрашивать о знакомых.

Денег у нее не было, все заботы о попутчице принял на себя. Уж очень была она слабая, чтобы не привлечь к себе внимание его сильной натуры. Ехала неизвестно куда, потому что, как объяснила Дмитрию, из родных у нее никого не осталось, все погибли от немца. Привел сюда, в этот домик. Пожила несколько недель, все лежала на траве в саду, смотрела в небо, думала о чем-то. Потом сказала, что пора ей начинать работать. Дмитрий хотел устроить на завод — отказалась: нет, нет, в городе не останется. Ушла в рыболовецкую артель, сети чинить, да вот и чинит их по сей день. И живет там где-то, в общежитии. Сначала жалость у него к ней была, потом дружба появилась, как к сестре: никаких иных чувств долгое время не было, наверно, и не смогла бы их пробудить в ту пору Леля ни в ком — уж очень не привлекала она к себе своим видом: на лбу, на подбородке шрамы, глаз один чужой, из стекла сделали в Минске, и не очень хорошо сделали, ее собственный — темный, почти черный, а чужой получился светлее, карий с желтинкой.

Но время шло, то ли ветер морской как-то загладил рубцы, то ли Дмитрий к ним пригляделся и наконец увидел статную Лелину фигуру, почувствовал ее добрую, отзывчивую душу. Словом, обнял однажды, ощутил ее тепло, и с тех пор пошли иные отношения. Привык к ним Дмитрий. Не приди она в субботу, затосковал бы, пожалуй, искать бы отправился.

А что она чувствовала к нему? Не уточняли. О чувствах не говорили никогда, жили как жилось. Он ей про свои заводские дела рассказывал, она ему про свои рыбацкие. Уклонялась Леля только от разговоров о прошлом. Не могла о нем вспоминать — сразу начинала плакать. Дмитрий и не настаивал на таких вопросах. Леший с ним, с прошлым этим. «Почему ты не женишься?» — спросила его Леля несколько лет назад. «На ком?» — хмуро поинтересовался Дмитрий. «Девушек разве мало? Молодых женщин, красивых, хороших?» — сказала она. Себя Леля в невесты ему не предлагала. «Хороших, красивых... — повторил Дмитрий. — А куда же я тебя дену?» Она взглянула на него с радостным изумлением, подошла, прижалась и долго-долго не выпускала из молчаливых объятий...

Яичница была готова, Леля позвала к столу. На столе Дмитрий увидел и бутылку водки.

— Зачем? — сказал он недовольно. — Что я — пьяница, что ли?

— Разве только пьяницы пьют, Димочка? Бывает, на радостях выпивают, с горя, от усталости, праздник какой-нибудь празднуют... Мало ли!

— А какое у нас с тобой горе? Радости тоже вроде бы не через край. Так что праздновать, Лелечка, нечего. Сама знаешь, не люблю я это дело. — Он отодвинул бутылку в сторону, принялся за яичницу.

— А я все-таки выпью рюмочку, — сказала она. — У меня сегодня день рождения.

Впервые так случилось, что она сказала о своем дне рождения. А он о таком никогда не спрашивал. Это относилось к прошлому. Прошлого же молчаливо уговорились не касаться.

— Ну вот, сказала бы сразу! — почему-то обрадовался ее словам Дмитрий. — Поздравляю, Ольга Сергеевна, желаю тебе всего, чего ты только хочешь. — Он налил себе и ей в тонкие маленькие рюмочки, оставшиеся в доме от минувших времен. Чокнулись и выпили.

— Хочешь, я спою что-нибудь? — спросила Леля.

Она сходила в боковушку, которую занимал Андрей, взяла там гитару, подтянула, подладила струны и одну за другой стала петь уже знакомые ему песенки про любовь. Может быть, и не очень хорошо она пела, но Дмитрию казалось, что хорошо; ему нравилось, он сидел за столом, подперев рукой голову, и внимательно слушал.

Его словно кольнули, когда Леля запела иную, совсем иную песню, не такую, как те. Он очень любил эту песню. Песня его волновала, и так волновала, что, слушая ее, он испытывал желание встать и пойти куда-нибудь в ночь, навстречу ветру и неизвестности, — пусть ветер охлаждает грудь, а неизвестность несет успокоение, заслоняя собой пережитое.

Враги сожгли родную хату, —

пела Леля, —

Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Дмитрий встал, подошел к окну, смотрел в темноту.

...Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить — за упокой.

Леля видела напряженную спину Дмитрия. Может быть, уже и не надо было петь, может быть, перестать бы следовало. Но она не могла прервать песню. Она тоже видела перед собой такое, чего никто другой увидеть бы не смог.

В тот именно час, когда инженер Козакова среди ночи закусывала в чужой комнате шпротами и утирала чужими белыми платками мокрые от слез губы, в старой мазанке на Овражной легли спать. Лежа в постели, в потемках, под стук ходиков, Дмитрий рассказывал Леле о том, что произошло за неделю на заводе, в его цехе, на блюминге. Он рассказывал, как предложил увеличить вес слитков, которые идут на блюминг из мартеновского цеха.

— Ничего другого, чтобы повысить производительность стана, и не придумаешь. Все остальное из этой техники, пожалуй, уже и взято. Я не фокусник.

Леля тихо рассмеялась.

— Чего тут смешного? — спросил Дмитрий недовольно.

— Ты вот говоришь, а мне вспомнилась статья в газете, читала не так давно. Там критикуется одна книга. Критик высмеивает писателя за то, что в книге описано, как муж с женой лежат в постели и разговаривают про заводские дела — про болты, про гайки... Разве, мол, об этом говорят люди в постели! Вот мне и смешно стало: ведь мы-то с тобой тоже...

Леля умолкла. Долго молчал и Дмитрий.

— Слушай, — сказал он. — А ведь неправильно тот тип смеется над писателем. Конечно, может, писатель про это дело плохо написал. Но оно из жизни. Я тебе про стан, про слитки, про все такое говорю почему даже, вот видишь, в постели? Ну почему? А потому, что это главное мое дело в жизни. Он-то, наверно, тоже рассуждает в постели с женой о том, какую ловкую статейку написал и сколько за нее получит. Чем же его статейка лучше тех болтов или моих слитков? Эх, эх, есть еще такие, мы вкалываем, а они только все осмеивают и тем корм себе добывают! Интеллигенция...

— Ты зря это так, Дима, обидно говоришь: интеллигенция. Если хочешь знать, ты ведь тоже интеллигенция.

— Ну и занесло же тебя!

— Никуда меня не занесло. Что ты только семь классов окончил, ничего еще не доказывает. А сколько раз ты всякие курсы повышения квалификации проходил! А

сколько книг перечитал, лекций переслушал! Ты вот так считаешь: ты рабочий, и все тут. А какой рабочий? Вдумайся. На такой машине работать, которая сама чуть не целый завод, это же инженерская работа, Дима. Ты, наверно, другое хочешь сказать, когда говоришь вот так, сквозь зубы: интеллигенция. Ты хочешь сказать не о тех образованных, ученых людях, от которых вся наука идет, техника, открытия законов всяких. Ты, конечно, говоришь о бесполезных людях, которые учились, учились, а доучились только до того, чтобы критиковать других, на все кривить губы, на все фыркать, а самим-то ничего не уметь.

— Верно говоришь, — сказал Дмитрий. — Как-то, знаешь, очень понятно. Ты умная. Зря пропадаешь в своем Рыбацком. Тебе бы учиться еще. Сюда бы переехала, а? В город. Неужто так веки вечные сети штопать будешь?

— А там хорошо, на море, никто тебя за душу не тянет.

— А здесь кто тянет?

— Не будем, Дима, не надо, не хочу об этом.

Она замолчала. Он обнял ее, притянул к себе, и вдруг перед ним, невесть зачем и почему, из мрака, в котором возились мыши, возникла инженер Козакова, товарищ Козакова, Искра Васильевна. Искра! Хотелось смеяться над этим именем: не имя вовсе, а на манер собачьей клички. Но смеха не было. Стала тревожить мысль: почему он о ней думает, с чего? Провожать вот взялся, стыдно даже как-то. И что особенного в этой товарищ Козаковой? Росту — метра полтора, глаза — черненькие, сердитенькие, вместе с курносым носом — это вроде как обезьянки портрет. А вот судит обо всем женщина так, будто она и есть английская королева. С какой стати он ей про судьбу что-то такое сказал? Если для того, чтобы задумалась, что есть силы и посильнее ее, так можно было и поумнее что-нибудь сказать.

Дмитрий вспомнил свою первую встречу с Искрой. Дней десять назад зашел он на третью домну, к брату Платону. Выпускали чугун. Остановился посмотреть возле чугунной летки. С ребячьих лет любил это зрелище рождения металла. Загляделся. «Товарищ! — услышал голос. — Здесь посторонним нельзя». Взглянул: вот эта обезьянка в комбинезоне с пряжечками; сама такая полненькая, а в талии оса осой. «А кто из нас тут посторон-

ний?» — ответил не чересчур вежливо. «Думаю, что вы, товарищ. Прошу вас уйти. Здесь не место для прогулок». Хотел ответить ей, что получше ее знает, какое тут место и для чего, но удержался, отошел в сторону, долго разглядывал это удивительное существо, каких в доменном цехе еще не видывали. Существо распоряжалось работами возле печи, произносило такие же слова, какие произносил Платон обер-мастер, отдавало такие же распоряжения. Он спросил потом у Платона: «Практикантка?» «Мастер», — ответил Платон так просто, будто ничего необычного в этом и не видел.

Еще раз сходил Дмитрий посмотреть на «существо». А на днях взял вот да и подошел к ней у проходной после смены, представился. Поговорили. Она, правда, не очень была любезна, так и намекала в каждом слове — чего, мол, пристал, шагал бы своей дорогой. И все-таки снова и снова поджидал у заводских ворот. Его раздражала ее независимость, возмущало, что она не признает себя слабее его, держится с ним даже не то чтобы как равная, а, пожалуй, даже и над ним себя подымает.

— Ну что же ты молчишь, Лелька! — сказал он грубо. — Говори что-нибудь.

Вместо слов Леля прижалась губами к его губам...

Под утро он проснулся от скрипа дверей. Возвратился Андрюшка и шарил в потемках на столе: проголодался, должно быть.

Встал, вышел к нему, зажег свет.

— Ты где шляешься?

— Там, — ответил племянник неопределенно.

— Там!.. — передразнил Дмитрий. — А мы за тебя алименты потом плати?

Андрей пожал плечами.

— Дальше алиментов у моих родственников фантазии не хватает. Дядя Яша тоже об этом предмете высказывался. — Он стал доедать, что осталось на столе. Под кожей на его скулах перекатывались желваки, большие серые глаза смотрели прямо и бесстрашно, как дядины.

— Ну что у вас в цеху? Как новая инженерша, свирепствует? — спросил Дмитрий.

— Козакова? Мастер-то? А чего ей свирепствовать? Руда сейчас идет что надо. Кокс — тоже не жалуемся.

— Ну, в общем, соображает она или нет?

— А чего не соображать? Институт окончила. Диплом имеет.

Не таких ответов хотел Дмитрий — хотел пространных обстоятельных рассказов, и не про кокс, не про руду, а про то... Он даже сам не знал про что, но только бы не про руду и не про кокс.

— Иди ты к лешему! — сказал зло, сунул ноги в калоши у порога, накинул ватник на плечи и вышел в вишнях за домом.

Светало, в природе стояла тишина, с полей тянуло по второму разу скошенными травами, скрипел колодезный ворот у соседей, пел петух.

Сел на пень давно спиленной старой березы. Задумался.

4

Дочитав письмо, Платон Тимофеевич вложил его обратно в конверт, порассматривал штемпель с названием далекого селения, такого далекого, что почта оттуда шла без малого три недели, снял очки и от стола пересел к раскрытому окну.

За окном лежало расходившееся под утро серое море. Утренний ветер, пахнувший смолой и рыбой, порывисто гладил Платона Тимофеевича по остаткам седых волос; теплый, он не освежал, было муторно. Вчера малость гульнули по случаю субботы, опять не рассчитал Платон Тимофеевич, переложил лишнего. Задумано было хорошо: посидеть на огородах, картошечки испечь в костре, поговорить, — вышло все иначе.

Из кухни навстречу ветру с моря тянуло оладьями; там шипело и щелкало на сковородах. Платонова старенькая тетка, отцова сестра, Устиновна, хозяйничала спозаранку.

Она появилась на пороге комнаты в белом фартуке, с ножом в руках.

— Что пишет-то? — спросила, кивнув на письмо, оставленное посреди стола Платоном Тимофеевичем.

— Ну что что!.. — Платон Тимофеевич поморщился, потер лоб кулаком. — Домой просится. Примем или нет, спрашивает. Бесприютно, говорит, без родных-то.

— Примем или нет? — Устиновна, сама того не замечая, углом фартука протирала масленое лезвие ножа, пачкающее чистый фартук. — Видишь, как получается. Бесприютно... Что же отвечать будешь?

— Опять — что! Я ему не отец. Сам при голове. Как знает, так пускай и жительствует.

— Он не навязывается. Совета спрашивает: как лучше.

— «Как лучше, как лучше»! Завела граммофон! — Платон Тимофеевич встал со стула. — Неужто рассольцу у тебя не осталось в доме?

Он пошарил в шкафу — ни в графине, ни в бутылках ничего для поправки не было. Решил зайти к соседу, к артисту Гуляеву, месяца два назад въехавшему в долго пустовавшую третью комнату квартиры. Гуляев был сосед такой — дома его редко видели: все в театре, на концертах, на репетициях. Трудовой человек, ничего не скажешь. Но водочкой баловался, тоже против этого не соврешь.

На стук в дверь, к величайшему удивлению Платона Тимофеевича, ответил женский голос:

— Да!

Посреди комнаты Гуляева, для которой артист так еще и не собрался приобрести мебелишку, стояла с опухшими, невыспавшимися глазами инженер Козакова, новый мастер из цеха Платона Тимофеевича; у ног ее, среди раскиданных корочек от сыра и огуречных огрызков, лежал один мужчина, в углу — другой. Платон Тимофеевич кашлянул, забирая усы в горсть, хотел уйти.

— Обождите, товарищ Ершов! — позвала, замахав руками, инженер Козакова. — Не уходите. Просто не знаю, что и делать. Спит и спит, никак не проснется.

— Это кто же, извините? — деликатно поинтересовался обер-мастер.

— Муж, Платон Тимофеевич. Муж. Вот пришел сюда вчера и уйти не может. Как бы хотелось его поскорее домой!

— Поскорее не выйдет. Раз вовремя до дому не добрался, от осложнений никуда не денешься. Весь цикл придется пройти.

— Ну помогите, пожалуйста. Вы же знаете, что и как.

Платон Тимофеевич увидел на чемодане едва начатую бутылку, ту самую, должно быть, которую ссужала вчера Гуляеву мягкосердая Устиновна, приободрился.

— Попробуем, — сказал он.

Тем временем проснулся Гуляев. Вдвоем они взялись за Виталия, подняли его, увели к Платону Тимофеевичу, усадили за стол, заставили выпить стопку. Но, выпив, Виталий ринулся в ванную, заперся там и не отвечал на

менее получаса. Вышел бледный, шепнул ей в ухо: «Спаси, Искрынька. Умираю. Мне очень, очень плохо».

Самое обидное было в том, что и Платон Тимофеевич, и даже Гуляев относились к Виталию без всякого уважения.

— Орел! — усмехнулся Платон Тимофеевич, следя за тем, как Искра прикладывает холодное полотенце к сердцу поверженного на кушетку Виталия. — Прямо-таки орлище.

— Перестаньте! — Искра поднялась на ноги. — Как не стыдно смеяться! Ему плохо.

— Вы стыдите не нас, — спокойно и с достоинством сказал Платон Тимофеевич, — а своего супруга. Не мальчик. Сорок лет человеку. — Он подошел к телефонному аппарату, попросил соединить с городом, потому что это был аппарат заводского коммутатора, и вызвал такси.

Через двадцать минут инженер Козакова увезла своего мужа. Удалился и артист Гуляев. Платон Тимофеевич долго расхаживал по комнате. «Что-то больно много барышень мужского полу развелось», — бурчал себе в усы.

Он остановился возле этажерки с книгами, над которой на стене, в рамках и без рамок, тремя веерами и в два ряда под веерами размещались семейные фотографии. В группах и поодиночке были тут, как подсчитал кто-то в свое время на досуге, сорок три персоны, включая, само собой разумеется, и главу обширной семьи Ершовых, замученного гитлеровцами, и недолго прожившую после его гибели мать семейства, и умершую в первый военный год жену Платона Тимофеевича, Машу, Марию Федоровну, и убитого на войне одного из его братьев — Игната, и там же сложивших свои лобастые головы двоих племянников, и благополучно здравствующих зятьев, снох и свояченицс их чадами. Кого только не было тут среди этой ершовской породы! И доменщики, и сталевары, и партийные работники, и студенты, и артистки, и даже — вот он, кипучий деятель, вроде как Гуляев, тоже при «бабочке» вместо галстука — директор театра, брат Яков.

Один отсутствовал, сорок четвертый. Хотя касательство до этой выставки портретов он имел полное и мог бы в самом центре, налево или направо от начальника и начальницы рода, занимать должное место.

Платон Тимофеевич постоял перед этажеркой, пораздумывал и развел руками. Как лучше! А как оно лучше? Кто про то знает?

Устиновна, наведя порядок на кухне, возвратилась, выдвинула верхний ящик комода, принялась копаться в коробке из-под пастилы. Среди пожелтевших квитанций об уплате за квартиру и свет, меж таинственных рецептов, неведомо кому, когда, кем и от каких болезней прописанных, и старых рублей и трешниц, утративших силу в тысяча девятьсот сорок седьмом году, она отыскала фотографию молодого парня и поставила ее на комоде, прислонив к зеленой вазочке с пучком пестро, под фазаний хвост, выкрашенного ковыля.

Подойдя ближе, Платон Тимофеевич всмотрелся в портрет. Лобастый, как все Ершовы, глаза глубокие, темные, губы толстые, уши торчат в стороны. С другой породой не перепутаешь — что верно, то верно. А вот беды натворил, всю семью опозорил.

— Сколько лет-то ему будет? — не то спрашивая, не то раздумывая, прервала молчание Устиновна.

— Да под сорок будто бы. На войну комсомольцем уходил. Все-таки поискала бы ты в запасах рассольцу. Или к соседям идти из дому? — вдруг вскипел Платон Тимофеевич. — Горло дерет от сухости.

— К соседям тебе так и так идти. — Устиновна сделала строгое лицо. — Ни одного воскресенья не может по-человечески прожить. В каком часу домой притащился! За двенадцать уже шло. Этак ты на огороде был!

— На огороде, тетка, верное слово! Можешь контроль навести — все кусты подвязал. Помидоры-то...

— Кусты, кусты! А чего наговорил, как пришел? Филипповну обсмеял: не женщина, а грачиха жареная. И выдумать только такое! Клавдию Дмитриевну обидел. Уж так прохаживался, так прохаживался...

Платон Тимофеевич слушал повесив голову. Каждую субботу история: непременно перехватит; хотя зарок дает себе самый категорический — сто граммов, и точка; ну в крайности — сто пятьдесят. А вот перехватил — и пошла-поехала. Как на грех, еще эти соседки да кумушки подвернутся.

— А ребята где? — спросил.

— У людей-то добрых день когда начался! Не все же с дурными головами до полудня маются.

Платон Тимофеевич ругнулся, но не громко, чтобы глуховатая тетка не услышала. Ему и самому тошно оттого, что у него все не как у людей получается. Другой бы сейчас делом каким по дому занялся, на море пошел, а

он — нет, у него иная забота: по всем этим обиженным бабам ходить извиняться. Чертовы бабы куражиться начнут, губы пузырями вздуют, будто уж такие святенькие, будто так уж никаких слов этих сроду не слыхивали. Потом-то, ясно, снизойдут: ладно, мол, чего там, люди свои, понимаем — не со злобы, с кем не случается. А прежде помурыжат, покуражатся...

— Давай, тетка, пиджак...

Устиновна достала из гардероба черный выходной пиджак, развешанный на плечиках, смахнула с него невидимую пыль щеткой, сняла с плечиков, подала.

— Не залипай там... угощать-то когда будут.

— А с чего меня угощать?

— С того, что бабье сердце отходчивое. Это вы как возьметесь человека поедом есть, так до тех пор спокою вам нету, покудова всего не сгрызете. Что Степану-то ответишь?

— Степке-то? — Платон Тимофеевич всунул руки в рукава поданного Устиновной пиджака. — Вот ломаю голову, тетка. По-моему если, так пусть едет. Брат все-таки, а? Но ведь с чего же это я такое важное для семьи дело единолично решать буду? Решу, а еще вопрос, что братья скажут. У каждого свои соображения.

— Соберитесь, обдумайте. Кто вам не велит?

— Я и спрашиваю: где ребята? Надо бы Саньку на велосипеде отправить. Пусть к Дмитрию да к Якову слетает.

Из дому Платон Тимофеевич ушел ворча, чертыхаясь, держась за голову.

Устиновна взяла оставленное на столе письмо, медленно, с раздумьями прочла — один раз все целиком, подряд, во второй раз только те места, которые особо ее растревожили. Прослезилась. Передником, испятнанным маслом от ножа, утерла лицо. Подошла к окну, приставила ладони ко рту и в сторону моря, туда, где влево от завода, вдоль берега, — то ли на песке, то ли в пене прибоя, — мелькали коричневые фигурки, прокричала длинно и пронзительно:

— Са-анья-а! Бо-орья-а!

Она знала, что рано или поздно крик ее до ребят дойдет, где бы они ни были. Соседи ли, соседки, приятели или приятельницы, но непременно передадут им: бабка, мол, домой зовет.

Прибирая в комнате, подметая пол, старуха раздумывала. О письме, о Степане, написавшем письмо. Сама-то она не так уж его осуждала, этого Степана. Ей он все еще маленьким представлялся. А в семье братья толковали иначе. В семье, говорили они, в которой на сорок четыре человека — считая человеками и грудных, и тех, что в детских садиках, — было двадцать восемь орденов и около сотни медалей за отвагу и мужество в Отечественной войне, за доблестный труд в мирные годы, в этой потомственной рабочей семье, как через полгода по окончании войны стало известно, завелся трус и изменник. И был это он, Степка, Степан, предпоследний из братьев Ершовых. У кого только неприятностей всяких из-за него не происходило! Якова до того допрорабатывали, что еле-еле в театре усидел. «Товарищи дорогие! — доказывал он своему начальству. — Я-то ведь у продажного генерала Власова не служил. В меня три пули гитлеровские вбиты. Поймите вы наконец!» Не сразу, но поняли. Платона особо, правда, не тревожили. Была беседа в партийном комитете, как же, мол, так плохо брата воспитал. И только. Зато сам Платоша долго казнился. Уж кто-кто, а она-то, Устиновна, тетка его верная, знала, как не спал он ночами, как разговаривал сам с собой, как на людях показываться совестился. «Иди-ка сюда, старая, — позвал он ее однажды из кухни. — Вот как тут сообразить? — Перед ним на столе были разложены всяческие бумаги и бумажки, оставшиеся от Степана. — Вот грамоты похвальные, за четыре класса. Вот билет осоавиахимовский. Вот справки... Пионером был, комсомольцем... Ворошиловский стрелок... Рабочий парень... Откуда же подлость такая у него взялась? По какой причине в своих стрелять пошел?» «А может, и не стрелял он вовсе в своих, Платоша. Может, так, для виду, в войсках у них состоял. Чтобы жизнь себе спасти. Ведь хлопчик еще», — высказалась она. «Может, конечное дело, оно и так, — согласился Платон Тимофеевич. — А что, это уж дюже лучше, по-твоему? Отец-то наш, брат твой, не пошел спасаться этаким манером от смерти. Еще ладно, не дожил он до позорища — видеть родного сына в предателях».

С годами семейная боль поутихла, поостыла, портрет Степана со стены сняли, в комод спрятали. Вспоминали о нем редко. Отбывал он наказание где-то очень далеко, за все время было оттуда два или три письма. Так, поклоны всякие да сообщения: жив, мол, здоров. Ни вопросов

ни о чем и ни о ком, ни о себе рассказов. И вот — на́ тебе! — домой просится. Еще два года назад отпустили его вчистую по амнистии, и уже два года не заключенный он, а вольный работник на какой-то судоремонтной базе.

Стукнула дверь в передней. Явился Санька, крепкий, широкоплечий младший сынок Платона Тимофеевича; исполнилось ему шестнадцать, заканчивал ремесленное.

— Звала, бабк? — спросил он, хватая с тарелки на буфете пригоревшую лепешку. — Вкусно до чего! Батьке вон какие печешь.

— Дурень ты, дурень, — не выдержала, засмеялась Устиновна. — Он меня за такие печенья матерком пускает, бормочет под нос: думает, не слышу. Вот что, хлопче, садись на свой самокат, отправляйся к дядьям к обоим. Скажи, отец совещание созывает. Вопрос сурьезный и безотлагательный. — Она подумала и решила: — Письмо вот это захвати, почитать дай. Сами разберутся, что к чему.

К тому времени, когда Платон Тимофеевич закончил покаянный обход обиженных женщин, Санька уже возвратился и привез ответ и от Дмитрия Тимофеевича и от Якова Тимофеевича.

— Сказали, после обеда непременно будут.

Явились братья не после обеда, а много позже, когда уже смеркалось и на морском берегу зажгли красные огоньки маяков. Яков первый, Дмитрий за ним. Он прежде проводил Лелю до парохода.

Уселись втроем вокруг стола, при распахнутых окнах. Устиновна, накрыв к чаю, отошла, прислонилась в дверях к косяку, руки спрятала на животе под фартуком.

Долго молчали, вертели в руках письмо Степана. Яков Тимофеевич отклеил марку с изображением какого-то бородатого ученого, опустил в карманчик пиджака: «Васька копит!» Шел этому брату сорок девятый год, начинал он, как и старший, Платон, трудовую жизнь на заводе в Юзовке, в мартеновском цехе, но получилось, что еще задолго до войны, еще в ту пору, когда только-только семья переехала в эти места, свернул он с семейной дороги металлурга. Началось с того, что играл в заводском духовом оркестре на трубе, дальше уже руководил этим оркестром, потом возглавил всю заводскую самодеятельность, стал директором клуба, Дома культуры, а после войны, возвратясь с фронта, вот и директором городского театра. Ничем Яков Тимофеевич не болел, ни на что не жаловался, по-

сил молодившие пиджаки спортивного покроя. У него росло брюшко, образовывался второй подбородок. По утрам он, в порядке борьбы с этими нежелательными явлениями, приседал разок-другой возле постели, потом смотрелся в зеркало, говорил: «Не помогает» — и шел завтракать.

Брат Дмитрий со своим характером представлял собой полную противоположность Якову Тимофеевичу, хотя, как это неизменно фиксировали фотообъективы, глаза и у него сидели глубоко под высоким лбом, и уши так же торчали. Был он сухой, подтянутый, и, если Яков Тимофеевич любил пошутить, посмеяться, Дмитрий Тимофеевич почти всегда сохранял на лице выражение строгое, многословия не терпел. То ли благодаря этому, то ли из-за шрама чуть ли не во все лицо — от левого виска бороздой через щеку до верхней губы, — а вернее всего, за умение работать так, что ему не поспевали подавать слитки на стан, Дмитрия Тимофеевича на заводе не просто уважали, а, пожалуй, даже еще и побаивались.

— Полагаю, нас тут достаточно, чтобы решить это дело, — сказал Платон Тимофеевич. — Сестер, зятьев спрашивать не будем?

— Видишь ли, Платон, — заговорил Яков Тимофеевич, — юридически Степан ни в каком, так сказать, согласии своих родственников и не нуждается. И без нашего ответа он может прекрасно приехать. Дело в другом. Если он спрашивает твоего да моего согласия, то он через это согласие хочет узнать, как мы к нему относимся, навсегда ли вычеркнут он из нашей семьи или есть еще у него шансы в нее вернуться. Вот что для него главное.

— Яков прав, — сказал Дмитрий. — Степану главное — как мы к нему относимся, а нам главное — определить, как держаться с ним будем, когда он вернется.

— Так что же, выходит, что мы его примем с распростертыми объятиями, пожалеем сукинова сына, так, что ли? — Платон Тимофеевич побагровел. — Изменник он или не изменник?

— Брат он вам, — подала голос от дверей Устиновна.

Все трое обернулись к ней, удивленно посмотрели.

— Просто даже не представляю, — закуривая сигарету, сказал Яков Тимофеевич, — ну никак не могу себе представить, что я стану делать, когда, скажем, вот этак

окажусь за одним столом со Степаном. Очень затруднительное положение.

— А может, еще и невиноватый он, — снова вступила в разговор Устиновна. — Вот техник-то вернулся, который с газового завода... Фамилия из головы вылетела... Извинились, говорят, перед ним, путевку теперь в санаторию бесплатно выдали. Комнату обещают.

— Ну извинились — значит, не виноват, значит, действительно зря человек пострадал, — дергая шрамом, перебил Дмитрий. — А перед Степаном никто не извинялся, в письме, во всяком случае, об этом нет. Отбывал наказание, случилась амнистия, простили.

— И вообще, — сказал Платон Тимофеевич. — К такому делу надо подходить осмотрительно. Разные и поразному выходят. Ворья вон сколько всякого вышло по амнистии. А которых и просто из жалости отпускают: напакостил — ну ладно, не пакости больше. Советская власть по душе-то своей великодушная, и потому великодушная, что сильная. Вот и надо разобраться, кто от великодушия этого вышел, а кто и впрямь напрасно терпел.

— Словом, не будем себя тешить, ребята. Если бы не было вины за Степаном, если бы не понимал он ее за собой, уж не забыл бы написать об этом. А вот не написал, молчит. Ну что же, решаем так: пошлем авиапочтой, а того лучше — телеграммой: езжай, мол, братец, куском хлеба поделимся. Так, что ли?

— А где жить будет? — спросил Яков Тимофеевич. — В общежитии? А может, он на завод идти не захочет: тогда какое же общежитие?

— К себе пущу, — сказал Дмитрий. — Вдвоем с Андрюшкой живем в пустой хате. Потеснимся.

— А как же Лелька? — Яков подмигнул Платону Тимофеевичу. — Вдруг застесняется, ходить перестанет...

Не поворачивая головы, Дмитрий скосил в сторону брата тяжелый, хмурый взгляд. Был этот взгляд такой, что Яков Тимофеевич поспешил сказать:

— Молчу, молчу, Митенька. Ну тебя знаешь куда. Шуток парень не понимает. Разве можно так жить на свете: все всерьез да всерьез. С ума сойдешь ведь.

— Шутки разные бывают, — сказал Дмитрий. — За одну из шуток брат Каин брата Авеля убил.

— Это в вашем цехе так считают, — не удержался Яков Тимофеевич.

— Точно, точно, Митя, не силен ты в Священном писании, — засмеялся Платон Тимофеевич.

— Что ж, пойду поштудирую Евангелие, — сказал, подымаясь, Дмитрий. — Может, составишь компанию, заслуженный деятель? — позвал он Якова Тимофеевича. — Провожу до дому, так и быть. Не бойся, Авель, я не Каин.

5

Секретарь городского комитета партии Горбачев шел на работу. Утро было солнечное, свежее. Море, открывавшееся по временам за домами, лежало в дымке, по нему катились волны с белыми гребнями, в порту густыми голосами разговаривали пароходы. Пахло цветами. После дождей они вдруг расцвели к осени в городских скверах, разблагоухались. По центральным улицам стало просто приятно пройтись. А сколько труда и всяческих совещаний понадобилось, прежде чем посадили эти цветы весной! Разве горожане про то знают? Каких только причин не выдумывал исполком горсовета, чтобы отвязаться от обременительного дела: и денег-то нет, и работать некому, и семена или рассаду взять неоткуда...

Горбачев шел медленно, ему нездоровилось. Он думал свои трудные секретарские думы. Много сотен тысяч людей в городе. Все хотят хорошей и достаточно оплачиваемой работы, все хотят хорошего жилья, все хотят есть и веселиться — жить той разносторонней, содержательной жизнью, какой достойно это удивительное существо — человек. Нет такого участка в жизни города, за который бы Горбачев прямо или косвенно не отвечал перед партией, перед ними, которые хотят хорошей жизни, хорошего жилья и хорошей еды.

Нелегкая его работа, да и здоровье вот портится, возраст себя оказывает — молодость стал вспоминать. Проходя мимо недавно восстановленного двухэтажного дома бывшей женской гимназии, вспомнил вдруг губернскую ЧК, которая размещалась здесь когда-то, вспомнил себя, мальчишку-рассыльного, грозных комиссаров и уполномоченных, неутомимых солдат-чекистов, комсомольцев-чоновцев, бессонные ночи, выезды на ликвидацию белогвардейских и кулацких мятежей, облавы и погони... Подумал о том, что, пожалуй, следовало бы на этом здании установить мемориальную доску. Уж больно мало памятного

осталось в городе от революционных лет. Пусть молодые читают о том, что была когда-то ЧК, и не вообще, а конкретно, в этом вот доме, где теперь школа-десятилетка; что были комбеды и ревтрибуналы, что были ЧОНы и продотряды, что были красногвардейцы и женделегатки... Цветы, благоухающие сегодня вдоль улиц, завоевывались в боях. До цветов здесь когда-то лежал голый пыльный булыжник, который знал кровь от пуль и от шашек и не раз брызгал горячими искрами под копытами казачьих коней.

По лестнице горкома Горбачев поднялся на второй этаж, поглаживая под пиджаком сердце. Ныло. Через приемную, кивнув ожидающим там нескольким посетителям, прошел бодро.

— Здравствуйте, Симочка! — сказал весело секретарю. — Как провели воскресенье? — Вполголоса добавил так, чтобы только ей было слышно: — Прошу минуточку никого ко мне не пускать.

В своем кабинете отпер сейф, достал из него коробочку, в которой лежали плоский пузырек, пипетка и кусочки мелко наколотого сахара. На пузырьке была надпись: «Валидол». Накапал на один из сахарочков шесть капель, положил под язык. Во рту стало холодно и мятно. Вспомнились белые пахучие пряники. В годы нэпа их пек один частник, недалеко тут от горкома пекарня была, во дворе... Снова подумал, что вспоминать детство не к добру, — во всяком случае, это верный признак старости. И еще подумал: пятьдесят три года — неужели это действительно уже старость? Странно. А когда же все было — молодость, зрелые годы? Как, когда они успели пролететь? Усмехнулся. Сам поймал себя на притворстве. Прекрасно же знал, что прожил много и пережил многое, не пролетели годы, а шли и шли один за другим, и в каждый из них делал что-то, может быть, на первый взгляд и не очень броское для глаза, но значительное, необходимое, важное солдат партии Иван Горбачев.

Запер коробочку снова в сейф, нажал на кнопку звонка на столе, появившейся Симочке сказал:

— Давайте, кто там первый?

Вошел хорошо одетый во все отутюженное и свежее человек не сразу определимого возраста, почти совсем седой, лицо припухшее; не спеша, но и не слишком медленно пересек кабинет, подождал приглашения, сел в кресло, внимательно осмотрел Горбачева умными усталыми глазами.

— Я вас слушаю, — сказал Горбачев.

— Вы не подумайте, товарищ Горбачев, что я пришел к вам как некий жалобщик, как человек обиженный. Моя фамилия Орлеанцев. Я коммунист. Вот мой партбилет, прошу взглянуть. Как видите, партийный стаж порядочный, еще в институте вступал. До войны, конечно. Дело вот в чем, товарищ Горбачев... Я бы, простите, мог вас и не беспокоить, сел бы в поезд или на самолет — и прямо в Москву, к министру, к Николаю Федоровичу, или даже и к одному из первых замов предсовмина... Но ведь это же мелочи, стоит ли из-за них беспокоить больших людей. Дело вот в чем. Я прибыл в ваш город по собственному желанию. У нас в министерстве началось сокращение штатов. Я, чтобы облегчить этот процесс, хотя убежден, что сокращение меня и не коснулось бы, подал заявление в порядке собственной инициативы, и мне выдали, так сказать, путевку к вам, на металлургический. По образованию и по опыту аппаратной руководящей работы я металлург. И что вы думаете? Здешний директор просто чудак какой-то. Пожалуйста, очень, говорит, вам рады, идите инженером на участок.

— А вы куда бы хотели?

— Я, товарищ Горбачев, далек от того, чтобы капризничать. Я, например, не претендую на должность главного инженера или главного технолога завода. Меня здесь не знают, пусть, как говорится, присмотрятся товарищи. Но начальником цеха, мартеновского или доменного...

— Там же есть люди.

— Не мне вам объяснять, что в таких случаях делают. В возможностях директора многое, товарищ Горбачев. Но я человек не капризный, я предложил директору кое-какой выход из положения. Я ведь уже почти неделю как прибыл сюда, успел навести необходимые справки. В доменном цехе обер-мастер не имеет никаких документов, никакого диплома, практик.

— Ершов? Платон Тимофеевич? — спросил Горбачев.

— Ну конечно же, вы, наверно, всех тут по имени-отчеству знаете. Вы местный, товарищ Горбачев?

— Местный, товарищ Орлеанцев, местный. Такова моя злосчастная планида.

— Отчего же злосчастная? Если бы меня в Москве спросили, местный ли я, я ответил бы, что местный, и на планиду сетовать бы не стал.

— То Москва, товарищ Орлеанцев, град стольный. У нас провинция, периферия.

— Да, так вот, вы правы: Ершов, — возвратился к своему разговору Орлеанцев, — практик. Когда-то, конечно, мы их ценили, этих стариков...

— Ему полсотни, не больше, Ершову.

— Ну все равно, для доменщика это пенсионный возраст. Так вот, говорю, мы когда-то практиков этих ценили. Сейчас идет новая техника, она им не по зубам, практикам. Сейчас необходимы образование, диплом. Не так ли?

— Вот вы сказали, Орлеанцев: необходимы образование, диплом. А что, разве одно и тоже — диплом и образование? Насколько я знаю, это разные вещи. У Ершова — ваши сведения достаточно точны — диплома нет, но образование есть. Он уже семь лет старший мастер, или, как доменщики по сей день говорят, обер-мастер. Начиная с горнового всю доменную науку проходил. Знаете, дорогой товарищ, я, кажется, вас не поддержу, я соглашусь с директором завода: на участке вам следует сначала поработать, он прав. Вы после института на производстве еще не были?

— Я был на большой руководящей работе.

— Руководящая — руководящей. Но четыре доменные печи... Стоит ли вам сразу принимать на себя такую громадную ответственность? Поработайте на участке. Приобретите опыт, проверьте свои силы...

— Но мне же знаете сколько лет? Мне сорок три года, у меня, повторяю, большой руководящий опыт. Поздно мне ученичеством заниматься, да и ни к чему.

— А вот тоже из Москвы, и тоже, кажется, из вашего министерства, приехала инженер Козакова...

— Что вы сравниваете, товарищ Горбачев! Она еще девчонка, никакого жизненного опыта. Убежден, что в порядке развлечения сюда заехала. На что это ей? Муж — художник, могла бы и вообще дома сидеть. Знаю ее, в главке арифмометры крутила.

— Словом, так, товарищ Орлеанцев. Я лично согласен не с вами, а с директором завода. Большего вам сказать не могу.

— Что ж, значит, в Москву обращаться, к Николаю Федоровичу? Вы его знаете?

— Нет, не встречались, только фамилию слышал.

— Вот видите! А может быть, придется и к самому Захару Петровичу...

— И Захара Петровича только на портрете видел,— сухо перебил Горбачев.— А вы Гаврилу Алексеевича знаете? — спросил он неожиданно.

— Простите, а кто это?

— Это... вот выйдете отсюда, по улице свернете вправо, в сквере памятничек стоит. Это был у нас секретарь губкома, он в партию меня принимал. Его один кулацкий сын убил из-за угла. За раскулаченного папашу мстил. Пойдите посмотрите памятничек. Хороший был человек Гаврила Алексеевич. До свиданья, товарищ Орлеанцев!

— До свиданья.— Орлеанцев встал.— Только, знаете, товарищ Горбачев, вы уж на меня не сердитесь, если кое-кого из местных товарищей сверху побеспокоят.

Он ушел. Горбачев проследил за ним из окна кабинета. Покинув здание горкома, Орлеанцев свернул не вправо, к скверу, а влево.

Следующим посетителем был тоже инженер, и тоже с металлургического завода. От Орлеанцева он отличался помятым костюмом, грязноватой сорочкой, был небрит, приглашения садиться не ждал, сразу уселся в кресло, держался далеко не так уверенно. Хватал со стола карандаши, вертел их в худых, желтых пальцах.

— Я, товарищ секретарь горкома, беспартийный,— говорил он торопливо,— но все равно пришел к вам, как к высшей власти в городе. Ничего не выйдет у вас, в Кремль ехать надо будет. Продам все, а поеду.

— Какая же я высшая власть?— сказал Горбачев.— Я работник горкома.

— Ну, это все большие люди так говорят. Из скромности. Или из кокетства. Вы власть, и чего там! Помогайте. Маринуют.

— Что маринуют?

— Важнейшее для нашего народного хозяйства предложение. Миллионы рублей экономии. Вот моя докладная.

Горбачев раскрыл довольно объемистую папку.

— Здесь чтения часа на три, товарищ...

— Крутилич моя фамилия.

— Уж лучше вы для начала мне на словах изложите это дело, товарищ Крутилич.

— Вы в технике понимаете, товарищ секретарь? В доменном производстве?

— Работал когда-то на металлургическом, только не в вашем доменном, — строил мартеновский.

— Я тоже не из доменного. Я вообще не из цеха, я в техникуме практикой руковожу. Поэтому и в доменном бываю. Так вот чего я вам хочу сказать. В современных условиях, когда подавляющее большинство оборудования доменных печей работает без остановки на плановый ремонт по полтора-два года и когда длительность межремонтного периода от этого увеличивается, как должны ставиться вопросы, связанные с системой организации ремонтной службы? Они должны ставиться четко, оперативно, собранно. Я предлагаю все ремонты на доменных печах передать ремонтно-монтажному цеху, РМЦ. Правильно?

— Что-то я такое слышал, — сказал Горбачев. — Только не помню... то ли уже был такой опыт?.. Кажется, так уже работали, а потом наши доменщики почему-то отказались от услуг РМЦ.

— Это вредители отказались. Мы должны немедленно восстановить централизованную систему ремонтов. Централизованная система — это социалистическая система. А что у нас сейчас? Сейчас копаются на ремонте работники производственных цехов, в данном случае доменного цеха. Качество работ, проводимых самим производственным цехом, всегда ниже, чем качество специального ремонта. Ведь у производственников могут быть, и непременно возникают, всяческие текущие ситуации, которые бьют по ремонту, мешают ему, а то и вовсе ведут к срыву. Работу у них никто не принимает — не будешь же принимать сам у себя! Контроля, значит, нет. Нарядов у них тоже нет, и плана ремонта нет, латают как знают. Производительность труда от этого низкая.

Он говорил и говорил. Говорил убедительно. Горбачев попросил его оставить папку с докладной денька на два, на три, он почитает, проконсультируется со специалистами, посоветуется на заводе. Зерно истины, по его мнению, в утверждениях Крутилича есть, если, конечно, он, Горбачев, все-таки давно оторвавшийся от непосредственной практики завода, не отстал от современной организации некоторых производственных процессов. Вот он изучит вопрос, и тогда, возможно, они вновь встретятся.

Крутилич поблагодарил, сказал, что был уверен в поддержке, что Горбачев ему сразу понравился — лицо рабочего человека, не бюрократ, не вельможа, — и, довольный, ушел.

Горбачев принимал одного посетителя за другим и чувствовал себя все хуже. Ко времени обеда он совсем сдал, пошел в кабинет ко второму секретарю, сказал, что, пожалуй, уедет домой и не вернется сегодня, полежит: мотор что-то неровно работает. Второй секретарь пошутил: клапанам, дескать, притирочку надо сделать да на поршнях кольца поменять.

Дома Горбачев сделал вид, что просто голова разболелась, лег на диван в кабинете, отвернулся к стене. Анна Николаевна постояла возле него с бутылочками лекарств в руках, но, видя, что глаз он не открывает — значит, хочет полежать в тишине, — вышла неслышно из кабинета, оставила его одного. Он полежал, полежал, и ему сделалось небывало, незнакомо тоскливо. Ушли, видите ли, все — и жена, и дочь, и сын, бросили в одиночестве. А вдруг он умрет, вдруг ударит его сейчас по сердцу инфаркт, придут, а его уже нет и никогда больше не будет... Странные люди. Беспечные, черствые. Ведь вот бы мама, будь она жива... Как сидела, бывало, возле его постели, когда скарлатиной болел. На горло чулок с горячей золой повязывала, пить давала что-то вкусное. А суп!.. Он хорошо помнил этот вкуснейший в мире суп, который варила ему мама. Из воблы.

Он лежал с закрытыми глазами, чувствовал на губах соленый вкус, обонял острый, вызывающий воспоминания запах. Видел свою мать, старенькую, ее сухие, коричневые руки, ее глаза, в которых всегда тревога за них, за детей, за него, за Ванюшку.

— Ваня, Ванечка, — услышал он встревоженное. Перед ним снова стояла Анна Николаевна. — У тебя же слезы текут. Что с тобой?

— Не выдумывай, — ответил грубовато, стараясь скрыть свое состояние. — Какие слезы? Лучше бы ты позаботилась обо мне.

— Ну пожалуйста, пожалуйста, вот дурной какой. Ведь и живу только для этого.

— «Пожалуйста, пожалуйста»!.. — передразнил. — Супу бы хоть раз в жизни сварила из воблы. Грош стоит. Воблина да две картофелины.

— Могу, Ванечка. Но это, наверно, гадость. Есть не будешь.

— Как так гадость? Все детство ел, мать варила. «Не будешь, не будешь»!.. Откуда ты знаешь, буду или не буду?

— Хорошо, сварим тебе суп. Если мы эту штуку сумеем достать.

— Мать доставала, — сказал упрямо.

Вечером ему принесли тарелку супу. Весь город объездила Анна Николаевна, с трудом, в пивнушке возле пристани, отыскала несколько тощих сушеных рыбин, привезенных с каспийских берегов.

От тарелки шел крепкий запах. Пахло сапогами, шорной лавкой, дымом...

Прихлебнул с ложки: горько, солоно, противно. Но все же ел. Из упрямства ел. Это был для него суп детства. Мамин суп.

6

Эту беленькую, коротко остриженную девушку Андрей впервые увидел в летнем кино. Шел мимо городского сада после работы, остановился перед афишей с целующейся парой и купил билет. Беленькая девушка сидела с подругой в ряду перед ним, подруги тихо переговаривались; Андрей понял, что картина беленькой не нравится, она в ней все критиковала.

После сеанса он шел за ними по аллеям до выхода из сада. Рассматривал беленькую. Походка у нее была спокойная, красивая, Андрею нравилось каждое ее движение. Он слышал, как беленькая говорила: «Кинематографисты думают, что молодежи нужны картины только о любви, со всей этой сентиментальщиной. Конечно, приятно посмотреть про любовь. Но мы сейчас с тобой, Аллочка, разве любовь видели? Устройство уютного семейного гнездышка. Это же обывательщина, мещанство». — «Ты всегда так категорически, Капа, судишь... А мне, например, они, эти молодожены, понравились. Все показано у них точно как в жизни: и как привел он ее в первый раз домой, к маме, и как ребеночка они вдвоем рассматривали, и как ванночку покупали...» — «Перестань! — перебила беленькая Капа. — Даже слушать неприятно, не то что смотреть. Кому эта пошлость нужна? Представь себе Ромео и Джульетту покупающими ванночку для своего будущего младенца...» — «Скажешь, Капочка! Это же какие были времена!» — «У нас все на времена сваливают: было когда-то — летали на крыльях, а теперь не то, теперь ползайте по земле. Вот и получится, как Горький сказал: ни сказок про нас не расскажут, ни песен про нас не споют».

Андрею хотелось идти за ними и дальше, слушать еще, что будет говорить о жизни Капа. Но подруги уже вышли из сада, из толпы, Андрей не решился преследовать их по пятам. Он отстал и с грустью смотрел им вслед. Он не умел так лихо, как некоторые из ребят, знакомиться с девушками: подойти, через минуту взять под руку, пригласить в кино или кататься на лодке. Знакомство с девушкой для него было делом до крайности сложным, деликатным, в это дело непременно должны были вмешаться третьи силы, случай какой-нибудь должен помочь.

Так и исчезла с его глаз беленькая. Было это месяц назад. И вот она вновь возле Андрея. На этот раз без подруги, одна. Стоит позади него в очереди за лодкой. Море тихое, зеркальное, вечер теплый, желающих кататься много, — терпеливо ожидают.

Андрей не оглядывался, но все время ощущал ее присутствие. Она что-то напевала без слов сквозь губы, постукивала по доскам пирса носком туфли, несколько раз задела Андрея локтем. Касания были мгновенны, но Андрей и за мгновение успевал почувствовать тепло ее руки. Когда приблизилась его очередь, он не знал, на что и решиться. Были два решения: одно — уступить очередь ей, второе — пригласить ее в свою лодку. И от того и от другого она, конечно, может отказаться. Но если скажет, с какой, мол, стати она поедет кататься с неизвестным ей человеком, это страшней, во много раз страшней. Просто даже несравнимо. И все-таки его тянуло ко второму решению. Может быть, еще одной встречи никогда больше в жизни и не будет, — город велик, человек в нем что иголка в сене.

Стук в сердце нарастал, Андрей чувствовал, как разгораются его щеки, но ничего поделать с собою не мог. Когда он услышал: «Ваша очередь», — и в руке его оказалась бренчащая цепь причаленной лодки, он обернулся и, почти не видя девушки, каким-то не своим голосом сказал:

— Хотите, поедем вместе?

— С удовольствием, — вдруг услышал неожиданное. — Только уж на весла надо пустить меня. Я каждый день сюда хожу, тренируюсь.

— Пожалуйста, пожалуйста! — почти закричал он. Хотел помочь ей шагнуть в лодку, но ее длинные стройные ноги уже сами шагнули, легко, ловко и уверенно.

Он сел на корму, она на весла, отчалили от пирса. Лодка шла быстро и плавно. Капа гребла отлично, весла у нее не шлепали по воде, не болтались в воздухе, как коромысла, а шли над самой водой, погружаясь в нее и выходя из нее почти без шума.

— Замечательно гребете! — с восхищением сказал Андрей.

— Правда? — спросила она обрадованно. — А вы случайно не моряк?

— Я доменщик.

— Это вот там? — Она кивнула в ту сторону, где в цветных желто-рыжих дымах над морем стоял металлургический.

— Там.

— У доменных печей трудно работать?

— Когда начинал, в свое время, еще когда горновым был, трудновато приходилось с непривычки. А сейчас — как всякая другая работа. Только интересней других.

— Неужели интересней? Чем же?

— В старину, в далеком прошлом, о такой работе сказки складывали, она казалась колдовством — из земли железо делать! А печь? Вы никогда не видели доменную печь?

— Только вот там, издали. Там, наверное, жарко возле нее, дымно...

— Бывает и жарко. И очень. Но привыкаешь. Пришли бы вы к нам, посмотрели.

— Приглашайте. До первого сентября, пока каникулы. Приду.

— А вы где учитесь?

— В медицинском, на четвертом курсе.

— Через год — доктор?

— Что вы — через год! Я только перешла на четвертый. А всего у нас шесть лет учатся. Страшно подумать — еще три года сидеть за партой! Надоело, если бы вы только знали. Десять лет в школе, три уже здесь, в институте, это тринадцать, а будет и все шестнадцать. Четверть жизни в зубрежке.

— Я проучился одиннадцать лет. Семь в школе, четыре в техникуме, да и то в вечернем, днем работал.

Андрей говорил бы и говорил, слушал бы и слушал. Рассказал бы ей всю свою жизнь, за все двадцать четыре года; выслушал бы всю ее жизнь. Разговор захватывал

его, казался ему самым интересным из всех, какие только бывали у него до сих пор. Они плыли и плыли в море, не увидав, что давным-давно вышли за линию самых дальних, наисмелейших лодок, не заметив, что холмы, на которых лежал город, уже уходили в лиловую предзакатную тень.

— Как вас зовут? — спросила Капа.

— Андрей, — ответил он смущенно. — Простите, что не представился. Андрей Ершов. Мне казалось, если я ваше имя знаю, то и вам мое известно.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросила она.

— Наполовину, не полностью. Вас называли Капа.

— А полностью — Капитолина. Сначала я очень переживала из-за такого имени. В школе. Теперь привыкла, даже нравится.

— Мне тоже нравится.

— А все-таки от кого вы его слышали?

Андрей рассказал о том, как сидел он позади Капы в кино, как шел следом по аллеям сада и невольно прислушивался к ее спору с подругой.

— А что, разве я была не права?

— Насчет Ромео и Джульетты, которые бы ванночку покупали, это у вас получилось здорово.

— Правда? Вы согласны со мной? У нас принялись изображать любовь так, что в ней не стало красивого, высокого, любовь потеряла свое самостоятельное значение. Понимаете? Самостоятельное. Некая увертюрка перед семейной жизнью — и все. Даже и не обязательная. Некоторые авторы прямо, без всяких предисловий, подымают занавес этой семейной жизни и всякие совместные домашние дела называют любовью. Любить у нас стало непременным только для того, чтобы жениться.

— Но ведь, кажется, и раньше так было? — с улыбкой сказал Андрей. — Всегда, во все времена.

— Ах! — Капа оставила весла. — Никто меня не хочет понять. Я говорю о большой, красивой любви, которая ведет человека — все равно, мужчину или женщину, — на подвиг. Которая зажигает в нем огонь таланта, творчества, благородных чувств. За которую не заглядывают, как за дверь в спальню, — что-то там будет? Простите, что грубо говорю, уж такая я есть. Знаете, — сказала она, спохватываясь, — смеркается. А мы километрах в пяти от берега.

— Думаю, что не в пяти... — Андрей прикинул глазом расстояние. — Чего доброго, и больше. Ну ничего, не бойтесь, ветра нет, доберемся. Давайте-ка я сяду на весла. Хватит вам тренироваться.

— А я и не боюсь, — ответила Капа спокойно, отдавая весла и пересаживаясь на корму. — Не то что на лодке, я бы и вплавь добралась до берега.

— Так хорошо плаваете? — Андрей поворачивал лодку кормой к морю.

— Отец с восьми лет учил.

— Он кто у вас?

— Партийный работник.

Стучали весла в уключинах, Андрей греб ровно и сильно. Никогда еще катание на лодке не было ему так приятно, не приносило такой радости. Смеркалось все больше. Он видел только силуэт Капы на корме. Он уже не различал ее поднятых в споре бровей, ее чудесных больших серых глаз, ее беленькой короткой стрижки. На металлическом фоне еще слегка отблескивающего моря проступали только линии ее откинутой головы, тонкой шеи и округлых плеч.

— Вы женаты? — спросила Капа.

— Что вы! — воскликнул он.

— А почему — «что вы»? Двадцать четыре года, специальность, самостоятельный заработок... Вы сколько получаете?

— Тысячи полторы. Иногда больше. В зависимости от выполнения плана.

— Ну вот, заработок вполне достаточный для того, чтобы заводить семью, особенно если еще и жена работает.

— Словом, нет, не женат.

Андрею было неприятно то, о чем и как она заговорила. В ее словах было что-то обидное. Она говорила о нем так, как о тех, кого осуждала за неумение любить и у которых любовь необязательная увертюрка к обязательной заурядной семейной жизни.

— Может быть, невеста есть? Девушка?

— Никого нет. — Он сказал это недовольно и сухо.

— А вы не обижайтесь. — Она как бы увидела в темноте его нахмуренное лицо. — Я совсем не хочу вас обижать. Я просто спрашиваю. Посмотрите! — воскликнула она вдруг.

Андрей обернулся. Вдали, там, где был берег, подымалась в воздух зеленая искра ракеты.

— Это сигналят нам. — Он нажал на весла, лодка пошла еще быстрее, сильнее захлюпало, забормотало под бортами.

И все-таки, как он ни налегал, как ни жал, до берега добрались не к девяти, когда закрывается лодочная станция, а только в двенадцатом. Лодочник долго поносил их разными словами, но они его слушать не захотели, быстро ушли.

Гуляющих на набережной уже было совсем мало, только влюбленные, будто тени, сидели на скамейках приморского бульвара. Звон трамваев в пустых улицах стал оглушительным и сплошным.

— Я вас провожу, — сказал Андрей, когда они поднялись в гору к центру города.

— Нет, пожалуйста, не надо. Я сама. Я не люблю, когда меня считают трусихой и так называемым слабым существом.

— Я не поэтому...

— Ни по какому.

— Ну, а...

— ...встретимся мы или нет?

— Да.

— А вы хотите?

— Зачем спрашиваете?

— Тогда запишите телефон. Будет желание еще покататься на лодке — звоните. Окажусь дома — поедем.

— Нет ни бумаги, ни карандаша, — огорчился Андрей, похлопав себя по карманам.

— Можно запомнить, номер легкий. Два двадцать — два нуля.

По дороге домой, хотя номер, названный Капой, и в самом деле был легкий, он все же время от времени твердил: «Два двадцать — два нуля». От непрерывного повторения этих цифр получалось, будто бы работала какая-то машина: «Два двадцать — два нуля. Два двадцать — два нуля...»

Дома сразу же записал телефон Капы в свою книжку мастера участка.

— Ты что там, расходы подбиваешь? — спросил дядя Дмитрий. Он лежал в постели с книгой в руках. Всегда час-полтора читал что-нибудь перед сном, в том числе и самоучитель английского языка. Особенно когда ему не в утреннюю смену идти, то и до полуночи бубнил, страшно коверкая английские слова и фразы.

Андрей буркнул в ответ что-то неопределенное, принялся есть хлеб и колбасу, запивая тепленькой водичкой, оставшейся от дядиного чаепития. Жизнь у них с дядей была неважная. Нормально только обедали — на заводе, а завтракали и ужинали как попало и чем попало. По-человечески, по-домашнему было лишь, когда приходила Леля: в субботу да в воскресенье.

Покончив с ужином, Андрей тоже залег под одеяло в своей боковушке, заложил руки за голову, смотрел в черный потолок. Видел одно: лодку и на темном металлическом фоне воды очертания слегка запрокинутой назад головы, тонкой шеи и округлых плеч. Слышал он только ее голос, голос Капы.

— Андрюшк! — вдруг прервал его думы Дмитрий. — Ну ладно — я. Обо мне говорить не будем. А ты, молодой, здоровый, видный парень, какого лешего ты такую жизнь собачью добровольно терпишь, какая у нас с тобой?

— Жизнь как жизнь, чего ты? — ответил Андрей вяло.

— Женился бы, комнату себе выхлопотал. А хочешь, хибару эту тебе освобожу, сам куда-нибудь съеду. Ее если в вид привести, что надо жилье будет. Стены, полы, потолки крепкие. Крышу бы подладить да не́жить вывести — мышей, копоть, плесень эту чертову. Слышь?..

— Полно тебе про это. Женись сам, да и выводи нежить. Ведь и я могу уйти.

— Вот дурень! Я же тебе говорю... С моим портретом это не простая штука. Выйти за меня, может, конечно, и не одна баба выйдет. А только придет такая минута, всегда ведь в семейной жизни всякие дрязги и перепалки бывают, вот тут она мне и врежет, как это у баб случается, «черт меченый» или еще что-нибудь вроде. Наперед знаю: не стерплю такого, натворю дел.

— А вдруг попадется такая, что и не скажет этого никогда?

— Может, и не скажет, а всегда ждать буду сказа или с подозрением ходить, что про себя, мол, говорит или думает.

— Лелька ведь не говорит.

— Лелька!.. Лелька — то другое. Она сама — человек страдающий.

— Она тебя любит. Всякому видно.

Дмитрий молчал.

— Вот и женился бы на ней, — продолжал Андрей.

— Хватит тебе! Какой знаток сердечных дел нашел-

ся! — неожиданно вскипел Дмитрий. — Объясняет, что к чему, про жизнь... Кому ты про нее объясняешь? Я же — тебе это известно — на жизнь и на смерть нагляделся. Во как нагляделся! С чем каждую из них едят, напробовался.

Да, Андрею это было известно. На жизнь и на смерть дядя его, Дмитрий Ершов, нагляделся: в первые же дни оккупации города немцы расстреливали его прямо на заводе. Еще кто-то из гитлеровцев штыком в лицо ударил. И не их вина, что он воскрес и жить остался.

— Я тебе не объясняю, — сказал Андрей. — Я рассуждаю.

Дмитрий погасил лампу, в доме стало темно. Только через кухонное окно в боковушке Андрея пробивался свет взошедшей луны. Что бы ей раньше-то взойти, еще когда плыли на лодке! Какая красота на море при луне!

Снова думал о Капе, разговаривал мысленно с ней, называл нежными именами. Ворочался. Спать не мог, хотя и подремывал. Но если засыпал, то тут же просыпался.

Под утро даже и дрема рассеялась. За окнами вставал рассвет, валяться в постели стало невмоготу. Осторожно, чтобы не разбудить дядю Митю, оделся, мыться не стал, вышел за калитку, отправился на завод самой длинной дорогой. Прошел через центр города, где несколько часов назад, прощаясь с Капой, держал ее озябшую узкую руку в своей жесткой ладони; даже к морю свернул, к лодочной станции.

Но как ни долго путался по городу, в цех пришел на полчаса раньше времени. Поднялся по железным лесенкам к своей печи. Еще шла смена мастера Козаковой. Ревел горячий воздух в трубопроводах, вдуваясь через фурмы в печь. Через смотровые глазки, если приложить темное стеклышко, было видно, как металось и клокотало в печи, кипя и плавясь, то, что через час будет чугуном. Там происходили гигантские, первобытные процессы, подобные тем, при которых из огненной массы рождалась наша Земля. Толком никто по-настоящему в доменную печь еще не заглянул — и как заглянешь в такое пеклище? Многое в ее жизни еще не изучено и не ясно человеку. Еще много она приносит неожиданностей металлургам. Случаются и такие неожиданности, после которых везут человека на кладбище. Зевать возле печей никак нельзя.

— Что так рано, Андрей Игнатьевич? — спросила Искра приветливо. На лице ее была та особая усталость,

которую порождает ночная работа: синяки под глазами, припухлость и желтый блеск щек. Но Искра преодолевала усталость, старалась держаться бодро.

— Будильник подвел, — ответил Андрей. — Ну что тут было на печи? Рассказывайте.

Инженер Козакова сдавала Андрею печь, она подробно рассказывала обо всем, что было ночью. Но Андрей слышал совсем не ее голос, и слова слышались не о чугуне и коксе...

7

Чтобы сменить на доменной печи фурму, нужны немалая выдержка и сноровка; рассчитано все при этом не только до минут, но и до секунд. Через стальную трубу — сопло, — пропущенную сквозь особое отверстие внутрь печи, под давлением идет горячий воздух. Сопло в работе раскаляется до малинового свечения. Для охлаждения оно окружено специальным устройством, подобным конусообразной втулке, изготовленной из меди и сделанной так, что меж стенок ее — полое пространство, в котором циркулирует вода. Втулки эти и называются фурмами. Стенки их время от времени прогорают, тогда фурму надо менять. Вот тут и начинается. Извлекают сопло из печи, извлекают прогоревшую фурму, вставляют новую и вновь вводят сопло. Фурм на печи полтора десятка — окружают ее поясом. Прогорают они довольно часто, так что смена той или иной из них — в цехе ежедневно.

Платон Тимофеевич стоял в сторонке, наблюдал. Он видел, как боевые его ребята, в мгновение ослабив болты, выхватили из пекла огненную трубу — сопло, как извлекли прогоревшую фурму. Открытое отверстие в печи ослепительно пылало, огонь длинно и зло выхлестывал наружу. За этим отверстием кипел тот чугунно-коксовый ад, который еще так мало известен человеку. Всему этому аду противостояло несколько мужчин и одна маленькая, полненькая женщина. Работали они бегом, предметы не брали, а хватали. В секунду была отброшена старая фурма, в секунду вставлена в плещущее пламенем отверстие новая; введено сопло; крепятся болты.

Инженер Козакова запястьем откинула со лба прядку каштановых волос, завившихся от жары, отошла к шлангу с теплой водой, стала мыть руки, с них бежали уголь-

но-черные струи. Печь вновь заревела: вновь дали воздух, перекрытый на те короткие минуты, в какие происходит смена фурм.

— Васильевна! — подойдя к Искре, громко, потому что из-за рева печи иначе тут не услышишь, заговорил Платон Тимофеевич. — Ручки-то твои, гляди, какие стали. Муж недоволен, поди? Сердится?

— Не говорите, — ответила Искра с огорчением. — Муж, правда, молчит. Но самой неприятно. Не руки, а рашпили... Все бы хорошо, только вот это очень плохо. Я уж думала-думала, ничего придумать не могу. И, наверно, не придумаю.

— Тимофеич, Тимофеич! Привет! — Прямо через литейный двор, перешагивая через желоба, к рабочей площадке шел директор завода Чибисов. Он подал руку Платону Тимофеевичу, Искре, горновым, которые устроили перекур перед тем, как начать разделывать летку для выпуска металла, отвел обер-мастера в сторону. — Слушай, ты знаешь этого типа — Крутилича?

— Крутилича? — Платон Тимофеевич взял в горсть свои усы. — А кто такой?

— Понимаешь, звонит секретарь горкома, Горбачев, говорит: «Что у вас там с централизованным ремонтом в доменном цехе?» Что у нас, Тимофеевич, с этим централизованным ремонтом?

— Так ведь сам же знаешь, Антон Егорович, что. Два года, как мы решили поработать без него, экспериментально. И министерство с этим согласилось — в порядке опыта. И результаты хорошие. А Крутилич тут при чем?

— Я понял так. Крутилич пришел к Горбачеву, нарасписывал про централизованный ремонт, про ремонтно-монтажный цех, который должен бы вести все ремонтные работы, сказал, наверно, что мы его предложение зажимаем. Ты не зажимал, а?

— Вспоминаю, — сказал Платон Тимофеевич. — Точно, заходил сюда раз или два со студентом один инженер. Он из техникума?

— Из техникума.

— Мы что-то такое тут делали, ремонт какой-то. Он и говорит: «Отвлекаетесь от прямых своих дел, ремонт вам обуза». Ничего, говорю, справляемся. Потом пришел ко мне с проектом возврата к РМЦ, выдавая его за свое

открытие. Я объяснил ему, что к чему. Он к начальнику цеха сходил. Тоже, видать, от ворот поворот.

— Вот и у меня он, вспоминаю, был. Не помню в точности, но, должно быть, и я от него отмахнулся.

— Вот люди, вот люди! И слов не хочет понимать, и в дело не вникает, а прицепился к одной формалистике.

— У каждого своя точка созерцания мира и своя правда.

— Горбачев разберется. Он, верно, не металлург — строитель, хорошо его помню. Он мартеновский цех строил, прорабом был. Еще знаешь когда? В тысяча девятьсот тридцатом, аккурат четверть века прошло. В землянках жили. На месте прокатки тогда еще камыш шумел. Утки пролетом перепутье устраивали.

— Значит, что? — спросил Чибисов. — Не обращать внимания на этого Крутилича?

— А ты, Антон Егорович, подыми для верности архив. Там есть полное обоснование, почему мы от централизованного ремонта отказались. Будешь при оружии.

— Ладно, подыму. Хочешь сигару? — Чибисов извлек из кармана пиджака два длинных коричневых веретена, туго скрученных из темных табачных листьев. — Смотри марку: «Веб Нортак табакфабрикен. Нон плюс ультра». Выше, как говорится, некуда. Кусай этот конец, выплевывай, теперь бери другим концом в рот. Вот спичка... Тяни, тяни сильнее! Что? Дерет? Это, брат, настоящее доменщицкое курево!

Он был доволен, сам потягивал крепчайший сигарный дым и с сочувствием следил за тем, как трудно с непривычки дается это Платону Тимофеевичу.

— Слушай, — сказал он. — Из мест не столь отдаленных возвратился по амнистии инженер Воробейный, был вчера у меня. Доменщик. Возьми к себе, а?

— Воробейный? Вернулся? Да ты знаешь его или нет, Антон Егорович?

— Откуда же я его буду знать? Из бумаг только. Я до вас далеконько, в Запорожье, работал. Ваших довоенных кадров не знаю.

— Зато мы знаем. Воробейный у немца остался, когда мы отходили. Это еще, допустим, ладно. Не он один оставался. Отец мой вот, Димка — брат. Да мало ли! Но он, этот Воробейный, не просто остался. Он на немца работал. Хотя это, конечно, тоже еще не все. Другие тоже рабо-

тали, кого на завод согнали. Но он — особенное дело. Он, подлец, добровольно печи им восстанавливал.

— Ну, видишь ли, Тимофеич, что было, то было, да и быльем поросло. Человек свое получил, не век же его казнить. В общем, мы обязаны обеспечить инженера Воробейного работой. Пошлю к тебе, а?

— Некуда ко мне! — решительно ответил Платон Тимофеевич. — Не посылай. Весь штат полный. Не возьму. А пошлешь — увольняй меня к такой-то Фене!

— Чего ты разгорячился? Давай рассуждать спокойно.

— Спокойно! У меня батьку родного вот тут, в скиповой яме, замучили. Люди говорят, узнать было нельзя. А инженер Воробейный в это время разносолы с немецких столов получал.

Чибисов хотел взять Платона Тимофеевича за локоть, тот отдернул руку, отшатнулся от него.

— Не трожь ты меня, не касайся!

Он ушел с рабочей площадки, шагал, сам, наверно, не ведая куда.

Чибисов покачал головой, постоял-постоял, глядя ему вслед, и отправился обходить сложное доменное хозяйство. Он спустился и в яму, откуда на колошник домны подается шихта в скиповых тележках. Там на вагоне-весах, отвешивая и загружая в тележку руду, кокс, известняк, работал худощавый пожилой машинист. Чибисов его не знал.

— Здравствуйте, — сказал он, подавая руку машинисту.

— Здравствуйте, — ответил тот.

— Ну как дела? Что мешает? Чего не хватает?

— Сами чуете, жарища какая.

— Чую, дорогой, в пот бросает. Поскорей бы на волю отсюда.

— Ну, а я целый день здесь жарюсь.

Вагон-весы, позванивая, катался от бункера к бункеру, забирал из них материалы в заданных пропорциях, сыпал в тележку скипа.

— Подумали бы, товарищ директор, как с жарищей бороться, — продолжал машинист, управляя этой работой. — Насчет агломерата думать надо. Он горячий, от него и несет. Без того тут, в такой поре, не сладко, а через жарищу эту и вовсе гроб нам, сердешным.

— Попробуем подумать, — ответил Чибисов. — Может быть, вентилятор поставить?

— Ставили. Никакого толку.

— Попробуем, в общем, попробуем. Пусть инженеры и конструкторы поломают голову. Это я вам обещаю. А теперь и у меня вопрос. Вы тут давно работаете?

— Третий год.

— Жаль. Хотел спросить про старика Ершова. Он до войны машинистом здесь был. И при немцах тоже, кажется...

— Не кажется, а точно. Про это вы вполне меня спросить можете. Про это я, товарищ директор, хорошо знаю. Это на заводе история известная. Ершов да еще один старик им, немцам, печь закозлили, да так, что вовсе она остановилась и до прихода наших не пошла. А как было дело? Появились тут немцы. Печи им, ясное дело, наши оставили не на ходу, попортили маленько, особенно газовое хозяйство. Ну, принялись новоявленные владельцы восстанавливать. Кое-кто тут им помог из наших. Восстановили. А дело как не шло, так и не идет. Холодный чугун, да и все тут!.. Ну, не знаю, сколько металла с нашего завода Герман Геринг получил... Ерунду, в общем. Гестаповцы пиныряют, вынюхивают, ничего вынюхать не могут. И не вынюхали бы. Опять кто-то из наших на след навел. Инженер какой-то.

— Не Воробейный?

— А кто его знает. Про такого не слыхал. Может, и он. В общем, навели. Старики, оказывается, Ершов, отец нашего обер-мастера, да тот, второй, негодную шихту подавали на колошник. Не того состава, не в тех пропорциях. Сами понимаете, известнячку подбросят лишку — вот печь и стынет. Ну их тут обоих где-то и прикончили. Зверски, говорят.

Чибисов слышал, конечно, о том, что у Ершова отец погиб на заводе, но всех этих подробностей не знал. Он попрощался с машинистом, еще раз пообещал подумать о том, как бороться с жарой в скиповой яме, и не спеша выбрался на поверхность, на солнце, пошел по заводу, через пустыри, огибая цехи со стороны моря. Он любил этот завод, на котором работал уже три года с лишним. Он знал многих людей его. Вот, например, там идет из прокатки к мартеновцам — ругаться, наверно, из-за слитков — начальник цеха блюминга инженер Матюшин. Недавно от него ушла жена, с которой он прожил семь лет. Когда Чибисову сказали об этом и когда он спросил, почему же ушла, из-за чего, ему ответили: «Из-за цветной

фотографии». — «Вот чудак неосторожный! — сказал Чибисов. — Какая-нибудь дамочка была снята?» — «Да что вы, не в этом дело! Наоборот, как жена утверждает, даже и про нее-то забыл. Все ночи просиживает в ванной, проявляет. Денег на это фотографическое хозяйство уходит уймища. Умоляла, говорит, бросить фотографию, одуматься, о ней позаботиться. Не помогло. Не выдержала, ушла». — «А он?» — «Продолжает фотографировать». — «А она?» — «В партком жаловалась. Развели руками. Что ему сделаешь? Прикажешь разбить аппарат?» И грех, и в то же время смех. А инженер знаменитый. Начальник боевой.

Кого ни возьми на заводе, у каждого есть какая-нибудь не сразу заметная, особенная сторона жизни. Нынешним летом директор завода решил походить по рабочему поселку. За день, конечно, он не смог обойти и одну улицу. Но даже и то, что увидел он на этой улице, поразило его, вызвало немало мыслей. Бригадир-мартеновец Лучко, оказывается, голубей держит. Каких только у него нет красавцев! Целый час провел Чибисов на его голубятне. Лучко рассказывал о голубиных повадках, демонстрировал своих питомцев. Инженер из механического цеха Антонов — тот цветоводством болеет: георгинами, флоксами и гладиолусами. У него отдельный домик, сам построил, и вокруг домика не участок, а сплошная клумба: ни ступить, ни сесть некуда, цветы и цветы. Иные кроликов разводят, многие мотоциклы завели, собственные машины — «москвичи» и «победы». Есть один мастер — фигурки зверей вырезывает из дерева, а когда дерева подходящего нет, лепит из глины.

Если бы Чибисов умел писать, он бы непременно написал книжку о людях, с которыми встречался в своей жизни, об удивительных историях, какие происходят с людьми. Но беда — ничего у него не получается из писания. Попробовал как-то, лет семь назад, рассказ написать из действительной жизни. Сел за стол, быстро сочинил несколько фраз. Фразы были такие, хорошо их запомнил: «Наступил осенний период времени. План цех выполнил на сто двадцать процентов. Можно было в более благоприятных соотношениях сочетать общественные и производственные дела с чисто личными. Сталевар Герасимов сказал...» Перечитав написанное, Чибисов решил слова сталевару Герасимову не давать, скомкал бумагу, бросил в корзину. Передумал, достал комок из корзины,

расправил и мелко изорвал. Не получалось, нет. А жаль, очень жаль! Завидовал тем, кто умел писать. На завод не очень часто, но все же заезжали корреспонденты центральных газет. Чибисов любил походить с ними по цехам, побеседовать. Один раз даже побывал московский писатель. Этого Чибисов продержал в кабинете почти весь рабочий день, вечером повез к себе домой, познакомил с женой, с ребятами, угощал изо всех сил, ночевать оставлял, но писатель от ночлега отказался, сказал, что еще поработает перед сном, а папка с бумагами в гостинице. Ложась спать, Чибисов мысленно видел, как писатель сидит за столом в гостиничном номере, как бежит по бумаге его перо и льются из-под пера такие слова, которые, когда читаешь, кажутся простыми, обыденными, других и быть тут, думается, не может, а возьмешься сам за перо, куда только они все и деваются, слова эти.

Фамилии писателя Чибисов раньше не слыхал, ни одной книги его не читал, тем не менее преисполнился к нему глубочайшим уважением, приказал пускать писателя в любой цех, отвечать на все вопросы. Уезжая в Москву, писатель долго его благодарил, обещал прислать книгу с надписью. Чибисов несколько месяцев терпеливо ждал — не пришла книга. Что ж, у каждого свои дела, московская жизнь бурная, закрутила автора — и запамятовал.

Заезжие звезды — это были, так сказать, блуждающие светила в заводском небе. Чаще Чибисов общался с редактором городской газеты Бусыриным. Это был журналист-практик, который немало поездил по Советскому Союзу в годы довоенных пятилеток; он переменил в ту пору множество редакций, а после войны основательно осел в здешних местах. С Бусыриным сдружились на охоте, бывали изредка друг у друга в гостях, по телефону перезванивались чаще, но и то главным образом тогда, когда в редакцию поступала жалоба по поводу каких-либо недостатков на заводе. «Ты учти, Антон Егорович, — говорил Бусырин, — если сам это дело не уладишь, придется нам вмешаться». Чибисов знал, что редактор так и сделает, вмешается. Однажды уже осрамил, продернул в газете за волокиту с внедрением двух рационализаторских предложений. И предложения-то были так себе, мелочишки, а шум газета подняла на всю область. Потом еще и в «Правде» это перепечатали — из последней почты.

Бусырин знал о влечении Чибисова к писательству. «Походил бы к нам в литгруппу, Антон Егорович, которая при редакции. Может, польза была бы, а? — заговорил он как-то. — У нас народ серьезный собирается. Даже твои инженеры есть. О рабочих уж и не говорю. Много рабочих, человек пятнадцать. Врачиха ходит, один товарищ из райкома партии — заведующий отделом, учителей несколько. Наши журналисты. Компания, в общем, неплохая, тебе зазорно не будет». — «Не, не пойду. Не с чем. Там ведь, наверно, разбирают, кто что написал? А у меня разбирать нечего. У меня одни намерения. Не, не выйдет. Кому, друг мой, что на земле определено господом богом, тот пусть то и делает».

Пройдя по заводу, Чибисов возвратился в заводоуправление, к себе в кабинет. Редактор газеты Бусырин был легок на помине. Только Чибисов уселся в кресло, раздался звонок из редакции.

— Антон Егорович, здравствуй! — заговорил Бусырин. — Жалуются, дорогой мой, на тебя.

— А на меня каждый день жалуются, Федор Федорович. Привык. Иммунитет приобретать начал.

— Это хорошо, что у тебя такое боевое настроение. Но дело, должен предупредить, серьезное. Один инженер пишет про тебя, Антон Егорович, вот как, послушай: «Если даже оставить в стороне тот факт, что предложение мое имеет огромную ценность и принесет миллионы рублей экономии, нельзя остаться спокойным к тому, как Чибисов обращается с людьми. Я рассказывал ему о своем предложении, волновался, душу изливал, а он тупо сидел в своем директорском кресле, смотрел на меня оловянными, пустыми глазами заевшегося вельможи».

— Постой, так и написано? Заевшийся? Вельможа? Или ты меня разыгрываешь?

— С чего я тебя разыгрывать буду. Не первое апреля. «К счастью, — читаю дальше, — не все у нас такие. Есть люди другого стиля работы. На днях принимал меня секретарь городского комитета партии товарищ Горбачев...»

— Это Крутилич пишет! — перебил Чибисов. — Про централизованный ремонт на доменных печах.

— Точно. Чуешь, значит, вину за собой?

— Чую. Ну и пронырливый малый! Так что он про стиль Горбачева говорит?

— Он говорит так: «Товарищ Горбачев, я видел это, держался за сердце, болен, наверно, но выслушал меня

очень внимательно, сказал, что я полностью прав, что он меня поддержит против заводских бюрократов. Объяснительную записку и все мои материалы оставил у себя, до следующей встречи. Это настоящий руководитель, воспитатель масс, большевик, скромный и чуткий человек».

— А чего же он от редакции хочет, если ему уже обещана поддержка в горкоме?

— Хочет, чтобы мы напечатали его статью. То, что я тебе сейчас читал, только сопроводительная. А еще есть статья. Про централизованный ремонт. Мне она кажется довольно толковой. А вообще, Антон Егорович, что там у вас с этим ремонтом?

— Да мы его года два назад, в порядке опыта, по просьбе домещиков расцентрализовали. И опыт удался. — Чибисов стал подробно рассказывать обо всей этой истории. — Словом, так, — закончил он, — я распоряжусь, мне подымут архив, если хочешь, изучим дело вместе.

— Согласен. Звони, приеду.

Положив трубку, Чибисов нажал кнопку звонка.

— Зоя Петровна, — сказал он, когда вошла секретарша. — Скажите мне... только прямо: глаза у меня оловянные?

— Что вы, Антон Егорович! Вам нездоровится?

— А я сильно заевшийся вельможа?

— Ничего не понимаю! — Зоя Петровна стояла посреди кабинета, подняв удивленно плечи и разведя руки.

— Прикидываетесь. Не хотите начальство огорчать... Ну ладно, бог с вами... Позовите ко мне там кого-нибудь... Кто у нас архивами ведает?

Она так и ушла, с поднятыми плечами и разведенными руками.

8

Константин Орлеанцев в Москву, к Николаю Федоровичу и Захару Петровичу, не поехал. Не пошел он и на участок в цех. Его для начала устроило место инженера в отделе главного технолога. Со своими новыми товарищами по работе он держался просто и вместе с тем с достоинством. Знал он многое и многое умел. В первый же день появления в отделе Орлеанцев так составил одну очень важную бумагу, что главный технолог показывал ее всем инженерам, приглашая их к себе поодиночке.

«Вот это, брат ты мой, голова! — говорил он. — Не голова, а головища! Вот что значит министерская школа!»

На второй день Орлеанцев пригласил двух инженеров в ресторан. Гуляли до закрытия, платил он, участвовать в доле ни за что им не позволил. На четвертый день пригласил еще двоих. И когда разгулялись вовсю — а было это уже среди ночи, — раздобыл где-то моторный катер, катались во тьме, в пене и брызгах. Молодые инженеры были в восторге от нового сослуживца. Он рассказывал такие истории и такие подробности из жизни их собственного министерства, о министрах и иных руководящих работниках, каких они никогда и не слыхивали. В Москве он был знаком со многими, и не только с министерскими работниками или с учеными-металлургами, но даже с артистами, с художниками, с писателями. «Говорят,— смеялся он, — что один посредственный сочинителишка, заскочивший сюда случайно, очаровал вашего директора? Обождите, не сейчас, через некоторое время, в конце зимы — весной, ко мне в гости приедут, ну как бы вы думали — кто?» Орлеанцев называл имена таких писателей, что у слушателей перехватывало дыхание. Возможно ли? Ведь это почти классики. Их даже трудно представить живущими на земле.

В очередное воскресенье, снова раздобыв катер, Орлеанцев устроил пикник. Ехали вдоль побережья, высадились в тихой бухте, где почти к самому берегу, спускаясь с песчаных обрывов, подступали заросли диких яблонь и груш. Тут увидели, что молчаливый толстяк, сидевший рядом с мотористом, не помощник моториста, как думалось, а повар из ресторана гостиницы. У него в корзинах было все для приготовления шашлыков: баранина, томленная в уксусе и кислых винах, лук, шампуры, мангал, даже дубовые сухие поленья. На разостланных суконных одеялах, сверх которых повар раскинул свежие скатерти из ресторана, выстроились батареи разнообразных бутылок, судки с закусками. Орлеанцев призвал наполнить бокалы, сказал короткое слово. Он сказал:

— Дорогие друзья! Позвольте мне называть вас так, потому что и за эти немногие дни я увидел в вас хороших, честных, дружелюбных людей, которые много, очень много работают. Итак, дорогие друзья! Говоря откровенно, скучно мы живем. Не умеем веселиться.

— Верно! — крикнули сразу двое.

— Мы говорим и рассуждаем только о работе и о работе... — продолжал Орлеанцев.

— Тоже верно!

— Вот мне и хочется вас призвать: отбросим эти служебные разговоры, эти служебные думы. Будем самими собой. Будем крепить дружбу, потому что дружба — самое драгоценное у людей. За дружбу, друзья!

— За дружбу! — закричали все, звеня бокалами.

Вскоре появились и шашлыки, они аппетитно пахли и были вкусные. Некоторые из участников пикника вообще впервые ели такие кушанья. Всем все нравилось, все хвалили. Шумели. Думали о том, как здорово живут в Москве. Эх, Москва! Какие там люди! Какой размах!

Орлеанцев спокойно, с неизменной своей слегка иронической улыбкой, от которой казалось, что он не то поощряет человека, не то отечески журит его за что-то, руководил пиршеством. Сам он пил, пожалуй, больше других, но держался прекрасно — умел пить, пил легко, тоже сказывалась какая-то школа.

Назавтра у многих в отделе главного технолога трещали головы от непривычных вин, но рассказы о проведенном дне были самые восторженные.

— Простите, Константин Романович, — обратился к Орлеанцеву один из инженеров, — простите за нескромный вопрос. Ведь этот... пикник-то... денег стоит.

— Вы хотите знать, где я беру деньги? — Орлеанцев улыбнулся и, шагая рядом по коридору, дружески обнял инженера за плечи. — Только что вышел сентябрьский номер... — Он произнес название одного литературно-художественного и общественно-политического журнала. — Там моя большая статья. Не статья, вернее, а серия очерков-раздумий — «Записки инженера». Я размышляю о путях перестройки руководства промышленностью. На примерах из нашей практики доказываю, что дело не в сокращениях аппаратов: можно сокращать, можно не сокращать — большого эффекта это не даст. Надо идти по линии более узкой специализации руководящих органов — и самих министерств, и их главков. Чтобы руководство было и конкретней и квалифицированней. Как вы считаете?

— Безусловно, так!

— Вот и деньги, — неожиданно закончил Орлеанцев. — Получил гонорар, несколько тысяч. А я не скряга,

рад посидеть с товарищами. Мне, знаете, и рубля не накопили строчки, как писал Маяковский. Краснодеревщики не слали мебель на дом...

Побывал Орлеанцев в редакции городской газеты, познакомился с Бусыриным, побеседовали о новом в технике, о Москве. Орлеанцев сказал, что редакция не слишком, правда, часто, но может рассчитывать на него как на автора. И здесь он пообещал, что к нему в гости приедут знаменитые писатели. «Было бы замечательно! — обрадовался Бусырин. — Для нашей литгруппы это стало бы переломным этапом — встреча с такими мастерами пера. Слушайте, устройте ее нам — и я ваш раб навеки». Орлеанцев сказал, что пусть Бусырин не сомневается — не зимой, так к весне гости приедут непременно. Долго пробыл он в промышленном отделе газеты, разговаривал с заведующим, с двумя сотрудниками, интересовался, на каком счету у руководящих городских организаций завод, его директор Чибисов, некоторые из ведущих инженеров. Ему подробно рассказывали. Он листал подшивки, делал выписки в блокнот.

Встретив на заводском дворе секретаря директора Зою Петровну, высокую блондинку лет тридцати с небольшим, он подошел к ней, поздоровался как с доброй знакомой. Хотя он только один раз был у директора, Зоя Петровна сразу же узнала и вспомнила его умные усталые глаза, его благородную преждевременную седину, спокойную, основательную осанку человека, уверенного в том, что в жизни все будет только так, как надо ему, что иначе просто и быть не может.

— Сегодня мы идем в театр, — сказал он, пожимая ей руку.

— Сегодня я не могу, — ответила Зоя Петровна растерянно.

— Значит, завтра.

— И завтра не могу.

— Тогда когда же?

— Вот затрудняюсь... — Зоя Петровна и в самом деле испытывала величайшее затруднение. Разговор сразу пошел так, что уже трудно отказаться наотрез, трудно удивиться такому приглашению и каким-то острым и точным словом наметить определенную дистанцию между собой и этим человеком. Дело, оказывается, теперь просто в сроках — завтра или послезавтра. — Очень затрудняюсь, — повторила Зоя Петровна. — Много работы.

— Хорошо, — снова мягко и нежно пожав ей руку, сказал он. — Приму все заботы на себя. До свиданья.

Через несколько дней Зоя Петровна нашла на своем столе конверт и в нем один театральный билет. Она знала, что это означает. Это означает, что второй билет у Орлеанцева и они должны встретиться в театре. Билет был на такой день, когда вечер у нее совершенно свободен, ничем не отговоришься, — на субботу.

«Кошмар какой-то», — подумала Зоя Петровна. Она не знала, что и делать. С какой стати она должна идти в театр с этим совершенно незнакомым ей человеком? Но, с другой стороны, если не пойти, не будет ли это смешной и глупенькой провинциальщиной: видите ли, барышня отказала, чтобы только где-то чего-то о ней не подумали.

В конце концов, измученная колебаниями и сомнениями, напридумывав уймищу отговорок и все их отбросив, Зоя Петровна отправилась в театр. Орлеанцев ожидал ее возле входа. Он был одет с тщательной небрежностью, от него слегка пахло духами, непохожими по запаху ни на какие известные Зое Петровне. Он был весел, предупредителен.

На счастье, в театре не оказалось никого из знакомых. Повеселела и Зоя Петровна.

Смотрели новую пьесу бесталанного, но очень ловкого драматурга. Он умел щекотать нервы зрителей. По ходу спектакля из действия в действие обижали хорошего человека. Обижали его все: и партийная организация, и профсоюз, и руководство учреждения, и отдельные скверные личности, он барахтался в житейском море, вызывая жалость зрителей, а у некоторых из представительниц слабой половины человечества, сидевших в зале, даже и слезы.

— Знаете, — сказал Орлеанцев, когда окончилось третье действие, — а этот Гуляев, который главного героя играет, актер незаурядный. Вы не знакомы с ним?

— Что вы! — Зоя Петровна даже закраснелась, так трудно ей было представить себе, что она могла бы оказаться знакомой известнейшего в городе актера.

— Тогда после окончания спектакля сразу же отправимся за кулисы, поздравим.

— А вы его знаете?

— Первый раз вижу. Но это не имеет значения, дорогая Зоя Петровна.

Закончился спектакль тем, что хороший человек выстоял перед несправедливостями, жена и дочь радостно обнимали его на авансцене, он стоял с гордо поднятой головой, устремив взор на галерку, которая, как высь небесная, должнствовала изображать собою его светлое будущее.

Гуляев снимал грим, когда они вошли в клетушку за сценой.

— Простите, Александр Львович, — сказал Орлеанцев, протягивая ему обе руки. — Простите, но мы не могли не зайти к вам. Большое спасибо за то удовольствие, какое вы доставили. Чудесная игра!

— Очень рад, очень рад, — ответил Гуляев довольно безразлично. — Присаживайтесь.

— Мы на минутку. Мы надеемся на то, что вы не откажетесь поужинать с нами.

— Поужинать? Где же?

— Где пожелаете. Можно в «Спартаке». Можно в «Чайке». Можно до «Поплавка» доехать.

— Дрянью кормят, друзья мои.

— Обещаю вам, что на этот раз будет лучше.

Гуляев задумался. Пока он раздумывал, Зоя Петровна в некотором смятении рассматривала Орлеанцева. Ее потрясало, как запросто обращается он к артисту, как легко пригласил его ужинать. Но было и тревожно оттого, что ее-то согласия он не спросил; она бы непременно отказалась, если бы спросил. Теперь это было ужасно трудно сделать — отказаться. Гуляев, судя по всему, вот-вот согласится, а она вдруг в это время заявит, что не пойдет с ними. Получится неловко и некрасиво. Просто даже плохо получится. Ну, а если она отправится с двумя мужчинами в ресторан, чем это ей грозит? Во-первых, неизвестно, что о ней подумают и Орлеанцев и Гуляев, — ведь уже двенадцатый час. Во-вторых, стыд-то какой будет, когда об этом узнают на заводе, особенно если узнает Антон Егорович. Будь бы Гуляев и Орлеанцев ее старыми приятелями или хотя бы хорошими знакомыми. А то с первой встречи — и в ресторан!

— Хорошо, поедемте. — Гуляев не дал ей додумать ее думы и принять какое-нибудь свое решение.

Взяли такси, отправились в «Чайку» — на холм, с которого днем или в лунную ночь видны и город и море. Но этой ночью в море была полнейшая темнота, оно

сильно шумело. Над городскими крышами начинался меленький затяжной дождишко.

Народу в ресторане было много. Но для Орлеанцева, который сразу же отыскал администратора, вынесли запасной столик. Без промедления появился официант. Даже шеф-повар вышел в зал, поздоровался с Орлеанцевым, как со старым почетным посетителем. Не глядя в карточку блюд, Орлеанцев называл закуски, вина, кушанья. Шеф понимающе кивал: «Можно. Постараемся». Официант записывал. Гуляев начал оживляться. «А там эту осетринку по-монастырски сделать не можете, с грибочками?» — спросил он. «Отчего же, можно и осетринку. Подождать, правда, придется».

— Когда-то, когда-то, — будто оправдываясь, говорил Гуляев после того, как заказ был принят, — любил я когда-то вкусно поесть. Эту осетринку по-монастырски лет двадцать назад умели делать в «Астории» в Ленинграде, в московском «Гранд-отеле»...

Закуски и вино принесли быстро. По рюмке выпили, Зоя Петровна тоже выпила. Стал завязываться разговор.

— Прекрасный у вас город, — сказал Орлеанцев. — Нисколько не жалею, что переехал сюда из Москвы.

— Вы из Москвы? — переспросил Гуляев. — На какой же предмет сюда? И надолго ли? Какие свершать свершения?

— Думаю, что надолго. Я на завод приехал. Инженер. — Орлеанцев рассказывал о том, что собирается внести новое в технологический процесс выплавки металла, изменить кое-что в этом процессе. Жесты его были широки, мысли крупны, государственны.

Выпили по второй рюмке, по третьей. Зоя Петровна от третьей, правда, отказалась. Не настаивали. Разговор шел уже об искусстве, о театре.

— Как вы чудесно играете! — воскликнула Зоя Петровна, обращаясь к Гуляеву. — Я даже прослезилась.

Гуляев грустно покачал головой.

— Вы хвалите, а я, милая женщина, от той роли, которую играю, тоже готов слезы лить. Не моя это роль, и вся пьеса не для меня. У меня бас, друзья уважаемые, бас! А я тенора играю, тенора. Бывало... да, бывало...

Он пустился в воспоминания. Зое Петровне все было очень интересно. Она не отводила глаз от Гуляева. Орлеанцев, улучив минутку, даже шепнул ей: «Ревновать начну, учтите». Она улыбнулась, тронула рукой его руку: не

надо, мол, ревновать. Ей было странно, что, попав в такую непривычную, неожиданную, даже просто невозможную компанию, она не чувствует стесненности, ей здесь совсем не трудно. Видимо, потому, что и с ней держались без пошлых, подчеркнутых ресторанных ухаживаний, когда «кавалер» или «партнер», переступив порог ресторана, впадает в какой-то унылый шаблон. Начинается с того, что карточка кушаний забирается у подошедшего официанта и подается тебе, женщине, со словом: «Даме». Бродишь глазами по названиям, ничего не можешь сообразить. Все равно оканчивается тем, что заказывает мужчина. Вино или воду тебе в рюмку или в бокал «партнер» нальет не просто, а сначала отлив из бутылки немножко себе. Счет он не показывает, торопливо сует деньги официанту, делая косвенные и нелепые знаки, обозначающие, что сдачи не надо, не надо. Официант кланяется, говорит: «До свиданьица» — и невнятно бормочет что-то вроде «двадцать — семьдесят», из чего должна возникнуть иллюзия имени и отчества. Зоя Петровна не часто бывала в ресторанах, но всегда видела одно и то же, повторяемое за десятками столиков.

С Гуляевым и Орлеанцевым все было иначе. Никаких этих глупых правил они не соблюдали, вели себя как дома, очень просто. Зоя Петровна не была тут объектом «ухаживания», она была таким же человеком, как и они. Их за столом, как сказала она себе, было трое, а не два с половиной.

— Вы человек, надо полагать, бывалый, — сказал Гуляев Орлеанцеву. — Если судить по тому, как пьете. По-старинному пьете, без глупостей.

Орлеанцев пропустил это замечание мимо ушей.

— А вы, пожалуй, правы насчет баса и тенора, — сказал он. — У вас дарование трагедийное, оно не для бытовых картинок. Вожаков вам изображать, а не обиженных. Но это значит, что играть вам только в пьесах на темы из истории — дальней или ближней, но истории. Где сейчас такие вожаки, которые под стать вашему таланту? Вожаки появляются на крутых исторических поворотах, в годы великих испытаний для народов и государств. У нас все идет планово, сейчас наш вожак — план. Мы сами изрядно выросли, и если план будет хорошо, тщательно продуман — никакой нужды в вожаках и нет. И играть вам, следовательно, Александр Львович, людей прошлого или вот обычных, средних тружеников совре-

менности, со всеми их горестями и радостями, со всем бытом и текучкой. Такие времена! Оттого, что наше общество, в котором мы все взаимно воспитываем друг друга, нивелирует человека, — от этого не уйдешь.

— Позвольте! Вы что же, чувствуете себя снивелированным? — удивился Гуляев. — Вы, может быть, даже считаете, что ничем не отличаетесь вон от того рыжего балды, который бушует там в углу за столиком, хамя официанту?

— Ну зачем так упрощать, Александр Львович! — Орлеанцев, улыбаясь, наполнил рюмки. — Я говорю о процессе, о тенденциях, а вовсе не о том, что этот процесс уже завершился роковым образом и как-то отражается на нас с вами. На наш век индивидуальности хватит. А в далекое будущее заглядывать не стоит.

— Лучше почаще заглядывать в бутылку?

— Мы немножко царапаем друг друга. Но это же начало знакомства, — сказал Орлеанцев. — Надеюсь, оно не окончится сегодняшней ночью. Настоящие знакомства всегда трудны поначалу. — Он все подливал и подливал в рюмки, но Гуляев свою рюмку все время не допивал, и к часу закрытия ресторана оказалось, что пьян из них двоих только сам Орлеанцев.

— Судишь ты обо всем скороспело, молодой еще, значит, но голова у тебя все-таки есть, — заявил Гуляев, когда Орлеанцев, не делая из этого никакой тайны, расплатился. — Куда она, голова эта, поведет тебя, дело, конечно, другое, совсем другое...

Половину дороги проехали на такси, потом шли пешком под мелким, как пыль, дождичком. Снова говорили об искусстве — о театре, о живописи. Гуляев обещал познакомить Орлеанцева с одним художником, симпатичнейшим парнем. Не знавал ли Орлеанцев в Москве Витальку Козакова?

— Слышал, как же! Посредственный, но бойкий. Нюх у него хороший.

— Что такое для художника, для творца прекрасного нюх? — сказал Гуляев, останавливаясь. — Вкус, ты хочешь сказать?

— Нюх, Александр Львович, нюх. В ногу со временем попадать надо. Вот это что. Не отставать. Отсталых бьют.

— Пьян ты, друже, пьян. Или не понимаешь нас, творящих прекрасное. Инженер ты, дорогой мой, в металлах

разбираешься, в творчестве — нет. У ищейки, у гончей нюх ценится, художника он уведет не знаю даже и куда. Дурной ты, брат. На Витальку не возводи напраслины, скажи честно, что не знаешь его, слышал только имя, и не бросайся словами. Виталька мне дорог, понял? Вот познакомлю тебя с ним, сам увидишь, какой он!

Гуляев распрощался, пошел своей дорогой. Орлеанцев взял под руку зябкувшую Зою Петровну. Она насторожилась, ее опыт давно одинокой молодой женщины подсказывал ей, что сейчас начнутся непременные приставания, нудные, однообразные, пошлые, и, пожалуй, впервые за этот вечер со всей остротой пожалела о том, что приняла приглашение Орлеанцева. Ну ладно бы еще в театр — а в ресторан-то зачем потащилась?

Но Орлеанцев к ней не приставал. Он рассказывал о своих поездках в Китай и в Чехословакию. Хмель его, видимо, проходил, глаза в свете уличных фонарей смотрели по-прежнему устало и умно. Нет, это, кажется, был не такой человек, какие встречались Зое Петровне в последние годы, он, кажется, был лучше их, интересней, богаче душой. Как много он всего знал!

— Слушайте,— сказал Орлеанцев, — неужели вас устраивает эта должность: секретарша?

— Не секретарша, а секретарь.

— Это же одно и то же.

— Нет, не одно и то же. Я помощник Антона Егоровича. Вы не думайте, я сижу не только для того, чтобы охранять директора от посетителей. У меня очень много всяческих дел. И не все они неинтересные. Зря вы так говорите, Константин Романович.

— Простите, если ошибся. А этот ваш Чибисов, начальник ваш, он что — большой бюрократ?

— Он очень хороший человек, Константин Романович! На днях спрашивает вдруг: правда, говорит, у меня оловянные глаза? Правда, говорит, что я зажравшийся вельможа? Я так прямо чуть на пол не села: болен, наверно, жар? До того расстроенный был. Потом узнала, что его такими словами один инженер обозвал, в редакцию пожаловался.

— А на что он жаловался, этот инженер, из-за чего?

— Из-за чего? Мы даже из-за этого архивы подымали. Какой-то новый — а на самом деле старый — метод ремонта предложил. Никто им не заинтересовался — вот и пошло. Директор, говорит, бюрократ, вельможа.

— Он откуда, этот инженер?
— Их техникума. Крутилич.
— Бог с ним, — сказал Орлеанцев и принялся рассказывать о том, как однажды в горах Ала-Тау охотился на барса.

Незаметно дошли до дома Зои Петровны. Орлеанцев, к ее страшному смущению, поцеловал ей руку и ушел своим неторопливым шагом человека, который попусту не спешит.

9

В доменном цехе только что закончилось партийное собрание. В числе других вопросов был и такой: обсуждали поведение горнового Ефимушкина. Его в пьяном виде подобрали на улице, и ночь он провел в вытрезвителе.

— Мать похоронил, товарищи, — объяснял Ефимушкин. — Сами знаете. Иду с кладбища, и так на душе темно. Мать-то ведь одна у человека, другой не будет. Взял да и зашел в магазин, купил «поллитрия». Думал, оставлю половину на потом. Не выдержал, точит горе, все опорожнил. Ослабнул, понятное дело, двинуться не могу.

Горновому хотя и посочувствовали, но все-таки вынесли решение — поставить на вид и предупредить, чтобы такого больше не было. «Не позорь наш коллектив», — сказал кто-то из стариков.

Вышли на воздух. Сентябрьский вечер был холодный. Доменные печи, выстроившиеся в ряд над черной водой, грозно гудели в сумерках. По временам над ними вспыхивали багровые отсветы: чугун тек в чугуновозы.

Искра Козакова распрощалась с рабочими и ушла, все еще переживая историю с Ефимушкиным. Эта история напомнила ей то, что случилось с Виталием, когда его так жестоко напоил Гуляев.

Странное вещество водка. Как меняет она человека! Хороший, умный, собранный человек, перепив этой мерзости, становится совсем иным, плетет невесть что, даже сам потом не помнит что; совершает такие глупости, от которых, отрезвясь, со стыда сгорает. Неужели нельзя без нее, без отравы? Неужели нельзя прекратить ее изготовление, продажу? Неужели нельзя о ней позабыть?

Искра вышла за ворота проходной, перешла мост, свернула к остановке автобуса.

— Искра Васильевна! — услышала она уже ставший ей знакомым грубоватый, но мужественно требовательный голос. Да, это, конечно, он. За ее плечом стоял Дмитрий Ершов.

— Честное слово, — сказал он, — сегодня получилось случайно. Тоже автобуса жду. Пробовал катать десятитонные слитки и вот задержался.

— И что же получается? Я о слитках.

— Получится.

— Поздравляю.

— Спасибо. Может, не будем ждать? Пешком двинемся? — предложил он. — Ведь, говорят, люди страдают сейчас от недостатка кислорода: все в помещениях да в помещениях...

Искра, не совсем ясно понимая почему, согласилась не ждать автобуса. Потому, наверно, что было очень холодно на осеннем ветру. Пошли пешком. Говорили о слитках в десять тонн, об условиях, необходимых для успеха работы с ними. Искра знала не только доменное дело, но все металлургическое производство, весь процесс выплавки и обработки черных металлов. Разговор у них шел профессиональный. Потом Дмитрий рассказывал о том, как он впервые пришел на стан, как было трудно освоить эту махину — и самому к ней привыкнуть, и ее к себе приучить.

— Скажите, Дмитрий Тимофеевич, — спросила Искра, — только обещайте не обижаться на вопрос: вы тоже пьете?

— А кто еще пьет?

— Нет, я вообще — пьете или не пьете?

— Я, Искра Васильевна, иногда выпиваю, — отчетливо, как на уроке, ответил он. — Но я этого не люблю. Удовольствия в водке не вижу.

— А вы были когда-нибудь так пьяны... Ну, как это вам сказать?

— Был так пьян. Несколько раз. Впервые, когда увидел, какая у меня личность стала. Это еще в партизанском отряде. Два дня не могли поднять меня на ноги. Во второй раз — в армии. Опять по этой же самой причине. И еще раза два — когда домой воротился. Причина, Искра Васильевна, та же.

Искра молчала, искоса, при свете фонарей, под которыми они проходили, рассматривая его страшный — через все лицо — шрам.

— А теперь? — спросила она.
— Что — теперь?
— Пьете?
— Редко. И если выпью, то непременно по какой-нибудь причине. Без причины люди не запивают. Просто, мол, так, для удовольствия.
— Вы думаете?
— Мое убеждение такое. Выпить, верно, можно и без причины. А запить — нет, тут всегда смотри в корень.
— Ну, а если, предположим... Нет, нет, это я так. — Искра шла и думала о том, что Дмитрий Ершов, пожалуй, прав. Вот пьет артист Гуляев. С чего? Он сам сказал Виталию, что его не удовлетворяет работа, что ему дают не те роли, что он тоскует по настоящим характерам. И кроме того, — а может быть, это и самое главное, — погибла женщина, мать Виталия, которую он любил. Или Платон Тимофеевич, брат Дмитрия... Живет без жены, которую потерял в войну. Возраст не молодой, снова жениться не легко в таком возрасте. Тоскует.
— Ну, а если, предположим, — все-таки сказала Искра. — Предположим, муж какой-нибудь хорошей женщины, человек, которому дома делают все, чтобы ему было хорошо, уютно, удобно, вот если и он пьет, тогда чем это объяснить?
— Значит, косит что-то в душе, скрывая от этой хорошей жены. А может, и она не такая уж хорошая, как перед собой кажется.
— Нет, нет, все это неверно, неверно! — решительно сказала Искра. — Это распущенность, распущенность, и ничто иное. Если следовать вашей теории, то пьянство неистребимо. Ведь почти у каждого что-нибудь да случается в жизни неприятное и даже тяжелое. Жизнь есть жизнь. Надо учить людей держать себя в руках. Ведь не пустили же мы к себе опиум или гашиш. А эти вещества, говорят, если человек хочет забыться и уйти от тягот и огорчений жизни, куда сильнее водки действуют.
Дмитрий молчал. Искра спросила:
— Вы меня не слушаете?
— Слушаю.
— Я, наверно, надоела вам с этим разговором? Но меня очень беспокоит, когда много пьют. Так хорошо в жизни и без водки, так много радостей. Только ведь их надо видеть, пользоваться ими. Простите, а вам очень мешает в жизни этот шрам?

— Когда-то мне думалось: вот найду того гада, который ударил меня штыком в лицо, не пожалею неделю, месяц, а расщипаю его по кусочкам щипчиками, которые у вас, женщин, для маникюра. Ненавижу их, проклятых, которые приходили сюда убивать нас и калечить. — Он помолчал и заговорил снова: — Но, между прочим, не смог бы я никого расщипывать щипцами, Искра Васильевна. Хвастаю только, не того я воспитания, не того народа. Был у нас случай в отряде, в партизанах. Потеряли мы в бою семерых товарищей: троих убитыми, четверо были ранены. Подобрать не смогли, захватил их враг. Мучили, конечно, страшными муками. Опутали колючкой, подвесили меж деревьев и жгли под ними костры. Нашли мы их... что головни. Клялись отомстить страшной местью. Такой, какой на свете еще и не бывало. Да... В новом бою нам повезло — захватили одиннадцать гитлеровцев, допросили. Выяснилось — виноваты в мучениях наших товарищей. Командир отряда, шахтер-донбассовец, и говорит: «Разделитесь на группы, ребята, берите этих гадов поштучно, и кто какую казнь придумает, такой и казните врагов рода человеческого». Что же вы думаете, Искра Васильевна? Устроили мы суд как полагается, да и присудили их всех именем советского народа к расстрелу. Вот и вся казнь египетская. Не звери мы, советские люди, не можем живое мучить.

Искра внимательно смотрела в лицо Дмитрия.

— А вы мне казались человеком, который на все способен, чтобы только добиться своего, — сказала она.

— Это совсем другое, — ответил он. — Одно дело — добиваться цели, не сдаваться, быть настойчивым, другое — зверствовать. Они вот зверствовали и ничего не достигли. А мы по-гуманному, а государство-то гитлеровское похоронили.

— Кто же, Дмитрий Тимофеевич, если это вам не очень тяжело вспоминать, кто вас штыком-то?.. Когда, при каких обстоятельствах?

— При самых обыкновенных. Пришли они к нам сюда, вот в этот самый город, осенью сорок первого. Кто из наших заводских поуходил, а кто и остался. Одни не успели, другие еще по каким причинам. Я при отце задержался: думал, уговорю уйти. А он твердит: «Не в том возрасте, чтобы со своей родной земли как заяц бегать». Не только отца не уговорил, а и сам замешкался. А там уже и поздно стало. Сижу с родителями дома, думаю: «Есть, наверно,

подпольщики в городе, как связаться с ними?» Ну, гитлеровцы, в общем, рано ли, поздно ли, пришли, нашли. Прокатчик, дескать? Марш на завод, арбайтать надо, металл выпускать для великой армии. Пошли мы с батей. «Мы им наарбайтаем, — говорит батя, — так наарбайтаем, весь век в пояс кланяться будут». Подходим к заводу, а над воротами уже вывеска: «Штальверке Герман Геринг и К°». Ну, отца на доменные печи, как и был он, отправили, а меня тоже на прежнее место, в цех блюминга, стал восстанавливать. И произошел в цеху такой случай. Заявились раз какие-то два типа с молниями на петлицах, эсэсовцы, значит. То ли пьяные были, то ли нахальство в них через край шло — идут прямо на меня, будто и нет перед ними человека, будто пустое там место. Я стою, тоже вроде отца рассуждаю — не заяц, мол, на родной земле перед каждым трястись. Стою, словом, замер весь. Один меня и толкни в грудь. Я от неожиданности упал. А когда на земле очутился, рука сама подобрала подходящую какую-то железину. Вскочил да ка-ак!..

— Ну, а кто же, кто?

— А уж тут на свисток налетело. Взяли грешного, скрутили. Повели на котлован. Хотел сбежать, припустился было. Да куда же, если руки за спиной скручены? Солдаты догнали. Вот мне один штыком и... Ладно, Искра Васильевна! — Дмитрий махнул рукой. — Не будем об этом больше. Расстрелять расстреляли, а я вот живой и умирать не собираюсь, долго жить буду.

Они не заметили, что уже давно стоят возле дома, в котором жила Искра. Может быть, и еще бы простояли на холоду, но подошел Виталий. Откуда-то возвращался.

— Искруха! — сказал он, обнимая ее за спину. — Пошли домой. Ты что, только с завода? Так поздно собрание окончилось? Прозаседаетесь! А это кто с тобой? Знакомь. — Он был весел, улыбался во все лицо.

Искра назвала ему Дмитрия, а Дмитрию представила Виталия, сказав: «Муж».

— Пошли к нам, товарищ, — пригласил Виталий радушно. — Что-нибудь в наших запасах найдется. А, Искруха?

— Я спешу, — решительно отказался Дмитрий. — Меня ждут дома. — Он попрощался и ушел своим твердым, широким шагом.

Никто его, конечно, дома не ждал. Ждать могли только в субботу, а был четверг. Но ему не хотелось видеть

мужа инженера Козаковой. Может быть, этот муж чудеснейший человек, лучше, как говорится, и на свете нет, все равно ни знакомиться с ним, ни в гостях у него сидеть никакого желания не было. Непонятная и беспричинная обида проникала в душу. Странно: откуда она, от кого? Ведь он всегда так гордо говаривал: кто его обидит, тому и жизни-то жить до утра.

10

Виталий Козаков не мог пожаловаться на свои дела. Портрет сталевара, который так нравился Искре, у него купили — из Москвы специально приезжал представитель закупочной комиссии. «Рыбака» отобрали на выставку. На стенах комнаты появилось еще несколько новых портретов и пейзажей. Деньги были, настроение работать было. Чего еще желать?

В Москве, особенно в последние годы, Виталий работал без всякой охоты, без радости — просто из необходимости зарабатывать на жизнь. Темы и сюжеты выдумывались трудно. Шел однажды мимо Дома Союзов, была июньская ночь, светало, в окнах дома сверкали огни люстр, слышалась духовая музыка, мелькали белые платья. Спросил у входа, что там происходит. Сказали: общегородской вечер тех, кто окончил школу с медалями. Постоял под окнами, вспомнил свою школу. Хотел подняться наверх, не пустили. Но июньская ночь эта не ушла из памяти. Постепенно, день за днем складывалась картина: какая-то лестница, не главная, не парадная; через приоткрытую дверь, где-то в глубинах здания, в светлом зале видны кружащиеся пары. А здесь, на переднем плане, на подоконнике лестничного окна, комкая в руках платочек, сидит девочка-девушка в коричневом форменном платье. Перед нею, потупясь, стоит паренек. Идет объяснение в последние минуты школьной жизни.

Написал Виталий, постарался, краски положил точные, выразительные. На выставке перед его картиной останавливались, восхищались, ахали: «До чего похоже! Совсем как живые!» Гордился. Потом из Сибири, из Омска, кажется, ему прислали старый журнальчик, за тысяча девятьсот одиннадцатый год. В журнале был рисунок, крупно и в красках воспроизводивший — о ужас! — почти его,

Виталия Козакова, картину. Полутемная лестница на переднем плане, за приоткрытой дверью — сверкающий огнями зал и танцующие. И тоже — не на подоконнике, правда, а просто у стены — стоит девочка-девушка в коричневом платье и перед нею паренек в гимназической курточке. Идет объяснение.

Виталий спрятал этот журнал. Даже Искре не сказал о нем, стыдился. Особенно было обидно то, что он не нашел имени художника под рисунком. Значит, сел кто-то да по заказу редакции, для заработка, за полдня или за день, и сочинил то же самое, над чем он, Виталий, бился несколько месяцев.

В другой раз жарким полднем московского лета шел он по одному из арбатских переулков. В окне ветхого домишка, забравшись с ногами на подоконник, сидела девушка в легком платьице и читала книгу. Девушка была славненькая, миленькая. Виталий сначала так и поступил: умилился при виде ее. Потом представил себе: а как будет выглядеть это чтение на окне, если смотреть на девушку из комнаты, против яркого полуденного света, против солнца? Придя домой, попробовал посадить так Искру. Получалось интересно: богатые светотени, яркие пятна, прямо как у импрессионистов. Записал, пригласил молоденькую натурщицу, стал работать. На полотне тоже вышло броско и ярко.

Но когда картину поместили в выставочном зале, возле нее происходило что-то такое, чего долго не мог понять Виталий. Девушки, подойдя к картине и взглянув на нее, хихикали и быстро шли дальше; парни толкали друг друга локтями, подмигивали, улыбались. Старушки пожимали плечами, старички говорили: «Однако!» Понял Виталий, в чем дело, лишь когда услышал в толпе прямые слова. «Тут не картину смотришь, — говорил пожилой мужчина жене, — а под платье этой девице норовишь заглянуть, так ухитрился посадить ее автор и в такое газовое платьице одел». — «Это один ты так смотришь. От испорченности», — возразила жена. «Ну, понаблюдай, понаблюдай за народом», — сказал он.

Понаблюдал и Виталий. Да, чертов критик был прав: заглядывали под платье. Расстроился, но ненадолго, потому что картина пошла в ход, ее воспроизводили в иллюстрированных журналах, в газетах, выпускали с нею почтовые открытки. На этот раз его уже не огорчило, когда снова кто-то прислал рисунок из старого дореволю-

ционного журнала, и снова очень похожий на картину Виталия. Даже название было такое же: «Полдень».

Не огорчился, но все-таки задумался: почему так получается, почему он повторяет зады? Может быть, потому, что не умеет увидеть новое; может быть, потому, что старое видится и воспринимается легче, оно привычнее. И те, кто в старых журналах работал, и мы — все по одним книгам учились в школах и в институтах, на одних классических моделях и образцах воспитывались, в тесном, постоянном, однообразном кругу вращались и вращаемся.

Он попробовал выезжать на натуру, в Подмосковье. Множилось число перенесенных на картон или на холст тихих речек, старых сосен и опаленных молниями дубов, зыбких мостиков, ржаных нив... «Тускло, тускло, — нервничал Виталий. — Натуралистично».

К ужасу Искры, он с полгода писал женское тело, искал в нем что-то такое, что было бы новым, чего до него никто еще не увидел, что было бы его собственным, непохожим. Переменил несколько натурщиц. В конце концов получилась весьма приятная для глаз, очень тщательно и натурально выписанная крупная женщина хороших форм, которая, закинув руки за голову с разбросанными золотистыми волосами, лежала на черной медвежьей шкуре. Заходя в мастерскую Виталия, приятели подолгу ее рассматривали и острили. Искра эту голую тетку ненавидела до слез. А один старый художник иронически сказал: «Отличная получилась заготовочка, ее куда угодно можно приспособить. Можно объявить Данаей, которая ждет Юпитера. Только надо переложить даму со шкуры на что-нибудь более благородное и в драпировочку, которая позади, пурпурцу подбросить. Можно счесть эту штуку и Венерой на отдыхе. Дать горизонт и холмы олимпийского пейзажа. Молодец, Козаков, молодец!»

Началась полоса новых метаний. Виталий кинулся в поиски пятна, света, солнца. Получалось эффектно. Криво, косо, но ярко. Критики даже стали похваливать его за смелость. Но зрители на выставках проходили мимо его картин довольно равнодушно. Только какие-то тощие плоские девицы застаивались, говоря: «А знаете, тут что-то есть. Он не лишен...»

Но хвалили его все-таки несравнимо меньше, чем ругали. Ругали Виталия за многое: за отсутствие подлинной

жизни в его работах, за схематизм сюжетов, за то, что он не нес зрителю никакой идеи.

Он не мог согласиться с этими нападками. По его мнению, было нелепо и глупо везде и во всем искать идеи и утверждать, что пейзаж — какой-нибудь лес или поле, если художник не поместил среди него парочку мачт высоковольтной передачи, — непременно безыдеен. Виталий озлобился против таких утверждений и требований. Он искал общества художников, которые также не соглашались с тем, что в каждой работе непременно должна быть идея. Один из его молодых знакомых, подвыпив, орал в мастерской у Виталия: «А я хочу писать голых баб, как поступил Витька Козаков! Их плечи, их колени. Я хочу видеть тело во всех его возможностях. Кто мне может помешать в этом?» «Что ж, — сказал тот старик, который иронизировал над «Голой» Виталия. — Пишите. Никто мешать вам не будет, как никто не мешал, скажем, Рубенсу. Только, пожалуйста, если будете это делать, то делайте лучше Рубенса. Не умножайте число подражательных картинок. А если не можете сделать лучше, ищите свое, собственное, новое, чего Рубенс не мог, а вы вот можете. Возможности человеческого тела, говорите? Пожалуйста, посмотрите, что тут сделал Роден, и добавьте свое. Но свое, свое, непременно свое! Например, венгр Штробль явно же соприкасается где-то с Роденом. Но он в эту удивительную лепку человеческого тела внес дух другого времени, чем время Родена, дух новых, социальных явлений, новых идей». — «А, опять эти идеи!..»

Выезд с Искрой из Москвы оказался для Виталия очень плодотворным. Никак не ожидал он этого, никак. Пишется яростно, весело и много. Не говоря о том, что пейзаж пошел на полотно совсем иной, чем тот, примелькавшийся из московских окон, но ведь и на портрет потянуло, чего не было прежде.

На другой день после встречи у подъезда с Дмитрием Ершовым Виталий вспомнил его лицо. Не очень разглядел Дмитрия в полумраке, но и то, что увидел, оставило впечатление. «Ну, должно быть, и характерец у человека!» Он спросил Искру, нельзя ли все-таки пригласить этого ее знакомого к ним домой. Искра отказалась наотрез: «Он такой злой и упрямый, еще поссоритесь. Нет, не хочу и не буду приглашать». Но Виталий уже ощущал тот художнический зуд, который всегда возникал перед интересной работой. Его тянуло к Дмитрию Ершову. Он

пошел на завод, получил пропуск и отправился в цех блюминга.

Сначала он долго смотрел со стороны на то, как работает блюминг — огромнейшее сооружение из неправдоподобно громоздких частей и деталей. Он видел, как из квадратных ям — нагревательных печей или колодцев, прикрытых крышками, — подъемный кран чем-то вроде огромных щипцов извлекал раскаленные стальные слитки, как укладывал их на вагонетку, действующую автоматически, как вагонетка везла слиток по рельсам к рольгангам, опрокидывала его на рольганги и возвращалась за следующим слитком, а первый тем временем отправлялся по рольгангам под валки блюминга, плющился под ними, изменяя форму, вытягивался в длину, превращался в балку — легко, послушно, будто был он из воска и его мяли крепкие, жесткие пальцы.

Потом поднялся по лестницам в кабину, где, сидя во вращающемся кресле, нажимая перед собой на пульте управления рычажки и кнопки, работал Дмитрий Ершов — старший оператор стана.

Старший оператор работал точно, спокойно и легко, будто органист за своей клавиатурой. Валки блюминга были перед ним внизу, за широкими и толстыми стеклами просторной кабины. Каждое движение руки Дмитрия отражалось на валках.

На валках происходило нечто подобное тому, как если бы человек с ладони на ладонь перебрасывал извлеченную из костра картофелину. Слиток кантовался, становился то на одно ребро, то на другое, перекидывался от одной линии валков к другой, уходил под валки, будто его туда всасывала невидимая сила, стремительно возвращался, все меняя и меняя свои формы и очертания, как того хотел Дмитрий Ершов.

— Сколько эта горячая штука весит? — спросил Виталий.

— Семь тонн, — ответил Дмитрий. — Четыреста двадцать пудов. Хотим довести до шестисот.

Дмитрий не узнал Виталия, увиденного однажды мельком, подумал, что он корреспондент газеты, поэтому и говорил о цифрах, об экономическом эффекте, какой может получиться, если перейти на более тяжелые слитки.

Виталий всматривался и вслушивался. В ритме движений Дмитрия — легких и точных — он начинал улавливать музыку его красивого труда. Особенно впечатляло

первое прикосновение слитка к валкам — поток искр, как брызги, как струи, веером летел в стекла кабины, бил в них сильно и трескуче.

Зрительные впечатления дополнялись тем, что рассказывал Дмитрий. Без его рассказа было бы, может быть, так, что человек показался бы Виталию повелителем машины, сильным, умелым, но только повелителем и только этой машины. Слушая Дмитрия, Виталий начинал ощущать, что человек повелевал машиной не во имя простой власти над нею, это было сопутствующее. Нет, он катал огненные слитки во имя чего-то иного, лежащего за пределами цеха, там, в народе, среди народа. Он строил новую жизнь, строил осмысленно, упрямо, устремленно.

Глаз художника видел это. Виталий раскрыл альбом. Стал зарисовывать увиденное. Он лепил из штрихов лицо Дмитрия, волевое, крупное, с чертами резкими и своеобразными. Шрам не мешал видеть эти черты, но вызывал вопросы: отчего, когда, кто? Расспрашивать боялся: люди с такими лицами трудны в общении, откажется, чтобы с него писали портрет, и что хочешь тогда, то и делай.

Дмитрий сначала не обратил внимания на работу Виталия, полагал, наверно, что тот, как и все корреспонденты, делает записи в блокноте. Но потом встревоженно спросил:

— Вы что там?.. Никак, рисуете?

— Наброски, знаете ли. Штрихи.

— Это вы оставьте. Этого не будет. — Дмитрий сказал так решительно и сурово, что Виталий закрыл альбом, спрятал карандаши. Он понял: этого человека не уговоришь и не убедишь. Чтобы все-таки написать его портрет на фоне этих огненных струй, необходим какой-то иной путь.

Он попрощался с Дмитрием и ушел. Снова говорил с Искрой о том, что надо пригласить Дмитрия к ним домой, что если она не хочет сделать так, то он сам это сделает, он уже с ним познакомился в цехе.

Искра отказывалась, и очень настойчиво.

— Странно, — сказал Виталий в шутку. — Вы мне оба подозрительны. Уж не роман ли у вас, граждане дорогие?

Однажды в воскресенье он сказал Искре:

— Искруха, мы идем в гости! Собирайся, милая, и без канители.

— В какие гости, куда? Не хочу я вовсе идти.

— В хорошие гости. Собирайся, собирайся!

— Только бы не к Гуляеву.

— Нет, не к Гуляеву. Это я тебе гарантирую. Остальное увидишь сама.

Убедившись, что Искра в таком деле ему не помощница, Виталий сам напросился к Дмитрию Ершову. Довольно храбро напросился. Сидел возле него на блюминге и долго, подробно расспрашивал Дмитрия о том, как тот живет, где, какой у него домик. И до тех пор расспрашивал, пока Дмитрий взял да и сказал: «Приходите, гостем будете, все и увидите, как живу и где. Только портретов снимать с себя все равно не дам. И не думайте». — «С женой приду», — сказал Козаков. «А с кем хотите. В любой день, когда не работаю. Можете записать адресок».

Дмитрий так и не знал еще, что Виталий Козаков не корреспондент, а художник и что он — муж Искры. Знай Дмитрий это, все было бы, конечно, по-другому. Ни о каких гостях и речи бы не пошло. Но он этого не знал, да и не очень верил, что Козаков к нему придет, и никакого значения разговору не придал.

Воскресным днем Дмитрий сидел возле окна, за которым был виден облетевший вишневый садочек, читал вслух рассказ Чехова. Леля готовила обед и, слушая, весело смеялась.

У калитки застучали скобой. Поднялся, вышел посмотреть. За калиткой стоял тот, кого он принимал за корреспондента, и с ним принаряженная Искра Васильевна.

Дмитрию показалось, что у него что-то неладно в голове и что сердце его уже остановилось, вот сейчас он упадет на землю — и конец жизни.

Но сердце у Дмитрия Ершова не остановилось, он не только не умер, а и все понял. Он сказал: «Прошу, товарищи, входите. Попали своевременно. Скоро обед». У него еще хватило сил посмотреть в лицо Искре Васильевне и заметить изменения, какие происходили на этом лице.

Искра, увидав Дмитрия и поняв, куда ее привел Виталий, на миг побледнела, потом щеки ее вспыхнули пламенем. Она сделала такое движение, будто хотела убежать. Но бежать было поздно. Вместе с Виталием, чувствуя на себе взгляд Дмитрия, она вошла в дом. В душе кипело негодование против Виталия, который устроил такую ненужную встречу.

Дмитрий познакомил гостей с Лелей, назвав ее:

— Леля.

Виталий, который по дороге уговорил Искру зайти в «Гастроном», стал вытаскивать из карманов плаща бутылки и ставить их на стол. Дмитрий будто бы и не заметил этого. Он был рад, что видит Искру, но с чувством радости вновь встала рядом та непонятная обида, которую он испытывал, когда уходил от ее дома, когда впервые увидел Виталия, которого, представляя ему, назвали: «Муж». И еще стояла рядом неловкость оттого, что в доме была сегодня Леля и что Искра встретилась с Лелей. Леля было такое его личное, такое не предназначенное ни для чьих глаз, во что никто не должен был заглядывать.

Дмитрий пытался развлекать нежданных гостей. Он показывал им свои книги. Но таких книг, чтобы удивить гостей, у него не было. Показал хорошее охотничье ружье. Но ни он сам, ни Виталий не были охотниками. Только Искра пощелкала курками. Сказал, что очень жаль, но испортился приемник, а то бы включил музыку. Пригласил в сад, показывал деревья, которые сажал еще его отец. Виталий стал расспрашивать об отце, Дмитрий рассказал всю историю его гибели. Виталий продолжал внимательно всматриваться в лицо Дмитрия, в его фигуру, в каждый жест. Он заметил, что в цехе Дмитрий держался свободней и уверенней, чем дома. «Ничего дополнительного я тут не получу, — подумал он. — Надо продолжать наблюдения в цехе и незаметно, улавливая минуты, работать».

Вскоре Леля позвала к столу. Она была очень рада, что у Дмитрия, у *них* гости. Она старалась сделать все получше и впервые так остро пожалела о скудости Дмитриева хозяйства, из-за чего не смогла накрыть стол, как бы хотелось. Дмитрий откупорил бутылки, принесенные Виталием, но пить отказался: нет и нет, он этого не любит, для него это тяжкая обязанность.

— Ну для знакомства, — не выдержала даже Леля. — Дима, а?

— Не могу.

Леля учуяла что-то неладное. «Может быть, эти гости для Дмитрия нежеланные?» И чтобы хоть как-то уравновесить положение, стала пить сама, почти вровень с Виталием, рюмку за рюмкой.

— Я рыбачка, — говорила она, смеясь. — Я привычная.

Искра чувствовала себя беспокойно. Она боялась, что Виталий напьется. Кроме того, ее очень и очень смущала Леля. Искра понимала, что нехорошо так рассматривать изуродованное Лелино лицо, что это бестактно. Но что же было делать, если как ни старайся не смотреть, а глаза сами смотрят. Она ерзала глазами, получалось искусственно, деланно, плохо, и ей казалось, что Леля прекрасно видит все ее фальшивые старания.

Из четверых за этим столом только Виталий чувствовал себя отлично. Он болтал, рассказывал анекдоты, не замечая того, что над ними никто, в общем-то, и не смеется.

Ощущение Лели, что за столом неладно, все больше обострялось. Она готова была делать что угодно, лишь бы этого не было. Она взяла гитару и стала петь. Это всех отвлекло и немножко разогнало напряжение.

Услышав новый стук в калитку, она кивнула Дмитрию и продолжала петь. Дмитрий ввел в дом Андрея и высокую беленькую девушку. Андрей представил ее:

— Капа.

Было видно, что Капе компания понравилась, она без особых церемоний принялась за еду. С удовольствием слушала Лелины песни и сказала:

— У вас очень хороший голос.

Держалась Капа свободно. Нельзя было этого сказать об Андрее. Андрей смущался. Он не ожидал, что застанет дома такое сборище. Он уступил просьбам Капы показать ей хоть одного из его родственников. Думал, приведет к Дмитрию, покрутятся немного, в сад сходят, да и назад — в кино или еще куда-нибудь. А тут народищу... И не уйдешь теперь.

— Знаете что, — сказала Капа, когда Леля отложила гитару. — А мне можно спеть? Только я на гитаре не умею.

— Пожалуйста, поаккомпанирую, — предложила Леля.

Капа тоже хорошо пела, и когда пела, то стояла возле игравшей Лели. Искра не могла на это смотреть совсем. Она даже закрыла глаза. Так было страшно видеть рядом эти лица — эту красоту и это уродство. Она не могла понять, как случилось, что Дмитрий и Леля сошлись под одной кровлей, оба с такими страшными знаками на лице. Его эти знаки, конечно, не портят. Он мужчина. Но Леля, Леля...

Вскоре Андрей и Капа ушли. Не без труда Искра заставила подняться и Виталия. Дмитрий с Лелей провожали их за калитку.

Искра вела Виталия под руку и думала, думала... Пьяненький, Виталий становился ей неприятен. «Витька, — думала она, — Витенька! Ну собрался бы ты с силами, отказался от этой гадости, если не умеешь себя ограничивать. Не могу же я стать такой женой, которая за всеми столами сидит рядом с мужем и то и дело дергает его за рукав: «Не пей». А ты не должен пить. Если ты будешь пить, может случиться, что другие мне будут нравиться больше, чем ты. А это будет плохо, очень-очень плохо».

11

На третьей печи в смену Андрея произошла авария: вырвало фурму. Фонтан раскаленного газа и пылающего кокса ударил наружу. В несколько секунд площадка возле печи была завалена огненными ворохами. Ревел газ. Свирепые языки пламени вились вокруг трубопроводов, раскаленные вихри разогнали людей. Вороха горящего кокса росли.

Андрей помнил одно: надо немедленно остановить печь. Он ринулся сквозь огонь к отсеку с аварийным штурвалом и перекрыл воздух. Фонтан кокса утих. Но выброшенные груды его кипели белым жаром. Казалось, горит сам воздух в цехе.

Прыгая через огонь, прибежал Платон Тимофеевич. Принялся командовать. Лицо защищал мокрой рукавицей.

В жару, в аду, в полной, думалось, невозможности, отмахиваясь от пламени, тоже прикрывая лица руками, разбросав кокс возле печи, молодые доменщики Андрея ставили новую фурму, заводили сопло, крепили болты...

Думали, минута прошла, а прошел почти час. А когда он прошел, в домну вновь дали воздух, и началось менее сложное, но не менее горячее дело — освобождение пространства возле печи от горящего кокса. Стали обнаруживаться потери. Выяснилось, что двое горновых работать не могут — обожгло. Остальные тоже еле двигаются — перегрелись и надышались газом. У Андрея кружилась голова, во всем теле была такая слабость, что хотелось лечь тут же, где стоишь. Но он не сдавался, бодрил товарищей, говорил что-то, а что — и сам не очень понимал.

Вызвали медицинскую помощь. Тех, которые обгорели, повезли в городскую больницу, а тем, у кого ожоги и подпалины были терпимые, оказывали помощь на месте — смазывали, бинтовали. Кто-то сказал: «Прямо как на фронте... Сестрички вокруг да санитары».

На участок третьей печи пришел директор Чибисов, пришли из цехового и заводского партийных комитетов, из профсоюза, отовсюду. Чибисов распорядился произвести экспертизу, выяснить, в чем причина аварии. Причину найти было совсем нетрудно, специалисты ее обнаружили тут же. Каждый мог подойти и увидеть, что оборвалось крепление, которым колено сопла вжимается в фурменное отверстие. В одной из деталей крепления была старая внутренняя трещина — брак литейного производства.

— Кто же виноват? — спросил начальник цеха.

— Ну кто, кто... Надо искать, — ответил Чибисов.

Андрея отвезли на машине домой. В больницу ехать он отказался, хотя врач настаивал. «Мелочи, — сказал врачу, бодрясь через силу. — Из-за этого валяться по больницам? Что вы, доктор!» Словом, обманул медицину и был этим очень доволен. Дома почувствовал озноб и лег под одеяло. Но одеяло своим прикосновением вызывало боль в теле. Сбросил одеяло — стало холодно. Натянул — снова больно. Стал зло и отчаянно вертеться, подходящего положения так и не находил.

Беспокойство усиливалось еще и оттого, что вечером он должен был встретиться с Капой. Собрались погулять по осенним паркам. Капа сказала, что очень любит ходить по опавшим листьям, они так приятно и успокаивающе шуршат под ногами. И вот она будет его ждать, а он не придет... Нет, этого не может быть, чтобы он не пришел, не может. Когда время приблизилось к условленному часу, встал, оделся...

Капа сразу же увидела его состояние.

— Вы с ума сошли, Андрей! — воскликнула она. — Вы же очень больны. Немедленно идите домой!

Он улыбнулся и, чувствуя, что падает, крепко ухватился за руку Капы. Капа поддержала его.

— Какой глупый человек! — сказала она. — Как можно в двадцать четыре года мальчишествовать? Что я буду с вами делать?

— Не знаю, — ответил Андрей, с трудом удерживая равновесие. Он улыбался с полузакрытыми глазами. — Совсем не знаю. Что хотите. Я вас люблю.

Руки Капы, поддерживавшие его, дрогнули.

— Постойте тут минутку, — сказала она, подводя его к садовой решетке. — Подержитесь за ограду. Я сейчас вернусь. Только не падайте.

Она вернулась в такси. Андрей сидел возле решетки на земле, уткнув голову в колени. Стала его поднимать.

Шофер всякое видывал на своем шоферском веку, его ничто и никогда не касалось. Но тут он не выдержал, помог посадить Андрея в машину. Капа знала, что он думает. Он думал, конечно: «Такая молоденькая, такая симпатичная и вот уже с алкоголиком возится». Но ее это нисколько не заботило и не смущало. Пусть.

Снова Андрей был водворен в постель и накрыт одеялом. Ему было больно, но он молчал. Капа смотрела на него изумленными глазами и волновалась. Ведь это же было, было, он же сказал, сказал, что любит ее, любит. Ведь это же не бред. Он, правда, чувствует себя очень плохо, но он не без сознания, он в полном сознании.

— Вы полежите, Андрей, я скоро приду, — сказала она, одеваясь, и побежала в аптеку. Она накупила всяческих лекарств — и болеутоляющих, и способствующих заживлению ожогов, и снотворных. Их было так много, что карманы пальто оттопырились. Выходя из аптеки, увидела телефон-автомат, задумалась, решила позвонить домой.

— Мамочка, — сказала она, — ты, пожалуйста, не беспокойся, если я приду поздно. Ну, потом, потом все расскажу. Не могу же я так... Из автомата... В общем, не беспокойся. Да, да, все понимаю.

Будущий врач, а пока что беленькая, коротко остриженная девушка впервые в жизни самостоятельно лечила больного человека. Это был ее первый, самый-самый первый пациент.

Андрей был хороший пациент, послушный, не капризный. Он глотал лекарства, которые, по мнению Капы, должен был проглотить, выполнял все распоряжения. Капе очень хотелось, чтобы он повторил те свои слова. Но он их не повторял. Он только сказал с закрытыми глазами:

— Вы мне ничего не ответили.

— А вы меня ни о чем и не спрашивали.

Пришел Дмитрий, который уже слышал об аварии на третьей печи: весь завод шумел об этом. Но что Андрею так плохо, Дмитрий не знал, сказали ведь, что на своих ногах ушел из цеха, перегрелся маленько.

— Ничего, Андрюшка, — сказал он. — До свадьбы заживет. Врач-то у тебя какой мировой!

— Дмитрий Тимофеевич, — сказала Капа. — Теперь и вам придется побыть врачом. Передаю больного в ваши руки. Ночью вы должны его разбудить и заставить принять вот эти порошки. Утром — вот эта мазь. А завтра я сама... Я непременно приду. Это ничего? Я вам не мешаю?

Перед тем как уйти, Капа незаметно для Дмитрия погладила Андрея по щеке. Он оцепенел от ее еле слышного прикосновения.

— Кто она, хотя бы приблизительно, Андрей Игнатьевич? — спросил Дмитрий, когда за Капой хлопнула калитка. — Гулять гуляешь, а родственников в известность не ставишь.

— Учится. В медицинском.

— Помощник смерти, значит, в будущем. А папаша, мамаша у нее кто?

— Партийный работник.

— Это папаша. А мамаша, мамаша?

— Не знаю. Домохозяйка, наверно.

— Ты что, у них не бывал, что ли?

— Нет.

— Что же так? Не приглашают? Может, от тебя, дружище, железом пахнет? Дурень ты, Андрюшка! Большой такой, здоровенный, а все вроде младенца. Поамурничать с ней да то да се, конечно, можешь, если есть такая охота. Но сам не давайся. Слюни не распускай.

— Дядя Дмитрий! — закричал Андрей, садясь на постели. — Не смей, дядя Дмитрий! Не смей так говорить!

— Лежи ты, лежи. — Дмитрий взял его за плечи, но Андрей оттолкнул его и, застонав, повалился на подушку.

У Капы был долгий разговор с матерью.

— Объясни мне все, — сказала Анна Николаевна, когда Капа вернулась домой. — Я давно замечаю твое возбужденное состояние. У тебя от меня секреты.

— Я тебе объясню все. Отец всегда учил меня быть прямой и бесстрашной. Мне думается, он своего достиг. Да, я объясню все. Пожалуйста. Мама, я была сейчас дома у одного очень хорошего молодого человека, которого зовут Андреем.

— Боже! — воскликнула Анна Николаевна. — Капочка!

— Не вскрикивай, мама. Он лежит больной. Его обожгло сегодня при сильной аварии на доменной печи. Он доменный мастер.

— Капочка!..

— Ну что, что — Капочка?

— А у вас?..

— Ну что — у вас? Что, по-твоему, должно быть у нас, мама, если нет никаких *нас,* а есть отдельно *он* и отдельно я?

— А он тебя...

— Не знаю, — перебила Капа. — Может быть.

— А ты?..

— Тоже не знаю. Наверно, да.

— Капочка! — горячо заговорила Анна Николаевна. — Ты же еще совсем ребенок. Не может этого быть. И отец тебя никуда из дому не отпустит. Рано тебе замуж.

— Замуж? — удивилась Капа. — А кто об этом говорит? Я?

— Ну а как же?..

— Мама, ты знаешь мои взгляды. Если я полюблю, я не стану надевать на свою любовь эту пошлую сбрую брака. Ты это знаешь. Я тебе сколько раз говорила.

— Ну, ведь говорить-то что угодно можно. А когда до дела дойдет...

— Ах, мама, нет никакого дела. И я совсем не знаю, что со мной. И не будем, не будем... Я тебе все объяснила. Была прямой и правдивой. И пусть отец этому радуется.

— Чему это я должен радоваться? — спросил Горбачев, входя. — Устал сегодня чертовски. На заводе был. Авария там случилась. Печь простояла. Металл недодали.

— Главное, люди пострадали, папа.

— А ты откуда знаешь, коза?

— Ах, Ванечка... — только и сказала Анна Николаевна.

— Да ты, никак, плачешь, Нюра? Да что это у вас тут?

— Папа, я сейчас рассказывала маме о том, что провела сегодня несколько часов возле постели пострадавшего от этой аварии мастера доменного цеха Андрея Ершова, — твердо и отчетливо выговорила Капа.

— Вот видишь, уже и лечить начинаешь людей. Молодец!

— Ты не понял, Ваня. У нее с ним отношения...

— Что значит — отношения? — Улыбка сошла с лица Горбачева. — О чем вы тут говорите?

— О том... Гуляют они... Так это называется или уж нет?

— Это верно, Капитолина?

— Да, папа, верно.

Горбачев сел на стул, побарабанил пальцами по столу.

— И что же будет? — спросил.

— А я не знаю.

— Давно это?

— Месяца два.

— Ты у него бываешь?

— Сегодня второй раз.

Горбачев снова долго барабанил пальцами, нахмурив брови и смотря в пол.

— А почему к нам ни разу не привела?

— Папа, можно, я не буду отвечать на этот вопрос? Позволь не отвечать. Потому что, если будешь настаивать, я, конечно, отвечу, и тебе будет неприятно.

— Если так, то тем более должна ответить. Настаиваю.

— Хорошо, — сказала Капа, подымая глаза на отца, глядя ему в лицо открыто и прямо. — Из-за милиционера.

— Что-то не понимаю.

— Из-за милиционера, говорю. Который у нашего дома стоит.

Горбачев достал портсигар.

— Ты же на ночь не куришь, Ваня, — запротестовала Анна Николаевна.

Он не слышал, вынул папиросу, медленно размял ее в пальцах, закурил.

— Ну и чего ты от меня хочешь?

— А я от тебя, папа, ничего не хочу. Просто мне стыдно приводить к нам Андрея, потому что он живет в мазанке, у них там все по-человечески, тепло и дружественно, замечательные, милые люди. А у нас на него будет коситься милиционер.

— Что же, по-твоему, я сейчас пойду и зарежу его, этого милиционера? Что с ним делать? Не я его сюда поставил. Еще до меня так было.

— Не знаю, папа, как тут было, только Андрея у нас в доме не будет. Он даже не знает, где я живу. Он провожает меня до Морской.

— Может быть, он не знает даже, кто твой отец? — спросил Горбачев.

— Прости, папа, но действительно не совсем знает. Я сказала только, что мой отец — партийный работник.

— Положеньице! — Горбачев поднялся, стал ходить по комнате, время от времени дергая плечами и усмехаясь: «До чего же ты глупая, доченька».

— Ты сам меня учил вот с таких пор, — Капа показала рукой на полметра от пола, — учил, что большевика украшает скромность, что главное для человека — простота во всем. Разве я не такой выросла? Разве я требую от тебя шикарных одежд, как другие девчонки, заграничных нейлонов, бриллиантовых колец? На курорты, здоровая, прошусь?

— Чего нет, того нет, Капитолина. Признаю. Тут ты молодчинище.

— Ну вот, если сказано «а», то надо говорить и «б», папа. Я многое от тебя взяла, беру и буду брать. Но кое-что, наносное, — мне этого не надо. Не обижайся.

— А что это такое — наносное, интересно бы знать?

— Капитолина! — сказала Анна Николаевна. — Не волнуй отца. Это безобразие. Затеяла нелепый спор.

— Нет, нет, пусть говорит, — перебил Горбачев. — Это очень и очень интересно.

— И буду говорить. Например, ты совсем бросил заниматься физкультурой.

— Это правильно! — засмеялся Горбачев.

— Нет, не правильно. Сердце ослабнет и уже не сможешь выдерживать физическую нагрузку. Ты даже пешком ходишь редко. Был ты хоть раз в городском саду? Нет! На пляже? Нет! Просто на базаре? И то нет! Обо всем ты судишь по протоколам, по сводкам...

— А вот был же сегодня на заводе.

— Случилось несчастье, и был. И то вокруг тебя, наверно, толпа сопровождающих ходила. А ты бы вот один, один... Понимаешь, один? Я так хочу пойти с тобой погулять по улицам, по берегу, там очень хорошо ходить вечером по песку. Под руку бы пошли, как бывало. И не в этом доме какого-то купца жить, а в квартире, в такой хорошей, обыкновенной квартире, где соседи по лестнице есть, которые здороваются с тобой утром, о погоде говорят: хорошая или плохая. Разве бы тебе этого не хотелось?

Горбачев поглаживал шею рукой. Девчонка во многом была права. Жил он, конечно, не совсем как бы надо. Но ведь на все своя причина. Замученный он человек, вре-

мени на себя остается у него до крайности мало. Почему везде и всюду летит в машине? Чтобы поспеть, не опоздать, сэкономить пять — десять минут. Почему не пойдет гулять на пляж? Потому что приезжает домой усталый, полежать хочется. Почему не тянет его вечером к людям? Потому что и так от них устает за день: весь день всё люди, люди, люди... Всем что-то надо, каждый чего-то требует. До войны он немножко играл на рояле, теперь бросил. Занимался фотографией, тоже бросил. Все свое домашнее позабросил.

— Ну говори еще, — сказал он, видя, что Капа умолкла. — Лупи меня, не жалей.

— Не буду, — ответила Капа. — Больше ни слова. Ты сам все прекрасно знаешь.

Они разошлись по своим комнатам. Было поздно. Лежа в постели, Капа думала об отце и об Андрее. Когда-то и отец был ведь таким, как Андрей, именно таким он представлялся Капе по его и маминым рассказам. Только отец больше занимался общественными, революционными делами. Но и Андрей своими доменными делами занимается с таким же стремлением. Как-то он, бедный, бесстрашный, сильный, чувствует себя? Выполняет ли его дядя Дмитрий ее, Капины, распоряжения? Только бы дождаться завтрашнего дня: после занятий она немедленно побежит к Андрею...

Дмитрий распоряжения Капы выполнял хорошо. В два часа ночи он заставил Андрея принять ее порошки. Ни Андрей, ни сам Дмитрий в этот час еще не спали. Проведать Андрюшку пришел Платон Тимофеевич. Он страшно ругался.

— Ты, Дмитрий, пойми, — буйствовал он. — Я чуть не из люльки к печам пошел. Мне их не знать — как же! А тут, видишь ли, говорят: «Товарищ Ершов, обер-мастер — практик, поднатаскался, поднаторел, слава ему за это. Но дорогу людям с образованием, с дипломом. Иначе еще не одна история вроде сегодняшней будет». Вот ведь до чего, подлецы, доходят: практик! Тридцать восемь лет металл даю стране, подсчитал бы кто — сколько это будет. Гора! А они — практик!

— А почему на тебя все валят, дядя Платон? — спросил Андрей. — На моем участке, моя смена, — я и в ответе. А у меня диплом есть. Я не практик.

— Тебя в расчет не берут. Ты цыпленок.

Платон Тимофеевич домой не пошел, остался ночевать в отцовской мазанке. Андрей слушал, как посапывают его уснувшие дядья. Они были не очень-то ласковые, грубоватые, но справедливые. Они его вырастили без отца, без матери, выучили, он всегда им был как сын, поставили на ноги, дали специальность, профессию, хорошую профессию, замечательную. Он снова подумал о Капе, о том, что надо ее сводить в доменный цех, ей понравится труд Андрея, она не из барышень, она настоящая, не зря отец у нее — партийный работник. Андрей потирал щеку, которой коснулась ладонь Капы. То ли ему только чудилось это, то ли он и в самом деле все еще чувствовал запах ее духов. Андрея огорчало, что Капа, кажется, не расслышала вырвавшихся у него слов о любви. Или не поняла, о чем он.

Ему хотелось, чтобы она всегда-всегда была с ним. Если бы это могло случиться, он бы жил, учился, работал и был таким, чтобы она никогда не раскаялась в своем выборе, чтобы гордилась своим Андреем. Со временем он станет обер-мастером вроде дяди Платона, и о нем тоже будут писать в газетах и журналах. А она станет лечить людей; может быть, в заводскую больницу поступит...

Чудесная жизнь виделась Андрею впереди. Ее было там очень много, этой чудесной жизни.

12

Константин Орлеанцев, подняв воротник осеннего пальто и глубоко запрятав руки в широкие карманы, сидел на влажной скамье в завечеревшем городском саду. Он откинулся на выгнутую спинку, покачивал ногой в крепком ботинке на толстой подошве. Рядом с ним, ежась в холодном синем макинтошике, коротком и куцем — не по росту, бочком пристроился лысоватый, с блуждающим, беспокойным взглядом человек лет сорока пяти. Орлеанцев отыскал его в техникуме, сказал, что давно хочет с ним поговорить, вывел на улицу и вот второй час таскает по холоду.

— Я уже вам сказал, Крутилич,— Орлеанцев рассматривал свой ботинок, — я не раз говорил это и другим, что ваш проект мне лично нравится и представляется весьма

ценным. Во всяком случае — заслуживающим серьезного внимания.

— Вот! А они похоронили! — Крутилич дернулся на скамейке, будто хотел вскочить.

Орлеанцев смотрел на вытащенный поверх пиджака воротничок его грязноватой рубашки, на перхоть, запорошившую плечи макинтоша, на синюю кожу открытой шеи, обсыпанную зябкими пупырышками. По лицу Орлеанцева, как всегда, бродила безразлично-насмешливая сонная улыбка.

— Кто — они? — спросил он.

— Начиная от Ершова, обер-мастера доменного цеха. Он первый отверг мое предложение. Потом директор, Чибисов. Был я даже у Горбачева, у первого секретаря горкома партии. Принял — прямо обворожил. А что сделал? Ничего. В редакцию ходил. Тоже ничего. Правды у нас нет, Константин Романович.

— Ну это вы уже горячитесь.

— Чего мне горячиться? Всю жизнь хожу по мукам. У меня шестнадцать патентов на различные изобретения, на усовершенствования, на улучшения. Ни один не смог пробить, продвинуть в производство. За границей я стал бы миллионером. А сами вот жиреют... Вы простите, что так говорю. Но я всегда голодный. Я получаю гроши, полставки в техникуме.

— Почему же это? Почему не пойдете в другое место? — Орлеанцев заинтересовался.

— Другое место? Меня не любят, Константин Романович. Я прямой человек. Я всю жизнь борюсь за правду. Ну и вот...

— Что — «ну и вот»?

— Увольняют. Неудобный я человек, беспокойство вельможам доставляю. Уж обязательно придумают, как от меня отделаться.

— Знаете что, — сказал Орлеанцев. — Пойдемте-ка да пообедаем. Я тоже с утра не ел. Ко мне в гостиницу, в номер, а? Я ведь все еще в гостинице живу. Чертовски дорого. А заводской дом, говорят, только к Новому году будет готов.

— Не знаю. Мне там ничего, в этом доме, не причитается. Я в крысиной норе живу. Комнатушку снимаю у одних стариков.

Официантка, вызванная Орлеанцевым в номер, принесла с собой карточку блюд. Орлеанцев сказал Крутиличу:

— Выбирайте, пожалуйста.

Тот читал названия всех кушаний подряд, глотая голодную слюну. Лицо у него было скуластое, обтянутое сухой, тощей кожей, плохо выбритое, не то желтое, не то синее — не понять. Он назаказывал блюд, в которых было много свинины, капусты, картошки. Потом, разговаривая вполголоса, заказал что-то и Орлеанцев. Он сказал официантке:

— Только поскорей, дорогая, не то умрем с голоду.

Вскоре появился графин с водкой, были расставлены на столе закуски. Орлеанцев наполнил рюмки, произнес тост за успешное внедрение в жизнь предложения Крутилича. Выпив, он добавил:

— Это может вам принести добрую сотню тысяч рублей.

— Сотню тысяч?! — Крутилич взглянул на него шальными глазами.

— Ну, а что же вы думаете? Конечно. Только за нее, за эту сотню, придется побороться. Препятствий будет немало. Надо уметь пробиваться через них.

— А я вот не умею. — Крутилич поглощал закуски, в пищеводе у него при каждом глотке слышался писк. Не дожидаясь приглашения, он сам налил себе в рюмку и выпил. — Меня сомнут.

— Нельзя даваться. Будьте сильнее. А вы знаете, что такое сотня тысяч! Это, во-первых, вы будете хорошо одеты. Во-вторых, не эти жалкие провинциальные «салатики» и «селедочки» будете вы есть на закуску, не солянки и свиные отбивные. Вы сможете уехать в Москву, и там к вашим услугам всё. Кабинеты «Арагви»... Официанты «Гранд-отеля» в особом гардеробчике сами принимают от вас шубу... Вы приглашаете друзей... В Москве, знаете, сирены водятся какие, друг мой!

Крутилич оживился, с его лица сошло выражение сосредоточенной одержимости, он даже стал улыбаться.

— Верно? Это вы не шутите? — то и дело переспрашивал он Орлеанцева. Он ел и пил без остановки. Быстро хмелел. — Но как, как бороться? — настаивал он. — Как стать сильнее их? Рука руку моет. Они защищают друг друга. Редакция даже статью мою не напечатала. А почему? Потому что директор Чибисов и редактор Бусырин — приятели. Разве приятель подымет руку на приятеля?

— Вижу, вы действительно, Крутилич, настрадались. Так резко обо всем судите.

— От меня жена ушла, не выдержала такой жизни. С женщиной познакомлюсь, угостить ее не могу, цветок купить. Сам норовлю десятку выцарапать. Это же что? Это же какое падение! А говорят — все дороги открыты, простор творчеству. Совершенствуйтесь, развивайте свои таланты. Одни разговоры.

— Ну почему? Я, например, на свою судьбу не могу жаловаться, — все с той же ленивой усмешкой сказал Орлеанцев. — Я у женщин десятки не выцарапываю.

— Вам повезло. Вытащили счастливый билет. Ни у кого из них не встали еще на дороге. Хотя как сказать... А почему вы здесь оказались, почему покинули свою хваленую Москву? Молчите? Нет, дорогой Константин Романович, вы их не защищайте!

Крутилич бушевал, порывался вскочить с гостиничного дивана, к которому был придвинут столик. Может быть, он хотел порасхаживать по номеру, насытившийся и отогретый. Но встать он уже не мог. Он разомлел. Орлеанцев видел, что еще немного, и его гость совсем раскиснет, уснет в номере, и тогда хлопот не оберешься.

— Думаю, что мы должны пройтись, — сказал он. — Освежимся, а потом еще продолжим. Вся ночь в нашем распоряжении.

Крутиличу не хотелось уходить, но Орлеанцев был настойчив.

— Нужен свежий воздух, нужен кислород, — говорил он, подавая гостю его макинтош, его заношенную, в потеках, неопределимого цвета шляпу. Он выспросил у Крутилича адрес и, будто бы гуляя, вел его домой. Перед хибарой в глубине одного из дворов, куда их привел этот адрес, Крутилич остановился и торжественно объявил:

— Вот он, особняк, где ваш покорный слуга квартирует. Прошу почтить присутствием.

Орлеанцев ожидал увидеть нечто жалкое, но то, что он увидел в комнате Крутилича, превзошло его ожидания. Тут было душно, грязно, сыро и скверно пахло. Засиженная мухами лампочка без абажура под низким потолком освещала узкую кровать с проржавленной никелировкой, темный шкаф, изъеденный жучком так, что вокруг его на полу лежали грудки желтой пыли, квадратный, ничем не покрытый стол, несколько хромых стульев

и сундук, обитый ржавыми железными полосами. Вот все, что было в этой комнате.

Крутилич открыл сундук, стал выбрасывать на стол один за другим патенты на свои изобретения и усовершенствования.

— Я не погряз в какой-то узкой области техники, мысль у меня широкая. Это плохо разве? Я разве в этом виноват? — говорил он. — Вот, например, новая застежка-«молния»... Так, шутя, само набежало. Принцип, может быть, и не новый, но кое-что в ней есть и мое собственное. Не захотели брать, никто и нигде. «Зачем? — говорят. — В чем тут преимущество? Можно, говорят, и по-вашему, а можно и по-старому. Ничто от этого не изменится». А вот я разработал конструкцию машины. Так сказать, комбайн для уборки редиса из парников. Тоже не взяли. Вот швейная машинка с приспособлением для вышивания.

— Не взяли?

— Конечно, нет! Говорят, иностранные образцы лучше. Но это так говорят. Для отвода глаз. А тем временем просовывают свое. Я уже сказал вам: рука руку моет.

Перед Орлеанцевым был типичный представитель довольно многочисленной когорты изобретателей-неудачников. Когда-то, века назад, они искали философский камень, чтобы с его помощью делать золото; позже изобретали вечный двигатель; еще позже создают все, что угодно — от застежек-«молний» до каких-то комбайнов для уборки редиса. Когда Орлеанцев работал в главке, к нему довольно часто ходили собратья Крутилича, обвиняли его в бюрократизме, в желании присвоить их изобретения, даже во вредительстве, жаловались на него. Некоторые из них процветали, умея ловко заключать договоры на внедрение своих уродливых и беспомощных механических детищ; менее оборотистые едва сводили концы с концами, третьи просто бедствовали. Но такого бедолаги, какой предстал перед ним в этот вечер, Орлеанцев еще не встречал.

— Снова вам повторяю, — говорил Крутилич, — за границей я миллионером мог быть. И был бы. Да! Там не обожествляют всяческие авторитеты. А у нас? К академичишке, выжившему из ума, прислушиваются, будто он сам бог Саваоф, а дельный человек, но без имени черта с два заставит себя слушать!

Крутилич чертыхался, источал злобу, всем завидовал. Он всегда мечтал о богатой, красивой жизни. И никогда ее не имел. Он хотел таких же красивых костюмов, какие имеют те, которые в международных вагонах едут на юг — на Кавказ и на Черное море, он хотел быть в обществе красивых женщин, он хотел жить в просторной, отлично обставленной квартире. Он хотел, чтобы это пришло к нему все, как лотерейный выигрыш, — сразу, целиком, во всей полноте. Неужели Орлеанцев прав, неужели к нему в руки могут свалиться сто тысяч? Сто тысяч! Все, все тогда будет доступно, кончится это странное нищенство. Нет, они думают, что он примется кутить, транжирить деньги. Они ошибаются. Они думают, что ему неведома радость творчества, что он стяжатель. Нет, все будет не так. Конечно, жить он станет в достатке, но с еще большей энергией примется за работу, он даст стране, народу сотни ценнейших изобретений. Он патриот, пусть не думают некоторые.

— Константин Романович! — сказал он в порыве чувства. — Давай работать, давай бороться вместе! Я вам верю, вы меня не обкрадете.

— Что вы, Крутилич! Спасибо. Очень тронут, — ответил Орлеанцев с усмешкой. — Но я не изобретатель. Не такой у меня мозг. Ваше пусть будет вашим. Но только не сдавайтесь. Вы должны разобраться в силах, которые вам мешают. Не знаю, кто там — Ершов ли этот, гордый обер-мастер с доменного, Чибисов ли, директор-демократ, секретарь ли горкома Горбачев, редактор ли Бусырин, каждый ли в отдельности или все вместе,— не знаю кто, я только слышу ваши утверждения, но надо знать, кто мешает, и устранить мешающее. Поняли? Этого требуют интересы народа — расчищать дорогу новому, здоровому, прогрессивному, Крутилич. У нас много интеллигентщины развелось. В худшем смысле слова. Это всегда было у русской интеллигенции. Говорим много, рассуждаем бесконечно, а дело делать?.. Другие его делают за нас. В итоге получается — против нас. Мы должны быть непримиримы к недостаткам и порокам. Если вы увидели порок, разобрались в нем и поняли, что это именно порок, вы уже не имеете права успокаиваться до тех пор, пока он не будет разоблачен и наказан. Может быть, я не прав?

— Правы, правы! Вы настоящий, сильный человек, Константин Романович.

— Какая у меня сила! Сила человека в его делах. Если бы у меня было столько изобретено, если бы мне мыслить так творчески, как мыслите вы, Крутилич, может быть, и была бы у меня сила. Сила — это вы, вы! Вы еще не знаете своей силы. Если вы ее почувствуете, перед вами все двери отворятся. Вы поймите: наш век — век техники, науки... Были когда-то времена преклонения перед природой. Наши предки чтили жрецов, которые, по их первобытному мнению, одни могли как-то противостоять грозным силам природы. Потом настали века более организованного идеализма: наместником бога на земле объявили патера, пастора, ксендза, попа. Они миловали, они казнили, они способствовали, они мешали. Что хотели, то и делали. Подошли века бурного развития общественных идей. Человечество почувствовало необходимость в переустройстве общества. Властителем дум становился тот, кто давал миру наиболее влекущую, захватывающую идею. Вы меня понимаете?

— Да, да, безусловно, Константин Романович. Как же!

— Ну вот, идеи перевернули мир. Найдены новые пути общественного развития человечества. Кто должен стать сейчас ведущей, руководящей силой?

— Пролетариат.

— Ну это верно, это, так сказать, хрестоматийно, школьно. Вне споров. Хотя для нас не совсем точно: в нашей стране нет пролетариата — есть рабочий класс. Ну ладно, а кто должен организовать эту силу, привести ее в действие?

— Партия?

— Тоже верно, абсолютно верно. Вы политически грамотны, Крутилич. Верно, говорю. Но, видите ли, это несколько прямолинейно. Во всем надо искать диалектику. Наш век, повторяю, век техники и науки. Значит, ведущей, руководящей силой должны стать те, кому подчиняются техника и наука. Инженеры, дорогой мой, инженеры! То есть мы с вами, мы.

— Верно, вот верно! Замечательно вы рассуждаете, Константин Романович. Мы!

— А рассуждения мои сводятся к тому, что, если вы, изобретатель, инженер, пойдете в атаку против мешающих вам бюрократических сил, они перед вами не выстоят. Мобилизуйтесь. Ваше должно быть вашим. Вот так! А пока до свиданья. Рад, что познакомился с вами и

прекрасно провел вечер. А то говорят: Крутилич, Крутилич, изобретатель. Кто такой? — думаю. Пойду-ка познакомлюсь. Ну, еще раз до свиданья. Спокойной ночи.

Крутилич проводил Орлеанцева через двор до ворот, вернулся в комнату и долго рылся в своих бумагах, которыми был набит его сундук. Когда-то каждая из них сослужила службу, но теперь все они устарели. Надо было раздобывать новые. Этот чудак Орлеанцев думает, что он, Крутилич, так, овечка, что его можно безнаказанно дергать за уши и за хвост. Нет, Константин Романович, ошибаетесь. Крутилич умеет сражаться. Немало его противников полетело в свое время с насиженных местечек. А некоторые и вообще распались, рассеялись в мировом пространстве, как космическая пыль. Надо работать. Он будет работать. Будут новые документы. Будут новые боевые дела...

Достав из сундука старый, потертый портфельчик красной кожи, Крутилич извлек из него фотографию молодой смеющейся женщины. «Соня, ты ошиблась, — сказал он вслух, обращаясь к фотографии. — Ошиблась, да. Я не знаю, где ты, но еще придет время и ты пожалеешь о том, что покинула меня в трудный час».

Он устал от напряжения этого вечера, от непривычной еды, от водки, от дружеских, умных разговоров, каких с ним давно уже никто не вел. Голова его опустилась на стол, на фотографию смеющейся Сони. Соня встала с ним рядом, положила руку на плечо, погладила по затылку, потрогала за ушами. Было сладко, он заплакал.

Соня многого не знала, она слишком давно от него ушла. Поженились они еще в институте, много ездили, став инженерами, по стране. Соня была ему верным другом, она поддерживала его в борьбе с разными директорами и начальниками, она была прямая, откровенная. Но когда родился сын, она сказала, что ей бы не хотелось каждые полгода переезжать с места на место, что у него неуживчивый характер. Поссорились. Стали часто ссориться. Нет, и она его не понимала, даже этот верный друг. В конце концов она от него сбежала. Просто уехала куда-то и исчезла навсегда. Да, конечно, ей пришлось перенести вместе с ним немало лишений. Легко ли, когда тебя вдруг увольняют и ты ходишь несколько месяцев без работы, продавая последние тряпки с себя, последние Сонины побрякушки вроде золотого нательного крестика или колечка, оставшихся дочери от ее родителей. Да, он не

спорит, настрадалась Соня вместе с ним. Но знала бы она, видела бы, что настало после — после ее бегства! Случались дни, когда всей пищи у него было на день — пара картофелин да щепотка соли.

Он с трудом поднял голову от стола, сказал в темный дальний угол:

— Пожалеешь. Сто тысяч! Ты знаешь, что такое сто тысяч? Придешь, на коленях будешь стоять. Тогда еще посмотрим, приму я тебя к себе или нет. — Про себя подумал: «А впрочем, на что ты мне тогда? Известно ли тебе, какие сирены водятся в Москве?» Ему вспомнилась официантка, которая подавала в номер к Орлеанцеву. А ведь ничего бабенка, пухленькая такая, кругом полный комплект... Он усмехнулся, встал из-за стола. Сонина карточка упала на пол. Не заметив, он наступил на нее, пошел надевать свой макинтош.

На улице было очень холодно, но он шел нараспашку, он никогда не простужался, ангинами не болел, родители своевременно, в раннем детстве, удалили ему гланды.

Он вышел на центральную улицу. Там еще гуляли редкие пары. Проходя, он со всех сторон осматривал каждую женщину. Мысли были игривые. Так добрался до гостиницы. Ресторан уже был закрыт. Стал проситься, чтобы впустили, ему надо повидать одну официанточку, имени ее он не знает, кругленькая такая, симпатичная.

— Эх, шли бы вы, гражданин, домой! — сказал ему какой-то мрачный деятель гостиницы. — Набузовавшись ведь до того, на ногах не держитесь.

— Не ваше дело! — ответил заносчиво. — Я инженер, и можете не делать мне замечаний. Я сам знаю, куда мне идти и куда не идти.

Он стал подниматься по лестнице на второй этаж гостиницы, ему помнилось, что Орлеанцев жил где-то там. Дежурная по этажу не хотела его пускать в коридор, но он отстранил ее, ходил от двери к двери, стучал и говорил в замочные скважины:

— Романыч, Романыч, это я.

За дверями слышалась ругань, не открывали, а кто и откроет, то уж наговорит, не дай боже. Но Крутилич на все блаженно улыбался:

— Ну чего ты, чего расходишься! Мрачные до чего типы тут живут.

Его с трудом выпроводили на улицу. Опять путался по тротуарам, заговаривал с прохожими.

— Гражданин, — услышал он голос. Подходил милиционер. — Гражданин. А ведь и хватит. Нагулялись. Идите домой, если не хотите провести ночь в вытрезвителе и, так сказать, уплатить двадцать пять карбованцев за это дело.

Милиционеров он боялся. Бодрое настроение улетучилось; он сжался, почувствовал холод, спотыкаясь, держась за заборы, побрел домой. Оглядывался, не идет ли милиционер следом.

13

Авиапочтой пришло письмо от Степана. Писал Степан, что готовится к отъезду, что ехать ему недели две, что ждать его надо в середине октября. Заканчивалось письмо словами: «Низко вам кланяюсь, братья дорогие. Никогда не забуду доброты вашей. Степан».

Снова собрались братья, снова обсуждали острый вопрос. Собрались на этот раз у Дмитрия в родительской мазанке, воскресным днем. Платон Тимофеевич принес с собой два пол-литра. Но пить никто не хотел. Дмитрий — это само собой разумелось. А Яков Тимофеевич сказал, что у него сердце расшатано, нервная жизнь стала, пьес нету, театр если еще не горит, то уже дымится.

— В твой театр ходить неохота, — сказал Платон Тимофеевич. — Слюнтяйство разводите. И на сцене ревут, и в зале носами хлюпают.

— Откуда это ты, милый, знаешь? — удивился Яков Тимофеевич. — Глядите, братики дорогие, какой критик! А сам два раза за три года был в театре.

Платон Тимофеевич налил себе в стопку, оглянулся на Лелю, которая, сидя у окна, чинила белье Дмитрия.

— Может, ты, Лелья, компанию разделишь?

— Могу, Платон Тимофеевич.

Дмитрий хмуро смотрел, пока Платон искал в шкафу рюмку, пока наливал в нее, а когда поднес Леле, сказал:

— Зачем ты это, Леля?

— Зябко, Дима, — ответила она. — Который день согреться не могу. — И одним глотком выпила.

— А мне тоже зябко, — сказал Платон, помолчав. — Работать не дают, все комиссии какие-то ходят, вынюхивают. После аварии успокоиться не могут. Говорю Чиби-

сову: «Доколе же это, Антон Егорович?» А он мне: «Милый, кляузников, знаешь, еще сколько на земле. Накатки такие на нас с тобой катают. Знал бы ты, тигром заревел». — «А про что, про что, говорю, катают-то?» — «А про все». Вот и работай!

Дмитрий усмехнулся:

— Тоже носом хлюпаешь! Как в театре у Якова.

— Я не хлюпаю. Обидно.

— На твоем месте я бы кишки выдавил накатчикам.

Застучала щеколда у калитки. Отворить пошла Леля. Привела соседа, старика лет семидесяти пяти, Мокеича, когда-то дружившего с отцом Ершовых.

— Думал, один Димка дома. Дай, говорю, зайду, спичек стрельну, баба купить запамятовала. Один, говорю, думал. А тут вся рота. Здоро́во, ребята! Давно не видал вас. Как живется-то? Водку пьете? Налили бы старику, костьё погреть.

Платон Тимофеевич обрадовался компании, налил Мокеичу стопку. Подставила свою рюмку и Леля.

— Лель, брось! — снова сказал Дмитрий.

Все-таки выпила вместе с другими.

Мокеич принялся рассказывать, как ходил он к одному доктору от ревматизма лечиться, сосед сосватал, в подгороднее село.

— Объясняю ему все толком, по порядку. Порты скинул, стою — мослы свои показываю. А он мне: «Видишь, говорит, дедка, будь ты мерином, к примеру, или котом сибирским, кобелем каким-нибудь, мы бы с тобой по-сурьезному потолковали. А так что же — не выйдет у нас ни хрена из наших обоюдных усилий». Научно так изъясняется. «Почему, говорю, извиняюсь, не выйдет? Я не задарма, я монету уплачу, какую следовает. Отчего невнимание такое к человеку?» — «А оттого, говорит, именно, что ты есть человек, а я — врач ветеринарный. Скотов лечу». Это, значит, сосед шутку такую мне подшутил.

Посмеялись. Снова загремела щеколда.

— Гость косяком идет, — сказал Яков.

На этот раз Леля ввела сразу двоих: Виталия Козакова и артиста Гуляева. Удивление было всеобщее.

— Товарищи, — сказал Виталий Козаков, — просим прощения, если помешали. Шли мимо, решили заглянуть. Дмитрий Тимофеевич говорил, что двери этого дома перед гостями всегда открыты.

— Ну что ж, присаживайтесь, гостюйте, — сказал Платон Тимофеевич. — Где же вы были или куда направляетесь?

— Так, этюды делаем в городе, — ответил Козаков. — А никогда не знающий усталости Александр Львович компанию составил. Чтобы не скучно было.

— Чего нарисовали-то? — поинтересовался Платон Тимофеевич.

Виталий раскрыл этюдник, стал показывать этюды.

Он схитрил, конечно. В мазанку они с Гуляевым зашли не случайно, совсем не потому, что было по пути. Виталий не отказался от своего намерения и все эти дни упрямо работал над портретом Дмитрия. Но понадобились еще штрихи, еще наблюдения. Пусть Дмитрий обвинит его в назойливости, пусть не очень радушно встретит — все равно он свое дело должен довести до конца. Гуляева он пригласил для того, чтобы тот вел разговор, а самому бы говорить поменьше, побольше бы наблюдать. Старый этюдник со всяким хламом, с вырезками из иностранных журналов, с фотокопиями картин сюрреалистов и абстракционистов был взят для отвода глаз. В нем, правда, были и наброски Виталия, но тоже старые, относившиеся к периоду подмосковных блужданий: одни пейзажи. Их рассматривали, они нравились.

— Хорошие места, — хвалил Платон Тимофеевич. — Россия! Красота!

Дошло дело и до вырезок.

— Ну их! — сказал Виталий и хотел закрыть этюдник.

— Чего «ну их»? — запротестовал Платон Тимофеевич. — Любопытно.

Картинки пошли по рукам.

— Любопытно, — сказал и Яков Тимофеевич. — Только, увы, ни черта не понять. Клистирные трубки, кубики и дырья.

— Это что — картины? — спросил Платон Тимофеевич с явным сомнением.

— В общем, да, картины, — ответил Виталий.

— А что с ними делают-то? На стенки вешают? Или так — в альбомах, чтобы и не видел никто?

— Вешают. Выставки устраивают. В музеях держат. Я на одной такой выставке был, в Париже, прошлой осенью. Смотрят.

— Витя, — вмешался Гуляев, — не тумань головы хорошим людям. Товарищи, это все — бред. Это не искусство. Искусство требует огромного, самозабвенного труда. Это прежде всего время, время и время. В искусстве ничто подлинно ценное не может быть создано по методу тяп-ляп. Искусство берет человека всего целиком, всю его мысль, все его силы. Если, конечно, это действительно искусство. А я видел, как такой мазила, — он щелкнул пальцем по одной из страшнейших репродукций, — намалевал огромнейшую картинищу за полтора часа. Он выдавливал краски на холст прямо из тюбиков, этакими цветными колбасками. Получилось черт знает что. А он гордо сказал: «Это гимн творчеству. Раскованная мысль».

— Я согласен с Александром Львовичем, — сказал Козаков. — У меня был жестокий спор с одним французом. Он, видите ли, сказал примерно так: ваша советская живопись ужасна, она натуралистична. Вы идете избитой дорогой, не ища новых. Есть два пути отображения действительности. Один путь — приближения к ней, он ведет к натурализму, к фотографии. И другой путь — отдаления от нее, это путь неограниченных возможностей. Тут художник ничем не скован. Он предельно свободен.

— Вот и получаются такие штуки на пути отдаления от действительности, — заметил Гуляев.

— А когда об этом спорят, — поинтересовался Дмитрий, — у народа спрашивают, чего народ хочет, что ему нравится, что он принимает, а чего нет?

— Видите ли, — ответил Козаков, — до некоторой степени, конечно, да, спрашивают. Учитывается, например, мнение посетителей выставок...

— А вот так, прийти, поговорить с народом, рассказать о своих планах, о трудностях. Делает так кто-нибудь?

— Некоторые делают.

— Немногие, наверно?

— Ну не все, конечно.

— Дело в том, — сказал Яков Тимофеевич, — что существует некая теория: не каждого, мол, художника или, например, писателя понимают при жизни. Иной, мол, идет где-то там далеко впереди своего века, он новатор, он гений, его поймут в будущем, потомки. Это одно толкование. Кстати, оно и у нас в театре ходит среди некоторых режиссеров. Но есть и другое толкование. Дескать, в вопросах искусства нельзя идти на поводу у массы,

у толпы. Мало ли что она одобряет и чего не одобряет. Надо ей упорно доказывать свое и победить ее в этом противостоянии, повести за собой.

— Тут без пол-литра не разобраться, — сказал Платон Тимофеевич, подымая бутылку, чтобы налить в стопки и рюмки.

— А чего не разобраться? — заговорил Дмитрий. — Все ясно. Если для такого что масса, что толпа — это все одно, то добра не жди. Так он и к народу относится. Не соображает, что толпа толпой, а масса... у массы свое разумение имеется.

— У нее тоже есть идеалы, — вставила тихо Леля.

— Правильно! — подхватил Дмитрий. — Вот и будьте любезны, гражданин художник и гражданин писатель, соответствовать этим взглядам и идеалам. Ты ведь не в безвоздушном пространстве существуешь. Ты тоже в составе массы. Не так разве?

— Это так, это верно, — согласился Виталий.

— Ну вот, говорю, и соответствуй. Сумеешь это сделать, масса, народ примут тебя, полюбят и при жизни, а не только в могиле. Не сумеешь, все будешь на людей как на безмозглую толпу сверху вниз смотреть, все свое наперекор им доказывать — катись-ка ты, миляга, знаешь куда!.. Сиди в своей норе и утешайся, что после смерти потомки поймут.

Леля уже давно стояла за спиной Дмитрия и тихонько, чтоб никто другой не видел, только бы он чувствовал, гладила его по плечу. Дмитрий был рад: значит, одобряет, значит, правильно он говорит.

Долго еще спорили, долго шумели. Виталий захмелел, размахивал руками, кричал. Гуляев смотрел на него с грустью: что, мол, с тобой делать, не умеешь ты пить, и не надо бы тебе это. У Дмитрия, по мере того как хмелел муж Искры Васильевны, возникало чувство, похожее на злорадство.

— А жена ваша где? — вдруг спросил он неожиданно для себя, подсев к Виталию.

— Искра? Там, возле своей домны. Где же еще?

— А вот вы бы, товарищ художник, ее нарисовали. У печи. Какая бы замечательная картина получилась. Само по себе женщину у доменной печи не часто встретишь. А тут и женщина-то какая!..

Леля внимательно прислушивалась к этому разговору.

— Знаете, — сказал Виталий, хватая Дмитрия за пу-

говицу рубашки. — Я вас чуть тогда не приревновал к ней... Помните, когда вы возле нашего дома стояли. Вот, думаю, кавалера супруга моя завела.

Он смеялся, а Леля, кусая губу, через залитое налетевшим дождем окно смотрела на улицу, в пузырившиеся темные лужи. Она собирала воедино разрозненные оговорки Дмитрия, его рассеянность и раздражительность, и ее охватывала тревога. В их жизнь тихо, незаметно, крадучись входило, вползало нечто третье — та полненькая женщина с перетянутой талией, которая приходила однажды сюда с художником Козаковым, жена этого художника.

— Платон Тимофеевич! Ну что же вы не пьете? — Леля подошла к столу. — Налейте всем. Мне налейте.

— С чего это ты сегодня такая игривая?

— Компания хорошая. Весело.

Когда стемнело, гости один за другим распрощались и покинули мазанку. Ушли и братья Дмитрия.

— Лель, и верно — ты что сегодня какая была? — спросил Дмитрий, собираясь, как всегда, провожать ее до пристани. — Водку хлещешь. Не видал еще тебя такой.

— Обыкновенная, — ответила тихо. Помолчав, она спросила: — Еще один брат приедет?

— Приедет. Еще один.

— Откуда он? Почему ты о нем никогда не рассказывал?

— А что рассказывать? История у него не больно завлекательная. — Дмитрий коротко, в нескольких словах рассказал ей о Степане.

— Степан Ершов... — сказала она.— У меня знакомый был до войны — Степан Ершов. У тебя нет его карточки?

— Твоего знакомого?

— Твоего брата.

— Где-то была, у Платона на квартире, должно быть. А ты на меня смотри. Мы похожие.

Она пожала плечами.

— Ясно, — сказал он. — Нет полной картины? Перечеркнули мою карточку.

— Дима! — Она шагнула к нему. — Не будь жестоким, ты же не такой. Другая у тебя душа, зачем так говоришь?

Когда уже шли по улице, она снова спросила:

— А он кто был, твой брат? Где работал?

— На заводе, шофером легковушки.

— А тот моряк был, — сказала Леля. — Китель белый, фуражка морская...

— И наш украситься по-морскому любил.

Еще прошли.

— Любила его? — спросил Дмитрий, нарушив давнишний безмолвный уговор.

— Зачем, Дима, это? — с горечью ответила Леля. — Не будем об этом. Прошу.

— Пожалуйста.

До самой пристани шли молча. Леля вспоминала прошлое, которое не любила вспоминать, потому что ее при этих воспоминаниях начинали мучить слезы. Вспоминала она и Степана Ершова, не брата Дмитрия, а молодого моряка, который сказал ей, что любит ее, сказал это в тот день, когда к городу подходили немцы, когда на улицах рвались их снаряды. Он сказал, что его пароход через час отходит, пусть она его не провожает: опасно. А она так любила провожать его до порта, до причалов, до кораблей, где среди ящиков и бочек они еще долго стояли и что-то говорили, говорили... Нет, в последний день она его не провожала, он ушел почти бегом. В ушах ее еще звучала его клятва: «Что бы ни случилось, где бы я ни был,— вечно...» Это «вечно» означало, что он будет ее всегда любить. Ей было тогда только восемнадцать, шел девятнадцатый. Она только весной окончила десятилетку. Она только поступила в педагогический и только должна была впервые идти на первый курс института. Но занятия всё откладывались, потому что наступали немцы. Да так эти занятия и не начались для нее никогда...

Где он, тот Степа? Что с ним? Жив ли? Или погиб под бомбежкой при эвакуации приморских городов? Сколько тогда утонуло кораблей и сколько моряков нашло смерть в холодных морских пучинах!

— Все, больше не буду! — помимо воли сказала она вслух, отмахиваясь от воспоминаний.

— Ну и правильно,— по-своему понял ее Дмитрий.— Нехорошо, когда ты пьешь. Не идет это к тебе.

Пароходик, который ходил вдоль побережья, уже давно ожидал пассажиров, его каюты и крытые палубы были полны народом. Дмитрий и Леля постояли у трапа, дождались густого длинного гудка, от которого зудило в ушах. К длинному гудку добавились еще два коротких.

Тогда они пожали друг другу руки, еще каждый из них что-то сказал, а что — не понять было и не запомнить. Матросы взялись за поручни трапа, чтобы откатить его на пристань. И Леля ушла на пароход. Трап следом за нею грохнул. Заработал винт парохода, пароход отваливал. Леля силуэтом появилась на верхней палубе, на всегдашнем условном месте, помахала рукой. Дмитрий ответил.

Пароход уходил все дальше. Уже только воображалось, что где-то там Леля. Видны были только освещенные иллюминаторы, все остальное тонуло в морской черноте.

Но если бы Дмитрий мог видеть Лелю, он бы увидел слезы на ее щеках. Воспоминания все-таки не отступали от нее. А рядом с ними стояло и сегодняшнее, тоже горькое, нерадостное. Откуда, зачем, для чего появилась в их жизни жена художника Козакова? У Лели не было ничего сколько-нибудь определенного для того, чтобы думать об этой женщине так. У нее были только чувства, предчувствия и догадки, но она была убеждена, что не ошибается. Что же тогда будет? Что будет, если Дмитрий уйдет за нею, за этой женщиной? Как может Леля предотвратить несчастье? У нее нет никаких прав на Дмитрия. Они ничем, ничем не связаны, два одиноких человека. Ничем... Неужели ничем? До чего же это страшно.

14

Перед последним актом в ложу к Горбачеву зашел Яков Тимофеевич. Поговорили о том, о сем. Яков Тимофеевич поинтересовался, нравится ли спектакль.

— Играют хорошо,— ответил Горбачев.— Но в общем грустно становится. Прямо поветрие у нас пошло в искусстве. Как только хорошая, настоящая любовь, так непременно у старого с молоденькой. Обидно за молодежь, товарищ Ершов. Как считаете?

— Согласен,— сказал Яков Тимофеевич.— Но спектакль народу нравится. Аншлаги каждый день.

— Так ведь вот — трогательно. Как же! Всю пьесу только и дела, что эти двое ходят один вокруг другого. Зритель волнуется — что-то будет?

— Гуляев замечательно играет,— сказала Анна Николаевна.

— Ничего замечательного! — вмешалась Капа. — Ну просто пень. И смешной пень. Человеку пятьдесят. Ходит, вздыхает, как мальчишка, камешки в речку бросает, глупости всяческие, именно мальчишеские, творит.

— Но это же, значит, пьеса такая, Капочка, — возразила Анна Николаевна.

— Пьеса пьесой, а он еще и от себя добавляет, мама. Пойми. Конечно, девушка может полюбить человека, который старше ее, может. Папа тут не прав. Еще Пушкин писал о Марии и Мазепе. Но она полюбит его совсем за другое, не за камешки, не за глупые улыбки, не за прыганье через забор. Пусть в пятьдесят лет не прыгает, еще инфаркт схватит, так и до свадьбы не доживет.

— Капа! Ну и язык у тебя! — сказала Анна Николаевна. — Вот дети пошли, товарищ Ершов.

— Не перебивай, мама. Я закончу свою мысль. Молоденькая девушка полюбит человека, который старше ее, за что? За то, чего нет в ее сверстниках, — за большую жизнь и зрелый ум, ее потянет помогать ему в его делах, захочется стать помощницей. А камешки, гимнастические потуги — у сверстников девушки это получается гораздо лучше. Вот я и говорю — плохо артист играет. Он должен играть умного, большого человека, тогда этого человека можно полюбить независимо от возраста. Разве, папа, я не права?

— Вот вы в чем не правы, — сказал Яков Тимофеевич, видя, что Горбачев не отвечает дочери. — Не правы в такой категорической оценке артиста Гуляева.

— Очень бы хотелось с ним поговорить, — сказала Капа.

— Пожалуйста, — сказал Яков Тимофеевич. — Приходите за кулисы.

— Я бы ему все прямо...

— Еще чего не хватало! — взволновалась Анна Николаевна. — Достаточно ты нам с отцом нервы портишь. Еще и за чужих примешься. Ваня, не разрешай.

Спектакль закончился стыдной сценой. Героиня, слегка перезрелая девица лет двадцати пяти, на фоне загорающейся тайги тянется губами к губам своего пожилого героя: за четыре акта ухаживаний он довел ее почти до горячечного состояния. А что же он сам, сделавший это дело? Он будто обрадовался, что горит тайга и куда-то надо мчаться. Он отшатывается от тянущейся к нему девицы и, крича какие-то патетические слова, убегает.

— Мама и папа,— сказала Капа,— я должна пойти и поговорить с этим артистом.

Возник легкий спор, решили, что за кулисы сходят все трое — и Капа, и ее родители.

— Жуткое ты существо, Капитолина, — говорил Горбачев, ведя свое семейство путаными театральными переходами, по которым ему приходится хаживать в президиумы различных городских собраний и конференций.— За кого ты выйдешь замуж, тот кандидат в святые, великомученик.

В уборной Гуляева Горбачевы уже застали какую-то пару. Гуляев знал секретаря горкома, пригласил сесть на пыльный диван. Никто не сел, конечно. Гуляев представил:

— Мои друзья — художник Виталий Козаков и его жена, инженер Козакова.

При словах «инженер Козакова» Горбачев потер лоб:

— Постойте, постойте! Это не вы ли из Москвы недавно приехали, на металлургический? В доменный цех?

При словах «в доменный цех» Капа быстро взглянула на Искру, в секунду осмотрев ее всю, с головы до ног: она же с ней уже встречалась в доме Андрея.

— Я,— ответила Искра.

— Молодец вы какой! — сказал Горбачев, пожимая ей руку.— Женщина — в доменный цех! Давно хотел съездить взглянуть на вас. Да знаете нашу секретарскую жизнь. Вельможа. Бюрократ. Сановник. Для нас ведь только одни эти эпитеты и эти образы и остались ныне у некоторых пишущих товарищей. Вот и здесь, в пьесе, этакий дуб — партийный руководитель — выведен.

Он говорил весело, с юмором, смеясь. Но Искра услышала в его словах горечь.

Анне Николаевне разговор показался неприятным.

— Вы замечательно играли! — сказала она Гуляеву.— Большое удовольствие доставили. Большое!

— А я иного мнения,— сказала Капа.

— Капитолина!..— строго прикрикнул Горбачев.

Но она повторила:

— Совершенно иного.

— Да? — Гуляев подошел к ней ближе.— Вы считаете, что если ты взялся играть пятидесятилетнего человека, инженера, начальника крупной стройки, то не заставляй его мальчишествовать? Если ты влюбил в себя

девушку, то будь мужественным и дальше, отвечай за все содеянное тобой, не трусь перед любовью? Не будь слюнтяем, хныкальщиком, сентиментальной барышней? Так?

Капа слушала его, ошеломленная. Он сам, этот артист, говорил ей о своей роли и своей игре то, что хотела сказать ему она.

— Откуда вы это знаете? — спросила.

— Вот только что примерно так говорила мне эта милая молодая дама.— Гуляев указал на Искру.— А двумя месяцами раньше, когда мы начинали репетировать пьесу, это все говорил себе сам я, ваш покорный слуга.

— Почему же вы все-таки так играете? — спросила Капа.

— А это уж спрашивайте у всех нас.— Гуляев обвел вокруг рукой. Оказалось, что за спинами Горбачевых и Козаковых толпится еще немало народу.— Мы все ответственны за спектакль. Кроме актеров, есть еще и режиссеры в театрах.

Яков Тимофеевич, тоже стоявший в уборной Гуляева, стал представлять Горбачеву режиссеров, их помощников, артистов. Начался длинный разговор. Капа отошла к Искре, тихо спросила:

— Вы, значит, в одном цехе с Андреем Ершовым?

— Да, в доменном. Он тоже мастер.

— А вы разве мастер? Вы же инженер.

— По образованию — инженер. А по работе — мастер, по должности.

— А Ершов — он ведь не инженер?

— Нет, он окончил техникум. Но, как видите, мы с ним на производстве равны. А вы давно его знаете?

— Не очень.

Искра перевела разговор на спектакль:

— Мы с мужем тоже ведь пришли выразить свое возмущение этой пьеской. Какая пошлость! Особенно обидно за Александра Львовича. Он ведь друг моего мужа, вернее — еще друг его покойного отца. Они откровенны, и Александр Львович говорит нам всегда все-все. Он прекрасный, большой актер. Иной раз, когда у него хорошее настроение, он разойдется да почитает что-нибудь из Шекспира... Мороз по телу! Или Маяковского... Никто так Маяковского не понимает, как он. Он громадный, Александр Львович. Но его заставляют играть пигмеев. Я видела, он плакал однажды у нас дома. Вот от этого самого плакал — от неудовлетворенности, от

невозможности получить роль по силам, по характеру, по таланту.

— А я ему все так бухнула! — Капа была смущена и расстроена.

— Это ничего. Он сам человек прямой.

Яков Тимофеевич, воспользовавшись случаем, повел Горбачева осматривать помещения театра. Здание давно требовало ремонта, и он надеялся заручиться поддержкой первого секретаря горкома. Анна Николаевна и Виталий Козаков тоже ушли с ними. Капа и Искра остались одни. Они перешли в фойе, где лампы были уже наполовину погашены, сели возле пустого буфетного столика и долго еще разговаривали. Капу интересовало в жизни молодой женщины все то, что в недалеком будущем ожидает и ее, она осторожно выспрашивала об этой жизни. Искру тянуло заглянуть в казавшуюся ей таинственной жизнь семьи партийного руководителя. Она выспрашивала Капу с еще большей осторожностью. Определенного мнения о Капе у нее еще не сложилось, она судила о ней по тем разговорам, какие ходят о дочерях таких родителей, как Горбачев, видела в ней избалованную, ничего не умеющую, но с обеспеченным будущим папенькину дочку. Зато Искра уже нравилась Капе. Пусть она немножко обезьянка по внешности, смешно щурит свои узкие глазки и длинно выпячивает нижнюю губу, но она такая уютная, теплая, что ее так и хочется потрогать. А главное — обезьянка, обезьянка, а вот ведь мастер, мастер! Подумать только! И где мастер? В страшенном доменном цехе, где так опасно. Ожоги Андрея еще и сейчас не совсем зажили. Сколько пришлось повозиться!

— Я очень рада,— сказала она,— что познакомилась с вами ближе. Мне бы так хотелось, чтобы это знакомство продолжалось и дальше, если вы не против, Искра Васильевна.

— Конечно, конечно. Приходите к нам, Капочка. У нас много картин, альбомов всяких. Посмóтрите. Вы любите живопись?

— Очень.

— Вот и приходите.

— Меня обещали в доменный цех сводить.

— Ну и тоже милости просим в цех. Всё покажем и расскажем. Может быть, так и специальность себе выберете.

— Я выбрала. Я учусь в медицинском.

— Очень хорошая специальность. У меня папа был врачом. Сельским. На его похороны пришло две тысячи народу. Из всех окрестных сел. Врач, Капочка, если он, конечно, настоящий врач и специальность выбрал по призванию, по любви к человеку, он себе не принадлежит. Он принадлежит людям.

— Вам бы с моим папой поговорить, Искра Васильевна. Вы бы, наверно, понравились друг другу.

— Что вы, что вы, Капочка! — Искра даже руками замахала.— Разве вашему папе можно мешать! Тем более я. Я ведь болтунья, меня если не остановить... В общем, нельзя вашему папе мешать. Он очень занятый человек.

— Удивительно! — сказала Капа.— Вот так все хорошие люди рассуждают: Горбачев занят, не будем ему мешать. И не идут к нему. А всякие, знаете... Ну такие, которым только бы им самим хорошо было, только бы что-нибудь для себя сделать... Те не стесняются. Те пожалуйста: идут и идут. В результате вокруг папы больше бывают как раз они, чем хорошие, интересные люди. Я уже ему сто раз говорила об этом. Я ему все говорю, даже такое, чего мама не решится сказать. А ваш муж известный художник? — переменила она разговор.— Козаков? Что-то я не слышала.

— Не очень, Капочка, известный. Хотя и не последний среди художников Москвы. Словом, приходите к нам, посмотрите его работы.

Дома за поздним чаем Горбачев сказал:

— Вот что, Капитолина. Если ты не приведешь своего мастера к нам, сам к нему поеду. Это же неслыханно! Девчонка где-то с кем-то гуляет, возможно, что уже и амуры крутит. А родители его даже в лицо не видали. Может быть, это такая же старая перечница, какую мы сегодня на сцене лицезрели.

Капа сказала:

— Поезжай посмотри. А к нам я его не поведу. Я же тебе все объяснила.

Через несколько дней секретарь горкома появился на заводе. Посидел у Чибисова. Говорили о плане, о руде, о кадрах. Побывал в партийном комитете. Говорили о массовой работе, об учебе, о приеме передовых рабочих в партию. Прошел через мартеновский цех, который когда-то строил, здоровался со сталеварами. Прошел через прокатку, поднялся в кабину управления блюминга, посмо-

трел, как работает Дмитрий Ершов. Добрался наконец и до доменного цеха.

Подымаясь по лестнице из железных прутьев, переходя через мостики над подъездными путями, по которым полз состав пышущих жаром чугуновозов, почувствовал, что сердце у него частит. Сказал себе, что это черт знает что. Можно подумать, что ему предстоит ответственная встреча с премьер-министром Великобритании. Странное, непонятное было чувство. Когда женился старший сын, такого чувства Горбачев не испытывал. Привел парень девушку в дом, показал — девушка как девушка. Появилась, прижилась, ничто не изменилось. А ведь тут неизвестно, что может произойти. Молодой гражданин этот может увести Капитолину, куда только ему вздумается, может заставить ее отречься от родителей, если они не придутся ему по душе, — все может. Он сила, и гораздо бо́льшая, чем отец с матерью. Есть дочка — и не станет дочки. Все будет так, как захочет этот молодец.

Волновался Горбачев в ожидании встречи. Он почти обрадовался, когда ему сказали, что Андрея Ершова на печи нет, что Андрей работал ночью и выйдет только завтра. Встреча, следовательно, откладывается. И прекрасно, что откладывается. Меньше волнений.

Покидая цех, он на доске показателей среди фамилий передовиков не без удовольствия прочел фамилию Андрея.

Но то, что встреча была отложена, в конечном счете успокоения не принесло. Нервы себя оказывали, выдержки не хватило, завтрашнего дня дождаться не смог — коли уж решил что, откладывать не умел. Попросил своего секретаря Симочку узнать адрес через милицию и вечером отправился искать дом, в котором жил этот Андрей Ершов. Машина едва пробиралась по колеям и рытвинам глухой, залитой осенними дождями окраинной улицы, на которой Горбачев еще никогда не бывал. Тут даже тротуаров не было. Вдоль домов и заборов кое-где лежали доски, кое-где тонкой цепочкой тянулись вдавленные в грязь кирпичи, а то и вовсе ничего: зажмурься и шагай наугад, все равно ноги промочишь.

— Семеныч, — сказал шоферу. — Откудова только у нас жуть этакая взялась?

— От горсовета, Иван Яковлевич. И от вас от самого, извиняюсь. На главные улицы жмете, фасады каждый год там красите, цветочки разводите. А тут со времен царя Гороха целина лежит.

С трудом добрался до мазанки Ершовых. Выйдя из машины, ступил в грязь, постучал в калитку. Вышел плечистый парень. Темные серые глаза смотрели из-под высокого лба. Он сказал, что Ершова дома нет, задержался на заводе; кажется, у них партийное собрание.

— Он партийный, значит?

— Партийный.

— А вы тоже Ершов?

— Ершов.

— Где работаете?

— В доменном.

— Так вы не Андрей ли?

— Андрей.

— Вас же я и ищу!

— А я думал, к дяде — к Дмитрию.

— Приглашайте в дом, товарищ Андрей Ершов.

Не дожидаясь приглашения, Горбачев пошел к мазанке. Пройдя сени и переступив порог комнаты, он остановился, пораженный: за столом сидела его родная дочь Капа. Она не очень и смутилась.

— Здравствуй, папа, — сказала, вставая. — Значит, все-таки приехал?

— Да вот, приехал. — Он чувствовал, что смущен гораздо больше, чем она, и волнуется больше, чем она.

— Проходи, садись. Пальто сними. В доме тепло. Андрей печку натопил. Андрюша, угостим моего папу чаем. Дай спички.

Она ушла за перегородку, брякала то ли чайником, то ли кастрюлей. Запахло керосином, — разжигала, наверное, керосинку. Здесь она делала то, чего никогда не делала дома.

— Ну, садитесь и вы, Андрей, — сказал Горбачев, сбросив пальто и опускаясь на стул.

Андрей сел по другую сторону стола.

Горбачев осматривался. Вспоминалась халупка отца на окраине Харькова. Было так же бедно и убого у тормозного кондуктора железнодорожных угольных составов. Вспомнился облезлый отцов сундучок из мятой черной жести, который, когда отец бывал дома, всегда стоял на полу справа от входной двери, у самого порога, отцов брезентовый дождевик с капюшоном, жесткий, грязный и пропахший паровозным дымом...

— Вас на «вы» или на «ты»? — спросил, не находя правильного тона.

— Как хотите, — ответил Андрей.

Горбачев ожидал, что он ответит иначе: конечно, мол, на «ты», какие разговоры. Ответ его обескуражил.

— Вы, наверно, догадались, что я отец Капитолины?

Андрей кивнул.

— Она вам обо мне говорила? — продолжал расспрашивать Горбачев.

— Говорила.

— Неужели у вас не было желания посмотреть на ее родителей?

— У Андрея такое желание было, папа! — входя в комнату, подала голос Капа. — И если так не случилось, виновата я. Ты об этом прекрасно знаешь.

— Не будем осложнять отношения, — сказал Горбачев. — Чай там у вас скоро будет?

Сели пить из стаканов без блюдец, на столе без скатерти, покрытом старой зеленой клеенкой. К чаю были баранки, они лежали прямо на клеенке. Горбачев смотрел и не узнавал свою Капитолину. А если бы дома было так? Разве села бы она за такой стол?

Он взял кусок сахару, откусил уголок, стал прихлебывать горячий и очень крепкий чай. Эта хитрая Капка не забыла учесть его вкус. Мать бы дома не позволила пить такой крепкий. Отломил баранку, макнул в стакан.

— Крепкий чай помогает от усталости, — сказал серьезно.

— А ты сегодня очень устал? — спросила Капа.

— Весь завод обошел. Ваш, — сказал он Андрею. — И в доменном цехе был. — Он начинал осваиваться, обретать свой обычный тон. — Твое имя видел на доске Почета. Давай-ка рассказывай, как работаешь?

Уходил Горбачев уже не такой смятенный, как пришел. Кто его знает, может, уж и не так плохо это все; может, и не такая уж сила этот Андрей и не станет ломать семью, перекраивать ее по-своему.

— Поедем, довезу, — сказал он Капе, надевая пальто.

— Нет, папа, я приду сама. Скоро приду. Не волнуйся.

Когда он уехал, она спросила Андрея:

— Понравился тебе отец?

— Ничего. Подходящий. Они, наверное, все такие. Они нас не любят. Парней.

Капа рассмеялась.

— Он где работает? — спросил Андрей.

— В горкоме.
— Большой работник?
— Так, средний.

Назавтра инженер Козакова, сдавая печь, сказала Андрею:

— А вы знаете, Андрей Игнатьевич, кто вас вчера тут спрашивал? Он был в цехе, интересовался вашей работой.

— Кто же?
— Горбачев. Первый секретарь горкома.

Андрей не ответил, на лице у него была растерянность. Он отошел от Искры, и был у него такой вид, будто он не знает, что же ему делать.

15

Зоя Петровна жила как в ознобе. Ее спокойная, ясная жизнь кончилась. Все время она теперь чего-то и кого-то ждала и куда-то спешила. Она стала рассеянной и неприветливой. Зло и односложно отвечала по телефону, посетители ее раздражали.

— На вас жалуются, — сказал ей Чибисов. — Вы обретаете черты обычных стандартных секретарш, а я вас ценил как раз за обратное. Что с вами, Зоя Петровна?

Потупилась, отмолчалась. Что она могла сказать Антону Егоровичу? Захватил вот в плен и цепко держит Орлеанцев... Как же об этом скажешь? Зоя Петровна проклинала ту минуту, когда смалодушничала, когда не нашла в себе сил отказаться от приглашения в театр. Он ее обезоружил, этот московский инженер. Если бы он тогда сразу начал свои атаки, может быть и даже наверняка, Зоя Петровна сумела бы указать ему должное место. Но он поступил иначе — в ее жизнь он вошел тихо, очень тихо. Он постарался понравиться десятилетней дочке и матери Зои Петровны. Он их просто очаровал. В доме только и разговору стало, что о Константине Романовиче.

Нет, некоторые женщины напрасно храбрятся: обойдусь без мужа, я не приложение к мужчине, проживу и сама прекрасно, я зарабатываю... Да, ты зарабатываешь, да, ты кормишь и одеваешь свою семью. Все так. Но это не очень уж и весело, жить одинокой. К тебе пристают, тебе предлагают, тебе нашептывают. Ты живешь, отбиваясь, защищаясь. А силы твои ограничены и недостаточны

для того, чтобы обороняться вечно. А главное, и решимости на такую вечную оборону нет. Как бы ни обманывала тебя жизнь, как бы ни наказывала за доверчивость, каждый новый раз думаешь, даже не думаешь, оно само в душе живет, это ожидание: «А вдруг, а вдруг на этот раз не так будет, а вдруг будет хорошо?..»

В гостиницу к Орлеанцеву Зоя Петровна не пошла, хотя он очень настаивал и смеялся над ее мещанскими предрассудками. Тогда Орлеанцев принес два билета и отправил мать и дочку Зои Петровны на дневной воскресный спектакль в театр. Он, видимо, и мысли не допускал, что ему могут возразить, отправил — и все. Как на грех, с ним было интересно, он прекрасно читал Блока, Есенина, каких-то неизвестных Зое Петровне поэтов, которые писали красивые, волнующие стихи. Он знал множество историй, он мог без конца рассказывать о загранице. И вместе с тем это был деловой человек. Принятая год назад кандидатом в члены партии, Зоя Петровна уже дважды слышала его выступления на партийных собраниях в заводоуправлении. Говорил Орлеанцев хорошо, умно, вносил дельные поправки в резолюции. К нему прислушивались, многие им восхищались. Иные из сослуживиц, с которыми Зоя Петровна дружна, говаривают ей, что она счастливая — такой человек ее заметил; дура, если она не сумеет оформить с ним свои отношения.

Пусть она будет дурой, но она не станет делать ничего для того, чтобы «оформить» эти отношения. Неизвестно еще, что это за отношения. О любви Орлеанцев не говорит. А если бы и заговорил, не будет же Зоя Петровна врать, что тоже любит его. Не выстояла, сдалась — вот и все, что есть с ее стороны. Сложились отношения, от которых больше горечи, чем радости, от которых беспокойно, обидно, стыдно, потому что все время надо делать так, как хочет он, как скажет он. Надо обманывать Антона Егоровича, отпрашиваться с работы пораньше, ссылаясь то на болезнь матери, то еще на какие-нибудь домашние дела; надо бывать в компаниях, к которым душа не лежит. Надо и в семье врать, придумывать всяческие поводы, чтобы то днем, то вечером на час, на два выпроводить родных из дому или чем-то объяснить матери свое возвращение среди ночи.

«Костя, ты был женат?» — спросила его однажды Зоя Петровна. «Я и сейчас женат, — ответил он, как всегда покачивая ногой. — Какое это имеет значение?» — «Ты

женат? — Зоя Петровна растерялась. — Разве это не имеет значения?» — «Никакого, потому что я с ней не живу, поскольку, как видишь, из Москвы уехал». — «А она... Она не захотела с тобой ехать?» — «Не она, а я не захотел ее брать. Я устал от нее. Устал. Понимаешь?» — «Нет». — «Ну и бросим этот разговор. Тебе разве со мной плохо? Что же ты молчишь? Плохо или хорошо? Ну скажи?» — «Хорошо», — вынуждена была сказать Зоя Петровна едва слышно. «Это самое главное. Остальное ерунда, Зоенька! Жизнь слишком трудна, слишком сложна, чтобы мы еще отказывались от тех маленьких радостей, которые она иной раз несет. Люди, стоящие в первых рядах общества, больше отдают обществу, чем получают от него. Не правда ли? Так что не будем судить себя слишком строго».

Одним октябрьским вечером Зоя Петровна ждала к себе Орлеанцева с какой-то компанией. «Разный народ, Зоенька, будет. Лучше бы их никто не видел у меня в номере. Приведу к тебе. Возьми деньжат, вот тут несколько сотенных, организуй». Организуй! Это значит, что не только хлопочи об устройстве стола, но и отпрашивайся пораньше с работы, придумывай, куда отправить маму с дочкой, предупреждай соседей, чтобы не очень сердились, если будет немножко шумно до полуночи.

Приехали часов в восемь, на двух такси. Орлеанцев представил всех Зое Петровне. Был тут — он приходил несколько раз к директору завода — инженер из техникума, изобретатель Крутилич; был — его Зоя Петровна тоже видела в заводоуправлении — недавно вернувшийся из заключения инженер Воробейный. Она даже приказ переписывала на машинке: назначить Воробейного куда-то в цех, забыла — куда. Были художник Козаков, который звонит ей, когда ему нужен пропуск на завод, и артист Гуляев. Был, как представил Орлеанцев, режиссер театра Томашук и, наконец, он сам — Орлеанцев.

— Дорогие друзья! — поднял рюмку Орлеанцев, когда сели за стол. — Самое дорогое для человека — это дружба. За дружбу!

— Позвольте, — возразил Гуляев. — Это прекрасный тост. Но несколько преждевременный. Среди нас есть женщина. Хозяйка дома. За милую Зою Петровну!

Следующий тост был все-таки за дружбу. Орлеанцев его повторил. Зоя Петровна давно заметила, что это был самый любимый тост Орлеанцева и, пожалуй, единствен-

ный. Он всегда пил только за дружбу. Но в этот раз Орлеанцев предложил и еще один тост. За инженера Воробейного. Он сказал:

— Мы должны о таких людях заботиться, окружать их любовью. Чтобы с души Бориса Каллистратовича как можно быстрее сошел горький налет обид, оскорблений и несправедливостей. Я, как член партии, разделяющий со своей партией всю ответственность за судьбу страны — не только за наши достижения, но и за ошибки, чувствую вину перед товарищем Воробейным, признаю эту вину и в знак дружбы протягиваю ему руку. Будьте здоровы, дорогой друг! Смелей вступайте снова в жизнь, в ряды строителей нового!

Когда подвыпили, Воробейный принялся рассказывать о жизни где-то на Севере. На краски он не скупился, Зоя Петровна холодела от его рассказов.

Чем дальше развертывалось застолье, тем все более Зое Петровне становилось не по себе. В небольшой комнате ей почему-то делалось все теснее и теснее; видимо, потому, что гости рассаживались все вольготней и непринужденней. Дым от папирос лежал в воздухе над столом пластами. Было душно и жарко. В довершение ко всему Зоя Петровна почувствовала, как ее ногу под столом все время преследует нога режиссера Томашука. При этом Томашук смотрел вовсе не на Зою Петровну, он смотрел на кого угодно, только не на нее. Зоя Петровна отодвигала ноги, поджимала под стул, Томашук упорно отыскивал их и там.

Изобретатель Крутилич угрюмо молчал за столом, пока не захмелел. Захмелев, он отрывисто проговорил:

— Не надо думать, что трудности были только у них, у таких. — Он указал пальцем на Воробейного. — Это неважно, что я не попал в тюрьму. Чисто случайно не попал. При моей прямоте и непримиримости это могло произойти в любую минуту. Но я и без тюрьмы испил чашу...

— Испейте еще, — сказал Гуляев, наполняя рюмку Крутилича.

— Иронизируете? — огрызнулся Крутилич. — Вы мне не нравитесь, Гуляев.

— Вы мне тоже, Крутилич, — ответил Гуляев.

— Александр Львович! — Орлеанцев поднялся. — Будьте великодушны к товарищу Крутиличу. У него ведь действительно трудная жизнь, тоже испещренная рубцами и шрамами обид. Товарищ Крутилич — стоик. Он

крепкий человек. Он добьется своего, этот неугомонный искатель. Предлагаю выпить за товарища Крутилича, за его беспокойную искательскую мысль!

Гуляев к своей рюмке не прикоснулся.

— Витенька, — шепнул он Виталию. — Кажется, я тебя сюда напрасно привел. Прости меня, старого дурака.

Виталию компания тоже не нравилась. Злые, обиженные, крикливые. Попросту не говорят, все с ужимками, со значительными недомолвками.

— Может, смотаемся? — тоже шепотом ответил он Гуляеву.

— Незаметно, по одному, — предложил Гуляев.

Положение облегчилось тем, что Зоя Петровна, измученная ногой Томашука, сказала, что у нее разболелась голова, и вышла на веранду. Гуляев вышел за нею.

— Милая Зоя Петровна, — спросил он, — у вас тут есть какой-нибудь второй выход, чтобы не идти через комнату?

— Есть, вот по этим ступенькам — в сад, а там — калитка.

— Чудесно. Мы с другом моим хотим ретироваться. Погуляли — и хватит. Громаднейшее вам спасибо. Приятно провели вечер.

— Зачем вы говорите неправду, Александр Львович? — ответила Зоя Петровна грустно. — Ведь я прекрасно вижу, что и вечер и компания вам не понравились и вы рады сбежать отсюда поскорее.

Гуляев молча взял ее руку и поднес к губам.

— Но к вам это не относится, — сказал он. — Вы-то прелестная.

На веранду вышел и Виталий.

— Давай-ка, милый друг, — сказал ему Гуляев, — обойди дом с той стороны, проникни в переднюю, возьми пальтишки и шапчонки, да и освободим Зою Петровну от наших особ. Все просторней в комнате будет.

— Зачем вы так говорите, Александр Львович? — сказала Зоя Петровна. — Виталий Михайлович! — крикнула она вслед сбегавшему со ступенек веранды Козакову. — Не беспокойтесь, я вынесу вашу одежду. Простите, Александр Львович, я сама схожу в переднюю. А то он заблудится в темноте.

— Не те шапки возьмет? Например, шапку Крутилича. Откуда у вас этот тип? Мне он представляется грязным и, простите за грубое слово, вшивым.

— Константин Романович все... Константин Романович готов помогать каждому, кто как-то и кем-то обижен. Вот разыскал...

Она ушла и вскоре возвратилась вместе с Виталием. Виталий уже был одет, он нес пальто Гуляева. В руках Зои Петровны Гуляев увидел свою шляпу.

— Я не перепутала? — сказала она. — Это не Крутилича, нет?

Зоя Петровна с завистью смотрела вслед этим понравившимся ей людям, стояла на крыльце до тех пор, пока во мраке были слышны их голоса. Зябко передернула плечами, вернулась в комнату.

— Партия учит нас, и партийных и беспартийных, быть принципиальными, — говорил в это время Орлеанцев. — И если вы, инженер Воробейный, считаете, что вас обидели, дали должность совсем не равновеликую той, какую вы занимали прежде, вы обязаны об этом сказать где следует, а не смиряться так покорно.

— Видите ли, Константин Романович, — возразил Воробейный. — Дело осложняется тем, что хотя меня и амнистировали по линии судебной, но в партии-то не восстановили. И как только об этом скажешь, все, знаете...

— Добивайтесь, чтобы в партии восстановили! В чем дело? — возмутился Орлеанцев. — Где вам отказали? Надо идти дальше, вплоть до Центрального Комитета! Слышите?

Воробейный молчал.

— Так молчать нельзя! Это беспринципно, — закончил Орлеанцев. — Зоенька, — обратился он к Зое Петровне, — а где наши гости? Ушли? По-английски, не попрощавшись. Славный народ, между прочим. Служители муз.

— Не могу сказать, — подал голос Томашук, — чтобы и Гуляев был очень славным. Где вы его подцепили, Константин Романович?

— Там же, где и вас. В театре. Зашли с Зоей Петровной. Познакомились.

— Он барбос, — сказал Томашук. — Старый хамило. У меня с ним была отвратительнейшая сцена. Наговорил мне при народе гадостей. Не думаю, чтобы знакомство с ним доставило вам большое удовольствие.

Зоя Петровна опять не знала, куда деваться от ног Томашука. Когда гости ушли, она сказала Орлеанцеву об этом.

— Какой подлец! — ответил он со своей улыбкой, из-за которой всегда так было трудно судить, всерьез он говорит или в шутку. — Следовало бы дать ему по физиономии.

Зоя Петровна принялась убирать со стола и приводить в порядок комнату. Мать и дочь в этот вечер, правда, не вернутся, они отправились на ночлег к одной хорошей знакомой, но утром заниматься уборкой будет некогда, на работу вставать рано. Зоя Петровна чистила ножи и вилки, мыла посуду. Орлеанцев сидел на диване и рассуждал о том, что плохих людей на свете, в сущности, гораздо меньше, чем хороших. И даже вот этот Томашук — его ноги еще ни о чем не свидетельствуют, — он может оказаться замечательным человеком.

— Человек, Зоенька, так устроен. Идеальных людей не существует. Каждый из нас одной стороной хорош, другой стороной непременно плох. Недаром критики секут тех писателей, которые сочиняют героев без сучка и задоринки, так называемых идеальных героев. Неправда ведь это — идеальные. За то и секут, за неправду.

— Не может быть, — подумав, ответила Зоя Петровна. — Не может быть, чтобы все были двухсторонние.

— Да, Зоенька, да, все двух-, трех-, пяти-, и еще более сторонние. И чем этих сторон больше, тем богаче натура, тем она интереснее. А то были бы все как с одной колодки, отутюженные одним утюгом. Скучища бы тогда какая зеленая воцарилась на божьем свете. А помнишь, что Маяковский говорил: лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Вот ты, например, сама, ты считаешь себя хорошим человеком?

— Не знаю, — растерялась Зоя Петровна. — Думаю, что я не хуже других.

— Видишь, как ты осторожна в оценках! А почему? Потому что не безупречна. Нет, не безупречна. У тебя тоже есть не слишком светлые стороны.

— Ну и что же! — Зоя Петровна гордо тряхнула головой. — И что же из этого следует?

— А ничего же. Не надо и от других требовать, чего сам не имеешь, — этакой всеобщей ангелообразности. Вот что же.

— Я о себе не говорю, не во мне дело, — волновалась Зоя Петровна. — Я маленький, крошечный человек. Но если думать, что каждый хороший, большой человек —

он же одновременно и дрянцо и даже негодяй, что тогда будет, Костя? Нам не на кого будет равняться.

— А тебе непременно надо на кого-нибудь равняться? Это у тебя еще от пионеров, наверно: «Направо равняйсь!» А там, справа, какой-нибудь верзила, у которого и всех качеств-то, что этот рост.

— Костя... — сказала Зоя Петровна беспомощно. У нее не хватало слов, возражений, доказательств, но она чувствовала, что права, права именно она, а не он. Не прав он, он ошибается. — Ты говоришь, что ты добрый, а ты злой! — выкрикнула она. — Если так думаешь о всех людях.

— Видишь ли, детка... — начал было он.

— Я не детка! — обиженная его снисходительным тоном, выкрикнула Зоя Петровна. — Я не люблю таких слов.

— Ну не детка, так кошечка, горностаечка, цыпленок, курочка...

Зоя Петровна зажала уши ладонями. Когда губы его перестали шевелиться, отпустила. Он говорил:

— Дело не в этом. Дело в том, что я-то и не утверждаю, что хорош. Я себя знаю. Во мне дурного хоть отбавляй. Изображать меня хорошим — значит обманывать и меня и других.

— Ну, а хороших изображать плохими — тоже обман.

— Хороших нет, не было и не будет!

— А Ленин?! — Это было последнее, что могла сказать Зоя Петровна в свою защиту.

Орлеанцев молчал долго, так долго, что успел закурить и выкурить до половины длинную папиросу.

— С тобой спорить нельзя,— сказал он наконец.— Ты пользуешься запрещенными приемами. Это неспортивно. Давай-ка лучше спать. Я останусь у тебя. На улице мразь, холод.

— Я тебе постелю,— ответила Зоя Петровна,— но сама уйду туда, где сегодня ночует мама.

— Глупая, — сказал Орлеанцев. Он поймал ее за руку, посадил рядом с собой на диван, стал целовать в лоб, в глаза, гладил ее плечи.— Глупенькая,— говорил шепотом. — Уже и обиделась. Уже и надулась. Ну стоят ли чего-нибудь все эти разлады? Что такое эти выдуманные идеальные герои рядом с тобой, золотая ты моя, красивая, нежная, ласковая?..

Она подумала, что так вот именно мурлычет над пойманным мышонком их кот Рыжик. Ей стало жаль себя.

Она заплакала, прижимаясь к груди мурлыкающего человека, обнимая его шею дрожащими горячими руками...

Утром Антон Егорович, посмотрев в ее бледное лицо, сказал:

— Пошлю-ка я вас в отпуск, дорогая. Из-за меня тринадцатый месяц страдаете. Если я не был в отпуске, это еще не значит, что и вы должны при мне сидеть. Я деятель номенклатурный, вы — трудящаяся масса. Подавайте заявление. Путевочку куда-нибудь схлопочем.

— Не хочу я в отпуск, Антон Егорович. Лучше бы мне компенсацию выдали.

— Что так? С деньжатами плохо? Трудновато одной-то семейство содержать? Да, черт возьми, жизнь!..— Он походил по кабинету.— Замуж бы выходили, а? Между прочим, что это вокруг вас москвич наш вращается, Орлеанцев?

Зоя Петровна давно ждала такого вопроса от Антона Егоровича и очень боялась его. Вспыхнув, она примолкла.

— Вы осторожней с приезжими, — продолжал Антон Егорович.— Кто их, леших, знает — надолго ли прикатил, всерьез ли. Наговорит тут, напоет в ушко, а там, глядишь, подхватил чемоданчик, да и был таков. Работник он вроде бы толковый, умный. И так из себя ничего... Ну ладно, ладно, в краску, гляжу, вогнал. Не буду. Только смотрите у меня. Чтоб потом не хныкать.

16

Четвертый день Степан Ершов жил в родном городе. Поместили его в старой мазанке покойных родителей, среди родных вишневых садочков. Садочки стояли голые: заканчивался ноябрь, осенние дожди нещадно поливали глинистую почву.

Степан из дому выходил мало. Прошелся в сумерках по главной улице. Прятал лицо под козырьком кепки, боялся встретить знакомых. Но знакомые не попадались. Народу в городе стало намного больше, чем было до войны. Все молодежь — хлопцы, девчата. Откуда их понаехало? Или повырастали из тех маленьких пацанчиков, на существование которых Степан до войны внимания не

обращал? Намного больше стало новых домов, построенных на месте тех, что разрушила война. Центральные улицы изменились неузнаваемо. Только вот здесь, среди окраинных садочков, внешне все было так, будто в далекое довоенное время, будто и не бушевали над этой землей артиллерийские грозы, будто не топтали ее, эту всего натерпевшуюся землю, сапоги гитлеровских дивизий.

Спустился Степан к морю, к порту. Долго искал двухэтажный кирпичный дом с номером четырнадцать. Три или четыре месяца было хаживано сюда, по этой тропке с обрыва, к этому дому номер четырнадцать, но сколько чувств испытано, сколько дум передумано! Не было дома номер четырнадцать, исчез, на его месте штабелями лежал обмытый дождями черный каменный уголь; ковш крана подгребал его с краю, захватывал в железную пасть и, вытягивая длинную костлявую руку, подавал на корабль, стоявший у причала.

Может быть, и хорошо, что этого дома не было. Разве решился бы Степан войти в него, постучать в знакомую дверь? Побродил бы вокруг в отдалении, да и ушел. В кармане у него, в протертом до белой подкладки клеенчатом бумажнике, обернутая в целлофан, хранилась фотокарточка; края ее осыпались от ветхости, осталась одна серёдка — девичье лицо, черты которого мог различить теперь только он один, Степан. Но он их различал хорошо. Он не мог позабыть их ни в плену, ни позднее, на краю советской земли. Через все испытания пронес эту карточку. У него не было никаких надежд встретить ту, которая ему подарила ее за несколько дней до войны. У него осталась лишь глухая боль в сердце, и во имя этой боли — и не по каким иным причинам — пришел он к тому месту, где жила когда-то черноглазая веселая Олечка Величкина, у которой были такие нежные, бархатные щеки. Степан знал, что разыскивать ее нигде и никогда больше не будет. Ему было страшно от мысли, что она может найтись. Он боялся увидеть вдруг ее глаза, услышать ее голос. Хотя очень бы желал этого.

Побывал Степан на базарной площади, откуда, с горы, был отлично виден весь завод — от доменного цеха до складов готовой продукции, до третьей, дальней, проходной. Четыре домны стояли несокрушимо-грозной шеренгой, их отчетливо отражала зеленая вода бассейна, в который заходили корабли-рудовозы, доставлявшие руду из-за моря.

На завод Степан не шел. Ждал решительного разговора с братьями. Но разговора все не было. В первый день, как приехал, все трое — отпросились, должно быть, у своих начальников — встретили его на вокзале, жали руки, обнимали, но говорили пустячные слова: насчет пути — как ехалось, про погоду, дожди, мол, зарядили, и всякое такое. С вокзала привезли на квартиру к Платону — оказывается, выехал Платон из отцовского домишка,— велели помыться с дороги. Устиновна плакала возле, держа чистое полотенце. Усадили пить чай. Получалось как-то неловко — он один за столом брякал ложечкой в стакане, а все собравшиеся — кто стоит вокруг в тягостном молчании, кто ходит по комнате и тоже без единого слова к нему, Степану. Народу в квартиру набилось множество. Устиновна сказала, что все это родня, но Степан среди этой родни не знал многих. Должно быть, после войны такая родня завелась, в его отсутствие: кто замуж вышел, кто женился, кто народился.

Потом сказали, что определят его на жительство; как он — не против жизни в старом отцовском доме? Какое же может быть против? Двадцать три года, до самой войны, проживал в нем.

Под вечер позвонили по телефону, вызвали такси, отвезли вот сюда, в вишневые садочки. Дмитрий сказал, что живет тут вдвоем с Андреем, сыном Игната, убитого на войне. Мать Андрея с каким-то майором на Дальний Восток сбежала, когда часть семьи Ершовых была эвакуирована на Урал. Так и след простыл Андреевой матери. Живет Андрей в боковушке. Сам Дмитрий горницу занимает, окнами и на улицу, и в сад. А ему, Степану, третья комнатуха достанется в полное владение.

На деле достался весь дом. Дмитрий уехал с братьями в тот вечер, да так и не вернулся. Вчера исчез и Андрей. Степан успел разглядеть, что племянник этот, которого он помнил худеньким хлопчиком, стал крепким, широкоплечим парнем, рослым, красивым, хотя и у него уши торчали в стороны. Шел ему, как он сказал, двадцать пятый год. Техникум, оказывается, уже окончил, мастером работает в доменном цехе.

С Андреем Степану все-таки удалось поговорить. Было это позавчера. Вернулся Андрей после смены с завода, в одной майке мылся на кухне под рукомойником, смывал в таз доменную въедливую копоть. Степан встал в дверном проеме. Нехотя и угрюмовато, походя в те

минуты на дядю своего, Дмитрия, отвечал ему Андрей на вопросы о возрасте и о том, где и кем работает. «Отличник, поди, передовик? — полувопросительно сказал Степан.— Награды, ордена имеются?» — «Какие же ордена? — ответил Андрей, вытирая шею полотенцем.— Авария была, фурму вырвало. Теперь отстаем. Отстающий участок. Все, кому не лень, ругают. В газете пропечатали три раза». Степан был удивлен. У него давно сложилось представление, что каждый, с кем не случилось того, что случилось с ним, без усилий шагает по жизни, осыпаемый ее благами. На воле — все отличники, ударники, орденоносцы, лауреаты, депутаты и делегаты... Все благополучны, счастливы, всем весело на свете, уютно. После освобождения он уже не первый раз слышит о человеческих неурядицах, происходящих и на воле, но все никак к этому не привыкнет и не сразу понимает, всерьез ли ему говорят об этом или в шутку. «Что ж так? — спросил он.— До аварии-то почему довели?» — «Плохо глядели»,— ответил общими словами Андрей.

Потом Андрей сам спросил Степана: «А где вы у немцев бывали, на каких фронтах?» Степан сначала не понял, на что такие сведения, но когда Андрей добавил: «Под Белгородом, случайно, не были?» — понял, что сын Игната хочет знать — не стрелял ли родной брат в родного брата, в его, Андреева отца, который погиб на Курской дуге. Андрей смотрел в сторону, застегивая пуговки рубашки. Но Степан видел, с каким напряжением ждет парень ответа на вопрос. «Нет,— сказал Степан,— не доводилось. Не бывал в тех местах».

После разговора с Андреем Степан понял, что всю семью волнует мысль — насколько далеко пошел он по дороге служения врагу; короче говоря — проливал ли кровь своих, состоя в предательских войсках Власова. К ответу именно на такие вопросы он и готовился все дни. Но никто ему, кроме Андрея, их не задавал. Братья — то один, то другой, то третий — появлялись этими днями в старой хате на десять — пятнадцать минут, спрашивали, не надо ли чего, и исчезали. Вчера, субботним вечером, был Дмитрий, постоял у ворот, дождался, пока пришла какая-то женщина, поговорили на улице о чем-то с полчаса, а потом и ее увел, и сам не вернулся. Степан чувствовал себя виноватым: видать, помешал свиданию.

Обедать он ходил в железнодорожную столовую при товарной станции. Утром и вечером чай кипятил сам, пил с хлебом и колбасой. Если уж говорить о том, что ему было бы надобно, то, конечно, человеческое слово, чтобы кончилось его одиночество, чтобы родные позвали его к себе. Сам, первый он идти к ним не мог — не чувствовал за собой права на это. Он ждал, что все-таки они позовут.

И вот дождался в этот воскресный вечер. В темноте за окнами послышался тяжелый топот мужских шагов; постучали в калитку. Пришли все трое. Выставили на стол две поллитровки, разложили свертки с селедками, ветчиной, солеными помидорами, огурцами. Из буфетного шкафа Дмитрий достал тарелки и стаканы.

— Что ж, Степа! Сядем за стол да выпьем! — сказал Платон Тимофеевич, придвигая стул.— Давно ты с братьями не сиживал.

Были налиты граненые стаканы, все чокнулись, сказали: «Бываем здоровы», но пить, хотя и поднесли кто ко рту, кто к носу,— Степан это видел,— никто из братьев не стал, стаканы вернулись на стол нетронутыми. Он все же отпил из своего немножко, стал закусывать огурцом.

— Степан,— сказал вдруг Дмитрий с той прямотой, которая была известна Степану еще с детства.— Ни мы, ни ты не дипломаты. Давай выкладывай все начистоту. Как дошел ты до жизни такой?

— Понимаешь, Степа,— добавил Яков Тимофеевич.— Пока ты был где-то, ты был, так сказать, сам себе хозяин, так сказать, единица, полностью отвечающая за себя и никому ничем не обязанная. Сейчас ты возвратился в родные места, а жизнь так устроена, что каким бы ты отшельником ни жил, как бы ни ховался от народа, ты для него, для народа, член нашей семьи, наш брат, и веревочку эту никакая сила порвать не может. Словом, перед людьми все мы были, есть и будем в ответе за тебя. Вот нам и желательно...

Не найдя слова, которым бы в точности выразилось то, что братьям желательно получить от разговора со Степаном, Яков Тимофеевич пощелкал пальцами. Платон Тимофеевич кивнул в знак согласия. Дмитрий сидел неподвижно, положив на стол локти больших, сильных рук.

Медленно, но неотступно в тело Степана — в грудь, в ноги — проникал цепенящий холодок. Степан давно ждал этого разговора и в то же время никак не представ-

лял себе, что будет столь страшно предстать один на один перед своими братьями. Там, далеко от родных мест, от этих трех людей, на которых он похож чертами лица, глазами, движениями рук и походкой, он после войны представал не раз перед следователями, перед должностными лицами, перед судьями, вершившими строгий суд, — все прошел Степан за минувшие годы. Но никогда еще не ощущал он такого страха, как в этот вечер. Стоя перед судьями, отвечая на их вопросы, он знал, что, как бы ни был суров приговор, он не бессрочен, какой-то предел да будет наказанию. Приговор братьев — это приговор навечно, ни сроками, ни пределами он не ограничивается, это уж до самой смерти.

— Рассказывай, Степа,— услышал он голос Якова.— Что считаешь нужным, то и рассказывай.

Что считаешь нужным... Насколько же легче было стоять перед судом. Суд сам определял, что нужно рассказывать, суд задавал вопросы. Степан на них отвечал. А здесь... Здесь надо было вывернуть всю душу без остатка. Если он сумеет сделать так, что братья поймут его,— суд, может быть, в его пользу будет, не поймут — все кончено, и навсегда. Второго такого разговора уже не жди.

О чем же рассказывать, с чего начинать? В памяти Степана встал яркий осенний день. Его, комсомольца, подавшего заявление в партию, вызвали в партийный комитет завода. Секретарь комитета, с кобурой на поясе, расхаживал по комнате. «Ершов,— сказал он,— инженер Воробейный и ты прикомандировываетесь к члену парткома мастеру Василенко. Знаешь такого, из доменного? Вам поручается ответственная операция. Для тебя это первое партийное поручение. Ты на какой машине работаешь? На «эмке»? Иди и получи легковой «ЗИС». Действуйте!»

Инженер-доменщик Воробейный, человек лет тридцати пяти, с полгода как отпустивший усики, с помощью которых пытался уравновесить свой большой, вислый носище, был тут же. Все втроем во главе с Василенко они отправились в контору доменного цеха, и там Степан присутствовал при разработке операции, которая заключалась в том, что надо было взорвать печи, если окажется, что советские войска оставляют город. Многие заводские рабочие, погрузив оборудование в эшелоны, давно были где-то в дороге на восток. Отправился туда и брат Пла-

тон. Братьев Якова и Игната взяли в армию. Но немало народу ходило еще и на завод: по привычке и потому, что больше никуда не пойдешь. Так ходили отец Степана и брат Дмитрий. Прокатка остановилась, погасло несколько мартеновских печей. Только шли и шли домны, которые никогда не угасали, им нельзя было угасать.

Был солнечный день, когда на территории завода стали падать и рваться снаряды немецких пушек, когда поток людей, автомашин, конных повозок хлынул вдоль моря, на восток, к степям.

Василенко, Воробейный и он, Степан, выполнили задание. Они вывели из строя все сложное хозяйство, питающее доменные печи воздухом. Они это сделали в те минуты, когда танки немцев подошли к мосту перед заводом. Надо было немедленно уезжать. Но выяснилось, что куда-то исчез Воробейный. Кидались туда, сюда, нигде его не было, Василенко принял решение: «Ждать не будем. Сам виноват. Пошли к машине». Степан сел за руль, нажал на стартер, мотор молчал. Он поднял капот. Ехать было нельзя, кто-то вывернул свечи. «Инженер ваш тут копался.— Подошел старик вахтер.— Прибежал вот только что — и сюды, прямо в мотор. Я-то ведь не знаю, какие у вас дела. Может, так и надобно».

Облили автомобиль бензином, подожгли и вдоль моря двинулись пешком, в толпах людей, отступавших на восток. Их бомбили бомбардировщики, штурмовали пулеметным и пушечным огнем штурмовики, преследовали на танках...

Нет, об этом братьям рассказывать ни к чему. Не ждут они рассказа, наверно, и о том, как сражался он, Степан, в рядах Красной Армии под Ростовом, на Кубани, под Минеральными Водами и в теснинах Северного Кавказа.

— Что ж, так и будем играть в молчанку? — сказал Дмитрий, не снимая локтей со стола.

— Струсил,— сказал Степан, чувствуя озноб во всем теле. Суду он рассказывал, как их роту окружили, как некуда было податься, как кончились патроны,— и то была полная правда, так именно и было. Но там его не спрашивали о том, что и как он чувствовал в тот день, что пережил. Здесь он впервые вслух произнес это слово: «Струсил».

— Может быть, и руки кверху поднял? — Дмитрий выпрямился на стуле.

— Поднял.

— Так ты же не Ершов! Ты, знаешь, кто... ты...

— Обожди,— остановил Дмитрия Платон Тимофеевич.— Может, ранен был? — спросил он Степана.

— Нет, здоровый.

Яков Тимофеевич вытащил пачку сигарет, Платон Тимофеевич и Дмитрий потянулись к ней. Закурили.

— Ну и что же? — заговорил Платон Тимофеевич.— Поднял руки, тебя забрали, надели гитлеровскую шинель? Погнали стрелять в своих? А в это время батька твой не давал врагу получать металл с наших печей. Батька твой рук не подымал, дрался как мог, до последнего.

— Дмитрия вон как изуродовали, — сказал Яков Тимофеевич. — Парнишка еще был. Расстреляли ведь хлопца.

Степан скосил глаза на изувеченное лицо Дмитрия.

— Игнат погиб... Ленька, Валерка...— добавил Дмитрий.

Степана знобило все сильней. Стала мелко и неудержимо дергаться челюсть, зубы постукивали о зубы. Хотел сказать многое, все сказать, а не мог и трех связанных одно с другим слов из себя выдавить. Молчал и бормотал.

Не выдержал такого напряжения. Схватил чей-то полный стакан, расплескивая на пол, на штаны, поднес ко рту, выпил водку большими глотками, будто воду. Никто на это не сказал ни слова. Стало немножко легче, прошла дрожь.

— Да, я подлец,— заговорил он торопливо.— Плюйте мне в лицо, утираться не буду, все стерплю. Одно верьте: не стрелял я в своих. Ничего не вышло из нас у немца. За других не говорю, а наша часть была не войско. Гоняли нас по тылам, нужники чистили, а потом за небоеспособность и вовсе расформировали. Гад я, гад, ладно. Но крови родной у меня на душе нету. Нету, говорю, нету, слышите? Никто мне такой казни не придумает, которой сам я себя казню. Нет мне покоя, никогда нет, даже во сне.

Братья слушали его выкрики, дымили сигаретами, прикуривая друг у друга.

— Никто из вас не знает того, что знаю я. Разве вы знаете полную цену тому, когда рядом плечи своих? Вам это в обыдёнку. Нет ничего страшнее — встать со своими, с родными, один против одного, не плечом к плечу, а грудь к груди. Да мне бы так, как вы сейчас... плечом к родному плечу прижаться... землю бы ел.

— А почему ты так думаешь — полной цены этому не знаем? — спросил Дмитрий.— Потому и не пошли против своих грудь к груди, что всегда знали цену верности родной земле, родной семье... Ты нам лекцию не читай. Твоей науки мы не проходили и проходить не будем. Ты как птица воробей. В одной книге о нем читал, что он птица-космополит. Везде ему родной дом, где кормежка есть, где урвать кусок может.

— Неправда,— сказал Степан.— Неправда!

— Если неправда,— продолжал Дмитрий,— что ж ты, как другие, не подался к своим? Когтями бы, зубами да процарапывался, прогрызался. Мало таких было, что ли? В гитлеровских лагерях подпольные организации сколачивали, электрическую проволоку рвали, в партизаны уходили. Геройство и там большевистское проявляли. Не за то, что в плену был, — за это, что же, мы тебя судить будем? Ну струсил и струсил, у каждого свой запас прочности,— нет, за другое, за то, что во власовцы пошел, вот за что морду тебе бить надо.

— Степан, Степан,— заговорил и Яков,— объясни ты нам, что значит — струсил? Как, то есть, струсил, чего струсил, перед кем струсил?

— Увидел дулья автоматов, как они глазком своим черным в душу твою заглядывают...

— ...и руки поднял? — с яростью добавил Дмитрий.— О чем же ты думал в ту минуту?

— О том, что жить хочу! Вот о чем! — выкрикнул Степан. — Жить! О том, что, может быть, еще выпутаюсь как-нибудь, если на месте не пристрелят. Не конец это. Мало ли что бывает.

— Степа,— сказал Платон Тимофеевич, с укоризной качая головой,— во всякой борьбе действует один закон. Если ты изменил своим, спасая себе жизнь или свое благополучие, то жить ты сможешь, пользоваться этой жизнью, только борясь против своих. Середки в таком деле нету. Или выстоял, так выстоял до конца — живой или мертвый. Или сломался, так тоже ломаться будешь без останову. Ты помнишь, Яков,— обратился к Якову Тимофеевичу,— помнишь, у нас в Юзовке, в двадцать шестом или двадцать седьмом году,— мы тогда молодые парни были, комсомольцы,— ты помнишь секретаря комсомольской ячейки Лешку Краснобаева?

— Что-то запамятовал,— ответил Яков Тимофеевич.

— Так вот — Лешка... Был он свой, рабочий парень. А троцкисты его подмяли все-таки под себя. Испугался. А чего испугался? Того, что нашлась там кучка горластых. Как принялись на нас, большевиков критику наводить, как пошли чесать на собраниях. Он и подумай: раз так горласто орут, значит, их сторона побеждает, их сила — и давай, глупая голова, к ним подлаживаться. Дальше — больше. До того доподлаживался, что даже активнее этой шпаны действовать начал. Приехал к нам из обкома — или из губкома, по-тогдашнему... вот и я позабывать стал, Яша, как было в точности-то... Приехал, говорю, боевой такой парень, одно помню — тоже Алексеем звали, а фамилия, должность?.. Извиняюсь, запамятовал. Они тут и сошлись-схлестнулись. Приезжий Алексей стал громить крикунов. А наш Лешка и говорит: «Не позволю распоряжаться, я тут руководитель». А приезжий ему: «Ты, говорит, знаешь, какой руководитель теперь? Ты, говорит, на цыпочках бежишь впереди разбушевавшихся сукиных сынов и еще оглядываешься — так ли бежишь, как им надобно, заискиваешь перед ними, ихних аплодисментов ждешь. Радуешься, дурак, что они тебя хвалят». Ничего наш Лешка не понял, закусил удила, запутался еще пуще, до того дошел, что ходу ему обратно уже не было... Допустим — снова к нам идти?.. Верить ему будем, что ли? Нет, милый, не выйдет!.. Потом мы все это болото осушили, кого следует поуняли, поутихомирили. Новоявленные Лешкины сотоварищи бросили его, чего и следовало ожидать. Остался он голенький перед массами. Думаю, что пальцы грыз оттого, как промахнулся в политике. Сидел один в норе, что сурок, и грыз их, пальцы-то.

Платон Тимофеевич покрутил на столе стакан с водкой, оставил его на месте, принялся за соленый помидор.

— Куда работать пойдешь? — спросил он.

Степан окончательно расстроился от этого будничного вопроса. Он не знал, как отвечать.

— Что тут спрашивать и что раздумывать, — сказал Дмитрий.— На завод должен идти. Куда же еще?

Ушли братья в третьем часу ночи. Степан проводил их до калитки и долго слушал шаги, постепенно затихавшие в кромешном осеннем мраке. Вернулся в дом, посмотрел на нетронутые стаканы, погасил свет, лег не

раздеваясь на постель. Руки закинул за голову. Стучали старые ходики, шумел ветер в голых вишнях за окнами.

В памяти встал отец Тимофей Игнатьевич. Вспомнился таким, как изобразили его на первой странице газеты за месяц или за два до войны, когда наградили старого доменщика орденом Ленина. Степану чудилось, что из тьмы комнаты выступает отцовское морщинистое лицо с белыми, как морская пена, усами — доменный жар их не брал — и прямо в душу ему смотрят темные отцовы глаза, от которых никуда не уйдешь, нигде не скроешься.

17

— Товарищи! Хотим мы или не хотим, но приходится снова возвращаться к этому вопросу.— Чибисов обвел взглядом собравшихся в его кабинете. За длинным столом и на стульях вдоль окон сидели начальники цехов, мастера, главный инженер, главный металлург, главный технолог, главный механик, секретари цеховых партийных организаций, профсоюзные работники.— Вопрос такой,— продолжал он,— что даже из министерства уже звонят. Надо подумать. Может быть, мы товарищи, ошиблись в свое время. Так сказать, увлеклись сокращениями и реорганизациями и ремонтные работы передоверили некоторым цехам напрасно? Может быть, товарищ из техникума, инженер Крутилич, прав? Давайте без нервов, без излишеств разберемся в деле еще раз. Я поднял позапрошлогодние документы, протоколы... Тогда почти все из нас высказывались за децентрализацию ремонта в доменном цехе. Но время идет, вносит свои поправки. Проверка временем — самая безошибочная проверка. Выдержал ее наш метод или нет? Может быть, все-таки к старому надо возвратиться? У нас нередко случается и так: без должных оснований отбрасываем хорошее старое, проверенное, испытанное, и заявляем, что это отбрасывание — уже само по себе новшество.

— Чаще все-таки бывает наоборот, Антон Егорович,— сказал главный инженер.— Держимся за старое, а новому дорогу не даем.

— Совершенно верно, не спорю. Но и так, как я говорю, бывает: увлекаемся безосновательными перестройками. Кто возьмет слово?

— Дай мне, Антон Егорович! — Платон Тимофеевич встал, вышел к директорскому столу, собрал в горсть усы, кашлянул.— Видите ли, товарищи, первое слово должен сказать я, и никто другой. Почему? По той причине, что я первый предложил нашему доменному цеху отказаться от услуг ремонтно-монтажного цеха, РМЦ. Меня, как всем ведомо, поддерживал тогда и начальник цеха и — чего говорить — весь коллектив. Какие были наши обоснования? Кто запамятовал, подскажу. Мы шли в своих рассуждениях от того, что доменные печи стали сложнее, чем были раньше, что ремонты в наших условиях, когда дорог каждый час, должны вестись только скоростными методами, а вести их будут так только те, кто заинтересован в высокой производительности печей, в том, чтобы как можно меньше простаивать и как можно больше получать металла. А кто есть такое заинтересованное лицо? Он сам, доменщик. И жизнь, товарищи, показала нашу правоту. От услуг РМЦ отказались, все текущие ремонты ведем сами, скоростными методами, и только на ходу печей. Управляемся с этим в самых сложных условиях. Почему? Да потому, что доменщик свою печь знает как самого себя. А ремонтник из РМЦ? Может он ее так знать? Нет, не может. Вообще все стало у нас по-другому. Обезличка, например... Она полностью ликвидирована. Раньше было как? А так: случись что — доменщики закуривали, да и дожидались ремонтников. Чтобы механизмы совершенствовать — над этим и не задумывались: не наше дело. А теперь? Теперь рационализаторских предложений, что ни год, то сотни. Толковых предложений. Тут все руководящие товарищи собрались, и вы сами знаете, сколько из этих предложений внедрено у нас в производство и какой они дают экономический эффект. При РМЦ что было? Мне, к примеру, запомнилось, что было до черта всякой писанины. На любую работу оформляй ведомость. Да чего тут говорить! Я лично считаю, что никаких резонов для того, чтоб возвращаться к централизации, у нас нету.

Платон Тимофеевич вернулся на свое место, снова кашлянул в кулак.

— Ершов во многом прав,— заговорил главный инженер.— Когда-то, годах так в тридцатых, когда мы были молоды — имею в виду нашу металлургию,— и очень молоды, мы еще не умели по-настоящему организовывать эксплуатацию оборудования. Тогда все наше внимание было сосредоточено на новом строительстве. Оборудо-

вание работало у нас на износ. Вот в ту пору централизация ремонтов была необходима. Называлась она «кустовой системой». Да, «кусты» были в свое время началом прогрессивным. При «кустовой системе» создавались должные условия для организации профилактических ремонтов, потому что они принудительно регламентировались графиком работы цехов главного механика. А дальше? Дальше росли наши кадры, обогащался наш опыт, наши доменщики становились блестящими мастерами своего дела. Они тянулись к творчеству, к творческому труду. Тут уж «кусты» стали помехой, тормозом. Ершов совершенно прав: одним из самых опасных явлений, присущих «кустам», надо считать то, что из творческой работы по совершенствованию механизмов и оборудования выключается наша главная созидательная сила — наш рабочий класс. И не только в производственных цехах, но, как это ни парадоксально, даже и в «кусте». Ведь самой системой зарплаты рабочие «куста» на что нацеливаются? На то, чтобы ремонтировать плохо, ибо чем чаще ломается один и тот же механизм, тем больше можно заработать на его ремонте. Это выгодно. А всякие новые работы, да еще и требующие доводки и наладки, невыгодны.

Главный инженер долго и убедительно говорил в пользу децентрализации ремонтных работ в доменном цехе и о том, что нет резона отступать от этого назад, поскольку опыт пока что себя оправдывает. Что будет дальше — дело другое.

— А может быть, дело-то как раз в том, что наш РМЦ плохо работал, а принцип централизации правилен? — сказал Чибисов, раздумывая.

— Все может быть, — ответил главный инженер. — Но опыт-то, опыт-то положительный. От этого не уйдешь.

Потом выступали начальники цехов, мастера. Тоже подтверждали преимущество нового порядка ремонтов, проводимых собственными силами некоторых производственных цехов.

Когда совещание подходило к концу и когда Чибисов уже сказал: «Дело, в общем, ясное»,— попросил слова новый инженер из отдела главного технолога. Многие его не знали, поэтому Чибисов назвал фамилию: «Инженер Орлеанцев».

Орлеанцев встал, окинул присутствующих взглядом умных, усталых глаз, провел рукой по своим серебряным волосам, пропуская их меж пальцев, заговорил:

— А мне кажется, товарищи, что если инженер Крутилич в каких-то деталях и ошибается, то в основе он, безусловно, прав. При нашем плановом хозяйстве, при социалистическом хозяйстве, основанном на строгом и тщательном планировании, всякая кустарщина и доморощенность не только опасны, но просто смешны. Это же элементы анархии, это движение назад, а не вперед. Так могли организовывать ремонты частники, капиталисты-предприниматели, но не мы. Да, документации меньше. Может быть, даже и совсем нет ни одной бумажки. Да, рабочие творчески участвуют в ремонте. Да, они заинтересованы в сокращении сроков ремонта. Но это, товарищи, получается так... Есть магазины текстиля, в которых торговля ведется под лозунгом: шейте сами. Раскроят, а покупательница иди домой, и шей как знаешь. И нашьет она такого, что смотреть страшно. Специалистка-то, портниха, ведь лучше это сделает. Не так ли? Шейте сами, ремонтируйте сами — это что такое? Любительство, и больше ничего. Недавняя авария на третьей печи о чем свидетельствует? Именно об этом. Она — результат подобного любительства, отсутствия настоящего, острого, опытного инженерского глаза.

— Там была старая трещина в металле! Брак литья,— сказал Платон Тимофеевич.

— Может быть,— не поворачиваясь к нему, ответил Орлеанцев. — Может быть. Допускаю. Но если бы за исправность печи, за ремонт ее механизмов и оборудования отвечали специалисты ответственного органа, объединяющего дело ремонта на заводе, они нашли бы способ давным-давно проверить все оборудование и своевременно обнаружить эту трещину. Они бы располагали соответствующей аппаратурой. Их мысль была бы направлена на такие поиски. В наш век техники успех всякого дела решает специализация. Главный инженер говорил о вдохновенном искусстве. Но лирика, она хороша для стихов. Производство строится не на лирике, а на точном расчете и на организованности. У нас много говорят о сокращениях аппарата, о реорганизации управления. Я стою за такую реорганизацию, которая бы обеспечивала максимальную специализацию. Повторяю: я твердо убежден в том, что инженер Крутилич прав. Дело ремонта на заводе пора приводить в порядок. Хватит всяких доморощенных опытов. Авария на третьей печи заставляет нас серьезнейшим образом задуматься над этим.

Речь Орлеанцева многих озадачила. Рассуждения и доводы его были убедительны.

— Жаль, что автора предложения сюда не пригласили,— добавил он, садясь.— Это не совсем этично.

Чибисов постукивал карандашом по стеклу на столе, раздумывал. Доводы Орлеанцева в пользу централизации ремонта его не смутили. Но напоминание об аварии на третьей печи было неприятным. Из-за этой аварии Чибисову изрядно досталось — и от горкома, и от обкома, и от министерства. И все-таки авария совсем не означала, что надо возвращаться к централизованному ремонту. Инженер Орлеанцев ошибается. Аппаратчик, производства не знает...

— Поскольку из всех выступавших, — сказал он, — только товарищ Орлеанцев высказался в пользу предложения Крутилича, то мы решим, товарищи, пожалуй, свой опыт пока что продолжать. Благословляете?

— Благословляем,— сказал главный инженер.

Через неделю после совещания на заводе появился корреспондент областной газеты. Молодой человек с университетским значком на пиджаке ходил в доменный цех, говорил с мастерами, рабочими, с Платоном Тимофеевичем, выяснял причины аварии на третьей печи. Платон Тимофеевич показывал ему обломки креплений, хорошо различимую трещину в металле, корреспондент понимающе кивал головой.

Пришел корреспондент и к Чибисову, расспрашивал о Крутиличе, о его предложении.

При выходе из директорского кабинета корреспондента встретил Орлеанцев, который специально просил Зою Петровну известить его, когда беседа в кабинете закончится. Он повел корреспондента по длинному коридору. Они прошлись из конца в конец несколько раз. Орлеанцев предложил:

— Тут говорить трудно. Приезжайте-ка лучше ко мне в номер. Я живу в гостинице.

— А мой дом как раз против гостиницы,— сказал корреспондент.

— Вот и прекрасно. Заходите вечером.

Вечером Орлеанцев рассказывал корреспонденту свои впечатления о заводе.

— Вы знаете,— говорил он,— после Москвы, после ее широты и масштабов здешний дремучий провинциализм бьет по глазам. Нравы патриархальные. Все меж собой

родственники или приятели. Все друг с другом связаны. Друг друга тронуть боятся. Какая уж критика, какая самокритика! Из-за этой дремучести держат на ответственнейших инженерских постах полуграмотных практиков, так сказать, как это у Брюсова: «хранителей тайны и веры». А некоторые инженеры... например, Крутилич...

— Вы его знаете? — спросил корреспондент, из чего Орлеанцев мог сделать вывод, что товарищ из газеты прибыл, видимо, по письму Крутилича. «Молодец,— подумал Орлеанцев об изобретателе.— Уже действуют. Боевик». И ответил:

— Не столько самого Крутилича знаю, сколько его предложение. На днях мне пришлось драться за это предложение на совещании у директора. Но там, знаете, нелегко прошибаемый фронт. Думаю, придется в Москву ехать, в министерство, и вести принципиальный разговор в Москве.

Орлеанцев стал развивать свои планы реорганизации управления промышленностью.

Перед корреспондентом сидел умный, сильный, смелый человек, эрудированный, способный судить о чем угодно, широкий во взглядах. Он не мог не вызывать восхищения.

— Вы бы взяли да и написали для нас статью,— сказал корреспондент обрадованно.— Мы поможем оформить, если вас это затрудняет.

— Сам привык, как вы выражаетесь, оформлять,— с улыбкой ответил Орлеанцев. — Я пишу довольно часто — и в газеты и в журналы. Делаю наброски для книги. Снова что-то такое вроде «Записок инженера». У меня немало наблюдений, различных интересных встреч и поучительных историй. На художественность не претендую, но факты и мысли, надеюсь, читателя заинтересуют. Что главное в любом писании? Своевременность, актуальность. Если стреляешь, то попадай в яблочко, не правда ли?

— Может быть, из книги отрывочек нам дадите?

— Дело будущего. Когда напишу, тогда и поговорим. А не выпить ли нам, товарищ корреспондент? За вашу профессию, например. Замечательная, благородная профессия — всегда стоять на страже правды и справедливости.

— Нет, нет, что вы! — Молодой газетчик даже испугался.— Я не пью. Что вы!

— Это похвально, это похвально. И даже очень. Ну что ж, желаю успеха!

После ухода корреспондента, который был им очарован, Орлеанцев долго стоял перед окном. Где-то там, за огнями порта, было море. Оттуда несся ровный и неустанный шорох. Море бушевало. Ветер туго стучал в стекла. Орлеанцев смотрел в непроницаемый мрак, но уже видел в нем обнадеживающий просвет. Последние год-два несли ему больше огорчений, чем радостей. После долгих лет неизменных успехов это удручало, мешало жить...

Успехи, если уж заняться воспоминаниями, начались еще в институте; может быть, даже и в школе. Учился он всегда отлично. И в школе и в институте о нем говорили: «Наша гордость». Ему приятно было это слушать. Он привык это слушать и уже не смог бы смириться с положением среднего ученика. Чтобы всегда быть первым, он готов был ночи просиживать над книгами, над учебниками, не спать все двадцать четыре часа, лишь бы на уроке или на экзамене ошеломить и своих товарищей и преподавателей блестящим ответом. Понятно, что после окончания института его тотчас взяли в наркомат,— об этом постаралось руководство института. В наркомате он работал, правда, недолго, не успел показать себя как следует: началась война, ушел по мобилизации на фронт. Поучился несколько месяцев на курсах, произвели в лейтенанты, отправили в часть — командиром огневого взвода на батарею полковых пушек. И здесь стремился быть всюду первым, только первым, преодолевая все: страх, усталость, любые невзгоды. А у артиллеристов, идущих со своими пушками за цепями наступающей пехоты, таких невзгод было немало. Дважды ранили. Каждый раз возвращался в свой полк. Случился бой, когда батарея подбила два танка противника. Из одного орудия стрелял сам Орлеанцев. Прямой наводкой. Наводил стволом на танк и стрелял. Потом о нем писали в газетах, наградили орденом Красного Знамени, произвели в старшие лейтенанты, стал командиром батареи.

К тому дню, когда Красная Армия переступила через распаханную войной и вновь обретенную линию государственной границы Советского Союза и завязала бои на чужой земле, Константин Орлеанцев был уже в артиллерийском управлении штаба фронта, весь в орденах, подполковник.

После войны он вернулся в наркомат, ставший министерством. Пришел в гимнастерке, с тремя рядами орденских ленточек. И здесь он круто пошагал в гору. Перед ним открывались большие перспективы. Вот-вот должен был стать начальником одного из главных управлений. А там?.. Там недалеко и до министерского кабинета, и... Даже дух захватывало от дальнейших возможностей.

Глупость, чепуха помешала всему. Жена. Но не та, которая была до войны, первая,— нет, та оказалась тихой, порядочной, непритязательной; получает алименты, выращивает двух девочек, его дочек, обе уже студентки. А вот вторая, с которой встретился на фронте. С ней пережил трудную любовь, потому что муж у нее был генерал, и она, уже любя Орлеанцева, все-таки никак не хотела оставить этого мужа. Сколько было тягчайших сцен, пока наконец победил генерала и привел к себе в землянку эту капризную красавицу.

И вот она-то и подвела, чего никак от нее не ожидал... Появилась в министерстве молоденькая секретарша с огромными синими удивленными глазами. Брови у нее от переносья шли дугами к вискам, и все ее звали Газюня, предав забвению настоящее имя Газюни — Галина. Два года назад она родила от Орлеанцева мальчишку. Жена, конечно, узнала. Тут-то все и началось. Боевая супруга отправилась в Комиссию партийного контроля. Побывав там, пролив слезу, помянув свою молодость, произвела известное впечатление и, возвратясь, заявила: «Из партии-то я тебя, Костенька, исключу, можешь не сомневаться. Не на такую, милый, наскочил, не для того я от своего Феди уходила, чтобы ты надо мною смеялся. Плохо меня знаешь, дружок!»

Орлеанцев представал то перед одной инстанцией, то перед другой. С ним беседовали, ему внушали, напоминали о том, что он занимает такой пост, который могут занимать только предельно чистые люди, во всех отношениях чистые. В конце концов дали строгий выговор. «Э, нет! — сказала супруга.— Кто-то тебя, Костенька, покрывает. Выговором не отделаешься. Из партии, из партии исключу». Она доказала где следует, что, живя с ней, муж ее по-прежнему ходит и к Газюне, хотя слово давал в партбюро порвать с Газюней все отношения. Верно, были два случая: ездил проведать парнишку. Но ведь все-таки он был отцом этого парнишки, все-таки имел он право повидать его или уж нет? Да или нет — кто там

будет разбираться, иди доказывай этой разъяренной женщине. Скандалище «генеральша», как он стал называть жену, устроила грандиозный. Дело дошло до коллегии министерства, было оно шумное и запутанное. Орлеанцева понизили в должности. Жизнь у него была в ту пору тревожная. А жена не унималась. Снова ходила и писала в парткомиссию.

Случаю уехать из Москвы затравленный, загнанный, как заяц гончими, Орлеанцев даже обрадовался. Друзья поддерживали: «Уезжай, Костя, уезжай, дорогой. Сожрет тебя эта проклятая баба. За тобой она, конечно, не потащится, не такая. Оставь ей все — квартиру, вещи. Утешится. Езжай, дружище, а то ведь и в самом деле, чего доброго, из партии исключат».

Уехал, грустя о несбывшихся надеждах. Утешение было только в том, что его, отличного работника, прошедшего министерскую, государственную школу, на заводе примут так, как он того заслуживает, дадут соответствующую должность. А там — это уж его дело. Отличиться, показать себя сумеет. Среди периферийных работников это не так и трудно, во всяком случае, легче, чем в Москве. А уж когда будут новые заслуги, можно и возвратиться к пенатам и лаврам на новой, так сказать, основе. Бабью склоку позабудут.

Так думалось, такие были расчеты. А тут черт знает что, за каких-то Платонов Тимофеевичей цепляются, боятся стронуть кого-либо с насиженного местечка. Хорошо было бы, например, занять место обер-мастера в доменном цехе. Почетное место в металлургии. На этом месте блеснуть можно, стоит только поработать как следует — навести на печах образцовый порядок, собрать воедино все новшества доменного дела, повысить производительность печей. Он сумел бы поработать, он бы добился того, чтобы цех стал одним из лучших в стране, чтобы со всего Союза доменщики съезжались к обер-мастеру Орлеанцеву за опытом. Именно обер-мастером следовало ему стать, а не торчать в заводоуправлении. Любая производственная должность в заводских условиях всегда перспективней управленческой. Взять, например, главного инженера. Ответственность огромная; но труда твоего могут и не заметить. Если успех на заводе, ты почему-то отношения к нему не имеешь, а неудача какая-нибудь — ты виноват, ругают тебя по всякому пустяку. А обер-мастер... Нет, тут дело иное, дело серьезное. Тут

не бумаги решают его, не планы и не ведомости, а чугун, металл, основа основ индустрии. Твоя работа зрима, твой успех, если ты даешь металл, неоспорим.

Да, горизонт перед Орлеанцевым светлел. Не хотели добром, будет иначе. Никто не позволит этим чудакам затаптывать хороших, настоящих работников, готовых горы ворочать, и во имя чего ворочать, в конце-то концов? Во имя общего народного дела. Ведь это же ясно, что под его руководством доменные печи давали бы металла больше, чем дают они под руководством полуграмотного Ершова.

Орлеанцев с неприязнью вспомнил всех, кто формально, бездушно встретил его в этом городе,— и директора Чибисова, и каких-то людей в парткоме, куда он пошел жаловаться, и секретаря горкома Горбачева, посоветовавшего ему отправиться инженером на участок. Странный народ! Панацеей от всех бед одно у них стало: иди на участок, окунись в живую жизнь, начинай с низов, мы, мол, с крестьян и рабочих начинали, от сохи шли да от станка. Нелепость! Уж раз добились среднего образования для колхозного пастуха и любого подручного в любом цехе, то что тут вспоминать о сохе и станке! Другие времена, народ вырос, поднялся. От науки и с наукой надо идти в любое дело. То, над чем неделю или месяц будет биться этот Платон Тимофеевич, он, Орлеанцев, способен будет понять, постигнуть и сделать за день, а может быть, и за час, за минуту. А вот не понимают этого люди, все равно держатся за старых перечниц, за этот «золотой фонд» индустрии. Красивые слова, и больше ничего.

Отошел от окна, включил репродуктор. В нем хрипело, искажая музыку. Захотелось к людям. Не привык один проводить вечера. Оделся, вышел на улицу. Куда пойти? Знакомых завелось уже немало, адресов сколько угодно. Решил все-таки сходить к Зое Петровне. «Славная женщина,— думал о ней.— Умненькая и скромненькая. Преданная, верная. До чего же такие украшают жизнь!» Он пытался сравнить ее со своей женой, которая так и осталась у него в памяти улыбающаяся улыбкой гадюки: «Из партии, из партии полетишь, голубчик». Потом поставил рядом с Газюней. Газюня глупа: ничего лучшего не могла придумать, как родить. Дурочка. Но милая дурочка.

18

В театре читали пьесу. Написал ее молодой драматург, выросший в городском литературном объединении при редакции местной газеты. По пьесе получалось, что пятидесятилетний инженер, начальник Н-ского учреждения, влюбился в молодую инженершу. Она влюбилась в него. Он уходит из семьи, бросая жену и дочь. Жена остается одна, что не очень-то радостно перед лицом недалекой старости. Но она не согнулась. У нее есть любимая работа — правда, неизвестно какая,— она советская женщина, она будет приносить пользу народу. В финале одинокая женщина должна под патетическую музыку гордо взирать все на ту же галерку, которая призвана изображать ее светлое будущее.

Читал пьесу режиссер Томашук, потому что автор по молодости лет прийти постеснялся.

Когда Томашук умолк, Гуляев спросил:

— Интересно, кого же буду здесь играть я? Этого престарелого юношу? Опять?

— Несомненно, Александр Львович. У вас опыт.

— Но ведь это вариант того начальника дальневосточной стройки, которого я играю сейчас. Только там он бежит от девицы, сославшись на пожар тайги. А тут соединяется с ней узами Гименея. Это невозможно. Это кошмар!

— Никакого кошмара. Сходите в бухгалтерию, и вы увидите, как за последние полгода улучшились финансовые дела театра. Билеты полностью распродаются. Даже драки возле кассы бывают. Но финансовые дела — это одна сторона. Посмотрите на вторую, на главную: нас полюбил зритель, у нас появился свой, подчеркиваю это слово, свой зритель. Вас мучает ваш застарелый романтизм, Александр Львович. Вы как-то далеки от реальной жизни. Вы в прошлом. Вы не заметили того, что давным-давно выросли новые люди, что они уже не ходят в смазных сапогах и не носят портупей через плечо, не хвастаются тем, что университетов не кончали,— они их именно кончали. У них иные представления о жизни — более широкие, с бо́льшим числом граней, у них иные интересы, иные вкусы. Честь вам и слава, Александр Львович, вы завоевали для них право на счастливую, свободную жизнь, но позвольте уж им самим определять, что такое счастье и свобода. Не регламентируйте их, не будьте гирей на их молодых, сильных, широко шагающих ногах.

— Но ведь вы почти того поколения, что и я, Юрий Федорович,— сказал Гуляев.

— Но я не оторвался от жизни, от молодежи, вот в чем разница между вами и мной.

— А мне,— вмешался в эту перепалку Яков Тимофеевич,— мне думается, что Александр Львович прав. Не можем мы существовать на таком репертуаре. Что за спектакли у нас, товарищи? В одном жена уходит от мужа: дескать, он старый бюрократ. В другом муж уходит от жены: дескать, она старая просто. В третьем никто ни от кого не уходит, все трусы, но все хотели бы уйти и по трусости своей блудят тайно. В четвертом обижают какого-то добропорядочного мямлю.

— А кто виноват? — крикнула пожилая актриса.— Мы, что ли? Разве мы пишем эти пьесы? Разве мы принимаем их к постановке? Простите, Яков Тимофеевич, но с подобными вашими разговорами вы сами напоминаете этого добропорядочного мямлю.

— А я считаю,— закричала другая актриса, которая любила играть молодых героинь, похищающих чужих мужей,— что пьеса хорошая и все спектакли наши хорошие! Есть, по крайней мере, что играть. Выходишь на сцену и чувствуешь себя человеком, женщиной, а не каким-нибудь абстрактным работником, как было прежде. Человек, женщина! — вот что звучит гордо. А работник? Ра-ботник! Смешно даже и спорить.

— Совершенно верно,— поддержал ее актер, склонный играть первых любовников.— Объемней стали характеры. Человек действительно стал человеком. Ему не чуждо все человеческое. Прежде на сцене выпить, например, имел право только отрицательный персонаж, измену жене мог позволить себе только сугубо прописной злодей, а ты ходи да мобилизуйся, сплачивайся, нацеливайся, произноси всяческие «ура» и«гип-гип».

— Друзья мои,— сказал Гуляев,— мне стыдно слушать то, что здесь говорится. Стыдно, товарищи! Наше советское искусство росло всегда как искусство больших характеров, больших идей. Оно покорило этим мир. «Я говорю, как Шиллер»,— можно было сказать о нем словами великого драматурга. «А ты, как подьячий!» — скажу я сегодняшним пьескам. Я не могу больше быть подьячим, Яков Тимофеевич! Я отказываюсь играть в этой пьесе, если вы ее примете. Я категорически против нее!

На протяжении всего спора художественный руководитель театра, или, как его обычно называли, худрук,— старый актер, в сединах, с брюшком, осанистый и, несмотря на возраст, еще крепкий,— не проронил ни слова. Он сидел в кресле, расправив бороду на груди, и, сложив руки под нею, крутил большие пальцы один вокруг другого — туда и обратно, туда и обратно.

— Да, — сказал он после категорического протеста Гуляева, — не простое, друзья мои, положение. Спасибо за советы, за откровенные суждения. Подумаем, поразмышляем.

Расстроенный, злой, Гуляев пришел к Козакову. Виталий работал над портретом Дмитрия Ершова. В клетчатой блузе, испачканный красками, стоял он посреди комнаты и всматривался в лицо, перерубленное шрамом. Шрам придавал лицу выражение почти исступленное, с такими лицами шли на костер, не уступив в убеждениях, бросались в неравный бой за правду и справедливость, могли держать руку над горящей свечой, превозмогая боль во имя святой правоты.

Виталий не сразу ответил на приветствие Гуляева. Взгляд его блуждал несколько минут, пока наконец художник возвратился к действительности.

— А знаешь, кое-что начинает получаться,— сказал Гуляев, рассматривая портрет. — Черт возьми, ну и силища в этом человеке!

Виталий принялся рассказывать о Дмитрии. Он уже знал каждую черточку его биографии. Рассказал и об его отце, о том, как старший Ершов тайно сражался с немцами и за это поплатился жизнью.

— Я бы и портрет старика написал, Александр Львович. Но совершенно не умею работать без натуры. А так вот, мысленно, хорошо вижу перед собой этого рабочего льва.

— Ну-ка, расскажи еще раз снова,— попросил Гуляев,— что он там делал, в той яме? Скиповая яма называется? Шихта, значит? Рассказывай, рассказывай.

Гуляев слушал, подперев подбородок кулаком, глядя куда-то мимо портрета Дмитрия Ершова.

— Витька! — сказал он.— Какая простота и какая цельность! Какая мощь человеческая и какое величие духа! До свиданья, я пошел. Ты подарил мне идею, замечательную идею!

Весь вечер просидел Гуляев у своего соседа, у Платона Тимофеевича. Пили чай. Никакого настроения пить

что-либо иное не было. Расспрашивал доменного обер-мастера об его отце, Тимофее Игнатьевиче. Платон Тимофеевич рассказывал охотно, и не только об отце — обо всех Ершовых. Показывал фотографии. На фотографиях Тимофей Игнатьевич вовсе не выглядел львом. В маленьком, сухом старичке никак не угадывались ни мощь человеческая, ни величие духа. Гуляев отстранил от себя снимки, ему эти фотографические подробности были не нужны. Он рисовал себе иного Тимофея Игнатьевича и отступить от того портрета уже не мог.

Он раздобыл пропуск на завод и целый день провел в доменном цехе. Искра водила его в скиповую яму, к вагону-весам, к скиповым тележкам. Он стоял с нею возле ревущей домны, видел, как хлещет из летки слепящий чугун. Сняв шляпу, склонил голову над тем местом, где, по рассказам рабочих, гитлеровцы замучили двух бесстрашных стариков, остановивших печь; сходил к братской могиле, в которой рядом с другими рабочими лежали эти два неразлучных друга.

Искра видела на щеках Гуляева слезы, он их не стыдился и не скрывал.

Он еще несколько раз приходил в цех. Ни о чем больше не расспрашивал, долгими минутами простаивал возле печей, рассматривал, что и как вокруг него делается; приставив к смотровым глазкам синие стекла, заглядывал через них внутрь печи; однажды попросил железный прут, попробовал направить бег чугуна по канавкам; даже открывал шлаковую летку. Рабочие к нему привыкли, он никого не стеснял и сам никого не стеснялся.

Устиновна сказала Платону Тимофеевичу в один из этих дней:

— Артист-то — что, не на завод ли поступил? В рабочей куртке по комнате ходит да в кепке.

— Они народ чудной,— ответил Платон Тимофеевич.— У них творческая лаборатория. Соображаешь?

— Не больно.

Появился Гуляев и в редакции городской газеты — справлялся, где живет драматург Алексахин, который принес в театр пьесу о покинутой жене. Адрес дали. Гуляев застал Алексахина дома. Драматург чинил сеть.

— Отправляюсь в субботу на рыбалку, — объяснил он. — А то, знаете, с вашим театром все нервы истрепал. Жил не тужил, пока с драматургией не связался. Я техник-радист, на морской радиостанции работаю. Сутки от-

дежурю, двое суток свободный. Вот когда свободен, тогда и пишу.

— Это у вас не первая, значит?

— Восьмая! — Алексахин начал снимать с этажерки папку за папкой.— Вот, видите, одна... Это о том, как сынок высокопоставленных родителей зарезал мать. Ограбил и зарезал. Он связался с воровской шайкой. Фельетон такой был в комсомольской газете. А вот это про студентку, бросившую институт. Мечтала учиться, попала в высшее учебное заведение. А бросила. Потянуло на легкую жизнь, вышла замуж за обеспеченного. За старого, конечно. Эта пьеса о целинниках. Приехали хорошие парни и девчата на целину, связались с темными элементами...

— Откуда же вы сюжеты берете? — поинтересовался Гуляев. — Первый, предположим, из комсомольской газеты...

— А другие тоже — или из газет, или по рассказам. О целинниках мне один товарищ рассказывал, он почти месяц там пробыл.

— А кроме тем, как бы сказать, сугубо семейных... За другие какие-нибудь, покрупнее, погражданственней, вы не пробовали браться? — спросил Гуляев.

— Как же, брался! С этого и начинал. Вот! — Он извлек из вороха папок потертую папочку. — Эту пьесу ставили в областном театре. «В дни войны» называлась.

— Да, да!..— Гуляев оживился.— Разве это ваша пьеса? Неплохой был спектакль. Честное слово, неплохой. Замечательный там у вас получился директор завода, человечный такой, живой, обаятельный.

— Мой родной дядька. Это его история. Он был директором судоремонтного завода. Теперь умер. А жена, вот эта, которая в пьесе на фронт уезжала, врач-то, помните?.. Она и сейчас жива. Моя, так сказать, тетя. В поликлинике работает. Это их квартира, где я живу.

— Ах, хорошая была пьеса! Ну что бы вам, милый мой товарищ Алексахин, и дальше бы такие писать. Ну кто вам мешает?

— Не берут теперь таких, Александр Львович. Сейчас, говорят, надо или острокритические, разоблачительные, без лакировки, словом, или вот про разводы, про старых мужей и молодых жен.

— Где же вам так говорили, товарищ Алексахин? — спросил Гуляев.

— А хотя бы в вашем театре, Александр Львович. Томашук, например. Я ведь еще принес ему одну пьесу. О рыбаках. О их жизни, о труде, о любви рыбацкой. По-моему, не плохо. А главное — людей этих хорошо знаю. И что же? «Кому, говорит, это надо? Устарели вы, говорит, со своими трудовыми и производственными темами. Не нужны они публике. Устала от них публика».

— А худрук что?

— А худрук сказал так: «Прислушайтесь, юноша, к тому, что говорят умные люди. И поразмышляйте над услышанным». Сам он пьесу не читал. Я это сразу понял: он ни одного слова из нее не знает.

— Вам история советского театра, конечно, знакома? — спросил Гуляев.

— Не слишком, но все же... Люблю театр. Очень люблю!

— Такие спектакли вы смотрели или, по крайней мере, такие пьесы читали?..— Гуляев стал перечислять героические, революционные пьесы, в которых он играл когда-то и которые он горячо любил.

— Почти все знаю,— ответил Алексахин.

— А как вы к ним относитесь?

— Замечательные пьесы!

— А чем замечательные?

— Волнуют, Александр Львович. И мало, что волнуют, а еще так волнуют, что действовать хочется, рукава засучить, сражаться за что-то. Мысли пробуждают.

— А вот эта,— сказал Гуляев,— ваша, про покинутую жену, какие она мысли пробуждает, за что после нее бороться хочется? Это же, знаете, все равно, что... ну, со старичками иными случается... любят с помощью бинокля в чужую квартиру заглянуть. Увидят что-нибудь такое, что для постороннего глаза никак не предназначено, и рады, руки потирают, слюну пускают: подсмотрел-таки, увидел...

— Но у меня же иначе, у меня проблема! — обиделся Алексахин.

— Какая проблема, милый, ну какая? Чепуха это все, дорогой мой.

Гуляев потрогал сеть, стал наматывать на палец фильдекосовую нить.

— Знаете, Алексахин,— сказал он.— Когда у нас читали вашу пьесу, я понял, что писать вы можете. Люди говорят у вас натурально, хорошим русским словом, слы-

пишь не книжную, а человеческую речь. Слушайте, я предложу вам настоящее, большое, красивое. Не за вас хлопочу, за себя, но, если это получится, вы будете в гораздо большем выигрыше, чем я. Напишите пьесу про старика Ершова? Вы слышали о таком старике?

— Нет.

— Для начала я вам расскажу основное, а вы сами поищите то, что вам еще понадобится.

Гуляев принялся подробно, обстоятельно пересказывать историю старого доменщика Тимофея Игнатьевича, главы семейства Ершовых. Он делал это с вдохновением, он не просто рассказывал, он уже играл.

— Может быть, все это и не так надо писать,— сказал Гуляев, утирая платком пот с лица.— Может быть, по-другому, Алексахин. Но вы сами-то чувствуете, какую большую жизнь покажем мы с вами со сцены? Чувствуете или нет?

Алексахин молчал. Он понимал, что Гуляев пришел к нему с большой темой. Он понимал это, но боялся, что у него не хватит сил для решения такой темы, что времени потратит много, а вдруг ничего не выйдет, театр пьесу не примет — не в нашем, мол, профиле?

— Боюсь, — сказал он честно. — Боюсь браться. Вы уж на меня не обижайтесь, Александр Львович.

Возвратясь домой, Гуляев впервые пожалел, что у него нет ни письменного стола, ни чернильницы, ни порядочной бумаги. Он лег в углу на матрац и карандашом в тетрадке, из которой были вкривь и вкось вырваны листы, принялся набрасывать отдельные реплики, отдельные сцены. Получалось плохо, вяло: не те были слова. Но упорствовал. Вставал с матраца, импровизировал вслух, играл. Получалось лучше. Жалел, что нет под рукой стенографистки. Продолжал записывать сыгранное.

Так длилось несколько дней. Купил еще две тетради, в магазине нашлись только в косую линейку. Писать на них было неудобно, буквы сами собой получались громадные и ученически старательные.

Не сразу понял, что все равно у него ничего не выйдет.

Он пришел к Виталию. Виталия дома не было. Застал Искру.

— Смотрите,— сказала она,— письмо от Люськи получила!

Гуляев взял у нее листок, на котором были нарисованы смешные человечки и под ними примерно такими

же буквами, какие получались и у него на косых линейках, выведено: «Это бабушка. Это я».

— Пишет, сама пишет! — восторгалась Искра.— Большая уже.

— Скучаете?

— Ну как же! Конечно! Она такая смешная...

Искра вновь рассматривала дочкины рисунки, на лице ее была улыбка, глаза светились. Гуляев смотрел на нее и думал о судьбах человеческих.

— Искра Васильевна, — спросил он, — вы пьес никогда не писали?

— Я стихи писала. В школе. Иногда и сейчас сочиняю. Виталий над ними смеется.

— Стихи? — изумился он.—Вы? Металлургесса? Чугунная женщина? И стихи! Ну прочтите хоть один стишок!

— Нет, нет. Я их никогда и никому не показываю. Только Виталий примется рыться — и найдет. Ужасно издевается. Он говорит: если люди таких профессий, как моя, начинают писать стихи — это первый шаг к сумасшедшему дому.

Гуляев упрашивал. В конце концов Искра сказала:

— Ладно. Но если будете смеяться, вы навсегда потеряете мое доверие. Ну вот...

Прощаясь как-то, вы просили: «Не исчезайте в темноту.
И без того так в сердце много у меня тревог.
Ходите здесь, под фонарями, чтоб я вас дольше видеть мог».
С тех пор привычка у меня — всегда держаться ближе к свету.
Хоть голоса любимого уж нету,
Никто меня не просит, не зовет,—
А старая привычка все живет!

Дочитывая последние строки, Искра покраснела, пальцы у нее дрожали.

— Ну зачем так волноваться? — сказал Гуляев, взял ее руку и поцеловал эти дрожащие пальцы. Ему почудился запах доменной печи. Как странно сочетались в человеке и чувства матери, и чугун, и эти, в сущности очень забавные, чисто женские стишки.— Очень мило,— говорил он,— очень. Ну еще, пожалуйста.

Искра задумалась на минутку.

— Вот еще:

Не любили мы, наверно, не страдали мы всерьез,
Потому прощанье наше обошлось совсем без слез.
Тот, кто любит беспредельно, тот тоскует и грустит.

Ну, а просто увлеченье легкой тенью пролетит.
Но вы помните, наверно, как приятна в жаркий день
Для трудов и вдохновенья даже маленькая тень.

Она совсем смутилась, когда Гуляев захлопал в ладоши.

— Вот вы какая, оказывается! Вы же озорница. Никак не думал, никак: «Как приятна в жаркий день для трудов и вдохновенья даже маленькая тень».

— Только не говорите, пожалуйста, Виталию,— просила Искра.— Умоляю.

Обещал хранить тайну, сказал:

— А жаль, что не пишете пьес.— Он хотел рассказать о своем замысле, о своих затруднениях, но раздумал: у каждого свои заботы, у каждого свои трудности. Есть они, конечно, и у нее, у этой милой женщины, не побоявшейся испортить свои маленькие ручки об эти доменные печи, не побоявшейся, что доменный запах, который въедается в ее одежду, в волосы, в кожу, может оказаться для ее мужа и не самым приятным запахом на свете.

В этот вечер Гуляев долго бродил по городу по слякоти, под дождем. Перед ним проходила вся его трудная жизнь. Немало в ней было и хорошего. Немало! И все хорошее было связано со сценой, с тем, что́ он играл на сцене. Он всегда жил жизнью своих героев. И когда характеры были крупные, когда на сцене звучали гордые слова и провозглашались большие идеи — тогда и в жизни все было значительно, крупно и гордо. Стоило измельчать характерам на сцене — мелкое входило и в жизнь. Ну что он сейчас, одинокий, злой? Кому он нужен? Уж даже девочки приходят за кулисы сказать, что он не то играет, что́ следовало бы ему с его данными, не так играет — мелко, сусально, суетливо. Непомерные требования! Не может же он сделать, чтобы фальшивое стало настоящим. Из лжи еще можно сделать правду, убедить зрителей, что это правда. Но из фальши настоящее никогда не получится, а тем более из мелкого крупное.

19

Платон Тимофеевич сидел на высоком табурете в пирометрической. Дрожали длинные стрелки в десятках приборов, показывающих ход печи, вспыхивали и гасли

зеленые и красные лампочки, медленно вращались в самописцах катушки миллиметровой бумаги. Платон Тимофеевич листал брошюрку, написанную одним из кузнецких доменщиков, с которым пришлось как-то встретиться на всесоюзном совещании. Здóрово написал, башковитый парень, ничего не скажешь. Мог бы и он, Платон Тимофеевич, брошюры писать. Но ведь где возьмешь время? Год за годом все крутеж, крутеж и крутеж... Текучка.

— Что это вы читаете? — услышал он голос за спиной. Подошла инженер Козакова.

— Да вот опытом своим делится.— Он показал Искре обложку брошюры.— Толковые мысли.

— Ах, Платон Тимофеевич, мы бы тоже, знаете, сколько толковых мыслей могли навысказывать! Я вам этого не говорила пока, но все время веду наблюдения за работой цеха, все время присматриваюсь, записываю, обдумываю. У нас так много недостатков и столько неиспользованных возможностей — просто ужас. Нужны меры, решительные меры, и самые разнообразные — технические, технологические, организационные. У меня еще не все оформлено, начальнику цеха показывать мои выводы и предложения нельзя, конечно. Но вам, если хотите, могу... Необходимы ваш совет, ваша консультация, ваше благословение.

— Давайте, давайте, выкладывайте. Зачем такое длинное предисловие?

— Начнем с электропушки. Наша электропушка явно слаба, вы же это знаете.

— Слабовата пушечка, что верно, то верно, Искра Васильевна.

— Почему мы не можем потребовать, чтобы к нашим пушкам поставили более сильные моторы? Разве это нельзя? Я считаю, что можно, и не только можно, а просто необходимо. Дальше... Леточная масса у нас качества невысокого, углеродистая набойка — тоже. Значит?.. Значит, на глиномялке надо установить шаровые мельницы — помол шихты будет тоньше, и массу будем получать обезвоженную, это во-первых. Во-вторых, надо повысить механизацию на глиномялке, механизировать все трудоемкие процессы... Вентиляцию установить.

— Понятно, понятно,— без удовольствия согласился Платон Тимофеевич. Он и сам знал, что глиномялку пора реконструировать, но тоже за текучкой руки не доходят.— Дальше что?

— У меня много еще. В этой вот тетрадке все записано. Если хотите, дам посмотреть. Я только о некотором скажу. Например, я справилась в конторе, и мне подсчитали, что в последние два года в цехе большая текучесть горновых. В позапрошлом году переменилось сорок четыре процента, в прошлом тоже немногим меньше — тридцать пять. Почему? Да потому, что условия труда... Все же знают, какие условия труда у доменщиков! Это не на станке точить или строгать. Значит, надо ставить вопрос об увеличении оплаты труда, о повышении разрядов горновым. Надо, чтобы первый горновой имел самый высокий — двенадцатый разряд, а остальные — в соответствии, не ниже восьмого.

— И тут вы правы, Искра Васильевна. Давайте вместе приналяжем на администрацию. Хотят хорошей работы, пусть хорошо за нее и платят. Что еще у вас?

— Еще? Пожалуйста. Все наши печи оборудованы современными контрольно-измерительными приборами. Вот они! — Искра указала на множество градуированных шкал и циферблатов по стенам пирометрической.— Но... Но многие из этих приборов работают плохо. Я им не очень-то верю, Платон Тимофеевич. А вот те... Вот, вот они... которые должны показывать температуру верхней части шихты, и совсем не дышат. Это значит, что мастер не может по-настоящему регулировать газовый поток.

— Кто же виноват, по-вашему?

— Все мы понемножку, Платон Тимофеевич. В таких делах одного виновника не бывает. Кто недоглядит и не разберется, кто примирится и махнет рукой: «А что, мне больше других, что ли, надо?..» Так и идет. Но тут еще можно сказать, что и технологи халатничают. Недооценивают значение этой аппаратуры.— Искра вытащила из кармана комбинезона футлярчик с очками, но тотчас спрятала обратно.— Уж если я заговорила о приборах,— продолжала она,— то вообще надо очень серьезно заняться нашей пирометрической. Надо, например, непременно установить светофоры, которые бы дали нам возможность контроля за работой оборудования загрузки. И еще — это уже не к пирометрической относится,— необходимо установить в цехе селекторную связь. А то с нашими телефончиками пропадешь: неоперативно и ненадежно.

Платону Тимофеевичу было немножко обидно, что не он обо всем этом говорит, что не он это все предлагает,

а молодая инженерша. Многое из того, что заметила она, замечал, конечно, и он. О том, чтобы повысить мощность электропушки для заделки чугунной летки, говорилось и начальнику цеха, и директору завода еще год назад. Согласились, обещали, успокоились. Говорил Платон Тимофеевич и о глиномялке, о шаровых мельницах, о вентиляции. И не только говорил — даже и писал. Но о пирометрической, о плохой работе приборов инженер Козакова заговорила первой, о селекторной связи — тоже. Вот у нее в тетрадке — взглянул мельком и увидел — еще очень важное предложение записано: о том, что стойкость шиберов горячего дутья низка. Инженер Козакова считает, что для охлаждения колец шиберов надо установить двухсторонний подвод воды. Еще она считает, что из-за малого диаметра перепускных клапанов сильно удлиняется время перевода кауперов. Предлагает увеличить диаметр перепускных клапанов.

Другому кому он бы, пожалуй, возражал из упрямства, не признал бы ни одного предложения — не суй, дескать, нос куда не следует, без тебя обойдутся. Против носа инженера Козаковой он не возражал. Иной раз, наблюдая со стороны за тем, как распоряжается она работами на печи, Платон Тимофеевич задумывался о необычности ее жизни. Инженерские жены и те норовят дома сидеть и не работать, хотя многие из них имеют какие-нибудь вполне «чистые» и безопасные специальности: учительниц, врачей, музыкантш... А тут жена художника и с такой несусветной для женщины специальностью — доменный мастер! Сидеть бы да сидеть ей дома, украшать жизнь своего супруга... Нет, что там ни говори, а женщины — народ до крайности путаный. Бывают такие шлёндры — что кошки: не догляди, она уже шасть в фортку, ищи ее... А иная себя не жалеет. Так, как работает инженер Козакова, из мастеров, пожалуй, еще Андрей, племянник, на ее уровне держится — по внимательности, по заботливости, по инициативности. Остальные смекалкой слабее, хотя опытом, может быть, и богаче. Конечно, по производственной молодости промахов всяческих у нее немало. Но Платон Тимофеевич эти промахи в лицо ей не тычет, указывает на них тактично, деликатно, зря не обижает: обидишь — и повянет женщина, как цветочек от мороза. Начальнику цеха — тому на все плевать: хоть перед ним женщина, хоть разженщина, главное — подавай чугун, а что и как — не касаемо. Было дело, наорал

на инженера Козакову; возвратилась из конторы — в глазах слезы: не привыкла к таким разговорам. С ней горновые — уж на что среди них есть закоренелые озорники на слово — и те ведут себя вполне пристойно. Сходил Платон Тимофеевич к начальнику цеха, пообъяснялся с ним, внушал, что так не годится. Женщина же.

— Ну и пусть сидит при муже! — шумел начальник цеха, инженер довольно еще молодой, не обтертый как следует жизнью. — Или музыке учится.

О многих трудностях, какие испытывала Искра в цехе, знал Платон Тимофеевич. Но о многих он и не знал, о иных даже и не догадывался. Искру очень удручала и огорчала грубость некоторых инженеров и рабочих, пугала жуткая ругань, которой щеголяли молодые парни — из тех, видимо, что были приняты на завод недавно и не прошли еще настоящей трудовой школы, не слились душой и сердцем с рабочим классом. Если бы только знали ее московские сослуживицы, что́ она выслушивает на заводе, что́ терпит — ужаснулись бы, наверно. Но этого даже и Виталий не знает. У него очень приблизительные представления об условиях, в которых работает его жена. Он ознакомился с ними чисто внешне: приходил в цех, видел печи, дышал чугунным жаром. Но разве видел он Искру в минуты замены фурм? Или пусть бы посмотрел он на свою жену, когда она руководила разделкой летки перед выпуском чугуна и особенно когда летка пробивалась не совсем удачно, когда из-за непросушенной леточной массы, оттого что расплавленный металл соприкасался с влагой, из летки било, как из огнемета, когда газ, искры и брызги пушечно стреляли через весь литейный двор и возле печи творилось такое, что подхватиться бы да и бежать. Но не бежать надо было, а сушить летку, ликвидировать эту адскую стрельбу. И маленькая женщина упрямо и терпеливо делала это со своими закопченными, обожженными, страшными горновыми. Знали бы, видели бы это всё дамы из министерства, с которыми она провела шесть лет в одних стенах, в одних коридорах, аккуратно два раза в месяц вместе с ними получая зарплату в окошечке кассы. Они служили, они добросовестно исполняли свои обязанности — делали все, что было необходимо для нормальной работы гигантской машины управления металлургией страны. Но разве жили они этой службой, этими обязанностями, которые, стоило дамам выйти после рабочего дня на улицу, оставались позади них, там, за

захлопнувшимися дверями министерских комнат и кабинетов? Домой свои служебные обязанности и дела они не носили, Искра это знала прекрасно по себе.

А доменная печь... Разве, уходя, запрешь ее в стол или в сейф? Печь шла всегда, не угасая многие годы; в любой день, в любой час она могла выкинуть коленце, и об этом помнилось поминутно. Печь входила в тебя, держала тебя, она не оставалась в цехе, она шла с тобой в дом, становилась частью твоей жизни. Дмитрий Ершов рассказывал Искре о Платоне Тимофеевиче. Когда Платон Тимофеевич жил в отцовской мазанке, то просыпался по ночам оттого, что в ходе, в голосе той или иной печи ему слышались изменения. Даже на крышу лазал, чтобы взглянуть, что там произошло на печах: они, эти печи, в городе отовсюду хорошо видны.

Искра была права: Виталий, конечно же, не понимал ее состояния. Он злился на нее в те минуты, когда, не слушая его слов, она раздумывала на тем, что надо бы подвесить сóпла — для упрощения смены фурм, или применить такую термоизоляцию сопел, как на Магнитогорском комбинате. Искра не могла не видеть, что проигрывает от этого в глазах Виталия. Она видела, что его раздражает ее вечная занятость доменными печами. Может быть, именно поэтому он и попивать стал здесь больше, чем в Москве? Правда, если говорить о последних днях, то в эти дни Виталий даже капли не взял в рот: увлечен портретом Дмитрия Ершова.

Откинув ткань, прикрывавшую холст, Искра часто всматривалась в этот портрет. Он ей нравился. И вместе с тем в лице того, кто мало-помалу возникает на холсте, чего-то не хватает,— чего — сама она понять не могла. А Виталию об этом не говорила. Но его тоже, по-видимому, мучает какая-то неясность в работе. Он то оставляет ее, то снова с яростью берется. Иной раз почти все смоет и соскоблит, а потом вновь с поспешностью, которая кажется ненормальной, бросает на холст мазок за мазком.

Еще хорошо, что Дмитрий Ершов не знает о работе художника Козакова над его портретом. Узнал бы, непременно пришел — Искра не сомневается в этом — и порвал бы, порезал бы холст. Можно себе представить, какой скандал будет, когда Виталий завершит и где-нибудь выставит портрет.

Искра почти уже смирилась с тем, что время от времени рядом с нею на пути домой оказывался Дмитрий. Он уже не старался выглядеть излишне грубым, как было вначале, не говорил загадочных слов о судьбе. С ним — надо это признать — стало интересно. Он, оказывается, уж и не такой угрюмый и молчаливый. Немногословен — да, но и в нескольких словах умеет многое передать. Убийственно точно и впечатляюще рассказывает он о жизни в партизанском отряде, о зверствах немцев, о страданиях людей, которые оставались на оккупированных территориях. Он прочел немало книг, у него свой вкус, он любит героическое, романтическое, одухотворяющее. Любит хорошие стихи и песни. Любит музыку.

На днях, как всегда, подождав ее после смены, он предложил погулять по берегу моря. Влажный песок, схваченный морозцем, был как бетонная плита. На нем торосами лежал изломанный зеленый лед, выброшенный недавним ветром и волнами. Падал тихий снежок. Было покойно в мире и сумеречно-задумчиво.

Дошли до покинутого на зиму пляжа, сели на вкопанную в песок скамеечку, смотрели в морскую даль, в которой уже сгущалась ночь. Искра позабыла дома перчатки, руки у нее зябли; поджимая, она прятала их в рукава пальто. Дмитрий заметил это, взял обе ее руки в свои ладони.

— Совсем как лед,— сказал он.

У него ладони были горячие. Искра никогда не испытывала ничего подобного: было так, будто руки ее попали меж двух напильников, настолько жестки оказались эти огромные его ладони. Искра улыбнулась.

— Это вы над моими лапами? — догадался он. Встал, подобрал на песке выброшенный морем метровый обломок рыбацкого весла, положил его поперек колена, надавил на концы ладонями. Толстое весло хрустнуло и переломилось. Отбросил обломки в сторону.— Медведь, да? — Посидев, помолчав, спросил: — Почему вы меня не гоните?

— Не понимаю...— Искра и в самом деле не поняла его вопроса.

— Получается ведь как? Получается, что я навязываюсь, хожу за вами, а вы все терпите. Чего ж терпеть-то! Сказали бы прямо...

Он начинал опасный и ненужный разговор. Искра ответила серьезно:

— Я человек прямой, Дмитрий Тимофеевич. Извините за откровенность. Но вначале мне ваша... ну, как бы это?.. Еще раз извините, ваша докучливость меня вначале очень огорчала. Когда вы вдруг окликали меня вечерами возле проходной, у меня сердце обрывалось. Это было ужасно. Но приучили в конце концов к себе...

— Значит, так: примелькался. Как тумба или телеграфный столб на пути. Каждый день мимо ходите — и привыкли видеть?

— Зачем же толковать мои слова так? Совсем нет.

— Ну, а как же, как?

— Можно ведь и проще. Без подозрений. Почему вы не хотите представить себе, что я уже в вас вижу своего знакомого, даже хорошего знакомого? Вот же иду с вами гулять... А с тумбой или столбом гулять не ходят, правда?

— Ходят! — сказал он с прежней резкостью, нахмурился, шрам у него побелел.

Искра пожалела, что согласилась на прогулку. С таким человеком шутить нельзя, и никакой игры с собой он не вынесет.

Он проводил ее до дому, всю дорогу молчал и хмурился. О чем бы она ни заговаривала, не отвечал.

Назавтра она принялась осторожно выспрашивать о Дмитрии Платона Тимофеевича.

— Дмитрий у нас железный,— сказал Платон Тимофеевич.— Между прочим, он объявил как-то раз, когда еще комсомольцем был... а может, еще и в пионерах, запамятовал. Он объявил вот что: когда мирового коммунизма дождусь, только тогда вы меня похороните. Его даже немцы не смогли похоронить, расстрелянного. Наши деды вытащили из котлована — часов десять пролежал, а все еще был живой. Вот так и живет, весь в шрамах, и мировой коммунизм строит.

Рассказывая Платону Тимофеевичу о том, как, по ее мнению, улучшить работу доменного цеха, Искра вновь вспомнила эти слова Дмитрия о мировом коммунизме. Ведь она тоже немножечко была такая. В институте ее иной раз даже называли ортодоксом. И с Виталием они часто схватывались, как он считал, из-за пустяков, а для нее это были не пустяки, очень серьезные вещи. К Виталию в Москве разный народ ходил. Случалось, забредали и такие, что вдруг принимались рассказывать противненькие анекдотики — этакие обывательские насмешечки над

советской действительностью. Искра обрывала рассказчика. «Простите,— говорила она тут же.— Но я очень не люблю такие разговоры». Виталий потом шумел, возмущался: «Как, мол, не стыдно? Ну потерпела бы. Подумаешь! Что тебе стоило промолчать?»

Однажды у Виталия сидел совсем еще молодой художник. Судил обо всем, судил развязно, крикливо, бранил советскую живопись: натурализм, фотография, надобны поиски, правы импрессионисты. Рассказывал о каком-то непризнанном гении, который всю жизнь бедствует, но кистью своей не торгует; он не стал малевать бодрые картинки из жизни целинников и сталеваров, а пишет портреты своей хроменькой дурнушки жены да всякие старые ивы и московские тупички,— и это замечательные произведения. Его, конечно, затирают, на выставки не пускают и тому подобное. Болтовня эта уже сама по себе не понравилась Искре. Но когда художник заговорил по какому-то поводу о своих родителях и сказал: «Они у меня последователи наивного коммунизма», — Искра еще больше рассердилась. «А что это такое — наивный коммунизм?» — спросила она резко. «Это? Это, знаете, то самое, что они несут в себе со времен, когда были комсомольцами. Во всем им подавай идейность. Идейная чистота! Словом, взгляды времен гражданской войны и первых пятилеток. Для них не существует понятие «жизнь», они знают только одно: «борьба». — «У вас замечательные родители!» — вызывающе сказала Искра. Виталий увидел, что быть скандалу, увел этого парня, и больше он у них в доме не появлялся.

Да, ей нравилось, очень нравилось то, что Дмитрий Ершов мечтает о мировом коммунизме. Без большой мечты жить нельзя. Искра непременно дружила бы с этим человеком, он стал бы у них с Виталием частым гостем. Но все это становилось невозможным после разговора, который Дмитрий хотел затеять в последнюю встречу...

Платон Тимофеевич свернул тетрадку Искры трубочкой, спрятал в карман куртки, сказал, что внимательно прочтет, подумает, тогда они вместе все обсудят и пойдут к начальнику цеха, а если начальника цеха будет мало, то и к директору.

В тот вечер Искра вновь рассматривала портрет Дмитрия. Ей показалось, что Виталий напрасно изобразил старшего оператора блюминга так натурально. Уж очень бросается в глаза страшенный шрам на его лице. На полотне этот шрам получился еще заметнее, чем в жизни. Она сказала об этом Виталию. Виталий рассердился.

— А что я должен — врать? Приукрашивать?

— Совсем нет,— возразила Искра.— Разве, когда ты смотришь на Ершова, когда разговариваешь с ним и увлекаешься разговором, разве шрам этот лезет тебе в глаза так назойливо? Неужели он, как получилось тут у тебя, заслоняет все остальное? Душу, помыслы, мечты человека?

Виталий еще больше рассердился. Схватив скребок, он бросился к портрету. Искра встала перед холстом, удерживая руку Виталия.

— С ума сошел! Неврастеник! Разве так можно? Ты не терпишь ни малейшей критики. Перестань сейчас же!

Кое-как уговорила его. Лег в постель злой, трясущийся, закрылся с головой одеялом. Пыталась поднять, тормошила, уговаривала — не получалось. Повздыхала, оделась, вышла на улицу. Морозило, поскрипывал снег, искрился в лунном свете. Медленно шла по улице.

— Здравствуйте! — услышала она. К ней подбежала высокая стройная девушка. — Я очень рада, что встретила вас.

— Капа! — узнала Искра.— Здравствуйте, Капа! Гуляете?

— Домой иду. Английским занималась. В институте нас так плохо учат языку, что мы сами решили организовать группу. Читаем, пишем, разговариваем, помимо всяких обязательных занятий. Получается хорошо. Уже и успехи есть. — Она произнесла несколько английских фраз. Ей нравилось, что она может говорить на чужом языке. Искра ей ответила тоже по-английски. Они обе очень обрадовались, что понимают друг друга.

— Зайдемте хотя бы на минутку к нам,— пригласила Искра.— Здесь недалеко наш дом. Совсем недалеко. Чаю попьем.

Капа остановилась в нерешительности.

— Не знаю... — раздумывала она. — Мама будет беспокоиться.

— Но ведь еще так рано! Четверть девятого.

Искра приглашала не без умысла. Не может быть, чтобы Виталий не оживился при виде такой привлекательной девушки. Распустит перед нею свой павлиний хвост, хандра и пройдет.

Именно так и получилось. Из-под одеяла он тотчас вылез, за столом оживленно болтал, рассказывал всяческие истории, вспомнил, как встретился с Капой в доме Ершовых. Показывал свои работы. Искра уговорила его показать и портрет Дмитрия.

— Замечательно! — воскликнула Капа. — Постойте! Да это же знаете кто? Это Дмитрий Тимофеевич! Ой, как хорошо вы его изобразили!

Виталий был доволен. Когда гостью проводили, он сказал:

— Ну что? Вот зритель, самый простой, неискушенный,— он как реагирует? «Замечательно! Хорошо!» А ты? Тебе бы непременно хоть как-нибудь да унизить меня, уколоть, ущемить.

— До чего же ты глупый!

— Жены — величайшее зло для творческих работников, для работников искусства. Никто так, как жена, не способен испортить настроение, загасить творческий порыв, вдохновение. Тот, кто отдал себя искусству, должен отказаться от семейной жизни, от этого милейшего домашнего очага.

Подобные разговоры он вел не в первый раз, это был старый его тезис. Искра давно к нему привыкла.

— Глупый, глупый,— повторила она, прибирая со стола.

20

Степан Ершов работал на грузовой машине. Никто в заводском гараже не поминал ему его прошлое, никто не попрекал этим прошлым. Шла трудовая жизнь со всяческими собраниями, совещаниями, неурядицами. В отличие от многих других шоферов, механиков и рабочих гаража, Степану собрания нравились, он сидел на них охотно, пусть даже если и до полуночи. Там, где он провел военные и послевоенные годы, собраний никаких не было,— изголодался. Внимательно слушал речи докладчиков, выступления ораторов. Но сам не выступал: боялся, что не станут слушать. Ездил хорошо, без аварий, экономил горючее и смазочное, машину содержал в отличном состоя-

нии. Словом, работал с удовольствием, с радостью — радовался, что вновь в родных местах, что не только государство, но и товарищи ему всё простили. Таких судилищ, какое братья учинили, ему никто больше не устраивал; иные даже сочувствовали, приглашали в компании, где-нибудь в пивной посидеть, выпить кружечку да баяниста послушать. А там, за кружечкой, буднично, попросту, без излишних резкостей в оценках, расспрашивали о плене, о службе у немцев, об отсидке. Среди шоферов и ремонтников были и еще такие, кто в плену побывал. У Власова, правда, кроме Степана, никто не служил. Такой службы никто не одобрял, но все охотно верили, что не добром, не своей волей шел на нее Степан. «Каждый день шкуру с тебя драть будут,— рассуждали иные,— терпения не хватит. Человек — существо такое: жить хочет».

Братья тоже не донимали больше. Дмитрий и Андрей возвратились в родной дом. Без них Степан прожил только месяц. Он думал, что уходили они затем, чтобы испытать его — как, мол, будет себя вести. Но все было на деле не так, и подлинных причин их ухода Степан не знал.

Уходя, и Дмитрий и Андрей полагали, что начнут строить свою жизнь по-новому, самостоятельно. Дмитрий поселился у Платона Тимофеевича, Андрей — у Якова Тимофеевича. Но у тех была своя сложившаяся жизнь. Родные-то они были родные, но все думалось, что помеха ты им, пятое колесо в их семейной телеге. А главное — и своя жизнь скована. Леля стеснялась ходить в заводской дом. Капа стеснялась ходить в дом к Якову Тимофеевичу. Все осложнилось, было уже не так, как прежде. Пытались оба хлопотать о собственном жилье в заводских домах — ничего не вышло. Хотели было снять у кого-нибудь комнатушки частным образом — и это не получалось: не сдают люди, самим тесно, а кто и готов сдать, такую монету запрашивает, что и не наработаешь.

Собрались как-то вдвоем — дядя и племянник; дядя сказал:

— Бездомники мы, Андрюшк. Беспризорники. Давай вернемся. Такая наша с тобой судьба. Ты в судьбу веришь?

— Идеализм,— сказал Андрей мрачно. Он очень бы хотел вернуться. И давно бы вернулся. Но одному было неудобно возвращаться туда, где чужой Степан квартирует, стеснительно как-то.

Ничего этого Степан не знал. Возвращение родных принял как добрый знак доверия. Ему уже были известны сердечные дела обоих — и брата и племянника. Лелю видеть еще, правда, не довелось. Дмитрий сказал, что она хворает: продуло на морском ветру. Но и тут запутали Степана, и тут не знал он истинного дела. Не появлялась Леля на Овражной совсем не потому, что продуло ее на морском ветру, а и здоровая не могла она решиться прийти в домик, который уже давно привыкла считать родным, и встретить вдруг там чужого ей человека, да еще такого человека, который у собственных братьев и то доверия не имеет, который у гитлеровцев служил. Уж кому-кому, а Леле-то было известно, кто такие гитлеровцы и их слуги. Леля боялась, что при виде Степана непременно будет вспоминать пережитое, а от него, от этого пережитого, так болит сердце, что и жизни не радуешься, и жить не хочешь. В этом проклятом пережитом осталось, сгорело все — и мама, и отец, и ее черные глаза, на которые мальчишки заглядывались, и все возможное будущее счастье, ставшее невозможным. Нет у нее настоящего счастья и не будет. Что принесла ей любовь к Дмитрию? Немножко радости и много, очень много горя. Что касается ее, то если скажет Дмитрий: «Умри, Леля, так надо»,— умрет не задумываясь, не расспрашивая. А он? Ему с ней просто привычно. Она это знает, видит. Но все равно, все равно, даже если и много, очень много горя, а если есть хоть чуточку и радости, пусть будет так, лишь бы не рушилось и это. Во имя того, чтобы не было никаких новых крушений в жизни, она пойдет в домик на Овражной, снова пойдет, она переборет себя, бог с ним, с этим Степаном, и с ее воспоминаниями, но только пусть Дмитрий не торопит, ей надо собраться с силами.

Нет, Лелю Степан еще ни разу не видел, она еще не приходила. Зато несколько раз бывала в мазанке девушка Андрея, Капа. Когда она появлялась, Степан запирался в своей комнате: мешать не хотел. Но Капе не очень-то и помешаешь, она не из таких — решительная, держаться умеет, смутить ее нелегко.

В один из вечеров Степан лежал в своей комнатке на постели, огня не зажигал, лежал тихо, потому что проспал двенадцать часов, едва-едва проснулся и все еще чувствовал в теле усталость. Почти трое суток провел он перед этим без сна, ездил в дальний рейс за четыреста

километров по скверным дорогам и возвратился еле живой. Степан лежал и думал о том, что хорошо бы чайку с вареньем выпить или горячих щец похлебать. Слышал голоса через тонкую дощатую стену, оклеенную обоями:

— Капа, — говорил Андрей, — я сейчас тебе скажу что-то очень важное, очень. Я тебе это сказал раз, но ты, наверно, не поняла.

Капа молчала.

— Так сказать или не сказать? — спросил Андрей.

— Как хочешь,— ответила Капа.

— А тебе разве все равно?

— Я же не знаю, о чем ты хочешь сказать.

— Знаешь, знаешь.

— Нет, не знаю.

— Нет, знаешь.

— Не знаю.

Даже Степан знал, о чем хочет сказать этой девушке Андрей. Просто удивительно, зачем прикидываться такой дурочкой.

— Капочка... милая...— У Андрея дрожал голос.

Степан представил себе этого крупного, сильного парня,— какой-то он сейчас за стенкой? «Эх, бедняга»,— подумал о нем. Девчонку Степан не одобрял — зачем прикидывается? Совсем-совсем по-другому вела себя Оленька Величкина, когда он тоже вот так туманно говорил ей о своих чувствах. Он тоже волновался, не находил слов. «Я бы тебе сказал, Оленька, но вот никак...» — мямлил он. «Ну и не надо, не надо! — прошептала она.— Не надо. Я и так все понимаю». Она прижалась лицом к его груди. И все было ясно. А тут что?

— Капочка, милая...— повторял Андрей и вдруг не выдержал: — Я же люблю тебя! — закричал он страшным голосом; за стеной что-то грохнуло — табуретку, наверно, уронил.

За грохотом наступила тишина. С трудом различил Степан шепот Капы:

— Андрюша, хороший, дорогой. Я тебя тоже люблю. Очень, очень!.. Ну как ты этого не мог понять раньше?

— Капонька,— почему-то и Андрей стал шептать,— Капонька, я хочу быть с тобой... всегда, всегда с тобой...

— Мы и будем, Андрюшенька, будем.

— Всегда?

— Всегда, всегда, всегда.

Они так горячо шептались, такое электричество воз-

никало в доме от их шепота, что Степан вытащил подушку из-под головы и положил ее сверху, на ухо. Слушать это все было невозможно. Да, пожалуй, и не следовало слушать.

Воскресным вечером Степан сидел дома один. Завод получил самосвалы новой марки,— читал описание незнакомой машины и руководство к управлению ею. Машина была сильная, на много тонн грузоподъемности, и довольно сложная. С трудом разобрался в ее электрохозяйстве. Прислушивался к шагам на улице. Дмитрий еще вчера сказал ему, что днем кое-кто должен прийти, так если он, Степан, никуда не собирается из дому, то пусть, так сказать, примет надлежащим образом этого кое-кого. Степан ждал Лелю, о которой не раз слышал от Андрея, что она хорошая, замечательная и очень любит Дмитрия. Но Леля все не шла. Не было и Дмитрия. Несмотря на воскресенье, он ушел с утра в цех. На стан должны были ставить новые валки, не мог, чтобы не принять участия в этом.

Ходики показывали десятый час, когда Степан услышал голоса за калиткой. Ожидал: вот-вот постучат. Но стука не было. А разговор продолжался. Вышел в сени, отворил дверь во двор, различил голос Моксича. Моксич говорил:

— Иди в дом-то, иди. Озябла вся. Не бойся, там Степка. Не съест. Экая ты боязливая, женщина. А я иду, думаю: кто тут маячит возле Ершовых? Жулик, думал, какой. А это ты. Ну иди, не бойся, говорю. Хочешь, взойду с тобой?

— Не надо, дедушка, я Дмитрия Тимофеевича подожду, не надо, — ответил женский голос.

Степан подошел к калитке, отворил.

— Слушайте, — сказал не без волнения. — Что же вы? А я вас дома жду. Мне Дмитрий наказал встретить вас. Пойдемте. — Он взял ее за рукав, повел в сени, в комнату. Она была в сапогах, в ватнике, в пуховом сером платке, концы которого, скрещиваясь на груди, были завязаны за спиной узлом. Снег запорошил ей плечи, талыми росинками повис на бровях и ресницах.

Возраста Лели Степан определить не мог. Он ощутил в себе щемящее чувство оттого, что Леля была совсем не такой, какой он ее себе представлял. Он растерянно смотрел на ее изуродованное лицо и в глаза, которые были разного цвета.

— Раздевайтесь,— сказал наконец.— Снимите платок, куфайку...

Он не мог понять, почему Леля будто бы окаменела, войдя в комнату. Она стояла перед Степаном и тоже растерянно смотрела на него разными своими, широко раскрытыми глазами.

— Ой! — вскрикнула она, хватаясь за грудь, словно ей сделали очень больно.— Ой!..— крикнула она еще пронзительней. Повернулась к двери и бросилась в сени.

Хлопнула калитка.

Степан выскочил следом на улицу. Стучали Лелины сапоги по занесенным снежным дорожкам. Но сама она уже была почти неразличима в потемках.

Постоял за калиткой, озяб, вернулся в дом, не зная, что думать, что делать. Посмотрелся в зеркало: нет ли в его личности чего такого, что могло бы испугать эту женщину? «Может, чокнутая, припадочная? — подумал.— Ну и подружку раздобыл себе Дмитрий! Верно в народе говорят: судьба играет человеком».

Дмитрий задержался не на заводе и вовсе не из-за стана — работа в цехе окончилась давным-давно, — а в пути с завода и из-за Искры Козаковой. Увидел ее из окна автобуса и не мог пересилить себя, выскочил на ходу, догнал. Она шла откуда-то домой, задержал ее, уговорил походить по улице. Принялся рассказывать о реконструкции стана, о новых планах. А потом неожиданно спросил:

— Искра Васильевна, а вот вдруг если бы умер Дмитрий Ершов, пожалели бы вы его, или вам это ни к чему?

— Вы задаете всегда такие ужасные вопросы, Дмитрий Тимофеевич.

— Что ж тут ужасного, Искра Васильевна? Живет, живет человек, да вот и умирает. Это же природа. Так в ней устроено. От того, скажу я или не скажу, это не зависит. Жизни у каждого — определенный, отмеренный кусок. Жаловаться уж тут некуда, если он тебе малым покажется.

— Думать о том, что со мной когда-то будет, я не люблю. Когда оно придет... о чем вы говорите, тогда и поразмышляем.

— Значит, своей жизнью вполне довольны. Что ж, радоваться за вас надо.

— А вы своей жизнью недовольны, Дмитрий Тимофеевич?

— Я? Разно бывает.

— Слушайте, а как хандра эта ваша вяжется с мировым коммунизмом?

— О чем вы, Искра Васильевна? — Дмитрий был озадачен.

— Мне Платон Тимофеевич рассказывал о том, как вы однажды, чуть ли не в пионерском возрасте, сказали, что похоронят вас только тогда, когда вы мирового коммунизма дождетесь.

— Ну и что — смеялись?

— Нет, не смеялась. Наоборот, я о вас тогда очень хорошо подумала. У меня отец был такой, вроде вас по убеждениям. Немножечко и я такая.

— Эх, Искра Васильевна, Искра Васильевна!..— ответил он на это неопределенно. Остановился, постоял молча, махнул рукой и, не прощаясь, ушел.

Долго ходил по улицам, прежде чем повернуть домой; беспокойно было на сердце, душно. В горле сохло. Ел снег, черпая его горстью прямо из сугробов.

Домой пришел посиневший.

— Водочки бы выпил, — сказал Степан, поднимая с полу шапку, которую Дмитрий повесил мимо гвоздя, вбитого в стену. — Погрейся.

— Где же она? — спросил Дмитрий, садясь на стул.

— В шкафу, целая бутылка.

— Леля, говорю, где? Не пришла, что ли?

— Леля?.. С Лелей того... история получилась...

Степан стал рассказывать о том, что произошло в этот вечер.

Дмитрий слушал, слушал и вскочил со стула.

— Брякнул ей, поди, что-нибудь! — крикнул он.— Язык распустил.

— Ну, ну! — вдруг обозлился Степан, не чувствуя за собой никакой вины.— Это ты язык распускаешь.

— Молчи... Или...— Дмитрий не договорил. Ярость его упала разом, как падает парус, попавший в безветрие. Снова сел за стол, опустил голову на руки.

Весело напевая, в дом вошел Андрей.

— Андрюшка, — сказал Дмитрий, не подымая головы, — Леля-то... убежала.

Степан снова рассказывал о том, что было с Лелей.

— Дядя Митя, давай я поеду туда? — предложил Андрей. — Она ведь в Рыбацком живет? Ты ее точный адрес знаешь?

— Какой там адрес! Общежитие, и все. Только ты и не думай. Это летом, на пароходе, вроде прогулки было. Сейчас попутными машинами, в кузове. Заледенеешь. И ни к чему тебе это. Сам поеду.

Дмитрий оделся и вышел из дому.

На дворе начиналась вьюга — выла, гнула и ломала голые мерзлые вишни в садочках.

— Может, пойти в гараж, машину взять? — сказал Степан.

— Вернее бы всего. А можете? Дадут вам? — В отличие от остальных своих дядей, Степана Андрей называл на «вы». — Без путевки-то.

— Объясним дежурному. Что он — не человек, что ли?

— Тогда и я с вами пойду.

Не сразу удалось втолковать дежурному по гаражу, как нужна им машина. Говорили ему о том, что от машины, быть может, зависит жизнь человека, бредущего в этот час где-то в метели по занесенной дороге, на ледяном ветру, в снегу, в ночи. А может быть, и двух человек. Не исключено же, что и Леля пошла пешком, попутных машин в такую погоду могло и не оказаться.

В третьем часу ночи выехали в путь. Никто из них двоих дороги толком не знал; спросить было не у кого, все вокруг спало; ехали, доверяясь чувствам, уверяя себя, что должно быть именно так, а не иначе.

Когда нагнали Дмитрия, он был уже на половине дороги. Месил снег ботинками с таким упорством, с такой яростью, что не хотел отступать в сторону, шагал в свете фар, не оборачиваясь, и даже руки не поднял: подвезите, мол. Увидев брата и племянника, не удивился, сказал только: «А! Это вы ребята». Его усадили тоже в кабинке, потеснились.

— Ноги мокрые? — спросил Андрей. — Переобуйся, свои ботинки отдам. А, дядь Мить?

Дмитрий мотнул головой: не надо.

Ехали дальше, буксуя, преодолевая косые сугробы, наметенные поперек шоссе ветром с моря. Застревали, вылезали на дорогу, подкапывали лопатой под колесами снег до грунта, налегали плечами на кузов грузовика.

Почти уже у самого Рыбацкого нагнали и Лелю. Леля шла не так, как Дмитрий. Она с трудом двигала ногами. Едва свет фар добрался до нее, обернулась, подняла обе руки и ждала, пока грузовик не подошел к ней почти вплотную.

Дмитрий выскочил из кабины. Он и Леля долго стояли, поворотясь спинами к ветру, в пляшущем вокруг них снегу. Фары слепили им глаза. Они отворачивались и от фар. Дмитрий, видимо, звал Лелю в грузовик, он размахивал рукой, тянул ее за рукав. Леля порывалась идти дальше. Разговор затягивался. Степан, чтобы не разряжать аккумулятор, выключил свет. Силуэты людей стали едва различимы.

Наконец они приблизились к машине. Андрей распахнул дверцу, выскочил на снег. Дмитрий подсадил Лелю в кабину, сел рядом. Андрей взобрался в кузов.

Вскоре въехали в поселок. Леля вышла там возле одного из длинных низких бараков и скрылась в узкой дощатой двери.

— Ну что, — спросил Андрей, которого снова пустили в кабину, — что она говорит? Что с ней случилось-то?

Дмитрий не ответил и промолчал всю обратную дорогу.

До дому добрались только к тому часу, когда уже всем троим надо было собираться на работу. Андрей включил репродуктор, и, пока разжигал керосинку, ставил чайник, собирал чашки на стол, резал хлеб и колбасу, диктор читал статью из газеты о том, как шахтеры Донбасса готовятся встретить Двадцатый съезд партии, какие готовят трудовые подарки, какие вносят предложения, чтобы увеличить добычу угля.

— У нас тоже скоро областная партийная конференция, — сказал Андрей. — Делегатов на съезд будут выбирать. Завидую тем, кто в Москву поедет! До чего интересно, наверно. К нам в техникум приходил раз один делегат, еще Восемнадцатого съезда. Рассказывал, как все там происходило. Заслушались.

— А у меня вот все прахом пошло, — сказал Степан. — И из комсомола выбыл... возраст не тот. И в партию не попал. Я же заявление перед самой войной подал, должны были разбирать. Теперь уж... да... куда там...

Он сказал это с такой грустью, с такой горечью, что Андрей впервые со времени его приезда взглянул на дядю Степана не с настороженностью, а с жалостью. Ведь он, этот дядя, в сущности, тоже жестоко пострадал от гитлеровцев, может быть, еще более жестоко, чем если бы даже был убит.

— Надо идти, — сказал Степан, посмотрев на ходики. — Да еще и поднажать придется, а то опоздаем.

Оделись, вышли. Восток был в тонких розовых красках. Печные дымы, подымаясь над крышами, придавали небу жемчужный оттенок. После ночной вьюги в природе затихло, деревья были в снегу, стояли недвижно. В морозной тишине кричали, прыгая в дорожных колеях, воробьи.

На повороте к центральным улицам открылась панорама завода. Был он огромный, этот завод. Вид его всегда успокаивал. В сравнении с ним, с той большой жизнью, которая угадывалась за доменными печами, за трубами мартеновского цеха, за высоченной трубой прокатки, все домашние дела выглядели мелкими, не стоящими того, чтобы из-за них так переживать. Для всех троих завод был неизмеримо больше, выше, главнее их жизни в отцовской мазанке. Они бы, не задумываясь, собственными руками разрушили эту мазанку, если бы так понадобилось заводу. И в то же время отцовский дом оставался отцовским домом, и от жизни, которой жили они в этом доме, уйти было некуда.

Когда подходили к заводу, когда уже миновали мост и Степану надо было сворачивать влево, ко второй проходной, которая вела к гаражу, Дмитрий впервые после объяснения с Лелей среди снежной дороги раскрыл рот.

— Степан, ты Лелю Величкину знаешь?

Можно было подумать, что рядом ударил снаряд, так стремительно обернулся Степан к Дмитрию.

— Величкину? Олю? — перехваченным голосом спросил он. — А ты ее тоже знаешь?

— Сегодня ночью, — сказал Дмитрий, — она сидела между тобой и мной в твоем грузовике.

21

Анна Николаевна мыла чашки после вечернего чая, Капа протирала их полотенцем и ставила в буфет.

— Мама, — сказала Капа. — Андрей мне сделал предложение, мама. Ты как смотришь на это?

— Ужас какой! — Анна Николаевна едва не уронила чашку. — Да ты понимаешь, что говоришь? Какие могут быть предложения, когда тебе еще три года учиться! Ученица выходит замуж! Где это видано?

— Во-первых, я еще ни слова не сказала о том, что собираюсь выходить замуж.

— А как же?..

— Обожди, доскажу. Во-вторых, разве тем, кто учится, это запрещено? Что же будет, если я окончу институт да потом поступлю в аспирантуру и еще на три года засяду за кандидатскую диссертацию, а потом еще на несколько лет за докторскую? Что, мамочка, прикажешь тогда делать? Выходить замуж в тридцать лет? Ведь только тогда наконец я перестану быть ученицей. Но зато уже буду вполне сложившейся старой девой. Спасибо, мамочка, сама ты, как мне известно, вышла за папу семнадцати лет.

— Почти восемнадцати.

Обе, взволнованные, помолчали.

— Но ведь ты обычно заявляла, — сказала Анна Николаевна, — что замуж никогда не выйдешь, что не будешь на свои святые чувства надевать пошлые цепи Гименея.

— Во-первых, я не говорила этого слова: никогда. Я говорила, что вовсе не обязательно, чтобы любовь непременно оканчивалась браком. Она имеет право существовать сама собою, самостоятельно. Во-вторых, мама... Во-вторых, он такой одинокий. Отец у него погиб на фронте, мать — плохая женщина, бросила сына, куда-то сбежала. Ему очень трудно живется, мама.

— Так ты, что же, уже и согласие дала? — окончательно упавшим голосом спросила Анна Николаевна.

— Да, мама. Прости, пожалуйста.

— Боже, что-то скажет отец! Это его убьет. У него так плохо с сердцем в последнее время. Что ты творишь, Капитолина, что ты творишь! Какое мучение ты нам причиняешь! Столько чувств, столько жизни мы отдали тебе! Отец никого из детей так не любил и не любит, как тебя. Для него это была самая большая радость — подержать тебя на руках. Прибежит домой — он тогда в партийном комитете судоремонтного работал, — схватит тебя и носит... — Анна Николаевна готова была заплакать.

— Перестань, мама, это невозможно. И себя и меня мучаешь. И папе, наверно, устроишь сцену. Я же не умираю, не уезжаю на всю жизнь в Антарктиду. Зачем усложнять простые, извечные вещи?

— Холодный ты человек, Капитолина, черствый. Ты не умеешь чувствовать, ты только рассуждаешь.

— Некоторые думают обо мне иначе.

Анна Николаевна не слышала ее.

— Нельзя только рассуждать и рассуждать, — говорила она. — Бессовестная ты.

— Ну это разные вещи, мама, — бессовестная и холодная.

— Нет, не разные! Холодные люди всегда бессовестные, а бессовестные — всегда холодные. Совесть не даст застывать чувствам человека.

— Ты философствуешь, мама.

— А ты дерзишь. Не воображай себя самой умной! — прикрикнула Анна Николаевна. — Я в институте не училась, но я тридцать пять лет прожила с твоим отцом. Эта жизнь была для меня все — и институт и академия. Да, я многому научилась у твоего отца. Дай боже, чтобы у тебя в жизни оказался такой учитель.

— Напрасно ты думаешь, что я собираюсь быть ученицей у своего мужа. Не в очередное учебное заведение поступаю. Постарайся, мама, уловить разницу. Впрочем, ты меня прости, если я говорю дерзости, но ты сама неправильно со мной разговариваешь. Ты говоришь так, будто решила не давать мне так называемого благословения. А я не благословения спрашиваю, а товарищеского совета.

— Каких ты хочешь от меня советов, когда я даже и не видела его ни разу, этого твоего кавалера? Что я могу тебе сказать?

— Папа видел. Папе, насколько мне известно, он достаточно понравился.

— Ну вот и иди тогда к отцу и объясняйся с ним.

— Пойдем вместе.

— Я не желаю участвовать в сознательном его убийстве, Капитолина.

— Хорошо, я пойду одна.

Но Анна Николаевна все же отправилась вслед за Капой. Она боялась оставить ее одну с отцом, которому и в самом деле каждый день нездоровилось, он жаловался на боли в сердце, на перебои.

Горбачев сидел в своем домашнем кабинете за столом, при зеленой яркой лампе. Он готовил выступление на областной партийной конференции.

— Можно к тебе? — услышал он.

Оторвал глаза от бумаг, обернулся, позади его кресла стояли жена и дочь.

— Да, — сказал рассеянно, продолжая думать о своем. — Что такое?

— Капитолина собралась замуж, — без предисловий объявила Анна Николаевна, решив, что пусть он узнает это сразу.

К удивлению Анны Николаевны, он не вскочил со стула, не стал метаться и кричать, чего она так боялась. Он сказал спокойно:

— Ну и что же? Что требуется от меня?

— То есть как, Ваня? Тебе это безразлично? Вся жизнь у ребенка будет разбита, а ты способен только сказать: «Ну и что же?» Вань!..

— Я женился на тебе, Нюра, ты выходила за меня, и никакого такого шума и грохота не было. Пришли однажды в мою комнатуху, занес я твой полупустой сундучок с двумя юбками и одной кофточкой...

— Ты все забыл! Совсем наоборот: с одной юбкой и двумя кофточками.

— Тем более, Нюра. Еще, значит, беднее дело было. И стали жить. И вот живем. И другой жизни нам не надобно. А может быть, тебе нужна другая жизнь? — Он вопросительно посмотрел на Анну Николаевну.

— Выдумываешь, сам даже не знаешь что, — ответила она.

— Меня интересует не это... — продолжал Горбачев.— Да вы садитесь, не стойте такими печальными образами. Меня интересует вот что... Я прекрасно знаю, что всякие уговоры и разговоры сейчас ни к чему, я знал, что рано или поздно именно так у них с Андреем и кончится, что все ее фантазии о вольных, ничем не закабаленных чувствах — именно и есть фантазии. Я верю в их любовь, верю в то, что у них получится хорошая семья...

— Правда, папка? — Капа бросилась, крепко обняла его, прижалась к нему. — Ты так говоришь?

Он ее осторожно отстранил.

— Да, так говорю и в это верю. Парень ей попался хороший. Могло быть гораздо хуже. Но вот что меня интересует, еще раз говорю, — где жить будете, супруги? — Он устремил невеселый, размышляющий взгляд на Капу.

— Не знаю, — ответила она, помедлив.

— То есть как не знаю? — вскрикнула Анна Николаевна. — Какие могут быть сомнения! Неужели, Ваня, ты допускаешь мысль отпустить ее из дому?

— Не было бы сомнений, не задавал бы этого вопроса, — сказал Горбачев. — Видишь, она не знает. Это

что, по-твоему, значит? Это значит, что она нацелилась уйти. Так, Капитолина?

— Неужели тебе плохо у родителей, Капочка? — с горечью спросила Анна Николаевна.

— Мама и папа, не мучайте меня этими вопросами — плохо или хорошо. Не было никогда плохо, всегда было только хорошо, очень, очень хорошо. Но вот вы же сами тут говорили: принес полупустой сундучок с одной юбкой и двумя кофточками, стали жить. А почему я обязана иначе устраивать свою жизнь? Почему я не имею права начинать с чемодана? Почему?

— Учти, — сказал Горбачев, — не только о квартире, о комнате хлопотать не буду.

— Если хочешь, папа, я тебе скажу, как мне думается наше устройство.

— Говори, конечно.

— Мы поселимся там, в том домике, куда ты приезжал. Мы его приведем в порядок...

— Будете добираться по колено в грязи...

— В этом виноват горсовет, а не мы с Андреем, папа. Так вот — приведем в порядок и будем строить свою жизнь. Вы с мамой будете приходить к нам в гости. Там у нас будут соседи...

Горбачев смотрел на раскрасневшуюся дочь, слушал ее восторженную речь и думал: все кончено, она уже ушла из дома, она уже там, в будущем, и никакая сила не остановит ее на этом пути, не вернет с него обратно.

Стало грустно. Анна Николаевна была права, когда говорила Капе, что та — любимый ребенок у отца. Любил, любил дочку Горбачев. Видеть ее, разговаривать с ней, ощущать ее ласку было его ежедневной радостью после трудных и долгих часов работы в горкоме. Теперь этой радости не станет. Говорит: будете приходить, говорит: сама прибегать стану. Обманывает и себя и их. Жизнь порушит эти намерения, продиктует свое, совсем-совсем иное, чего даже и не ждешь, о чем и не подозреваешь.

— Но там темно, сыро, скверно, в этой избушке, — сказал он.

— Сделаем — будет хорошо, вот увидишь. Я уже прикидывала. У Андрея есть деньги в сберкассе. Тысяч пять...

— Но это же его, его деньги! — сказала Анна Николаевна.

— Ах, мама, какая ты!.. Ну вот, папа, есть пять тысяч. Андрей получает порядочно, расходует не все. Вот у него и накопилось. Одинокий же.

— Он не пьяница хоть, а? — спросила Анна Николаевна.

— Успокойся, мама, нет. Так вот, пять тысяч нам помогут улучшить все в домике. Роскоши нам не надо, принципиально. Прежде всего — простота. Ты же знаешь, как мне смешны эти женщины, которые разряжаются в какой-то заграничный нейлоновый газ, под которым все лифчики видно, в парчу, из которой раньше только церковные ризы шили, в глупую, безвкусную гадость...

— Ничего не сделаешь, — не дослушав, сказал Горбачев. Он встал, подошел к дочери, обнял ее. — Будь счастлива, но только, пожалуйста, без жестокости к нам с мамой: помни о нас.

Мать и дочь всплакнули от этих слов. Он тоже, зашагав по кабинету, стал водить пальцем возле переносья.

— Покажи, покажи его мне, своего Андрея, — сказала Анна Николаевна Капе. — Чтоб завтра же был тут! Слышишь! А то люди спросят: кто, какой, а мать глазами будет хлопать.

Капа напрасно опасалась: милиционер нисколько не смутил Андрея. Андрей даже и не заметил милиционера. Для него страшнее всего на свете были сами эти смотрины. Он сидел за столом скованный. Попав в дом к секретарю городского комитета партии, он хотел бы производить там наилучшее впечатление, говорить только интересные, умные вещи, держаться с достоинством и непринужденно. Получалось все иначе, совсем иначе. И говорить было не о чем, и слова застревали в горле, или если и прорывались наружу, то без всякой связи между собою, так — слова и слова, а смысла никакого. Руки девать было некуда. Каждое движение сопровождалось шумом. Потянулся за хлебом, задел бокал с нарзаном — звон, стук, пролилась вода на скатерть; хотел достать шпротину из коробки, подцепил на вилку, тоже уронил, по скатерти пошло еще одно для всех заметное пятно.

— Ну и насвинячил я у вас, — сказал он с тоскующей улыбкой. — Вот теперь мне понятно выражение: как слон в посудной лавке.

— Э! — стал выручать Горбачев. — Бывает. Все бывает.

Отец и дочь старались за столом шутить, острили. Андрей таких попыток даже и не делал. Анна же Николаевна пристально и неотрывно рассматривала гостя и думала о том, что совсем теперь он и не гость. Нежданно-негаданно вошел вот в семью, и никуда от него уже не денешься. Хорошо, если порядочным окажется и если Капочка будет счастлива с ним. Здоровый какой, сильный, неуклюжий. Он ведь и прибить может жену. Жена! До чего же дико звучит это слово в применении к ее девочке, к ее доченьке. Глупенькая — храбрилась, хвалилась: красивые свободные чувства! Вот тебе и свобода...

Нельзя сказать, что Андрей не нравился Анне Николаевне. Неловкий такой — это ничего, это от непривычки, это Анна Николаевна вполне понимала. Это пройдет, когда он освоится. Главное, все-таки видный, рослый, плечистый. С таким и по городу лестно пройтись, и в театре появиться.

После обеда, выкурив папиросу, Горбачев снова уехал в горком. Прощаясь, он шепнул Анне Николаевне, чтобы и она не очень мозолила глаза ребятам. Анна Николаевна обиделась: что значит мозолить или не мозолить? Мать она или нет? Но все-таки, покрутившись еще с полчасика в столовой, ушла.

Капа села за рояль, поиграла немножко.

— Андрей, — сказала она, оборачиваясь, — ты хотел мне рассказать, что у вас там произошло позавчера.

— Дом стал пустой, — ответил Андрей.

Он принялся рассказывать о том, как пришла Леля и, увидев Степана, бросилась с криком бежать, как ездили они ночью в поселок Рыбацкий. И как в конце концов выяснилось, что Леля — это та Оля Величкина, с которой у Степана была перед войной любовь.

— Так он, что же, не узнал ее? — Капа была потрясена рассказом. — Почему же, почему?

— Ее и нельзя узнать. У Степана есть фото, на нем Леля совсем другой человек.

— Как страшно! — сказала Капа. — Что же будет теперь?

— Неизвестно. Ушли оба из дому вчера вечером. Степана в заводское общежитие определили. Дядя Дмитрий опять к дяде Платону пошел,

Сели рядом на диване, полные надежд, ожидания радостей, но очень смущенные событиями, происходившими в жизни других. У них-то, думалось Андрею и Капе, ничего подобного никогда не будет. Они-то будут жить по-иному.

22

Одним сумрачным декабрьским днем в областной газете появилась статья о металлургическом заводе, о том, как там замариновали ценное предложение инженера Крутилича. Статья была большая, занимала почти три столбца второй страницы сверху донизу. Автор ее — корреспондент газеты — начинал с того, как в Советском Союзе заботятся о развитии науки и техники, какие создают условия для ученых, конструкторов и изобретателей, как поддерживается рабочее изобретательство и рационализаторство; в пример он приводил заводы, на которых изобретательство и рационализаторство ежегодно дают миллионы рублей экономии и способствуют значительному повышению выпуска продукции. О металлургическом заводе тоже было сказано хорошо, но все хорошее относилось к прошедшему времени. «С приходом нового директора,— читал Чибисов,— многое изменилось. Стал укореняться стиль поверхностного руководства, без проникновения в глубь закономерностей крупного предприятия».

Старательно и подробно корреспондент описывал мытарства инженера Крутилича, «всегда ищущего, всегда беспокойного, а потому и неудобного для тех, кто больше всего другого ценит спокойную жизнь». Хождения изобретателя к директору, к обер-мастеру доменного цеха, в редакцию городской газеты, к секретарю горкома партии, который, «поддержав Крутилича на словах, на деле для претворения ценного предложения в жизнь ничего, к сожалению, не сделал», изображались с такими подробностями и так убедительно, что не могли не вызывать возмущения читателей против бюрократов и зажимщиков. В статье говорилось, что беспокойного инженера поддерживали только рабочие — были названы какие-то неизвестные Чибисову фамилии — и инженер завода К. Р. Орлеанцев, о котором корреспондент написал так: «К. Р. Орлеанцев, человек широких взглядов и большой

технической эрудиции, не выдержал рутины, насаждающейся тов. Чибисовым, и на широком совещании руководящего состава открыто выступил в защиту талантливого изобретателя, подлинного советского патриота. Тов. Орлеанцев дал бой отсталым взглядам Чибисова. Тов. Орлеанцева поддержали бы многие. Но Чибисов скомкал вопрос. Он диктаторски заявил: «Все ясно», совещание было закрыто, и предложение тов. Крутилича легло под бюрократическое сукно».

Статья была резкая, убедительная и по фактам — если каждый факт брать в его голом, натуральном виде — совершенно неопровержимая. Чибисов до крайности расстроился. В этой статье он представал тупицей, и не просто тупицей, а злобным тупицей, который готов давить и душить все свежее, молодое, передовое. Поминалась, конечно, и авария на третьей печи. О ней было сказано в том месте статьи, где утверждалось, что дело ремонта в доменном цехе поставлено плохо, что оно по существу пущено на самотек, против чего справедливо восстает инженер Крутилич. Техническую политику в доменном цехе делают, к сожалению, малограмотные люди вроде П. Т. Ершова, а это при современной технике совершенно недопустимо. Чибисов с таким положением мирится, оно ему по душе: директора-диктатора устраивает каждый работник, который стоит не выше, а ниже его по уровню образования, знаний и опыта. Умные руководители, стремятся окружать себя людьми еще более умными, даже если эти люди будут не очень-то покладистыми, а руководители недалекие любят иметь в подчинении таких, над которыми можно возвышаться, не располагая для этого никакими данными, кроме должностного положения.

Статья вызвала шум на заводе. Большинство ею возмущалось.

— Какое безобразие! — кричала в цехе Искра Козакова. — Не захотели разобраться по-настоящему, а пишут. Если бы разобрались в самом главном, было бы ясно, что предложение Крутилича — это никакое не предложение. Это просто кляуза.

В отделе главного механика инженер Воробейный рассуждал иначе.

— Допустим, Крутилич и не прав со своим предложением, — говорил он сослуживцам. — Но разве в этом дело? Дело в том, как предложение встречено дирекцией,

как отнеслись и к предложению, и к самому Крутиличу. Да знаете ли вы, что этот человек голодает? Это энтузиаст-бессребреник. На его примере видно, что в нашей системе не все гладко, не все безукоризненно. Если могут задушить такое предложение, то задушат и другое, в тысячу раз более ценное, имеющее значение для всего государства. Круговая порука, кастовость!..

Заседал партийный комитет, на заседание был приглашен актив, приглашались и все помянутые в статье. Статью обсуждали пункт за пунктом. Чибисов, дав полный экономический и производственный анализ децентрализованному — новому порядку ремонта, обстоятельно, документально опровергал притязания Крутилича.

— Тут меня никто не может поколебать, — заявил он, — и не испугают никакие статьи. Тут я до конца буду стоять на страже интересов государства. На это я и поставлен. Для этого я и живу. Но, товарищи... — Он развел руками. — Я человек более или менее самокритичный... Может быть, чего-то недоучел с этим Крутиличем, не так к нему отнесся. Готов признать, товарищи, учту.

Выступали активно. Предложение Крутилича никто почти не защищал, говорили о другом — о том, чтобы устранить на заводе все, что может мешать массовому изобретательству. Правильно, правильно, говорили, товарищ Чибисов должен учесть горький опыт, извлечь из этой истории надлежащие уроки. Нет, мол, худа без добра, статья расшевелит заводских руководителей — и в заводоуправлении и в цехах.

Попросил слова Орлеанцев, которого тоже пригласили на заседание партийного комитета, поскольку и он поминался в статье.

— Мне кажется, — сказал Орлеанцев, медленно поднимая тяжелые веки, — некоторые товарищи слишком благодушно настроены. Слишком по-домашнему склонны решать вопрос, всю остроту которого, может быть, не все и осознают. А вопрос острый. Он очень острый. Задумайтесь, товарищи. Не складывается ли у нас какая-то противоречащая установкам партии странная система, когда неугодный человек нигде не находит правды?

Поднялся шум, кричали: «Это уж слишком!», «Надо думать, прежде чем говорить!»

Орлеанцев выждал, пока секретарь парткома успокоит разволновавшихся.

— Зря вы так нервно реагируете, товарищи, — продолжал он. — Чтобы так или иначе реагировать на то или иное утверждение, надо же в нем сначала разобраться. А вам известно, например, что позавчера инженера Крутилича уволили из техникума и он лежит больной, в ужаснейших условиях, в нищете? В наше время, в Советской стране — нищий! И кто? Талантливый человек, инженер, изобретатель. Это как же надо понимать? Что это — цепь случайностей?

Все молчали, пораженные.

— Если это действительно так, то это безобразие! — сказал Чибисов. — За это под суд надо отдавать виновных. Не может этого быть!

— Проверьте, — спокойно посоветовал Орлеанцев.

— И проверю! — Чибисов поднял трубку телефонного аппарата, попросил станцию вызвать директора вечернего техникума, который при заводе. — Объясните мне, немедленно объясните, — заговорил, почти закричал он, когда директора разыскали, — что вы там творите с Крутиличем? Это же... это же! — Чибисов даже слов не находил, так был взбешен.

Он вскакивал со стула, садился, пока ему что-то объясняли на другом конце провода, перекидывал трубку от одного уха к другому, выкрикивал какие-то междометия, наконец швырнул ее на стол и тяжело, в полном бессилии откинулся на спинку стула.

— Кретин! — сказал он. — Полнейший.

Секретарь партийного комитета положил трубку на аппарат.

Кое-как Чибисов справился с собой. Вытер лицо платком.

— Прав товарищ Орлеанцев, — сказал он. — Этот... вот тот... деятель! — Он указывал на телефонный аппарат. — Действительно ведь уволил Крутилича. Лодырь, говорит. Практикой студентов, говорит, руководить должен, а вместо этого только изобретает чепуху и кляузы пишет. Нет, товарищи, надо немедленно принимать меры. Надо поехать к Крутиличу. Врача послать. Советская мы власть или не советская власть? Одного изобретателя не можем накормить, чтобы не голодовал, и крышу ему дать приличную.

Обсуждением статьи на партийном комитете завода дело не кончилось. Чибисова и редактора газеты Бусырина вызвал в горком Горбачев. Пригласил сесть в кресла,

пошагал перед ними по кабинету. Сказал строго и неприветливо:

— Вы проявили недопустимый, нетерпимый в партии бюрократизм. И ты, Чибисов, и ты, Бусырин. Вся эта история — позор для партийной организации нашего города. Возьмите в руки газеты: с Урала пишут, из Кузбасса, с Дальнего Востока — отовсюду, и о чем пишут? О новых открытиях, изобретениях, об инициативе масс. А вот нашелся в Советской стране городишко, где душат новаторов. Да что же это такое?

— Иван Яковлевич! — сказал Чибисов. — Разбирали вчера на парткоме. Наметили меры. Я честно признал свою ошибку...

— Значит, предложение стоящее? Тем более позор, что мариновали его!

— Это и не предложение, Иван Яковлевич. Оно отвергает опыт завода. А опыт положительный. Так что дело спорное, и правота, считаем, на нашей стороне. Я о другой ошибке говорю — о том, что к человеку отнесся недостаточно чутко. А у него, говорят, условия скверные...

— Стыд, товарищи, стыд! Мне даже из обкома уже звонят: что, мол, за история такая у вас? Того и гляди, в «Правде» пропечатают или в передовой помянут. Вопиющая история. И вообще. Сигнал на вас обоих в обкоме. По-семейному решаете дела. У тебя, Бусырин, была статья Крутилича в редакции?

— Была, Иван Яковлевич.

— Почему не напечатал?

— По очень простому. Мы с Антоном Егоровичем разбирались в этом деле. Я специально приезжал к ним на завод, смотрел документы. С людьми в доменном разговаривал. Стоят на своем.

— Что ты ответил автору?

— Вот это и ответил. Редакция, мол, не согласна с вами, редакция поддерживает эксперимент заводских доменщиков, хотя нисколько не отвергает и централизованный ремонт, где он дает положительные результаты.

— Но он же о чем писал? Он не только об этом писал. Он писал о всей совокупности причин, которые мешают развитию массового изобретательства. О том писал, как трудно изобретателю-одиночке продвигать свои идеи в жизнь, как трудно их осуществлять, когда тебе не обеспечивают материальной базы. Писал он об этом?

— Писал, Иван Яковлевич.

— Так почему же ты, еще раз спрашиваю, не напечатал это?

— А я еще раз отвечаю, что раз в главном автор не прав, какой смысл...

— А вот какой!.. — резко перебил Горбачев. — Пригласим тебя в четверг и, хотя ты член бюро горкома, дадим тебе выговор. Понял?

— Воля ваша.

— Воля не моя, а бюро, коллективная. — Горбачев еще походил по кабинету. — И тебе, Чибисов, запишем. Чтоб неповадно было.

Чибисов вытащил из кармана сигару «нон плюс ультра» и, взглянув на плакат на стене за креслом Горбачева «Здесь не курят», чиркнул спичкой.

— На охоту ездите? — спросил Горбачев, обращаясь к обоим. — В гости друг к другу ходите? Может быть, еще и в преферанс играете?

— На охоте, Иван Яковлевич, мы с весны не были, — ответил Бусырин. — В гостях у Антона Егоровича я был шестого ноября.

— А я у него седьмого, после демонстрации, — добавил Чибисов.

— А что — это нельзя? — спросил Бусырин с вызовом.

— Что значит — нельзя! — Горбачев, видимо, не знал, как ему ответить. — «Нельзя, нельзя»! Заладил. Почему — нельзя? Все можно. Только соображать надо. Семейственность и приятельство не разводить...

— Что-то я тебя, Иван Яковлевич, плохо понимаю, — заговорил Чибисов. В голосе его слышались горечь и укоризна. — Выговор ты нам, конечно, можешь дать. Это Бусырин правильно говорит: воля ваша. А запретить дружить с тем, кто мне нравится, кому я верю, с кем думаю одинаково, — этого, Иван Яковлевич, и бюро не может. Что — он, Бусырин, подозрительная личность? Темный элемент? Нэпман? — Лицо у Чибисова побледнело, руки тряслись, сигара выпала из пальцев на ковер. Поднял, сдул с нее пылинки. — Может, он отца зарезал или бабушку ограбил?.. Да я с ним, окажись мы в партизанском отряде или на передовой, — я с ним без страха в разведку пойду. А не с каждым бы пошел, не с каждым.

— Слушай, ты на меня не ори, — сказал Горбачев, подходя к сейфу, отпер его, постоял возле — спиной к своим посетителям — минуты две, а когда вновь закрыл

тяжелую дверцу, на лице у него было такое выражение, будто он что-то проглотил.

— Валидол сосешь, — немножко успокаиваясь, сказал Чибисов. — А нам с ним что делать? — Он кивнул на Бусырина. — Мы тоже не мальчики, тоже клапана сдают.

Посидели все трое молча.

— Словом, на бюро, — вяло сказал Горбачев, вставая. — До четверга. А инженера Крутилича, Чибисов, ты обязан устроить как полагается. Это дело твоей партийной совести.

В четверг, однако, ни Чибисова, ни Бусырина на бюро горкома не вызвали. В четверг на заводе появился приезжий товарищ. Представляясь Чибисову, он сказал: «Литератор. Вот мой членский билет Союза писателей». Литератор был злой и въедливый, сам шуток не шутил и на шутки Чибисова не реагировал. Он совсем не был похож на того симпатичного писателя, который обещал прислать свою книгу и которого Чибисов вспоминал с большим удовольствием. Этот был иной, он сказал: «У нас, к сожалению, укореняются такие нравы, которые надо выкорчевывать. Вы, конечно, читали мои очерки «Нужные мысли»?»

Чибисов сказал, что как-то так получилось, но «Нужные мысли» он не читал.

— А не мешает почитать. — Литератор нахмурился.

Чибисов хотел поводить его по цехам.

— Это не обязательно, — сказал литератор. — Я не сталевар. Понять — ничего не пойму. А ходить просто так, экскурсантом, ни к чему. Я не за этим приехал. Меня интересует не столько сталь, сколько стиль.

Это был один из старых знакомых Орлеанцева. Он поселился в гостинице, в номере, соседнем с номером Орлеанцева. Орлеанцев познакомил его с Зоей Петровной. Но Зое Петровне этот человек не понравился. Зоя Петровна попросила Орлеанцева сделать так, чтобы ей с ним больше не встречаться. «Чудачка, — сказал Орлеанцев. — Как хочешь, конечно. Но очень жаль, очень жаль. Человек-то полезный. Остро пишет. Неужели ничего не читала?» Нет, Зоя Петровна сочинений этого литератора не читала. Попробовала, любопытства ради, взять книгу с его очерками. Не читалось. Писал он глубокомысленно, многозначительно, но до крайности скучно и неинтересно. Вернула книгу в библиотеку.

Привел Орлеанцев хмурого литератора и к Виталию Козакову, посмотреть работы. Литератор осмотрел их со скучающим видом, сказал:

— Одно и то же, одно и то же. На месте топчемся. Не идем. Отображательство. Но техникой владеете. А этот ваш блюмингист, — он мельком взглянул на портрет Дмитрия, — прошлое нашей живописи. Воспевательство. Писать сейчас надо так, чтобы и литература и живопись — любое из искусств — исправляли стиль.

— Не понимаю, — сказал обиженный Виталий.

Литератор, видимо, принимал его за сугубого провинциала.

— Когда-нибудь поймете, — ответил он Виталию. — И Москва не сразу строилась.

Перед молодыми поэтами, прозаиками и драматургами из литгруппы при редакции Бусырина, куда Орлеанцев тоже повел своего гостя, гость высказался более определенно.

— Работник искусства всегда был прежде всего общественным деятелем. Он должен вторгаться в жизнь. Что сейчас главное в жизни? Главное — борьба с извращениями в стиле руководства по всей линии, снизу доверху. Вот вам тема на много лет вперед. Если каждый, как пчела, принесет сюда свою долю, будет добрый медосбор.

Он держал не очень связную речь, все время ссылаясь на свои «Нужные мысли», в которых, как он сказал, заложено зерно литературы будущего.

— Не очень ясно, — выразил сомнение Бусырин, по обычаю присутствовавший на собрании литгруппы, — не очень ясно, а как же будет с главными темами нашей литературы — с темами труда? Как будет с образами рабочих, колхозников, партийных работников? Словом, как быть с образом строителя новой жизни, строителя коммунизма?

— Обождем с этими образами. Они от нас никуда не уйдут. А кроме того, ведь их тоже надо писать по-другому, не лакировать. Правдивей следует писать, во всех, как говорится, поворотах души. Но это, повторяю, совсем сейчас не главное. Главное другое: вскрывать, разоблачать, искоренять.

Гость уехал. Но он не был последней неприятностью для Чибисова. Произошла еще одна крупная неприятность. Позвонил заместитель министра по кадрам и сказал, что авария с фурмой на третьей печи свидетельствует

о слабости руководящих кадров в доменном цехе, что, по мнению министерства, обер-мастера Ершова пора отпускать на пенсию. Чибисов ответил, что Ершов отличный работник и, если его отпустить, это будет большой потерей для завода. Ему сказали: вот потому, что Ершов заслуженный доменщик, к нему и надо подойти помягче — обставить его уход надлежащим образом, а вообще-то всыпать бы ему как следует полагалось.

Словом, к согласию не пришли. В трубке сухо сказали Чибисову, что о разговоре будет доложено министру и дальше решать будет уже министр.

Чибисов в тот же день написал и отправил в министерство официальное письмо, в котором еще раз доказывал, что Ершова нельзя отпускать. Но это не помогло. Прошло не более недели, как появился приказ министра. Чибисов спрятал его в сейф и никому не показывал. Он не решался объявить распоряжение министерства Платону Тимофеевичу. Поехал к Горбачеву.

Горбачев был возмущен.

— Решают, не спросив нас! Будто мы ничего уж и не значим. Надо писать в Совет Министров, Чибисов, в ЦК!

Потом они поговорили о том, что если по таким вопросам, как вопрос, переводить или не переводить на пенсию обер-мастера, надо беспокоить Совет Министров страны и Центральный Комитет партии, то это уже совсем немыслимо. С мнением местных организаций министерство не считается. Зацентрализована каждая мелочь. Так работать нельзя.

— Ну, а все-таки, как же быть с Ершовым? — сказал Чибисов. — Послушно складывать ручки по швам?

— Пиши еще раз министру.

Еще раз написал. Результат был неожиданный: получил замечание и предупреждение о том, что, если он повторит такое вопиющее промедление с выполнением приказов министра, с ним будет поступлено более строго. Ничего не оставалось, как объявить приказ Платону Тимофеевичу. И все-таки Чибисов снова тянул. Уж на что рассчитывал, даже и самому ему было неизвестно. Просто тянул и тянул время. Для этого же — для затяжки — запросил министерство: кого, по их мнению, следует ставить на место Платона Тимофеевича, кого они утвердят, кого не утвердят.

Раньше он почти каждый день захаживал в доменный цех. Тут ходить перестал. Не надеялся на себя, знал, что

актер он плохой и Платон Тимофеевич уже по одному его виду непременно почует неладное, ну и что́ тогда он станет объяснять обер-мастеру?

Он даже на водосточную трубу посмотрел из окна своего кабинета — нельзя ли по ней спуститься, когда Зоя Петровна сказала ему, что в приемной сидят Ершов и Козакова и что вопрос у них серьезный. Хотел просить Зою Петровну соврать что-нибудь: дескать, ушел, выехал, занят, заболел. Но все это была чепуха, и ничто не подходило.

— Пусть зайдут, — сказал, падая в кресло. — Пусть.

Страдания его усилились, когда Искра и Платон Тимофеевич начали излагать свои соображения о том, как улучшить работу доменного цеха.

— Это все она — Искра Васильевна, — говорил обер-мастер.

— Ну что вы, Платон Тимофеевич! — возражала Искра. — Разве бы без вас...

— Она, она. Но я полностью это все поддерживаю. И начальник цеха согласен и даже, думается, на днях к тебе придет, Антон Егорович.

Вначале Чибисов сидел и слушал, не очень вникая в суть дела, с которым к нему пришли Ершов и Козакова. Постепенно он заинтересовался их рассказом. Стал переспрашивать. Затем они все трое принялись подсчитывать, набрасывать схемы.

— Интересно, — сказал наконец Чибисов. — Очень интересно. Сейчас позовем главного инженера. Сообща мозговать будем. — И нажал кнопку звонка.

23

— Болтун твой приезжий литератор, форменный болтун! — говорил Гуляев, стоя перед портретом Дмитрия Ершова. — Что значит воспевательство? Ну, а если и воспевательство, — это, по-твоему, порок? Художники всех времен воспевали красоту. Художники всех времен воспевали свое время, свое общество. Свой класс, наконец! Кто же нам с тобой запретит воспевать наш класс! Я душой, Витя, принадлежу к рабочему классу, я пролетарий. А ты?

— Я, Александр Львович, над этим не задумывался.

— Напрасно, Витя, надо задумываться. Это определяет все — и твою позицию, и круг твоих идей. Когда ты

ясно и прямо определишь для себя, кто ты, с кем ты и за кого, тогда тебе известно и кто твой противник, и во имя чего ты работаешь. Почему я так нервничаю от мелкотравчатости ролей, которые играю последние два-три года? Только потому, думаешь, что я не могу басом, в полный голос говорить со сцены? Нет, Витенька, не только поэтому. Хотя, конечно, и это свое значение имеет. Но главное-то в чем? А главное вот в чем. Сплошь и рядом не могу я понять, за кого же и против кого играемые мною людишки. Ни за кого и ни против кого. Межеумки. А я боец, Витя. Я должен быть по одну из сторон баррикады.

— Так ведь для этого надо, чтобы и сама баррикада была.

— А по-твоему, ее нет? Витенька! Баррикада, о которой я говорю, рухнет только в тот час, когда падет капитализм на всем шаре.

— Это общеизвестно, Александр Львович.

— Так почему же ты забываешь об этом, если оно для тебя общеизвестно? Не полагаешь ли ты, что в наше время острота борьбы двух миров поутихла и от нее можно отстояться в сторонке?.. Нет, дорогой. Жизнь еще приведет тебя на баррикаду. И тоже поставит по ту или иную ее сторону. В нейтральных не проживешь. Это закон. Даже вот и те, которые —

Шел я верхом, шел я низом,
Строил мост в социализм,
Недостроил и устал
И уселся у моста,—

и они не избегут драки, жизнь завлечет их в драку. Уже само высказывание твоего критика о воспевательстве — элемент борьбы. Это принципиальное высказывание. Вроде бы знаешь, убедительно, подкупает: за объективную правду-мать сражается гражданин. А что на деле? Что даст практика, основанная на такой теории? Топчи, марай свое родное — вот что она даст в конце-то концов. Логика есть логика. Уходишь от одного, придешь к другому. Воспевай, Виталий! Воспевай народ, подвиг народа. Ты не ошибешься. Если хочешь знать, ты мучаешься над этим портретом. Потому и не доставляет он тебе полной радости, что побоялся ты его приподнять, побоялся песни и говоришь прозой. А ты пой! Сделай так, чтобы шрам не лез в глаза, он заслоняет душу человека. Пригаси этот

трам. Пусть он идет штрихом к биографии, а не сам по себе. Выпиши тщательней скулы, смотри, сколько в них силы скрыто, сколько характера. А глаза... Их сейчас почти не видно, слишком много искр от этих чугунных болванок.

— Это стальные слитки. Блюмсы.

— Ну, милый, прости мне мой грех незнания техники стального проката. А руки, руки!.. За чем ты погнался? За пятнами, за светом. Пятна есть, свет есть — хорошо. Но мазки твои украли у меня возможность видеть сильные, умные руки человека.

Он ходил по комнате, задевая то за подрамник, то за угол стола, то за стул.

— Тесно до чего у вас. Квартиру-то вам дадут, обещают? — спросил.

— Обещают. Вот к съезду дом будут заселять. Двухкомнатную планируют для нас. Мы ходили с Искрой, смотрели. Приличное жилье. Окна широкие, свету больше.

— Новоселье спразднуем.

— Это уж само собой.

Пока Виталий всматривался в лицо Дмитрия Ершова, Гуляев все расхаживал по комнате, а потом сказал:

— Словом, дай ты руки своему рабочему. Настоящие, живые руки, кующие будущее человека. Вот что я хочу увидеть на твоем полотне. Не думай, что я тебя поучаю. Это я размышляю так вслух. Для себя размышляю. Бьюсь, Витя, бьюсь над мыслью одной. Ты же сам мне рассказывал, что у этого человека, у Дмитрия Ершова, отец погиб на заводе. Немцы убили. Ну вот, не дает мне покоя с того дня думка — выйти на сцену этаким могучим старичищей. Умереть в конце концов согласно с правдой фактов, но так умереть, чтобы людям еще сильнее жить хотелось, чтобы еще больше ценили и любили они жизнь, чтобы красиво жили. Красиво! Ты меня понимаешь? Ну вот — сам написать этого не могу, а помочь никто не хочет. Страдаю, Витенька... Пойду-ка я, пожалуй, — закончил он неожиданно.

— Посидите, скоро Искра придет.

— Нет, нет, пойду. Видишь — весь в размышлениях. Плох я такой для компании. Будь здоров, милый!

Проводив Гуляева, Виталий долго стоял перед портретом, затем рассматривал его сбоку, снизу, забрался на стол, отошел к двери... Вздохнул и взялся за скребок.

Гуляев тем временем добрался до театра. Через полтора часа он должен был снова выходить на сцену, кидать камешки в реку, прыгать через садовую скамейку и строить идиотские куры засидевшейся в девках героине.

— Каторга! — сказал он, заходя в кабинет к Якову Тимофеевичу. — Лучше на завод пойти, чугун варить буду: и душе спокойней, и заработаю больше.

— Здравствуйте, Александр Львович! — радостно приветствовал его сидевший у директора молодой человек. Это был драматург Алексахин. — Слушайте, вы ушли тогда... я, помните, отказался работать над этой темой? Но вы так замечательно изобразили старика доменщика, что ничего я с собой поделать не мог: стоит он передо мной, да и только! Спать лег — во сне снится. На работу пошел, сижу у пульта — опять его вижу. Вот набросал тут два акта. Хорошо бы, если бы вы почитали. А лучше бы послушали. — Он держал в руках толстую тетрадь в синем переплете.

— Дайте! — Гуляев стал листать страницы, видел реплики, ремарки. Схватил глазами несколько слов — почувствовал радостное волнение.

— Яков Тимофеевич! Будьте благодетелем, — заговорил поспешно. — Пусть меня заменят сегодня. Отпустите, а? Молю.

Замены не нашли. Пришлось все-таки Гуляеву играть. Но Алексахина он не отпустил, провел в ложу, усадил там и все время следил со сцены за тем, чтобы не сбежал.

Играл Гуляев в этот вечер отвратительно, путал реплики, опаздывал с выходом, а в одной сцене вообще скандал получился. Героиня что-то ему говорит, а он вдруг ей: «Да идите вы с вашей болтовней подальше...» Публика, правда, не заметила. Но Томашук носился из кабинета директора к худруку, от худрука к секретарю партбюро, за кулисы: «Вдребезги пьян. На ногах не держится. Надо немедленно принимать меры».

Едва сняв грим, не пожелав выслушивать чьи-либо нотации, Гуляев отправился за Алексахиным и увел его к себе домой. В комнате у него уже были стол и четыре стула. Он усадил гостя.

— Читайте!

Неторопливо развертывалась простая, будничная жизнь рабочей семьи, штрих за штрихом складывались самобытные характеры Окуневых.

— Я их решил Окуневыми назвать, — сказал Алексахин. — Неудобно же так, как на самом деле, — Ершовы. Правильно?

— Правильно. Но это не имеет значения, — нетерпеливо ответил Гуляев.

Было в пьесе несколько поколений Окуневых. Был старик, были его старшие и младшие сыновья. Свою мораль утверждали в семье, жили своими идеалами. Не было тут такого личного, которое бы противоречило общественному, государственному. «Ну, а как же иначе! — удивлялся старый Окунев. — Власть-то советскую завоевывал кто? Мы завоевывали, Окуневы. Строил государство-то кто? Мы его строили, мы, Окуневы. Мы и есть оно, государство. С самими собой противоречить, как ты говоришь, будем, что ли?»

В третьем часу ночи Алексахин закрыл тетрадку.

— Пока все. Два акта.

— Милый ты мой! — Гуляев распахнул свои сильные руки и обнял драматурга. — До чего хорошо пишешь. Немедленно заканчивай!

Он взял рукопись, стал перечитывать отдельные сцены, рассуждал вслух, как они должны выглядеть в спектакле, играл сразу за всех действующих лиц. Алексахин сиял. Ни разу в жизни никто еще не выражал такого бурного и искреннего одобрения его литературным трудам.

— Когда закончишь-то? — спросил Гуляев.

— Не знаю, Александр Львович. Самое трудное впереди. Может, еще ничего и не получится.

— Получится, получится. К съезду закончишь? За полтора месяца, а?

— Буду стараться.

— Только вот что: на завод тебе походить надо, с людьми потолковать. Колориту прибавится, живой жизни.

Назавтра Гуляев пришел к Якову Тимофеевичу.

— Договор надо заключить с парнем, Яков Тимофеевич. Поддержать молодого человека. Воодушевить. А то или не закончит рукопись, или другим отдаст. Перехватят.

— Кто это, интересно, перехватит? — спросил со смехом Томашук, который присутствовал при разговоре. — Производственная пьеска из жизни доменных печей! Прямо-таки с руками оторвут! Для всякого рода отчетов она, конечно, хороша: репертуар, так сказать, выдержанный. Но не для кассы и не для зрителя.

— Напрасно спорим, — сказал Яков Тимофеевич. — Кот еще в мешке. Думаю, что эти два акта надо перепечатать на машинке и почитать.

— Я лично от такого удовольствия отказываюсь, — сказал Томашук.

Яков Тимофеевич пригласил худрука. Тот сидел, как всегда, расправив бороду, сцепив руки на животе, и вращал большими пальцами — один вокруг другого: то вперед, то назад.

— Почитаем, почитаем, что ж! — сказал он после глубоких раздумий. — Всегда сначала почитать надобно.

— Я все это слушал ночью! Я сам читал!.. — разгорячился Гуляев.

— Думаю, что вы не совсем квалифицированно слушали, Александр Львович, — сказал Томашук. — Вы и играть-то вчера не могли, уважаемый. О вас вообще надо вопрос ставить. Какой пример вы подаете нашей молодежи? Ведь дня нет, чтобы вы...

— Яков Тимофеевич, — перебил его Гуляев. — Мне бы не хотелось отвечать товарищу Томашуку в том же тоне, в каком разговаривает он. Поэтому, прошу извинения, я уйду.

«Куда идти? — размышлял он, выйдя на улицу. — К кому? У кого просить помощи? Да и надо ли непременно куда-то идти и уже сейчас звать на помощь? Ничего особенного пока что не случилось. Алексахин работает, авансов не просит, отдавать пьесу другим не собирается».

Гуляев успокаивал себя, старался успокаивать — и все-таки он не был спокоен. Ка́к ничего особенного не случилось? Нет, случилось. Случилось то, что Томашук уже настроился не только против пьесы, но и против самой ее идеи. Он обработает худрука, для которого главное, чтобы вокруг курился фимиам, чтобы всегда был трепет перед его именем. А дальше? Это уже не столь существенно: эту ли пьесу поставят, другую ли — какая разница? Все равно, мол, теперь добра на театре не жди, прошли времена расцвета театра, это были времена его, худруковой, молодости. Сейчас только бы не делать ничего лишнего. А он еще мог бы, мог бы! Он не забыл уроки своего покойного учителя — удивлять публику, делать не то, чего она ожидает, и не то, что делают другие. Ходи на голове, но удивляй, удивляй и удивляй! Он бы удивил, если бы... Если бы знать, что не промахнешься. Нет уж, на старости лет экспериментировать над своей биографией не стоит.

Томашук знал своего патрона досконально. При появлении его в театре Томашук устраивал настоящие демонстрации — только что хоры ангелов не пели, а вся остальная мощная машина возвеличивания и вознесения на небеса благополучно здравствующего человека пускалась на полный ход. Яков Тимофеевич ничего не мог поделать с таким положением, которое он называл грандиозной чертовщиной. Ему не разрешали волновать худрука. «Нельзя, нельзя, дорогой, — говорили Якову Тимофеевичу во всякого рода городских, областных и республиканских управлениях, ведающих искусством. — Такая глыба! Что ты?» — «Вот то и беда, что глыба, — отвечал Яков Тимофеевич. — Лежит на дороге. Ходу людям не дает. Только критика, прямая и откровенная, могла бы шевельнуть эту глыбу».

Знал это все Гуляев, хорошо знал, и его охватывала тревога: зарежет пьесу Томашук.

Все последующие дни Гуляев жил ожиданием пьесы об Окуневых. Играл вяло, оживляясь только, когда спорил с Томашуком. А спорить надо было, и отчаянно спорить. Томашук готовился к постановке предыдущей пьесы Алексахина, той, в которой пожилой начальник влюбляется в молоденькую инженершу, бросает старую жену, а она, эта старая жена, находит утешение в труде на пользу обществу. Помимо того, что Гуляев был категорически против мелкой, обывательской пьесы, он понимал и то, что постановка ее неизбежно отвлечет драматурга от работы над пьесой об Окуневых. Гуляев требовал, чтобы в дело вмешался Яков Тимофеевич, который тоже был против облюбованной Томашуком пьесы Алексахина. Но, к сожалению, не только Томашук держался за эту пьесу. Он привлек на свою сторону нескольких ведущих актрис и актеров и даже самого худрука. Худрук побывал где надо, потряс своей заслуженной бородой. Якова Тимофеевича вызвали, намекнули, что пусть он, Яков Тимофеевич, не обижается, но в таких делах, как выбор пьесы, доверия больше таким людям, как худрук, а не таким, как он, недавний заведующий клубом и трубач в заводском оркестре. Яков Тимофеевич ходил к секретарю горкома, ведавшему делами пропаганды, просил отпустить его куда-нибудь к чертовой бабушке из театра, — лучше уж он действительно пойдет обратно в трубачи, чем терпеть эти издевки. «Надо терпеть, надо, — сказал секретарь горкома, ведавший делами пропаганды. — Мы долж-

ны воспитывать таких, как твой худрук. Исподволь, не сразу, терпеливо». — «Так повоспитываешь, повоспитываешь, да и в гроб ляжешь. А он, недовоспитанный, будет жить и здравствовать».

Видя, что и директор театра не может ему помочь, Гуляев пошел к Алексахину.

— Заберите пьесу обратно, — просил он. — Потеряете рубль, обретете тысячу. Ведь вы же сейчас пишете настоящее, большое. Не разменивайтесь. Не умрете же с голоду. А если деньги уж очень нужны, соберу все, что могу... Зарплату свою отдам.

Алексахин сказал, что дело не в деньгах, а в том, что приятно увидеть свое детище на сцене. Он готов отдать пьесу театру бесплатно, лишь бы ставили. Он уверял, что постановка этой пьесы не помешает работать над новой — об Окуневых; наоборот даже — придаст ему сил и уверенности. А то ведь как может случиться? Одну он заберет сам, а другая не напишется или напишется, да ее не примут, и что тогда? Нет, он рисковать не хотел. Томашук, видимо, изрядно с ним поработал.

Что же было делать? Гуляев сам отдал машинистке два акта, написанных Алексахиным, сам роздал несколько экземпляров тем актрисам и актерам, которые, по его мнению, так же, как и он, тосковали по настоящим ролям. Читали с интересом. Одобряли. Но актриса, которая играла молодых тигриц, похищающих престарелых мужей у престарелых жен, сказала, что это возврат к железу и чугуну, ко всяким продольно-поперечным строгально-точильным станкам и болтам, которые подавались в томате искусственно притянутых любовных историй, и что она против такой пьесы. А другая добавила: «Скушно. Безумно скушно».

Томашук, узнав, что актеры читают что-то, помимо выбранного им, очень обозлился и хотел повернуть дело так, будто бы оно противозаконное.

— А ведь вы, почтеннейший Александр Львович, подпольную литературку распространяете, — сказал он многозначительно. — Что это за листки, кем написаны, кем разрешены, кем одобрены? Не много ли на себя берете?

— Строчите донос, — ответил Гуляев.

— Это что — оскорбление? — вскипел Томашук.

— Это дружеский совет.

В коллективе знали о стычках Гуляева с Томашуком, о том, что в театре идет какая-то глухая борьба. Симпатии,

как всегда, разделились: одни стояли за Гуляева, другие за Томашука — ведь за Томашуком еще и худрук. Атмосфера накалялась. Внешне все было хорошо, благообразно, но каждый внутренне ощущал напряжение. Людям пожившим, побидавшим жизнь, опыт подсказывал, что взрыва не миновать. Какого характера будет этот взрыв — неведомо, кто полетит — тоже неизвестно. Но взрыв будет, и непременно.

24

Как ни уговаривали родители Капу не спешить с замужеством, окончить сначала институт, она на своем настояла. Она настояла еще и на том, чтобы не было никакой свадьбы. «Это стыдный языческий обычай. Это бестактное вмешательство в личную жизнь. Орут «горько», а ты перед ними целуйся. Подмигивают, хихикают... какие-то намеки. Нет, этого мещанского позорища у нас не будет».

В домике Ершовых затеяли ремонт. Главными рабочими были Андрей и Капа. Плотника звали только затем, чтобы перебрал полы да укрепил двери и оконные рамы. Оклеивали стены обоями, белили потолки мелом, красили полы сами, по вечерам и по воскресеньям. Горбачев спрашивал: «Может быть, помочь все-таки? Материалы, может быть, нужны или что?» — «Нет, ничего не надо, — отвечала Капа. — У нас все есть».

Почти каждый день приходила к ним Анна Николаевна, пыталась помогать, но и в ее помощи не очень нуждались. Возвращалась она домой расстроенная.

Капе очень нравилась возня с растворами, с красками. Она надевала куцый халатик из синей материи, как-то сохранившийся от тех времен, когда сестра Ершовых, Серафима, бегала в нем в школу; повязывала голову красным платочком, весело напевая, водила кистью по потолку; на нее капало, она выглядела заправским маляром. «Хозяин, — стараясь басить, говорила она Андрею, — а вам как, с натуральной олифой или без? С натуральной дороже будет. Авансик бы с вас. На маленькую. С устатку».

Андрей тоже был весь выпачкан в растворах и красках. Это не мешало им то и дело обниматься и целоваться. Ремонт шел медленно. «Ты и занятия запустила,

Капитолина, — говорила ей Анна Николаевна, когда Капа в полночь приходила домой. — Нельзя же уж так-то сумасшествовать». — «Ничего, мамочка, догоню. Поднажму потом. Пожалуйста, не беспокойся».

Всему бывает конец. Пришел конец и ремонту. Настал день, когда Андрей и Капитолина Горбачева пошли с утра в загс — и вернулись в дом Горбачевых уже оба Ершовыми. Капа показала Анне Николаевне загсовское свидетельство. «Поздравляю», — говорила Анна Николаевна, а у самой губы поджимались — вот-вот заплачет.

Приехал Горбачев. Откупорил бутылку вина, сели обедать. За столом на этот раз был и брат Капы — Георгий. Он рассказывал всяческие истории о молодоженах. Все смеялись над этими историями.

— Напрасно, напрасно, — сказала вдруг Анна Николаевна, обращаясь к Андрею, — напрасно вы не хотите жить у нас. Было бы очень удобно...

— Мама, зачем этот разговор? — сказала Капа. — И Андрей тут вовсе ни при чем.

— В самом деле, мама, — поддержал Георгий, — ведь это же так естественно для нормального человека — стремиться к самостоятельной жизни. Мне один институтский товарищ, большой любитель природы, рассказывал, что, например, аисты сразу строят два гнезда: в одном живут сами, а во втором высиживают птенцов, и так их потом и оставляют — для самостоятельной жизни. А не держат все время под родительским крылышком.

— Ну то аисты, — сказала Анна Николаевна грустно. — А мы люди.

После обеда Капа собрала свои вещи в два чемодана; вызвали машину. Анна Николаевна отправилась провожать молодых. Но, побыв в доме Ершовых совсем немного, поняла, что она лишняя. Это было непонятно, обидно, больно: она, родная мать, — и лишняя. Уехала домой и плакала весь вечер. Горбачев ее утешал, говорил хорошее об Андрее, всей семье Ершовых.

— А откуда ты семью эту знаешь? — сказала Анна Николаевна. — Теперь так повелось, что даже родители жены с родителями мужа не знакомятся, чужими живут.

Договорились до того, что решили съездить к старшему из Ершовых — к Платону Тимофеевичу, и как-то вечером отправились.

— В семье вы старший, — говорил Горбачев за столом, накрытым Устиновной. — Андрею, видимо, вроде отца.

— Не совсем так, — ответил Платон Тимофеевич. — Вроде как бы часть отца, одна часть. Андреем не только я, все занимались поровну — и Яков и Дмитрий.

— А я ему заместо матери была, когда там, на Овражной-то, жили, — вставила Устиновна.

Разговор шел простой, дружеский. Анна Николаевна все про свою Капу говорила да об Андрее расспрашивала, а Горбачев с Платоном Тимофеевичем давно на заводские дела перешли. Платон Тимофеевич держался так, будто и не было приказа министра, о котором Горбачеву рассказывал Чибисов, будто и не собирался уходить от своих печей на пенсию. Горбачев подумал: может быть, Чибисов все-таки настоял на своем? Но расспрашивать не стал: мало ли какие планы у Чибисова, ведь он же говорил, что даже показывать тот приказ Ершову боится.

Когда Горбачевы уже стояли одетые в передней, Платон Тимофеевич сказал:

— А свадьбу справить полагалось бы, а? Что же так — без веселья, без чарочки? Или по вашему положению запрещается это?

— Почему запрещается? — Горбачев засмеялся. — Это вы зря так, Платон Тимофеевич.

— За чем же дело стало?

— Да вот ведь дочка у нас такая. Упрямая, — сказала Анна Николаевна.

— Можно и переупрямить, — вставила Устиновна. — Сло́ва сказать не успеет, а уж тут и свадьба.

Именно она, эта многоопытная Устиновна, подсказала план, по которому в ближайший субботний вечер все родственники Андрея и Капы как бы невзначай сойдутся в старой мазанке и отпразднуют начало совместной жизни молодых.

— Ведь не то, что одна свадьба, — сказала рассудительно Устиновна, — а еще и то, что два семейства породнились. Уж теперь, как ни крути, а вы за нас, мы за вас — оба в ответе. Родня. Исстари так идет.

Субботним утром Горбачев звонил в горсовет председателю: «Слушай, Бобров. Ты улицу такую знаешь — Овражная?» — «Знаю, на то я и председатель. А что там случилось?» — «Запущенная улица, Бобров. Даже снег не чистят». — «А у нас много на каких улицах его не чистят, Иван Яковлевич. Снегоочистилок не хватает. Население обязываем самих чистить перед своими жилищами». — «Ну, а все-таки. Может быть, там где-нибудь рядом

ходят твои машины, утюжки такие, треугольнички?» — «Ходят. По Долевой». — «Пусть завернут по дороге да разгребут маленько, а? Надо, надо. Потом объясню. Мероприятие одно. Пожалуйста, сделай, если это не противозаконно».

Андрей был очень удивлен, когда, возвращаясь с завода, увидел автоснегоочиститель, старательно утюживший его улицу. Обычно снег подгребали тут лопатами в сугробы, сугробы лежали до весны и таяли сами, отчего сырость и грязь на Овражной держались почти до июня. Он сказал Капе:

— Вот видишь, и к нам культура пришла.

Капа была иного мнения.

— Это подозрительно, — ответила она. — Если тут замешан отец, я ему устрою знаешь какой скандал!

Ее подозрения усилились, когда один за другим в сумерках стали подходить и подъезжать гости. Первыми явились Яков Тимофеевич с женой — Валентиной Ивановной, принесли вина, торт, каких-то консервов.

— Решили проведать молодых, — сказал Яков Тимофеевич весело. — Посмотреть, как устроились. Очень рад, товарищ Капа, что вы бесстрашно вступили в нашу семейку. В полку, как говорится, прибыло.

На такси подъехала сестра Ершовых — Серафима, фельдшер городской поликлиники, с мужем — капитаном парохода, который возит на завод руду через море.

Пришли Платон Тимофеевич, Устиновна и Дмитрий. Дмитрий осмотрел перемены в доме, сказал: «Чисто стало» — и забился в угол. Он не радовался этой чистоте. Это была не его и не для него чистота.

Появилась еще одна сестра, Варя, которая была самой младшей — родилась тремя годами позже Дмитрия. Работала она в театре у Якова Тимофеевича, играла небольшие роли. Муж ее — техник трамвайного парка — славился тенором, которым и распевал неаполитанские песни. Вместе с Варей он когда-то участвовал в городской самодеятельности.

Гости шли да шли. Собралась в мазанке добрая половина тех, чьи портреты размещались на стене над этажеркой в квартире Платона Тимофеевича. Нанесли бутылок и закусок, натащили подарков — ими была завалена вся постель. Входя, все обнимали Капу и Андрея, говорили: «Вот вам на новоселье».

Серафима, Варя, Валентина Ивановна принялись под руководством Устиновны налаживать стол. В сумках и в корзинах, принесенных ими, была даже и посуда.

Капа поняла, что языческий обычай, складывавшийся веками, оказался сильнее ее. Андрей стал нервничать, боялся, что Капа обидится, расстроится. «Что ж, Андрюша, — сказала она ему шепотом, улучив минутку, — будем терпеть. Ты не огорчайся. Постараемся делать вид, что мы всему этому дико рады. Пройдем через все испытания».

Последними явились Горбачев и Анна Николаевна.

— Здравствуй, папочка! — шепнула ему Капа. — Мы тебя с утра ждем. Целый день разгребали с Андреем снег на улице. Устали, ужас!

Горбачев улыбнулся:

— Тебя, коза, не проведешь!

Он стал знакомиться с Ершовыми, обходя всех и здороваясь за руку.

— Вот родственниками стали. Породнились, — сказал он, садясь и доставая портсигар. — Смотри, Анна Николаевна! А мы с тобой горевали, что ни тёть у нас, ни братьев, ни сестер. Какая силища теперь вокруг!

— Не то шутишь, не то сожалеешь, Иван Яковлевич? — Платон Тимофеевич смотрел на него внимательно и настороженно.

— Что ты, Платон Тимофеевич! Радуюсь. Искренне радуюсь.

— То-то! В случае чего знаешь какая тебе подмога будет!

— Да уж не сомневаюсь.

Дмитрия Горбачев спросил о том, как идут дела с десятитонными слитками.

— Идут, — ответил Дмитрий. — Даже простаивать начинаю, мартеновцы не поспевают за блюмингом.

— Вот это здорово, замечательно! А почему не поспевают?

— Так ведь не всю разливку на десятитонных изложницах ведут. Еще за старое держатся, товарищ Горбачев.

— По фамилии, да еще и «товарищ»! — Горбачев даже руками развел. — Эдак, товарищ Ершов, не пойдет. Уж давайте как-нибудь более по-родственному.

— Образуется, — сказал Платон Тимофеевич. — За стол сядем да по чарке примем, оно и пойдет по-родственному.

За столом было тесно, стульев не хватило, хотя уж и к соседям за ними сбегали. Пришлось некоторым сидеть на досках, положенных на табуретки. Но теснота никому не мешала, никто на нее не обращал внимания, не выражал никаких повышенных претензий и никакого неудовольствия. Все хозяйские обязанности приняли на себя сестры — Серафима и Варя. Капа могла не вскакивать со стула и ни за чем не бегать. Она старалась сидеть тихо и быть незаметной, радовалась тому, что никто не рассказывал глупые анекдоты о свадьбах, и очень надеялась на то, что «горько» кричать не будут. Но «горько» все-таки закричали. Начал муж Серафимы — капитан рудовоза. А там и пошло... Оказалось, что это не так уж и страшно — целоваться с Андреем на виду у всех. Немножко, правда, неудобно, что отец видит. Мама-то ничего, но отец, он стеснял.

Заговорили о молодежи: дескать, молодые нынче любят как можно дольше проживать на харчах родителей. А вот Капа иная, молодец, не побоялась самостоятельной жизни. Капитан сказал:

— Что правда, то правда, любят ребятки за отцовскими спинами жить и спин этих, между прочим, не ценят. У нас механик рассказывал случай из школьной жизни. Учитель спрашивает на уроке... животных изучали: «Ну, скажи, хлопче, яка скотина тебе чоботы дает?» — ботинки, значит. А хлопче в ответ: «Батько».

— Среди заводского народа таких нету, — сказал Платон Тимофеевич, — белоручек. Наш народ трудовой. А у трудящегося в голове места для дури не остается. Вот взять нашу семью. Ершей... Ты знаешь, Иван Яковлевич, как нас народ называет? Ерши, говорят.

— Так истинно ерши и есть, — сказала Устиновна, уже выпившая две-три рюмочки. — Чуть что, чуть не поихнему, не по-ершинскому, тут тебе колючки со всех боков и навострят.

— Ладно, ладно, не разводи самокритику, тетка. Так я что говорю, Иван Яковлевич? Я говорю — взять наше семейство... — продолжал Платон Тимофеевич. — В строгости жили, отец — во как! — держал нас. Баловства не было. А вот выросли — какие люди получились. У нас там всяких этаких... — Он осекся на полуслове, стал оглядывать сидевших за столом. Помрачнел. — Ну ладно, в общем, — сказал, насупясь, — давайте выпьем лучше. За этих ребят, которые сами свою жизнь взялись строить.

Потом, когда уже говорились другие тосты, он поманил к себе сестру Серафиму, спросил:

— Степан где? Ты ему сказывала?

— А как же! В общежитие поехала — нету, в гараж отправилась — гляжу, ноги торчат из-под машины. Потянула за одну: он, Степка. В моторе ковырялся. Все ему объяснила, сказал, ладно, мол, сестренка, спасибо за приглашение и за то, что пришла.

— Так где же он?

— А уж не знаю, Платоша. Была бы честь...

Застолье продолжалось почти до утра. Пели, танцевали, куролесили. Серафима с Горбачевым отплясывали русскую.

— Ваня, — сказала Анна Николаевна, когда он, раскрасневшийся, запыхавшийся, сел на место. — Валидола мы с собой не взяли, учти.

В эту ночь даже и Дмитрий захмелел. Среди шума, среди танцев он вдруг вышел из боковушки с гитарой и, глядя поверх людей, заполнявших комнату, запел.

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.

Все приутихли. Смотрели в бледное лицо Дмитрия.

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить — за упокой.

Дмитрий рванул струны:

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...

— Не очень-то радостная песенка, — сказал кто-то, когда он закончил. — Не так чтобы свадебная.

— Да ведь и не у всех свадьба, — ответил Платон Тимофеевич тихо и с укоризной.

Замечание его все родные поняли, потому что все они знали историю Дмитрия, Лели и Степана.

Серафима с Варей, чтобы рассеять нерадостное впечатление от песни Дмитрия, принялись петь частушки. Пели они лихо, со взвизгами, смешно и очень точно пародируя каких-то эстрадных сестер, которые гастролировали в городе минувшим летом.

Под утро решили выйти на улицу, подышать свежим воздухом. На улице было морозно и лунно. Появились первые пешеходы, в окнах зажигали свет.

Шли по дороге, подхватив друг друга под руки, напевали, шутили, смеялись. На перекрестке стали расходиться. Горбачев обнял Капу, обнял Андрея, сказал:

— Не будьте гордецами, не забывайте.

Обнимала и целовала Капу и Анна Николаевна, никак не могла отпустить дочку от себя.

Когда Андрей и Капа вернулись в дом, они увидели: за разоренным столом сидит Дмитрий. Никто и не заметил, что он не вышел со всеми на улицу.

— Ребята, — сказал, он — пустите меня к себе. Вон туда, в боковушку. А то живу как чумно́й, места не нахожу.

— Пожалуйста, Дмитрий Тимофеевич, пожалуйста! — воскликнула Капа. — Мы будем рады. Правда, Андрей? Я вообще удивляюсь, почему вы ушли из дома. Неужели это было так необходимо?

Что мог ответить Дмитрий? Не все же на свете делается по необходимости, от разума. Бывает, и без всякой необходимости, от чувств.

Дмитрию постелили в боковушке, он заперся там, погасил свет. Но не спал — лежал, думал. Думал о многом, слишком о многом, и настолько обо всем одновременно, что ничего не мог обдумать толком. Вчера его вызвал начальник цеха и сказал, что на заводе предполагается провести двухнедельную школу операторов прокатных станов, соберутся люди со всего Союза и что министерство хочет, чтобы руководителем этой школы был он, Дмитрий Ершов. Начал доказывать, что на такое дело не годен, никогда ничем не руководил, не умеет руководить. Начальник сказал: «Стан знаешь, вот это и есть главное. Им речей не надо, им нужен опыт. У тебя опыта достаточно. Иди и подумай, а в понедельник еще поговорим». Что тут думать? Думай не думай, ничего не придумаешь. Вот Лели нету, с ней бы посоветоваться...

Да, нету, нету Лели... Сказала тогда в ночной метели, что больше не придет, что не может она встать между двумя родными братьями...

Удивлялся Дмитрий: что с ним, почему так нужна ему Леля, почему каждый день ощущает ее отсутствие?

Заворочался, закрутился, застонала железная кровать под его сильным телом. Снова зажег свет, спать не мог, походил по боковушке, нашел свои книги, сложенные в углу, под руку попался самоучитель английского языка. Обрадовался, лег, раскрыл книгу на какой пришлось

странице, прочел первую фразу: «Ай гоу ту скул эври монинг», перевел: «Я хожу в школу каждое утро». Вспомнилась школа. Как было хорошо ходить в нее, быть в пионерах!.. Правильно Платон сказал Искре Васильевне — был такой случай в те времена, заявил однажды Дмитрий на пионерском сборе, что непременно должен дожить до полного коммунизма. Что же, от этой мечты он не отказался, нет. Хочется, очень хочется увидеть коммунизм. Есть которые смеются, говорят: ну, это будет вроде райской жизни — все станут чистенькие, аккуратненькие, с крылышками. Скука, мол, зеленая. Лучше, как сейчас жить, когда и выпить есть что и закусить, и в шалман сходить можно. А то, чего доброго, и шалманов не станет, одни лектории. Другие завидуют людям будущего: вот житуха-то привалит счастливчикам! В любой магазин заходи, что хочешь бери и сколько тебе вздумается, и притом полностью бесплатно.

Так ли, не так ли все будет — кто знает. Вернее всего, что не так. Вернее всего, что и тогда будут счастливые и несчастливые, и тогда человек будет жить такой жизнью, в которой всякое произойти может. Но одно ясно: не с таким уже великим трудом хлеб будет доставаться. Послушней станет природа, покладистей. А в общем, трудно представляемое время — коммунизм, трудно рисовать его в голове. Дожить бы, дожить, да и увидеть собственными глазами! Во имя этого многое, очень многое перетерпеть можно. Иному не понять — и по сей день есть такие, которые не могут в голову взять этого — как же, мол, так: человек отказывает себе в чем-то сегодня, терпит лишения, сознательно их терпит, и во имя чего? Во имя завтрашнего дня, во имя дня, до которого сам-то он, может быть, и не доживет. Значит, и не о себе думает, а о тех, которые будут жить после него. Смешно! Куда завлекательней звучит: «После меня хоть потоп». Наплевать, мол, на этих людей будущего, на потомков моих. Сам хочу сегодня, немедленно, воспользоваться всем, чем только возможно, и загулять большим загулом. И оставить головешки одни да навоз после себя.

Это верно, это верно, думал Дмитрий, человеку нужна хорошая жизнь, должен человек жить сытно, культурно, весело. Но другая дорога лежит к этому, не та, при которой «после меня хоть потоп, навоз и головешки». И пусть о них, которые идут по такой дороге, болтают всякое, пусть их называют фанатиками, одержимыми, как хо-

тят, — они все равно будут делать свое дело, будут идти вперед не отступая. Дмитрий был горд оттого, что принадлежит к людям, которые думают так.

Он вспомнил день, когда его принимали в партию. Он не произносил никаких клятв, разговор на партийном собрании шел обычный — о трудовых успехах, о том, знает ли он Устав. Но про себя, мысленно, Дмитрий дал эту клятву. Она даже не выражалась никакими словами, от нее просто холодело восторженно в груди, от нее шагалось легко и сильно, от нее жилось так, что всякие мелкие невзгоды не могли омрачить радость жизни.

25

Степан не попал на свадьбу не потому, что не хотел. В тот день его отправили в подшефный колхоз — отвезти запасные части и материалы для ремонта сельскохозяйственных машин. До колхоза было километров сто двадцать. Пока добрался туда по разъезженной, скользкой дороге, пока сдал привезенный груз, отдохнул да пообедал, время все шло, и обратно ехал уже в сумерках. Где-то на скрещении дорог в свете фар увидел стрелку и на ней надпись: «п. Рыбацкий — 7 км». Смысл этой надписи не сразу дошел до сознания; только проехав километра два или три, спохватился, что миновал дорогу в поселок, где живет Леля.

С новой силой поднялась в душе волна смятения и всех сложных чувств — острых и болезненных, какие день за днем мучают его, не дают ни жить, ни работать. Ходит он после того утра, когда Дмитрий сказал: «Сегодня ночью она сидела между тобой и мной в твоей машине», ходит как не совсем нормальный и места найти не может. Уже был случай — чуть на встречный грузовик не наскочил; светофоры перестал замечать; вот-вот самосвал разобьет и со своей жизнью покончит. Не может разобраться толком, что же делается с ним, чего хочет он и отчего страдает. Оля Величкина!.. Воротясь в родной город, он не стал искать ее. Он знал, что для него она потеряна навеки — даже если и жива, даже если все еще помнит о нем. Не мог, нет, не мог прийти к ней после долгих лет разлуки и принести... Что он мог принести Оле? Службу свою в войсках у предателя Власова и нелегкую жизнь на краю света? После всех-то

мечтаний, после всех гордых слов о грядущих подвигах и геройствах. Он их немало, этих слов, наговорил Оле Величкиной. Все месяцы знакомства с Олей он был для нее не шофером, а моряком. Он и на заводе-то ходил всегда в морских кителях — то в синем, то в белом, а для Оли еще и шикарную морскую фуражку приобрел с белым чехлом. Прощаясь, уходил непременно в сторону порта. Если Оля его провожала, размашисто шагал от ворот к самым кораблям и лишь потом окольными путями пробирался в город, домой. Героического туману напускал, хотел в глазах Олиных быть бесстрашным морским волком. Время было тревожное, предвоенное, в воздухе, как в песнях тогда певали, пахло грозой. Говорил поэтому, что возьмут его служить на флот, на подводную лодку, и в случае чего — будет громить он врага в океанских просторах. Пусть бы сказал тогда кто Степану, что не так пойдет его жизнь, как расписывал он ее Оле, — пусть бы сказали ему это в ту пору... он бы...

Нет, невыстоявший, согнутый, не мог Степан и думать о встрече с Олей Величкиной, возвратясь в родной город. Оля жила для него в далеком прошлом — светлом и безвозвратном, в таком, которое только для воспоминаний, для печали в ночные часы, когда не спится.

И вдруг Оля вновь обрела плоть, и вновь пути их пересеклись, да еще и сплелись с путями родного брата. Немыслимо, невыносимо было думать об этом. И немыслимо, невыносимо было увидеть Олю такой, какой увидел он ее в тот вечер, — совсем не похожую на былую Олю Величкину. Ни одной знакомой черточки в лице — ни малейшей, ни чуточной, — все было чужое и некрасивое, как будто бы на фотокарточке, которую хранил он у себя долгие годы, была снята не эта женщина, а кто-то совсем-совсем другой.

Никого Степан ни в чем не винил, ни на кого зла он не имел. Но работалось ему с того вечера все хуже и жилось трудней.

Надо было что-то делать. Надо было пойти, может быть, к Дмитрию и объясниться. Но лучше всего не к Дмитрию идти — при чем тут Дмитрий? Что он знает? А прямо к Оле, терять уже нечего, все потеряно, ей уже известно, конечно, какой он оказался герой.

Казалось бы, все уже ясно: надо идти к Оле и говорить с нею, а не с посредниками, не с третьими лицами,

которые в таких делах всегда лишние. Но сил и решимости у Степана для этого все не хватало.

Так тянул бы, наверно, еще и еще, если бы не этот столбик с надписью: «п. Рыбацкий — 7 км».

Столбик остался позади уже давно, уже вдали светились огни города, когда Степан затормозил машину и стал разворачиваться на узкой зимней дороге. Обратно к развилке ехал не очень спеша. Обдумывал предстоящую нелегкую встречу. В том, что она непременно будет нелегкой, он не сомневался.

Нашел длинный барак и узкую дверь, в которую — он видел тогда ночью — вошла Оля, или, как ее называли теперь, Леля, отворил дверь, столкнулся в полутемном коридоре с какой-то толстухой, спросил, где квартирует Величкина. Толстуха довела его еще до одной двери, не постучав, распахнула ее, крикнула: «Величкина! К тебе. Кавалер». Степан переступил порог плохо освещенной комнаты и в ней увидел шесть солдатских коек. На всех койках лежали — кто спал, а кто читал, обратив страницы книг к лампочке под потолком. С одной из коек поднялась худая женщина, закутанная в платок, подошла, отшатнулась, но уже не вскрикнула, как в прошлый раз.

— Здравствуйте, — сказал Степан.

— Здравствуйте, — глухим голосом ответила Леля.

— Мне очень надо с вами поговорить.

Леля надела подшитые валенки, старый ватник, от которого пахло рыбой. Вышли на улицу, взобрались в кабину грузовика. Степан сказал:

— Я мотор включу. Пусть работает на малых. А то озябнем.

Мотор заработал, рокота его было почти не слышно, только слегка подрагивала кабина.

После бесконечно долгого молчания Степан заговорил:

— Оля... Что же это такое, Оля?

Он отважился на эти слова лишь потому, что в кабине было темно.

— Что именно? — спросила Леля.

— Да все.

— Степан, — сказала Леля. — Что было, то прошло. Но что было, то было. Когда меня мучили в гестапо, я знаете о чем думала? Я думала, как бы сберечь вашу карточку. Вы ее мне в обмен на мою подарили. Тогда, в последний день. Забыли, что ли?

— Я ничего не забыл, — сказал Степан, зажигая свет в кабине, и полез рукой в карман куртки.

— Не знаю, сохранили вы ее или нет... — продолжала Леля, а он тем временем уже извлек свой потертый бумажник и под ожидающим Лелиным взглядом бережно вынул фотографию в целлофане.

Взглянув на свое изображение, Леля посидела минуту с закрытыми глазами, потом вернула карточку Степану. Степан положил ее на место, отправил бумажник в карман куртки и выключил свет.

— Ну вот, — сказала Леля, когда в кабине снова стало темно, — а я вашу не сохранила. — Голос ее дрожал. — Война отняла у меня все, даже этот квадратик картона. Все! И вы, пожалуйста, не сердитесь...

— А на что же мне сердиться?

— На то, что я вас не дождалась. Но я вам, Степан, такая и не нужна. Я никому такая не нужна. Ваш брат ведь меня не любил, я это знаю. Он просто жалел. От доброго сердца.

— Это неправда!

— Это правда. А вот если вы мне скажете, что у вас еще есть ко мне какие-то чувства, то действительно будет неправда. Карточка ничего не доказывает. На ней не я, а мое прошлое. Вы искали меня из-за прошлого. Верно же? Вот видите, и слов у вас не находится, да их и не надо. Для меня все было сказано без всяких слов в тот вечер. Вы не только меня не узнали, вас мой вид испугал. Не машите рукой. Я отлично научилась угадывать этот испуг у людей. Моего вида почти все пугаются, только одни это умеют скрыть, а другие нет. Вы — нет, не сумели скрыть.

— Оля...

— Да?

— Злая вы.

— Я? Нет, злая не я. Злая жизнь.

— Ну, а что с вами случилось? Почему это все так?

— Почему? Да потому, что меня приняли за подпольщицу. А я не была подпольщицей. Бьют — и требуют: сознавайся. А в чем же я сознаюсь? В гестапо был один бывший наш, советский. Он добивался, чтобы я назвала сообщников, чтобы сообщила, где скрывается Шумилов — секретерь горкома комсомола. А я, верно, видела раз его, Шумилова, случайно. Он через наш сад пробирался в сумерках к себе домой, к матери. Мы ведь

рядом жили. Вы помните? Наш дом почти у самого берега, номер четырнадцать, а за садом — их дом, номер двенадцать. Ну вот, я могла бы сказать о Шумилове — немцы обещали, что, как только я дам какие-нибудь ценные сведения, меня мучить перестанут. Но я не сказала. Тогда через некоторое время они решили по-другому. Они хотели сделать из меня шпионку. Чтобы я перебиралась через линию фронта, ходила будто беженка по нашим войскам и собирала сведения о том, где какая часть стоит, сколько пушек, сколько солдат. Откровенно говоря, жалею, что не согласилась. Надо было согласиться, перейти фронт, прийти к нашим и все сказать. Но мне показалось, что так делать стыдно. Я сказала: «Нет, советские люди Родине не изменяют...»

Если бы Оля могла увидеть в эту минуту лицо Степана... Но она его не видела, она продолжала:

— «Ни отцы наши не изменяли, — говорю им, — ни мы не изменим. И наших детей будем учить этому, верности». — «Ваших детей? — сказали мне со смехом. — У тебя, например, детей не будет...»

Голос Олин оборвался. Она надолго замолчала. Степан не выдержал.

— Ну и что? Что дальше? — спросил он.

— Что? — как бы проснулась Леля. — Вот и нет их у меня. И не будет.

— Почему?

— Так... Там умели калечить людей.

Степан сидел подавленный. Он приехал говорить с Лелей, выяснить что-то очень для него важное, он хотел узнать всю правду. Но кто мог предположить, что эта вся правда окажется такой жестокой? От этой правды было бесконечно стыдно перед Лелей. Леля никогда не хвалилась своим бесстрашием, жаждой подвигов и геройства. Когда он намекал на возможные сражения, на артиллерийские морские бои и торпедные удары, она говорила, что это, наверно, очень страшно, что она бы такого не выдержала, что она трусиха. О подвигах и геройстве твердил он. И что же?

— Почему-то я не умерла, — как бы размышляя вслух, сказала Леля. — Хотя никто меня особенно и не лечил. Встав на ноги, я даже порадовалась, что такая страшная, — в публичный дом, по крайней мере, не отправят. Много думала о вас, Степан, особенно когда наши уже наступали в Германии. Я была рабочей силой на одной

фабричонке, жила за проволокой. Ждала — вот появитесь, порвете проволоку... А вы...

Степан, подавленный, молчал.

— Но я вас не виню, — сказала Леля. — Там трудно было выдержать. Понимаю.

Никаких слов не мог найти Степан.

— А как же теперь с Дмитрием-то? — только и смог он сказать в конце концов.

— О чем вы?

— Может, я помешал вам, в жизнь встрял, непрошеный?

— Не знаю, — ответила Леля. — Откуда я знаю? Я же сказала, что он от доброго сердца меня пригрел. Может, в сердце уже ничего и не осталось. Жалость — не любовь. Она быстрее проходит. До свиданья, — неожиданно закончила она, нажимая на дверцу кабины. — Я пойду.

— До свиданья, — сказал Степан, следя за тем, как медленно идет она по снегу к двери барака.

Когда скрылась за дверью, включил скорость, резко нажал на газ, машина пошла.

Мчался по дороге. Дорога лентой текла под колеса машины. Следил глазами за этим стремительным однообразным течением — и видел перед собой Лелину жизнь. Была эта Лелина жизнь жестоким укором Степану. Мог бы и он выдержать и не сдаться, как выдержала и не сдалась Леля. Может быть, цена велика, какой заплачено за эту ее твердость? Нет, чего там о цене! Теперь он ученый, он знает: любая цена не будет сверхмерной, если ею сохранены достоинство, верность и честь человека.

Луна ярко освещала зимнюю дорогу, дорога казалась светлой рекой, бегущей среди белых равнин. На одном из поворотов ее стояла женщина и, подняв руку, просила подвезти. Степан остановился, пустил женщину в кабину.

— Вот спасибо, милый, вот спасибо! А то уж двое проскочили, даже и глазом не повели.

— Откуда и куда так поздно? — поинтересовался Степан.

— В город иду, думала, попутная машина будет, а вот эти два ирода не взяли, а других все нету. Мне на станцию, на поезд надо. В Кутки съездить, мужика проведать. Он на ремонтном работает. С мереесовскими тральщиками там. Второй месяц дома не был.

— А сами в Рыбацком, значит, квартируете? Местные?

— Местные. И родители там жили, и ихние родители...

— Величкину знаете?

— Лельку-то? А кто ее у нас не знает! Все знают. Знакомая, что ли?

— Да, говорили, больно жизнь у нее трудная. Шофера говорили, которые за рыбой к вам ездят.

— Что верно, то верно, гражданин. Трудная жизнь у бабы. Разное говорят. Говорят, будто бы, как вернулась она после войны... У ней перед войной-то жених был, парень такой видный, антилегентный... Вернулась, значит, через четыре года и к нему: «Здравствуй, голубь мой сизокрылый». А голубь как увидел ейну личность: «Будьте, говорит, здоровы, претензиев никаких к вам у меня не имеется». А крыши у нее родной нету — дом сожженный, и родителев, отца-матери, нету — убитые. Кругом сирота. Пришла она к нам в поселок, живет в общежитии. Который год проживает так. Другие бабы-девки там меняются, приезжие, сезонщицы, на рыбозаводе работают. А она без смены, все живет и живет бобылкой. Ни пожитков никаких, ничего. Что есть на ней, то и все хозяйство. Вот какая она, Лелька. Не хочет в городе жить. Стесняется. А и то сказать, какой бабе охота в таком виде нá люди показываться. Баба, милый, какая она ни есть, а все норовит перед мужиками выставляться. Другая — такой мордодер, а кудерьки накрутит, губы намажет, сумочку в руки и давай стрелять глазами туды и сюды. А эта, Величкина-то... кудерьки да помада ей не помогут.

Женщина помолчала, добавила:

— Женишка ейного винить не будешь, нельзя его винить.

— А почему?

— Ну как, милый, почему? По очень простому. Женятся-то для чего? Для радостной жизни. А тут каторга будет, взглянуть не на что. Нет уж, раз получилась ты баба такая страшенная, терпи, никто тебе не виноватый. Вот если б не жених, а муж, к примеру, был, да вернулась бы она к мужу такая, а он бы хвостом крутнул и сбежал от нее, мужу в таком разе амнистиев нету. Это что же, такая ты подпора в жизни оказался, да? А главное — что? Главное, что гитлеровцы бездетной ее сделали, все нутро раздавили и грудь порезали: не кормить, мол, никогда тебе твоих русских щенков.

Женщина долго еще говорила о Леле и вообще о жизни — ее трудностях, странностях и непонятностях. Но

Степан уже не слушал. На душе было горько, очень горько — хуже степной травы-полыни.

Высадил Степан словоохотливую спутницу у вокзала, десятку ему протянула. «Ты что, — сказал удивленно, — я тебе официант, что ли, на чай-то суешь?» — «А все шофера берут, и не то что десятку — по ночному времени четвертную бы сцапали нормальные-то люди». — «Ну, пойди отыщи такого нормального и отдай ему свои финансы, если они у тебя из кармана на волю просятся».

Поставил машину в гараж. Было часов пять утра. Где уж тут идти на свадьбу? И до свадьбы ли, когда на душе такое? Все время Леля перед ним стояла, раны видел ее страшные, о которых дорожная спутница рассказывала. Не в силах был понять, как могла она, черноглазая, нежная, с такими щечками бархатными, выдержать гестаповскую муку.

26

Теперь получалось. Совершенно очевидно, что получалось. Шрам на полотне не выпирал, не лез в глаза, он был штрихом к биографии, он говорил о том, что солдат воевал, солдат прошел сквозь огонь войны.

Виталий тщательно выписал руки рабочего. Это были руки творца, руки, которые все могут, руки, перед которыми отступает природа, — сильные и красивые своей силой. Поубирал, где только можно было, излишек искр и машинных деталей, притушил краски второго плана, краски фона, отказался от всего, что могло бы заслонить человека. Человек стал крупнее, объемней, он жил на холсте, исполненный воли, порыва, внутреннего яркого горения. Вспомнились слова гениального скульптора, который, когда его спросили, как он добивается такого совершенства в своих творениях, ответил: «Беру кусок мрамора и удаляю лишнее». Как важно в искусстве, в истинном высоком искусстве, обладать этим чувством — чувством необходимого, чтобы уметь удалять лишнее! Что же такое — это необходимое в искусстве? Почему так трудно отбирать его из миллионов явлений и подробностей жизни?

Искра еще никогда не видела Виталия таким одухотворенным и взволнованным. Она радовалась за него.

— Как ты думаешь, Искруха, — спросил он однажды, — стоит его, — Виталий кивнул на портрет, — выставить к съезду?

— Я думаю, да, — ответила Искра, зная, что он имеет в виду областную художественную выставку, которую решили открыть в канун съезда партии. — Непременно даже. Это лучшая твоя работа, Виталий. Может быть, ты не так считаешь?

— Нет, и я так считаю. Но я боюсь знаешь чего? Вдруг этот Ершов придет, узнает себя, да и скандал учинит? Он человек сложный. Это ленивым, не желающим видеть действительность товарищам он может показаться если и не совсем обыкновенным, то, во всяком случае, одноплановым.

— Ты прав, он не простой, — согласилась Искра, вглядываясь в портрет. — Но скандала не будет, не бойся. Скандалы устраивают вздорные люди, а Дмитрий Ершов не такой, он совсем не вздорный.

Искра не отдавала себе отчета, почему получается так, но она радовалась присутствию портрета Дмитрия в их доме. Виталий должен, должен отдать его на выставку, это в самом деле лучшая работа Виталия. По мере того как подвигалась вперед работа, вместе с нею мужал и Виталий, становился крепче, увереннеі в самом себе. Если портрет будет иметь успех, это может оказаться поворотным пунктом в творческой биографии Виталия. Искра ясно представляла себе, как столпятся люди перед полотном, в каких словах начнут выражать свои чувства. Об этом думалось радостно, с волнением. Но вместе с тем было и немножко грустно оттого, что придет такой день, когда «Дмитрия» в доме уже не станет. Просыпаясь, не будешь видеть ни этих глаз, ни этих рук... И, может быть, никогда больше их не увидишь: не исключено, что портрет у Виталия купят, непременно даже купят, и уйдет он неизвестно куда. Взамен останутся только деньги; может быть, даже много денег.

Все это радовало и огорчало. Но больше в жизни Искры было все-таки радостей. Скоро можно будет привезти Люську из Москвы, потому что скоро им дадут новую квартиру. Буквально на днях дадут. Две комнаты, это, конечно, не три, как было в Москве. Но все равно хорошо. Искра придумывала, как обставит она эти две комнаты. У них с Виталием будет очень уютно. К ним с удовольствием будут ходить в гости — в Москве ходили целыми

компаниями. Можно будет перевезти из Москвы и еще кое-что из вещей. Только ни за что не привезет она и Виталию не позволит везти эту голую женщину, которая красуется у него в московской мастерской. Просто немыслимо себе представить, как это он мог?.. Привел совершенно незнакомую женщину, заставил ее раздеться — совсем раздеться! — уложил на звериную шкуру... Наверно, еще требовал, чтобы она принимала какие-нибудь позы, подходил, трогал, поправлял. И так ежедневно две недели подряд по два часа в день. Один на один с ней. Ужас какой-то! Нет, эта голая гадость останется там, в Москве. Пусть он ее кому-нибудь подарит.

Искра чертила на бумаге, как будет расставлена мебель в новой квартире, требовала, чтобы в составлении этих планов участвовал и Виталий. Но с Виталием советоваться было невозможно, он пассивно соглашался со всеми ее предложениями, он занят был только портретом, и больше ничто в голову ему не шло. Вина он не брал в рот ни капли. Удивительно, что и Гуляев, который заходил к ним довольно часто, тоже почти не пьет, он весь в ожидании пьесы, которую для него заканчивает молодой драматург Алексахин. У Виталия с Гуляевым только и разговоров стало что о портрете Дмитрия Ершова да о пьесе Алексахина.

Гуляев даже приводил с собой этого Алексахина. Довольно симпатичный молодой человек. Но какой-то уж слишком стесняющийся. Искра сказала об этом Гуляеву. Тот ответил, что когда стесняются — это лучше, чем когда в избытке нахальство и развязность. Из нахала уже ничего иного не получится, так и будет нахал, а из стеснительного может замечательный человек вырасти. Пусть только свою силу почувствует. Этот Алексахин своей силы еще не знает, сегодня для него вéрхом творческих успехов кажется то, что Томашук ставит его паршивенькую пьеску. После того как будет закончена новая пьеса и когда по ней будет поставлен спектакль, Алексахин еще пожалеет, очень пожалеет о том, что слушался этого Томашука. Со стыда сгорит.

Пьесу Алексахин должен был закончить к открытию Двадцатого съезда партии. Этот день был уже недалек. Всюду подводили итоги всенародному соревнованию, которое было начато много месяцев назад в честь съезда. Каждая область, каждый город, каждое предприятие и каждый человек готовили какие-нибудь трудовые подарки.

Гуляев вот торопил Алексахина с пьесой. Томашук и коллектив театра торопились выпустить к этому времени спектакль по предыдущей пьесе Алексахина. Дмитрий Ершов полностью освоил прокатку десятитонных слитков. Чибисов готовил подарок коллективу завода — вступил в строй новый большой дом. Директор на днях осмотрел его, обошел чуть ли не все квартиры, пробовал, как идет вода, хорошо ли работают выключатели, не слишком ли звукопроницаемы стены.

Окончательный список тех, кто должен был получить ордера на вселение, он только что подписал. Зоя Петровна унесла бумаги, директор открыл бутылку нарзана, пил колючую, стреляющую воду.

— Возьмите трубочку, Антон Егорович, — сказала Зоя Петровна, вновь приоткрыв дверь. — Из обкома.

Заведующий промышленным отделом спрашивал, получил Чибисов или еще не получил журнал... Он сказал название.

— Нет, не получил. Мы его, кажется, и не выписываем.

— Найди. Критикуют тебя там. Крепко критикуют.

Только положил трубку, снова звонок. Горбачев из горкома.

— Предупреждал я тебя, Антон Егорович, предупреждал! — сказал Горбачев довольно зло. — И напрасно я полиберальничал, на бюро тебя не вызвал. Выговор был бы тебе хорошим освежающим душем. Читай теперь и радуйся.

Попросил Зою Петровну отыскать журнал. Оказалось, что на заводе его еще не было. Позвонил Бусырину. У Бусырина в редакции журнал был, но Бусырин статью не читал, собирается прочесть вечером.

— А чья статья? — спросил Чибисов.

— Помнишь, литератор приезжал, автор книги «Нужные мысли»? Его. Большое сочинение, вот листаю — страниц тридцать журнальных. А называется «Сталь и стиль».

Послали курьера в редакцию, привезли журнал. Чибисов раскрыл на той странице, где действительно так и было написано: «Сталь и стиль». Он читал, и сердце у него сжималось. Вся статья была посвящена ему. Автор «Нужных мыслей» умел писать зло. Чибисов представал на страницах статьи душителем нового, изображался самодуром: чего моя левая нога хочет; его называли перерожденцем, для которого не существует ни партийной,

ни государственной дисциплины. Автор поддерживал корреспондента, который о мытарствах Крутилича писал в областной газете, утверждал, что на заводе и в городе смазали все вопросы, подымавшиеся в той статье, что горком не принял никаких мер по отношению к Чибисову, что Крутилич по сей день терпит лишения, хотя директор завода и заверил, что изобретателю предоставят все условия для плодотворного труда.

«У нас в литературе, — читал Чибисов, — создали тип современного бюрократа — малоодаренного, оторвавшегося от народа, страдающего массобоязнью. Он отсиживается в своем кабинете, со ступенек учрежденческого крыльца ступает на ковры своей персональной машины и выходит из нее на ступеньки дома, в котором квартирует. Он давно не ощущал реальной земли под своими подошвами».

«Есть такой тип бюрократа, есть. Но таков ли Чибисов? — спрашивал автор статьи. — Нет, он не таков. Доверчивые могут обмануться. Чибисов иной. Он любит хаживать по цехам. Каждого заезжего он готов угостить подобной экскурсией и угощает безмерно, как Демьяновой ухой. Он хаживает и по квартирам рабочих, так сказать, «в народ». Он может ночью прийти в мартеновский или в доменный цех, попить чайку с мастерами и рабочими, угоститься их домашними припасами. Он хитер, он обладает искусством камуфляжа. Он не станет опровергать критику, он не пойдет срывать стенгазету, он не пошлет опровержение на статью. Он добродушно улыбнется, скажет: «Так нас, так, бюрократов!» Он даже примет меры по сигналам печати: кого-то распушит, кого-то разнесет, о том, о другом распорядится. Он знает — он обрел такой опыт, — что с критикой надо бороться, признавая и приветствуя ее на словах, а на деле тихо опуская в песок».

В статье много говорилось о Крутиличе, об Орлеанцеве, об их талантах, умении работать, поднимались вопросы изобретательства. Заканчивалась статья так:

«Надо думать, что съезд партии покончит с такими руководителями и не только выкорчует чибисовых, но уничтожит и ту почву, на которой до сих пор произрастала чибисовщина — позорнейшее явление нашей действительности».

В жизни Чибисова критиковали не раз. И в печати, и на собраниях, где угодно. Много пришлось ему выслушать горьких слов. Нелегко переживал он недавнюю статью в областной газете, обидную статью. Но такого, что он про-

чел в статье «Сталь и стиль», слыхивать ему еще не приходилось. Невозможно было представить, что это написано о нем; не мог он признать себя в кретине, которому посвящена статья. Нет, это не он, не он. А факты, факты?.. Снова, как в той статье, факты почти все такие, которые — да, имели место. Совершенно верно. Крутиличу жилья не дали, предполагали дать в новом доме, но почему-то — неизвестно даже почему — в списках его фамилии нет. Сам Чибисов не проследил, а там, видимо, каждый из участвовавших в составлении списков стремился просунуть своих наиболее ценных работников. Неизвестно еще, восстановили или нет этого изобретателя в техникуме. Может быть, тоже нет. Черт бы его побрал, сколько неприятностей от него, а что изобрел этот человек? Ничего ведь, по сути дела. Вызывал же его Чибисов, просил подумать, если уж он такой разносторонний мыслитель, над тем, чтобы как-то ликвидировать жару в кабине вагонавесов. Ничего мыслитель не предложил.

Пожалуй, впервые в жизни Чибисов не знал, как ему быть, что делать, за что браться. Он не растерялся, нет. В начале войны, когда Чибисов был комиссаром танковой бригады, случилось однажды так, как было и у Чапаева, — штаб оторвался от подразделений, стоял в землянках, в лесу, и для своей охраны располагал только взводом автоматчиков. Немцы нащупали штаб и решили его захватить. Они окружили лес и, обстреливая штабные землянки из минометов, стали стягивать кольцо. Казалось, конец. Даже некоторые офицеры растерялись. Но комиссар бригады организовал решительный отпор врагу. Все — и солдаты и офицеры — заняли круговую оборону в заранее подготовленных окопчиках. Стреляло все оружие, какое только нашлось в штабе. А тем временем по радио были вызваны танки. «Главное — спокойствие и организованность, — говорил тогда Чибисов. — Остальное приложится». Вот и здесь его окружали, обкладывали со всех сторон. Это не так страшно, говорил он сам себе, но это очень обидно. Когда журнал придет к подписчикам, а это будет через несколько дней, на заводе все узнают, какой негодяй их директор. Одни, которые знакомы с ним больше, не поверят, но ведь найдутся и такие, для которых статья в журнале — непреложное свидетельство. Образ держиморды выписан здорово, впечатляет. Почитаешь, почитаешь, да и задумаешься: а почему государство держит таких на руководящих постах?

Многое надо было обдумать Чибисову. Надо было прежде всего как-то отделить в этой статье правду от неправды и тогда уже приступать к действиям. На этот раз надо было, конечно, протестовать, и протестовать самым энергичнейшим образом. Молчать было нельзя. Тебя поливают помоями, а ты сиди и утирайся? Нет, это не годилось.

Пригласил вечером Бусырина, тот статью уже прочел. Сидели дома за чаем, раздумывали.

— Есть одно обстоятельство, которое сильно все осложняет, — сказал Бусырин. — На днях открывается съезд, будет он идти не меньше недели. После съезда, как всегда, люди будут заняты большими патриотическими делами. А ты, Антон Егорович, примешься с протестами и опровержениями ходить. Подумай, как это будет выглядеть?

— Значит, тебе наплюют в глаза, а ты говори, что божья роса?

— Не так ты меня понял. Я просто констатирую, что очень трудно будет в этой обстановке отбиваться. Время неподходящее, понимаешь?

— Эх, Антон, Антон, — сказала жена Чибисова, — сколько было говорено тебе в свое время: не соглашайся, не иди в директора, останься инженером! Поверите, — обратилась она к Бусырину, — был инженером, всегда его только и хвалили, только и хвалили. В газетах, в журналах о нем писали. По-другому, конечно, не так, как тут.

— Бессовестная ты, — сказал Чибисов. — И так мне тошно, а ты еще... Ведь сама знаешь, как пошел я в директора. Знаешь ведь. Ну что молчишь, скажи Федору Федоровичу. Скажи, как вызвали меня после войны и куда вызвали! Ну скажи! В ЦК вызвали... «Вот вам, говорят, поручение, товарищ Чибисов».

— А ты бы там — нет и нет. А то...

— Ну тогда мне и в партию не надо было вступать! — обозлился Чибисов.

— Есть немало партийных, которые лишку-то вперед не лезут, — не сдавалась жена Чибисова. — А живут люди, и неплохо живут. А ты смолоду задира был. Всегда его леший нес...

— И правильно леший делал. — Чибисов засмеялся. — Это не для меня — вперед не лезть. Я и в атаку первым ходил. Ничего, живой вернулся.

— Дохлая эта философия, — сказал и Бусырин. — В сторонке держаться, вперед батьки в пекло не лезть,

тише ехать — дальше быть, моя хата с краю, своя рубашка ближе к телу, выше головы не прыгнешь. И так далее. Меня тоже леший больше полувека по стране носит. Ни избы не нажил, ни коровы, ни козы. А приди такая возможность — начать жизнь сызнова, опять бы так ее прожил, второй раз без избы и без коровы.

— Вас слушать — вы чудные, — сказала жена Чибисова. — Ничего-то вам не надо, ни есть, ни пить, ни тело чем прикрыть, и пусть над головой не крыша, а небо чистое. Так, что ли? А зачем революция была? Зачем пятилетки строили? Зачем долгие годы во многом себе отказывали? Не для того разве, чтобы дожить до обеспеченной, до хорошей, спокойной жизни?

— Ну верно, верно, верно! И что из этого? — сказал Чибисов.

— А то, что, когда человек хочет обеспеченной, хорошей жизни и стремится к ней, нельзя его осуждать за это.

— А кто же его, человека, осуждает за это, милейшая моя супружница? Я тоже не скажу, чтоб мне нравилось сидеть голодному или ходить без штанов. Этого, как ты знаешь, за мной не водится. Но вот спокойной жизни, о чем ты тут сказала, этого, извиняюсь... В партию я шел не за спокойствием. Я не осуждаю тех, кто спокойной жизни хочет. Хочет — и, пожалуйста, хоти, живи спокойно, если можешь. Но в партию, сделай милость, не вступай, не мешай другим беспокоиться, иди в пчеловодную артель, к примеру.

— Ну, если любишь беспокойство, то и беспокойся, получай его! — Жена указала на журнал, раскрытый на столе. — И не жалуйся.

Чибисов тяжело вздохнул, допил остывший чай, поразглаживал ладонями лысую голову.

— Ершусь, ершусь, Федор Федорович, — сказал нерадостно, — а на сердце черные коты.

Едва ушел Бусырин, он сразу же лег в постель, думал уснуть поскорее. Но уснуть не мог. Вспоминал все, что сделал на заводе, придирался к каждому своему действию, оценивал его, рассуждал — как бюрократ или не как бюрократ поступил он в том или ином случае. Было немало и бюрократизма. И от посетителей от некоторых старался отделаться иной раз, и обещания кое-какие не выполнял, и в квартирах многим отказывал, может быть, зря; может быть, этих-то, которым отказывал, надо было вселить, а отказать другим. Не до всего доходил, не всегда получался

из него человек-оркестр. Главным, о чем всегда думал и о чем никогда не забывал, было для него производство, план, чтобы больше, больше, больше было чугуна и стали, от этого многое зависело, очень многое — не только будущее страны, но и вообще все дело строительства коммунизма на земном шаре. Читал года два назад книжку, писатель разносил директора завода за то, что, дескать, сталелитейные цехи строил, а о квартирах для рабочих не заботился, в бараках жили, вот бог этого директора и наказал — буря налетела, бараки все завалились, директора к чертям сняли, а в довершение и жена от него ушла — такой, мол, перетакой.

А он, Чибисов, директора этого полностью понимает. Что же, было время, надо было изо всех сил жать, именно сталелитейные цехи строить, сталь давать стране, и рабочие это понимали, на все шли, чтобы сталь была. И не ошиблись в правильности выбранного партией пути. Война показала это. Теперь можно и на жилища приналечь. Вот и у завода дом какой замечательный вступает в строй. А между прочим, тому писателю перед тем директором, которого он осменвал, шапочку бы скинуть следовало: не нажимай он, директор на сталелитейные цехи с таким упорством, кто знает, где бы теперь этот писатель оказался, не лежал ли бы он во рву каком-нибудь и не кормил ли бы собою червей?

27

На открытие областной художественной выставки приехал Горбачев. Приехал бы, конечно, и секретарь обкома, но он уже вылетел в Москву, на съезд партии.

Особенно долго Горбачев простоял перед портретом Дмитрия Ершова, сказал:

— Знакомый товарищ.—Улыбнулся, добавил: — Родня.

Когда обход был закончен, вновь вернулся к портрету и снова стоял перед ним.

— Вот человек, строящий коммунизм! — сказал он. — Простота и вместе с тем необыкновенность. Необыкновенность в том смысле, что такой человек возможен только при новом, социалистическом строе. Автора этой работы здесь нет случайно? — спросил он.

Ему представили Виталия Козакова.

— Мы уже встречались где-то с вами? — спросил, припоминая, Горбачев.

— В театре. Помните, за кулисами, у артиста Гуляева?

— Рад познакомиться с вами основательней, товарищ Козаков. Глубоко человечную и глубоко идейную вещь вы создали. Это именно то, чего у нас не так уж много в последнее время. Или создавали помпезные картинищи, или ударились в картиночки, в этакие сюжетики для рождественских открыточек. А настоящие, большие идеи сошли с многих ваших полотен, товарищи художники.

Вокруг них стала постепенно накапливаться толпа — сходились художники, собравшиеся на открытие выставки, критики, журналисты. Всем было интересно послушать секретаря горкома партии. Кому из каких побуждений. Были такие, которые думали: «Вот примется сейчас давать директивы. А что сам-то в живописи понимает? Тоже ценитель! Занимался бы промфинпланом».

— А здесь, по-вашему, есть идея, в этом портрете? — спросил один из молодых художников.

— Как же! — ответил Горбачев живо. — Я об этой идее уже сказал. Идея здесь в том, что это наш рабочий — рабочий социалистической страны. Такого нет у капиталиста. Его породил наш строй. Революция его породила. Это основа нашего общества, творец наших успехов и вместе с тем и защитник завоеванного Октябрем.

— Что же выходит, — продолжал задавать вопросы молодой художник, — выходит, что в каждом мазке кисти непременно должна быть идея? Без этого, по-вашему, нет художественного произведения?

— А вы иначе думаете? — поинтересовался Горбачев.

— Я? Я думаю иначе. Искусство должно быть и для души, для отдыха. А не только все время на что-то подкручивать и подвинчивать.

Горбачев задумался.

— Слушайте, — сказал он. — Вы отдыхаете, скажем, читая похождения бравого солдата Швейка?

— Конечно.

— А есть в этом произведении идея или нет?

— Идея? Может быть, и есть, понятно... Идея против войны, против порядков в Австро-Венгерской империи, идея народной мудрости, национального освобождения. Но она не прет из книги.

— Ага! — сказал Горбачев. — Вот, значит, в чем дело — идея есть, но не прет. Идея есть, но тем не менее,

читая книгу, получаешь и для души, для отдыха. Значит, не идея мешает получить что-то для души, а неумение писать так, чтобы идея не представала перед тобой в виде голого, устрашающего скелета. Верно?

— Верно, — сказало несколько голосов.

— Вы помните, конечно, пейзажи многих художников старой России, — продолжал Горбачев. — Есть в них идея или нет в них идеи?

— Идея в них есть! — сказали голоса.

— И по-моему, она есть, — подтвердил Горбачев. — Показывая спокойную красоту, скажем, подмосковного пейзажа, воспевая русскую природу, художник пробуждает в нас чувства патриотизма, любви к родине, к великой, могучей, чудесной родине. Можно было бы крикнуть: «Любите родину!» А можно показать эту родину так, что и без выкриков будешь ее любить. Разве это не идея, и не высокая идея? Вот тут, смотрите, — Горбачев указал на одно из больших полотен, — изображено строительство семиэтажного дома. Краны, кирпичи, леса, девушки в комбинезонах и в платочках. Ощущение высоты. Ветер. Все как полагается. Солнечно. Ярко. Идейная это, по-вашему, картина? Не слышу голосов. А по-моему, — простите меня, может быть, тут автор присутствует, — это безыдейная картина. В том смысле безыдейная, что идеи в ней никакой в общем-то и нет. Есть добрые намерения, а кроме них — что? Раскрашенная фотография, и больше ничего. А когда я смотрю на портрет этого прокатчика, я горд тем, что партия, к которой я принадлежу, вырастила подобных людей, я горд и счастлив, что живу среди них, я уверен, что такие люди построят коммунизм. Жить хочется, таким же быть хочется. Это что — не идея?

Художественная выставка была устроена, как всегда, в спортивном зале Дома культуры металлургического завода — почти в самом центре города, но и в день открытия, и в несколько последующих дней народу в зале было немного, хотя расклеенные на улицах афиши горячо приглашали горожан посещать выставку ежедневно с четырех часов дня до десяти вечера.

Гуляев сказал Виталию:

— Удивительного ничего нет. Надоели народу ваши безыдейные картинки, правильно это Горбачев заметил. Ведь вы что думаете? Вы думаете — раз все плюются от помпезных икон, то, значит, надо прямо противоположное — от икон повести зрителя в спальню, в бытовизм,

в картинки. То есть вы приняли равнение на обывателя, на прожирателя, а не на созидателя, не на строителя. Так же, как у нас в театре, милый. Начинаем ошибаться в масштабах. Начинаем меньшинство принимать за большинство. И потрафлять меньшинству. Начинаем забывать о тех, кто строит каскады гидростанций на Волге и в Сибири, кто осваивает целину, кто добывает уголь, кто металл выплавляет, кто на северных зимовках сидит, кто самолеты и автомобили строит, кто землю пашет и для нас с тобой огурчики выращивает. Им-то надобно такое, чтобы сил прибавлялось, чтобы подымало, вело, чтобы помогало в больших, красивых делах. Вот и не идут, Витенька, на вашу выставку. А жаль...

Горевали они недолго. С каждым днем народу на выставке все прибывало. Шли с заводов — с металлургического, с кораблестроительного, судоремонтного, из порта. Все шире распространялся слух, что на выставке много хорошего, интересного. Привлекали полотна на современные темы. Заговорили и о портрете старшего оператора блюминга Дмитрия Ершова. Особенно после того, как о нем одобрительно написали в городской газете. Портрет нравился или не нравился — средних мнений не было. Он затрагивал каждого. Одни ругали художника, другие говорили, что художник замечательный. Перед портретом спорили, высказывались вслух. Одни из тех, кто знал Дмитрия, говорили, что очень похож; другие, что не очень; третьи, что и вовсе это не он, а просто какая-то выдуманная личность, к тому же и блюминг-то не понять — блюминг это или еще что. Блюминг, в общем, тоже не похож.

Дошел этот шум и до Дмитрия. Явился на выставку днем, до открытия, не хотел, чтобы люди его видели, упросил дирекцию — пустили в безлюдный зал. Походил меж фанерных щитов, обтянутых суровыми холстами, отыскал портрет, замер перед ним. Неужели он такой, неужели люди видят его таким? Заметил уборщицу, наблюдавшую за ним, отошел от портрета, еще походил среди щитов, снова вернулся, снова стоял и раздумывал.

— Ну точь-в-точь ты, сынок! — Он вздрогнул, до того неожиданно сказала эти слова подошедшая уборщица. — Вот как есть ты. Зашел сюда, сразу я тебя по портрету и узнала. А я ведь тоже нарисованная. Иди за мной. — Она повела Дмитрия в другой конец зала. Там он увидел небольшой живописный портрет этой старой женщины. —

Это наш, свой, который при Доме культуры, художник рисовал. «Давай, говорит, Егоровна, посиди чуток». А вышло — семь дней меня мурыжил. Чуток! Тебя, поди, и того дольше?

Нет, Дмитрия художник Козаков совсем не мурыжил, а получилось так, что портрет волнует даже самого Дмитрия. Будто не себя он видит, а кого-то другого, который лучше его, чище, цельней. До чего же хотелось быть именно таким! А старушка?.. Ну что ж, похоже: все как есть — кофта в горошек, и платочек двумя хвостиками под подбородком, и морщины все на месте, одна к одной...

Вечером уборщица сказала Виталию:

— Ваш-то, который на портрете... Приходил. Рассматривал.

— А что сказал?

— Да ничего не сказал. И чего говорить? Насмотрелся, поди, еще когда рисовали вы с него.

Так Виталий и не узнал, какое впечатление портрет произвел на Дмитрия. Уж и то хорошо, что не потребовал снять и убрать. Он сказал об этом Искре.

— Я его найду на заводе и спрошу. Хорошо? — сказала Искра.

— Конечно. Непременно найди.

Искра пришла на блюминг. Дмитрий, увидев ее, передал управление станом другому оператору. Вышли из кабины на тесную железную площадку. Сюда долетали брызги огненной окалины и падали на железо возле ног.

— Вы были на выставке? — спросила Искра. — Видели свой портрет? Вам понравилось? Вы не сердитесь?

— Разве это я? — на все ее вопросы только и сказал Дмитрий. — Разве я такой?

— Такой, — ответила Искра. — Такой. Мне портрет очень нравится, очень!

Чего бы только не отдал Дмитрий в эту минуту, всю жизнь бы отдал за то, чтобы хоть на час с его лица сошел проклятый рубец, чтобы увидела его Искра Васильевна таким, какой он был до того удара штыком... С тех пор как из-за Степана разрушились отношения с Лелей, Дмитрия еще больше повлекло к этой маленькой женщине, к Искре Васильевне. Схватил бы на руки и нес, никогда бы на землю не опускал. Иной раз возникало чувство вины перед Лелей: подло, дескать, оставлять ее одну, трудно ей без его дружеского слова. Тогда говорил себе,

что вот-вот соберется, съездит в Рыбацкий. Но почему-то не мог собраться, так все и не ехал.

— Искра Васильевна!.. — Он снова, как было на берегу моря, взял ее руки в свои ладони.

— Я пойду, — сказала она, осторожно, но настойчиво высвобождая руки из этих тисков. — Я ведь только на минутку. Бросила печь, мне попадет. — Она стала спускаться по лесенке вниз. — До свиданья.

Встречаться с Дмитрием стало для нее делом очень и очень не простым. Если говорить откровенно, то есть одной себе, чтобы не только никто не слышал, но даже чтобы и глаз ее не видели при этом, то хотелось с ним быть, хотелось разговаривать, даже вот погулять где-нибудь, как тогда у моря. Но Искра понимала, что идет игра с огнем, который, если обращаться с ним неаккуратно, может вдруг вспыхнуть во всю силу, и тогда беда, все сгорит в нем — и ее жизнь с Виталием, и Дмитрий, и она сама. С таким огнем нельзя было играть. И все-таки тянуло хоть одним пальчиком да прикоснуться к огню. «Как приятна в жаркий день для трудов и вдохновенья даже маленькая тень». Разве это влекло ее? Нет и нет. То была просто стихотворная чепуха для альбомов. Не «тень», и не «маленькая», а огонь, и яркий — вот что, пожар, какого у нее с Виталием никогда не было. Разве это не понятное чувство? Разве с древних, с каменных, с пещерных времен человек не тянулся к огню, не замирал перед ним в священном трепете?

В эти трудные дни Искре было очень обидно, что Виталий так мало уделяет ей внимания. Он должен быть возле нее, он должен не давать ей оставаться одной, он должен водить ее в театр, в гости, сам приглашать гостей. Ну подал бы знак, что он помнит о своей жене, любит ее. Пусть бы цветочек какой-нибудь купил... Что же ты такой, Виталий? Ах, скорее бы давали эту новую квартиру, которую они уже осмотрели с Виталием, устроили бы новоселье, повеселились!

А для Виталия все на свете, даже, пожалуй, и она, Искра, было в эти дни заслонено успехом его работы, успехом, какой имел на выставке портрет Дмитрия Ершова. О портрете написали уже не только в городской, но и в одной из центральных газет. В статье, посвященной открывшемуся съезду партии, известный писатель поминал Козакова в числе художников, успешно работающих над магистральными темами советского искусства.

Искра говорила себе, что обижаться на Виталия нельзя: все-таки, как ни рассуждай, считай ли это справедливым или несправедливым, а самое важное в жизни Виталия — его живопись, его труд, его искусство. Не будет Люськи, которую он очень любит, не будет ее, Искры, которую он говорит, что тоже любит, разве он прекратит работу? Нет же, нет. Он все равно будет писать, всегда, при всех условиях, писать, пока жив, пока его рука держит кисть. Нет обижаться нельзя. И в то же время очень все это обидно.

В довершение ко всему жизнь преподнесла Искре такую неприятность, какой она уж никак не ожидала. Квартиру в новом доме ей не дали. Все уже было решено, уже выписали ордер — только въезжать, и вот, перерешили.

Сообщили Искре об этом во время смены. Она работала на печи, горновые разделывали летку, когда подошел возмущенный председатель цехового профсоюзного комитета. Он говорил, что пойдет немедленно в завком, подымет шум. Но Искра этих его слов уже не слышала. У нее текли слезы, и будь это дома, она уткнулась бы в подушку и разревелась. Она ушла в пирометрическую, села там среди приборов, которые, подмигивая глазка́ми зеленых и красных лампочек, кому-то и о чем-то сигнализировали, утирала пальцем слезы на щеках, отчего по лицу ее шли грязные разводы копоти. Пришел Платон Тимофеевич. Пришел начальник цеха. Узнав, в чем дело, отправились оба куда-то и кому-то звонить. Но она уже знала, что все потеряно, она уже не верила ни во что. А как она рассчитывала на эту квартиру, как рассчитывала! И вот все пошло прахом. Все переменилось в одну минуту, и никто за это не ответит, никто не подумает о том, что такой грубой, безжалостной переменой причиняется человеку горе.

Придя домой, она Виталия не застала, пошла за ним на выставку. Она сказала ему о том, что новой квартиры у них не будет.

— Да что ты? — Виталий ответил так, что Искра увидела — не очень-то и расстроился. — Вот подлецы!

Через минуту он уже рассуждал с кем-то о светотенях. Искра отошла от него, села на диванчик. При своей деятельной натуре она не могла бесконечно предаваться печалям. У нее уже возникали один за другим проекты, как все-таки заставить дирекцию выполнить обещание. Она подумала: а не сходить ли к секретарю горкома партии Горбачеву; он такой симпатичный и, видимо, отзывчивый человек. Но вспомнила слова Капы о том, что к ее отцу

хорошие люди ходить стесняются, не хотят мешать занятому человеку; лезут к нему главным образом те, которым что-нибудь понадобилось лично, всяческие устроители собственного благополучия. Нет, этот проект не годился. Подумала, что хорошо бы влететь в кабинет к директору и накричать на него. Правда, кто-то ей еще давно говорил, что мужчины женских криков не боятся, им от них смешно, что надо плакать, перед женскими слезами ни один даже самый заскорузлый бюрократ не устоит. Но реветь — это уже совсем никуда не годилось. Даже если бы удалось выплакать не то что двухкомнатную, а всю четырехкомнатную квартиру, все равно это очень стыдный путь, такой путь не для нее.

Искра решила сходить к Капе. Она понимала, что и это не такой уж красивый путь — поплакаться перед дочерью секретаря горкома, авось, мол, та скажет папе, а папа даст взбучку дирекции завода. Но все же отправилась на Овражную.

Капа и Андрей сидели возле приемника и слушали дневник заседаний съезда партии.

Занятые передачей, они совсем не удивились тому, что к ним зашла такая неожиданная гостья. Капа предложила Искре чаю: чай остыл немножко, но его можно быстро подогреть. Искра отказалась. Ей было стыдно, очень стыдно за то, что она пришла к этим славным ребятам с такой некрасивой целью. Хороший пример она, коммунистка, подаст комсомольцам, начав хныкать о квартире в такие дни, когда внимание всех людей приковано к тому, что происходит в Кремле. Она неожиданно попрощалась, сказала, что шла мимо, что заскочила только на минутку, погреться, и поспешно ушла. По улице почти бежала, стараясь как можно быстрее выбраться к центру города. Ей казалось, что если ее увидят на Овражной или на пути с Овражной, то непременно догадаются, зачем она туда ходила. Но даже если и не увидят — все равно плохо. Ведь Андрей завтра узнает в цехе, что ей не дали квартиру, поймет, что не мимо она шла, не погреться забежала в их домик, а ей нужна была Капа, заступничество отца Капы. И что тогда будет, что будет!..

Спустя час после ее ухода Капа спросила с недоумением:

— А зачем она приходила?

— Погреться же, сказала.

— Нет, она была очень расстроенная. Наверно, своего мужа искала. В таких случаях по всем известным адресам ходят.

— Откуда ты это знаешь? — Андрей засмеялся. — Можно подумать, что у тебя богатейший опыт семейной жизни.

28

Обер-мастер пришел к директору:

— Что же это такое, Антон Егорович?

— Ты о чем, Платон Тимофеевич?

— Квартиру-то нашего мастера, инженера Козаковой, схапали. Начальнику какому-нибудь понадобилась?

Обычно — Платон Тимофеевич это знал хорошо — Чибисов ответил бы шуткой или притчей. Это был директор, который говорил, что работать надо весело, стараться делать так, чтобы работа уже и сегодня доставляла удовольствие, а не только при полном коммунизме.

На этот раз ни шуток, ни притч не было. И не слишком спокоен был директор.

— А что же я сделаю? Что? — Чибисов поднялся из кресла, подошел к окну, отворил форточку. — Топят, черти, изжариться можно.

В кабинет клубами повалил морозный уличный воздух. Платон Тимофеевич удивился, на что Чибисову такая стужа, и без нее в кабинете не больно тепло.

— Учти, Антон Егорович, — продолжал он, — учти, что я жаловаться буду. Я до горкома, до обкома дойду. Вот дай съезд закончится — и пойду.

— Иди! — ответил Чибисов. — Иди, милый. Доброе дело сделаешь. — Он пошел к сейфу, с грохотом отомкнул тяжелую дверцу, взял какую-то бумагу сверху, бросил на стол перед Платоном Тимофеевичем: — Почитай! Полюбопытствуй.

Платон Тимофеевич надел очки и принялся читать приказ министерства. Он читал о том, что Чибисову объявлялся строгий выговор за невыполнение еще каких-то приказов. Он читал о том, что почти уже месяц назад обер-мастер Ершов должен был сдать кому-то дела и удалиться на пенсию. Он читал еще о том, что инженер К. Р. Орлеанцев назначается заместителем главного инженера завода. В приказе говорилось, что Чибисов неправильно использовал этого инженера, не дал ему долж-

ности по опыту его руководящей работы. Чибисов предупреждался, что если в недельный срок он не наведет порядка в использовании кадров, если не продумает линию своего поведения по отношению к распоряжениям и руководству со стороны министерства, то последуют дальнейшие меры — вплоть до постановки вопроса о его служебном несоответствии.

Платон Тимофеевич читал все это и чувствовал, как в теле у него возникает непривычная стариковская слабость.

— На кого и кому пойдешь ты жаловаться? — спросил Чибисов, когда его посетитель отложил бумагу в сторону, снял очки и спрятал их в щелкнувший железный футлярчик.

— Значит, что же, под зад коленкой? — сказал Платон Тимофеевич, и у него дернулись губы. — Я же строил этот завод, Антон Егорович. Что ж ты не сказал им? Как же ты согласился с ними?

Чибисов достал еще несколько бумаг из сейфа. Это были копии его возражений и категорических протестов, адресованных министерству. И их прочел Платон Тимофеевич.

— Так кто же это все делает? От кого оно идет?

Чибисов развел руками:

— Одно могу сказать, ты сам видишь это из документов, не я, дорогой Платон Тимофеевич. Не я. И с квартирой, скажи этой Козаковой, не моя тут злая воля... Тоже выговор получил, устный, от вышестоящих инстанций... Пришлось квартиру отдать этому... Крутиличу. Изобретателю. Говорят, перед Европой стыдно за меня, такой я зажимщик оказался. Козакова еще молодая, комната у нее все же есть хорошая. Потерпит. Не последний дом строим.

Он говорил, а Платон Тимофеевич не слушал. Он был ошеломлен, убит известием. Оказывается, все — отработал обер-мастер Ершов, списывают на пенсию, нельзя практикам доверять новую технику, требующую знания законов химии, физики, математики.

Знал Платон Тимофеевич, что не сумеет отстоять себя. Случись с кем иным беда такая, и верно бы в горком, в обком пошел. В ЦК бы поехал. А за себя ходить канючить не доводилось еще ни разу в жизни. Еще не было случая, когда бы он словесно доказывал пользу свою, свою необходимость на производстве. Не ждал такого дня,

даже и в мыслях не мог допустить того, что может прийти день, когда ему вдруг скажут, что он не нужен. Тридцать девять лет был нужен, с шестнадцати годов. За полтора года до революции привел его отец учиться на горнового на старый завод Юза. Чего только не перевидел с тех пор Платон Тимофеевич! Такие ли домны были в ту пору! Так ли работалось возле них! Кто желает узнать о тех временах, пусть почитает книгу писателя Ляшко «Доменная печь». Листает Платон Тимофеевич иной раз, перечитывает некоторые страницы, вспоминает молодость свою. Уж на что простое дело — литейный двор. Приходят теперь экскурсанты, объясняешь им все, скажешь: «Вот он, этот литейный двор». «А что же тут льют?» — спросят. «А ничего, одно название осталось». А было как? Было так, что чугун из печи шел на этот двор, по канавкам расходился да в них и застывал этакими чушками. Удушье всегда стояло на литейном дворе. Сейчас чугун из печи бежит по канавкам прямо в ковши чугуновозов и едет в миксер — резервуар запаса для мартеновских печей. Никакой пирометрической не было в те времена, ни приборов, ни механизмов. Все на глаз да вручную, даже летку заделывали вручную...

Да разве только у доменных печей был нужен советской власти он, Платон Тимофеевич? Еще не был Платоном Тимофеевичем, еще Тошкой был, когда уже сражался за нее, за власть Советов: и с казаками схватывался, и с немцами, и с врангелевцами. Даже с махновцами, с какими-то атаманшами — с Марусей и Сонькой. На белополяков ходил. Партийная его жизнь началась в одной из первых комсомольских ячеек.

Немало было прожито, немало сделано к тому времени, когда всей семьей приехали сюда на морском открытом берегу строить металлургический завод. С тех пор только один раз покидал свой завод Платон Тимофеевич — в тысяча девятьсот сорок первом, эвакуируясь с другими рабочими и с оборудованием на Урал. Большая жизнь здесь прошла: и женился здесь, и детей народил, и обер-мастером сделался, и ордена получал, и еще многое что было здесь. Никогда не задумывался над тем, а как закончится эта жизнь. Спросили бы, сказал бы: «А вот упаду возле печи, доктор придет, послушает сердце через трубку — мир, мол, праху раба божьего Платона Тимофеевича Ершова». Как моряк не представляет своей кончины в постели, так и Платон Тимофеевич не мог пред-

ставить себе расставание с печью даже в предсмертный час.

Какие же злые силы сделали так, что его, здорового, сильного, ничуть не сдавшего, разлучают с печью, с заводом, при жизни хотят уложить в гроб? Да, он знал, что не пойдет бороться за себя; да, он знал, что уйдет домой и будет сидеть там, будто медведь в берлоге; да, он знал, что затоскует жестоко, смертно.

— Когда похороны-то? — спросил он упавшим голосом.

— Какие похороны? — не понял Чибисов.

— Ну меня-то когда хоронить будете?

— Так видишь — в недельный срок велено. Ты уж не тяни, Платон Тимофеевич. Руби одним разом. — Чибисов помолчал, добавил: — Может, и я за тобой следом. Дачниками станем, баркас заведем, рыбу ловить примемся да торговать на базаре. Фартуки наденем. Умеешь торговать, а Тимофеич?

Чибисов шутил, но лицо у него было невеселое, не о рыбе он думал конечно.

Ломал себе голову директор завода над такой же загадкой: откуда этот злой, все сжигающий ветер подул? Чибисов знал, что ничто в жизни не делается по принципу: так моя нога хочет; только в фельетонах для красного словца подобным образом выражаются. Не по велению ноги, а по велению человеческой воли делается все. Всегда для чьей-то выгоды. Значит, замешалась тут чья-то не очень добрая воля и сплелись чьи-то неизвестные Чибисову интересы. Не само министерство пошло на такие странные шаги, кто-то давил на министерские кнопки, кто-то нашел соответствующие щели в министерстве, кто-то пролез в кабинет к министру, соответствующим образом разложил по соответствующим папкам соответствующие бумаги, соответствующим образом «доложил» дело и прокомментировал его. Министр — он же не бог-отец, чтобы охватить такие гигантские металлургические хозяйства гигантской страны, — подписал эти бумаги или, во всяком случае, санкционировал, а подписать уже нашлось кому.

Тому, что так получилось, что выложил он все Платону Тимофеевичу под запал, Чибисов был рад. Он бы и еще тянул с выполнением приказа министерства, так и не решаясь нанести несправедливый удар обер-мастеру. И неизвестно, какие еще последовали бы осложнения.

Ершов сам напросился, ну и облегчил дело. Чибисов прекрасно понимал его состояние. Но что же еще можно сделать для Платона Ершова? Предлагать какой-нибудь другой участок, меньшую должность — только обижать человека. Пусть идет на пенсию. Это же не позор, это законно, это Конституцией обеспечено. Он, Чибисов, ничего уже сделать не может. Нелепая штука: министерство за тысячи километров, а даже вот кадрами завода распоряжается. Ведь он-то, Чибисов, заводские кадры знает лучше, он знает их в лицо, в глаза, он видит их в труде, в жизни, в поведении; там, в министерстве, знают их больше по анкетам, а являются верховными вершителями всех заводских судеб. Ну, скажем, если нельзя всю ответственность за жизнь завода возложить полностью на него, на директора, кроме которого, кстати говоря, на заводе есть еще и партийная, и профсоюзная, и комсомольская организации, так что он не одинок и не бесконтролен, — но, допустим, нельзя ему одному доверить такое огромное хозяйство: увлечется, мол, загнет куда-либо — человек есть человек, — так ведь в городе существует горком партии, в области — обком партии, существуют горсовет и облсовет. Сидят там — если не все, то, во всяком случае, в большинстве своем — умные, знающие, преданные народу люди. Они-то разве не способны проконтролировать деятельность директора Чибисова? Вот, может быть, съезд решит этот острый вопрос. Делегаты поднимают его в речах. Странно, что не понимает этого умный и дельный инженер Орлеанцев. Чибисов читал его статью «Заметки инженера». Не согласен с ее выводами. Верного в статье много, подмечено здóрово, глаз у Орлеанцева острый, факты убийственные. Но выводы неправильные, совсем неправильные. По Орлеанцеву получается, что для большей гибкости управления промышленностью надо еще больше дробить министерства, удваивать и утраивать их число. Конечно, это будет гибче, будет менее громоздко, но все равно останется сверхъестественная централизация, все равно директор будет спеленат и по рукам и по ногам.

Он подошел к поднявшемуся с кресла Платону Тимофеевичу, обнял его, и так стояли они с минуту-две, не хотели смотреть друг другу в глаза, чувствовали, что не совсем ладное происходит между ними, что уступают они чему-то такому, с чем оба не согласны, что не

проявляют силы, и поэтому одному перед другим было стыдно.

Платон Тимофеевич ушел, замечая за собой то, чего никогда не замечал: он, оказывается, по-стариковски волочил ноги, каблуки скребли по заводскому асфальту, шаркали. В коленях ныло, горбился.

В цехе, найдя Искру, он рассказал ей, как обстоит дело с квартирой: отдают Крутиличу, поскольку тот — изобретатель, пожилой, горя хлебнувший, а она еще молодая, не последний дом завод строит. Подумал, подумал, да и о своем сказал — на пенсию, мол, гонят. Возраст такой — для доменщиков он ниже, чем в иных каких профессиях. Ничего не поделаешь — закон, старость оберегают.

— Но разве вы старый, Платон Тимофеевич? — возмутилась Искра.

— А ноги-то волочу, а в коленках хрустит... — Он согнул и разогнул ногу, хруста никакого не было, но сказал: — Стреляет что из нагана, слышите?

Проводив Платона Тимофеевича, Чибисов попросил Зою Петровну вызвать Орлеанцева.

— Товарищ Орлеанцев, — спросил он, приглашая сесть в кресло, — как вы смотрите на то, чтобы занять должность заместителя главного инженера завода?

— Откуда же идут такие пожелания? — поинтересовался Орлеанцев, разглядывая Чибисова усталым взором.

— Из министерства они идут, из министерства, не скрою, товарищ Орлеанцев.

— Николай Федорович вспомнил, очевидно, о том, что, когда я уезжал сюда, он обещал сделать так, чтобы меня устроили соответственно опыту, какой я имею.

— Возможно, — согласился Чибисов.

— А то получилось не совсем красиво, — продолжал Орлеанцев. —Помните, вы меня непременно хотели отправить на участок, как отправляют только что окончивших институт. Но я на вас не в претензии, нет, Антон Егорович. Надеюсь, будем работать в полном согласии. Я человек такой, что скандалов не люблю..,

— А я люблю скандалы, — перебил его Чибисов, Ему не понравился излишне спокойный, самоуверенный и даже какой-то снисходительно-покровительственный тон, каким разговаривал Орлеанцев, развалившийся в кресле и покачивавший ногой. — Да, люблю их, — повторил он. — Скандалы нарушают спокойствие — вернее, успо-

косность. А успокоенность — самое страшное в любом деле.

— С этим я согласен. — Орлеанцев улыбнулся. — Вполне согласен с тем, что успокоенность — страшное состояние и в производственной и в общественной жизни. Но, простите, не могу согласиться, что с нею бороться надо при помощи скандалов.

— Любыми средствами с нею надо бороться!

— Кстати говоря, — продолжал Орлеанцев, — этой успокоенности, Антон Егорович, у нас на заводе довольно-таки много. Слишком много, я бы сказал, патриархального в организации дела, в отношениях между людьми, между начальниками и подчиненными.

— Что вы имеете в виду? — Чибисов насторожился.

— Домашность какая-то. А в результате — разболтанность. В Москве, Антон Егорович, стиль другой. Строгий, деловой, четкий.

— Во-во! Бух приказик — и выполняй! Бух второй — выговорок! Четко и оперативно.

— Это у вас теоретическое представление, Антон Егорович. — Орлеанцев снисходительно улыбался. — У вас бы оно изменилось, окунись вы в практику работы министерства.

— Меня уже немножко окунули. Спасибо, — сухо сказал Чибисов и, чтобы прервать разговор, который его раздражал, поднялся, подал руку: — Пока до свиданья. Можете приступать к исполнению своих новых обязанностей. Главный инженер о вашем назначении уже знает.

Он следил за тем, как, медленно перебирая ногами в модных, хорошо сшитых брюках, высоко держа седую свою голову, шел к двери Орлеанцев. Ему не нравилась узкая длинная спина этого человека. Ему казалось, что, раздень его, скинь изысканные одежды, под ними предстанет замаскированный этими одеждами узкогрудый, тощий, с дряблой мускулатурой человечишка.

Орлеанцев отворил дверь, в последний раз мелькнули его модные одежды. Дверь затворилась.

Чибисов вышел на середину кабинета; оттянув в стороны свои брючины, как это делают с юбками исполнительницы русских плясок, потряс ими. Сравнения с брюками Орлеанцева они не выдерживали. Из них можно было выкроить две пары таких, какие носит Орлеанцев. Наконец-то почувствовал, что в кабинете холодно, пошел закрыл форточку.

— А все-таки скандалы нужны! — сказал он самому себе. — Без них сожрут. — И стал звонить Бусырину.

Орлеанцев, выйдя в приемную, нагнулся к Зое Петровне:

— Организуй, Зоенька, сегодня небольшой приемчик. Человек на шесть, на семь. Вот тебе тут несколько ассигнаций. Ну что ты такая грустненькая? Бодрее смотри на жизнь. Она грустненьких не любит.

29

Задувал восточный студеный ветер. В теплую квартиру Платона Тимофеевича набилось полно народу. Заняли кушетку, все стулья и даже табуреты, принесенные из кухни Устиновной. Устиновна одолжила у кого-то из соседок полуведерный самовар, — дескать, из чайника такую компанию не напоишь. Самовар пел на столе; в его боках смешно, то длинно, то поперечно — рот до ушей, отражались лица тех, кто подходил еще налить себе чаю; лица были у кого озабоченные, у кого воодушевленные, у третьих просто веселые.

Уже не первый день на заводе, в цехах, шли читки и обсуждения материалов недавно закончившегося съезда партии. Но того времени, какое отводилось на это в цехе, людям было мало — иные собирались и по домам потолковать за столом, за чаем, в дружеском общении. К Платону Тимофеевичу сошлись мужчины из соседних квартир. Не одни доменщики — из разных цехов; в большинстве старые приятели Платона Тимофеевича.

— Шагнем, шагнем, широко шагнем, — говорил бригадир-мартеновец Уткин, расправляя на столе страницы изрядно зачитанных газет. — Крепко запомнился мне первый год первой пятилетки. Тоже тогда, после съезда... Это который же съезд был?.. Кто скажет? — Он кашлянул в ладонь. — После того, значит, съезда дело сильно в гору пошло. Я молодой в ту пору был парень, крепкий, здоровый...

— Кашлем, поди, не маялся?

— А я не от возраста кашляю. Я от курева. Мне докторша в нашей поликлинике сказала: если курить, говорит, не бросишь, Уткин, то ко мне лучше и не ходи, лечись сам как знаешь. Ей что! Сказала — и ладно. А попробуй брось!

— Баловство! — высказалась Устиновна, единственная представительница женского пола на таком обширном мужском сборище. — С озорства вы все, мужики, дым пускаете, и больше ничего. От упрямства, оттого, что все вас уговаривают: не кури, батюшка, сделай милость. А батюшка-то от уговоров от этих еще больше куражится.

Уткин снова кашлянул, сказал:

— Вот так и прародительница наша Ева навредила прародителю Адаму: сбила человека с толку своими разговорами. Мы же о чем? Мы о деле говорили. А ты что?..

Устиновна махнула рукой: отвяжись, мол. Уткин покачал головой, продолжал:

— Я бетонщиком тогда работал, завод мы строили на Востоке. Трудновато приходилось в общем-то. И харч... санаторным его не назовешь. И жилье... в бараках жили.

— А я тебе еще и не то расскажу, — начал было один из стариков, сидевший на кушетке. — Я тебе про то, как мы здесь первую домну строили...

— Слова сказать не дают! — рассердился Уткин. — Вот народ пошел речистый!

— А чего ты про свой харч да про жилье завел... Когда это дело-то было!

— А здесь как сказано о главных задачах, в чем они заключаются? — Уткин потряс газетой. — В том, слушай, заключаются, — он стал читать медленно и раздельно, — чтобы на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, непрерывного технического прогресса и повышения производительности труда обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться значительного повышения материального благосостояния и культурного уровня советского народа. Понятно? Вот я к чему веду. Для этого и о харчах и о жилье помянул. Главное, для чего и делается у нас все в государстве, чтоб человек жил хорошо, в достатке, весело, культурно, чтоб ел такое, чего душа его хочет, и жил получше, чем буржуазия жила.

— Федя, — сказала Устиновна, — вот я рыбца на базаре покупала. Осенью было. Завернули мне его в бумажку, из журнала из какого-то из старинного. И там картинка: стоит Николай Второй, снятый в полной военной форме, и рядом с ним автомобиль. Царский! А поставить того, царского, автомобиля возле твоего, который вы

с Дарьей прошлым годом купили, сравнить если их, — никудышный ведь у Николая был драндулет перед твоим-то.

Все засмеялись. Засмеялся и Уткин: был доволен упоминанием о его зеленой «победе».

— Ты куда же это гнешь? — поинтересовался. — Какой-то вижу скрытый смысл в твоих высказываниях.

— Обыкновенный смысл, — ответила Устиновна. — И без того живем, дай боже, а все тебе мало. Жадный ты стал, Федя.

— Брось, тетка! — заговорил все время молчавший Платон Тимофеевич. Он к чаю не притронулся, стоял возле окна, смотрел сквозь морозные узоры на улицу, на рассыпавшиеся искрами огни фонарей. — Федя правильно толкует. Верно, впроголодь начинали жизнь. Верно, не только в бараках — в землянках жили. Через все прошли, пояса затягивали на последнюю дырку... да еще и за последней новые просверливали. Для чего? Для того, чтобы... верно, верно, Федя!.. для того, чтобы жизнь была у трудового человека сытная и одетая, чтоб никакой нужды, всего вволю.

— Ишь взыграл! — Устиновна даже руками всплеснула. — Накинулись оба. Будто я им главная супротивница. Будто планам ихним мешаю. Бесстыдники вы, и больше ничего!

— А между-то прочим, — заговорил старик, которому не удалось рассказать о строительстве первой доменной печи, — между-то прочим, насчет сельского хозяйства... Круто поднять его... Вот летом к брату в село ездил погостевать, — жизнь, скажу вам, не та, что была еще года за два до этого. То было, из деревни в город бежали. А вот и обратно тянутся.

— Не дали Федору досказать, — отстранив порожнюю чашку и утерев усы, вступил в разговор слесарь Башлыков. — А Федор дело говорит. Если хотим жить еще лучше — от нас самих зависит... работать надо дружней... Рабочий класс, я считаю, не подведет. Он никогда партию не подводил. Широко шагнем после съезда, что верно, то верно. Главное, у кого ни спроси, у всех желание работать такое, что... — Он не нашел подходящего слова, стал закуривать папиросу.

— Всякие там ошибки, промахи — это исправится, — сказал Уткин. — Вместе с партией поднажмем, и все на свои места встанет. Никакие ошибки нас не остановят. Такой силы уже на свете нету, чтобы остановить.

— Так ведь их уже сколько и исправили, — дымя папиросой, отозвался Башлыков. — И с сельским хозяйством... Уж здесь говорили об этом. И насчет законности. И вообще. А приналяжем — и вовсе следа от них не останется. Мне один у нас сегодня давай гудеть в ухо: ага, дескать, то да се, кому верить? А я ему и говорю: а ты партии верь, не ошибешься. Шумиху-то что ж подымать. Не с такими делами справлялись. Гитлера вон разбили. Чего ты? Работай себе спокойненько, план выполняй.

Платон Тимофеевич все стоял у окна, жевал кончик уса. На душе было тревожно. Вот обсуждают друзья доклад на съезде, решения съезда, интересные выступления, планируют, как будут жить и работать дальше. А что он, старый доменщик Платон Ершов? Какие его планы? Чем он поможет партии в решении ее великих задач? Он еще ходит в цех, никому еще, кроме Искры Васильевны, да и то сгоряча, не сказал о том, что его отправляют на пенсию. Но это же последние дни: вот-вот будет объявлен приказ, и товарищи обо всем узнают. Он уйдет, они останутся. Все дела в цехе будут делаться без него. Без него будут выполнять планы, без него плавить металл, строить новую жизнь... А что же его жизнь — она кончена, что ли?

Он очнулся, будто от толчка. Уткин говорил:

— А это тебя, Платон Тимофеевич, касается. Прямо целиком и полностью тебя. Слышь, что в докладе сказано? Вот что в нем сказано, читаю: «Несмотря на то, что развитие черной металлургии идет высокими темпами, у нас все еще ощущается недостаток в металле. Объясняется это быстрым ростом потребностей в нем народного хозяйства, а также тем...» Вот послушай, послушай: «...а также тем, что наши металлурги медленно осваивают производство наиболее экономичных и нужных для народного хозяйства профилей и новых марок металла». Понял?

Платон Тимофеевич промолчал.

— Вот и осваивай новые профиля и марки, — добавил Уткин.

— А это уж ты без меня делай, — ответил Платон Тимофеевич, и голос у него дрогнул.

Все обернулись к нему: чего это человек чудит?

— То есть как без тебя? — спросил Уткин.

— Да так. На пенсию отправляют.

— Батюшки! — воскликнула Устиновна. — Чего же ты молчал-то? Братьям бы хоть объявил. Совета спросил.

За окном подвывал ветер, вокруг фонарей искрилась морозная пыль.

— Такое время! — сказал Башлыков с возмущением. — Такие дела! Как же без тебя, Тимофеич? Без тебя нельзя. Это ты брось!

Платон Тимофеевич подсел к столу, двинул чашку под кран самовара, повернул кран — воды не было, всю выпили.

— Его и долить можно, — сказал с невеселой усмешкой. — Самовар-то. А человека... если выкипел? Человека не дольешь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Шел март, но зима не уступала. Где припекало солнце, там капало с крыш, а в тени держался мороз. В другие годы в такую пору уже летели на север через море гуси и журавли, на ветлах распускались барашки, возле скворечников скворцы и воробьи дрались из-за жилищ, над степью слышался первый жавороночий звон; колхозные рыболовецкие баркасы шли по свежей мартовской волне на пробный лов; заводили моторы отремонтированных траулеров и сейнеров на МРС.

Но в этот год не было слышно в небе ни журавлиных труб, ни гусиных кликов; баркасы еще были на берегу под навесами; пахло смолой, стучали молотки, — ремонт застрял из-за морозов.

Море лежало студено-зеленое, неспокойное. Двухдневный шторм изломал, искрошил лед, частью угнал его в открытое море, частью повыбрасывал на берег. Торосы громоздились местами такие — высотой с трехэтажный дом.

В ватнике, о котором рыбаки говорили «куфайка», в стеганых брюках, в резиновых сапогах, обернув ноги несколькими парами теплых портянок, Леля выходила солнечными утрами к торосам, смотрела в пенившуюся морскую даль; ветер хлестал по щекам, — надо было прикрывать лицо меховыми, обшитыми брезентом рукавицами.

Леля тосковала. Все радостное из ее жизни ушло окончательно. И директор МРС, и секретарь партийной орга-

низации, и разные другие люди уже несколько лет подряд предлагали ей помощь — какую она захочет, говорили, что ей, наверно, трудно год за годом жить в общежитии, что ведь можно в конце-то концов и отдельную комнату выделить: как-никак старый постоянный кадр. А может быть, она учиться хочет пойти, на курсы? И на моториста можно выучиться, и даже на тралового мастера, если есть желание.

Нет, учиться она не пойдет, пойти учиться — это значит попасть к новым людям, в новую обстановку, опять тебя будут разглядывать, опять надо заново свыкаться и приучать других к себе. А отдельная комната? Тоже — зачем? Наедине-то с собой оставшись, еще и в петлю полезешь. Наедине-то разное в голову идет. Уж лучше на людях... Нет, помощь ей не нужна. Она очень благодарна за внимание. Но ей, кажется, уже никто не поможет.

Пока Леля ездила к Дмитрию, она не замечала, насколько быстро бежало время от воскресного вечера, когда она покидала Овражную, и до вечера субботы, когда она вновь приходила туда. Сейчас оно, это время, мало сказать, что тянулось медленно и тоскливо, — нет, оно просто стояло на месте. Оно не шло, ему некуда было идти: впереди ничего не было.

Всегда готовилась Леля к тому, что Дмитрий женится на другой и скажет: прости-прощай, не поминай лихом, случайная и ненужная подруга. Ждала этого, ждала, но вот пришло оно — будто бы по сердцу чем-то холодным и тяжким ударили. Откуда только пришло несчастье такое — от инженера Козаковой, жены художника, или от Дмитриева брата, Степана? И на что судьбе понадобилось возвращать этого Степана из давно ушедшего, отболевшего, пережитого? Не все же возвращается, есть ведь и безвозвратное. Пусть бы лучше он стал безвозвратным. А если подумать теперь, то сколько любви берегла Леля для этого человека, через какие только страдания не пронесла свои чувства к нему, пока не встретила Дмитрия... И хорошо, что встретила Дмитрия, — разве понадобилась бы она Степану такая? Отшатнулся, смотрел на нее со страхом, как смотрят иные на улице. Хранит, видите ли, в кармане ее карточку. Но он хранит совсем другую Лелю, и не Лелю вовсе, а Олю, Оленьку Величкину. А ее нет, Оленьки Величкиной, растоптана немецкими сапогами. Как бы все изменилось в жизни, если бы у нее был ребенок! Дочка ли, сын — все равно, но ребенок, ребенок;

для него она, мама, была бы, конечно, прежней, красивой. Все отняли палачи, все — и прошлое, и настоящее, и будущее. Дмитрий говорит: судьба — это то, во что веришь, а во что веришь, того добиваешься, а чего добиваешься, того и добьешься. Нет, Дима, не так. Судьба от тебя не зависит. Судьба — это что-то очень страшное. Оно над тобой, вокруг тебя, но не в тебе, нет!

Мысленно Леля всегда видела домик на Овражной, видела Дмитрия; закрыв глаза, чувствовала его руки, его тепло и не знала, куда девать себя. Шла в лавочку, покупала бутылку водки, незаметно для своих соседок по комнате выпивала ее почти всю, валилась на постель; постель под ней качалась, как баркас, Леля плыла, плыла по волнам, и ей казалось, что плыла она к Дмитрию. Но, не доплыв, засыпала. Утром с больной головой выходила к торосам, навстречу ледяному ветру, который сек лицо, и смотрела в зеленую даль...

В одну из суббот Леля отправилась в город. Она пошла на Овражную. Она знала, как бесшумно, не гремя щеколдой, отворить калитку; она отворила ее бесшумно, подошла к окну, стараясь увидеть сквозь тюлевую занавеску. В мазанке слышалась музыка — был включен приемник, ярко горел свет, и в этом свете среди комнаты танцевали Андрей и Капа.

Дмитрия не было. Да и не должно было быть, если он, по словам Степана, снова ушел жить к старшему брату. Но, может быть, он сейчас и не у Платона?..

Леля пошла дальше — искать дом, в котором жил художник Козаков. Ей было известно, что живет он на Пароходной, но в каком доме, она не знала, шла серединой улицы, благо движения тут никакого не было; осматривала дом за домом, стараясь заглянуть в окна вторых и третьих этажей — выше чем в три этажа на этой улице домов не было, — стараясь увидеть картины, ведь у художника непременно все стены должны быть в картинах. И ничего не увидела, дома этого так и не нашла. Тогда отправилась к Платону Тимофеевичу. Платон Тимофеевич был на заводе. Устиновна стала угощать чаем, объяснила, что Платон теперь безработный, на пенсии, но с партийными делами на заводе не покончил и вот сидит в цехе на собрании — обсуждают, как решения партийного съезда получше выполнить. Уж который раз обсуждают. Платон только изводится от этих обсуждений, потому что обсуждать-то он обсуждает, а дела делать будут другие, без

него. Злой стал — страсть; матерщинничает, прямо будто урядник какой.

Кивая тому, что говорила Устиновна, Леля осматривалась в комнате, старалась понять, живет тут Дмитрий или нет. Устиновна словно подслушала ее мысль; она сказала: «Беда вот еще какая — Дмитрий-то пожил-пожил у нас, да и обратно на Овражную перебрался. Все бы Платону легче было — родной брат рядом. Вон посмотри, какой с него, с Дмитрия, портрет сделали». Она указала на портретную галерею над этажеркой. Галерея пополнилась цветным изображением Дмитрия во время работы на стане. «Думаешь, сфотографировано? — сказала Устиновна. — Это с портрета перепечатано. А сам портрет — большущий. На выставке его выставляли. Народ возле толпился». — «Выставка еще открыта?» — спросила Леля. «Так ведь кто ее знает, не знаю». Леля долго рассматривала фотокопию, стояла перед ней, то отдаляясь, то приближаясь чуть ли не вплотную. Да, это был Дмитрий, он был такой, каким она его всегда видела, какого любила, какой приходит к ней во сне, когда плывет она к нему по зыбкому, хмельному морю.

Леля попрощалась с Устиновной, еще походила по холодному городу, узнала, что выставка художников давно закрылась, и вышла на окраину — ловить попутную машину.

Назавтра, воскресным днем, сидя на койке, Леля штопала что-то из своих одежд, когда в комнату неожиданно вошел Дмитрий. Все, что было в руках, вместе с иглой и с ножницами, она сунула под подушку, хотела подняться, но не смогла, ноги отказали.

— Здравствуй, — сказал Дмитрий, подавая руку.

— Здравствуй. — Она подала свою. — Садись. Сюда, рядом.

Дмитрий оглянулся вокруг — Лелины соседки, тоже занимавшиеся какими-то починками, его, видимо, смущали.

— Пойдем, — сказал, — к морю, что ли. Походим.

На счастье, ветер улегся, даже слегка пригревало, из-под ледяных глыб плыли мокрые пятна. Ступая на хрустящий песок, Дмитрий расспрашивал, как живет она, не надо ли ей чего; может деньжат одолжить. Был безразличный, непонятно — зачем и приехал. Пожалел, что ли? Ну, а если и пожалел — что в том удивительного? Он всегда ее только жалел. И раньше жалел, и теперь вот

жалеет — ничто не изменилось. Но почему же все-таки обидно так? Надо бы расспросить его об одном очень важном для нее деле. Уж если приехал, непременно надо расспросить. Но решимости на подобные расспросы у Лели не хватало.

— Обожди, Дим, я сейчас, — сказала она. — Погуляй тут, я мигом. — И побежала к баракам. А когда вернулась, Дмитрий почувствовал, что от нее пахнет водкой, увидел, как побагровели рубцы на ее лице, как заблестел живой черный глаз.

— Зачем ты это, Леля? — спросил он с укором.

— А что мне, Дима, осталось? — ответила она. — Вот ведь и все, что осталось. — Зябко дернув плечами, она спросила: — Любишь ее?

— Кого это? — Дмитрий остановился.

— Инженершу. Художникову жену.

Дмитрий был ошеломлен. Впервые возник перед ним этот вопрос. Даже сам не задавал его себе еще ни разу.

— Что? — сказал испуганно. — Кого? Да что ты говоришь, Леля?

И тут ему стало ясно, что да, да любит он ее — инженершу, художникову жену, маленькую Искру Васильевну.

Он ослабил шарф на шее, чтобы не было так туго. Он не мог вымолвить больше ни слова в замешательстве. Одно было непонятно: зачем же он ехал к Леле, если ему нужна Искра Васильевна, зачем? «Лелька! — хотелось крикнуть. — Разберись хоть ты в том, что со мной происходит. Помоги советом, умным словом». Все сокровенное, тайное он много лет доверял только ей, Леле, и привычка вновь привела его к ней, чтобы пожаловаться на ту, которая мучает его, которая очень нужна ему, но которой он-то, видимо, совсем не нужен.

— Молчишь? — сказала Леля. — Можешь уже и не отвечать. Прощай, Дима, прощай! — Она побежала вдоль моря, вдоль торосов, по мерзлому песку, оступаясь, поскальзываясь.

Дмитрий догнал ее, остановил за плечо. Она тяжело дышала, задыхалась. Стояли так, не зная, что делать дальше.

— Иди домой, — сказал Дмитрий. — Озябнешь.

Она отстранилась, все еще не могла перевести дыхания.

— Как жалко, Лель, что ты не сестра мне, — добавил он.

Леля стояла перед ним с опущенной головой, с опущенными руками. Не ответила.

Он обнял ее за спину, повел к поселку. Проводив до дверей барака, сказал:

— Может, еще наведаюсь. А хочешь, ты приезжай. Чего ездить бросила? Степан в общежитие ушел. Одни молодые остались. Приедешь?

Она кивнула головой: приеду.

Попутных машин не было, Дмитрий шагал по дороге, по обтаявшему асфальту. Неладно складывалась жизнь. Строитель коммунизма, а своей жизни построить не может... Увидел перед глазами Искру Васильевну, вновь услышал ее слова на общезаводском митинге, когда закончился съезд партии. Горячо, просто говорила инженер Козакова. Слушал ее, и получалось так, будто бы не она, а он говорит все это. Точь-в-точь бы так сказал, если бы взял слово, если бы сумел найти такие слова.

Говорила Искра Васильевна о программе движения к коммунизму, какую наметил съезд, о народной инициативе, которую пробуждают решения съезда, о том, что хочется работать, работать и о том, как радостна жизнь, когда ты участвуешь в строительстве, о котором люди после нас песни будут петь и писать поэмы. Ей долго аплодировали. Куда дольше, чем новому заместителю главного инженера Орлеанцеву. Хотя, если быть справедливым, речь Орлеанцева была серьезней, основательней, чем речь Искры Васильевны.

На заводе об этом заместителе главного инженера много толков в последнее время. Не дает покоя руководству, множество разных улучшений предложил, с директором цапается. Те, кому приходится сталкиваться с Орлеанцевым, хвалят его: в каждом деле разбирается досконально, умеет помочь быстро, оперативно, инициативу поддерживает. Но Платон его только ругает. Оттого, может быть, ругает, что в одном приказе все это было: и новое назначение Орлеанцева, и уход на пенсию Платона. Зря, между прочим, Платон смирился. Раз хочет работать, никто ему в этом помешать не может. Должен за себя драться, а не сидеть и не хныкать дома. При каждой встрече затевали перебранку. Платон кричит: ты молод, поживи с мое. Дмитрий отвечает, что пасовать перед трудностями ни в каком возрасте нельзя. Платон рассказал о том, что инженер Козакова собирается написать письмо в городской и областной комитеты партии, она возмущена тем, как с

ним поступили. «А ты? — спросил Дмитрий. — А ты написал куда надо? Ты протестуешь?» — «Поживи с мое, — опять дудел Платон, — молод, потому и горячишься».

«Искра Васильевна! Искра Васильевна!» — звал мысленно Дмитрий, шагая по весенней дороге. Ему нравилось повторять ее имя. Но, окажись вдруг Искра Васильевна перед ним в эту минуту, что бы еще мог сказать он Искре Васильевне? Так бы, поди, и твердил дальше одно это: Искра Васильевна да Искра Васильевна.

В городе, отмахав двенадцать километров за два часа, свернул на Пароходную. Было еще светло, еще висело над горизонтом солнце, поэтому, не желая быть узнанным, надвинул на лоб шапку и поднял воротник морского бушлата, который носил и зимой, и осенью, и весной, а когда было холодно летом, то и летом.

Миновав знакомый подъезд, хотел уже свернуть на поперечную улицу и здесь столкнулся с ней, с Искрой Васильевной. Вела девочку в красном широком пальто, в пестром капоре. Девочке было лет шесть, щеки под цвет пальто, яркие, пухлые, а глаза... Да, глаза — ничего не скажешь, — глаза в точности Искры Васильевны, живые, веселые.

— Здравствуйте, — сказал, стараясь скрыть замешательство. — Дочка?

— Да, приехала вот. Я так рада. Соскучилась ужасно. Устроила в детский садик. Оказалось, что это не так-то просто. Столько желающих! Детей народилось, говорят, страсть сколько. И вам пора, давно пора иметь детей, Дмитрий Тимофеевич. Ну что вы, ей-богу, не женитесь?

— Объяснял, — ответил Дмитрий холодно.

— Ах, это такая чепуха! Это вы все выдумали. Для любви это не препятствие. Вы думаете, что женщинам нужны непременно красавцы, что женщины не умеют видеть душу человека, что они ничего не понимают в душе. Вы очень и очень ошибаетесь, Дмитрий Тимофеевич. Это мужчинам нужны непременно красавицы. А женщинам... Нет, это только очень пустые женщины любят за красоту — лишь бы красавец, а может быть глупым как палка.

— А вы, Искра Васильевна, могли бы меня полюбить? — неожиданно спросил Дмитрий.

— Но ведь... Но... — Искра растерялась. — Но ведь вот... — Она положила руку в коричневой теплой перчатке

на капор своей дочери, скучавшей возле нее. — И у меня муж... Виталий...

— Я понимаю. — Дмитрий был настойчив. — Это все понятно. Но если бы их не было. До них, предположим. Могли бы?

— Любовь такое чувство... — Атака Дмитрия очень расстроила Искру. Шуткой уже было не отделаться. Надо было отвечать всерьез. — Любовь невозможно предвидеть и невозможно отвратить, если она придет. Вы достойны любви, Дмитрий Тимофеевич, большой любви. Вас будут любить. Вас очень любят, мне же это известно. Леля...

— Ну все, — перебил Дмитрий, стараясь улыбнуться. — Допрос окончен. Вы свободны. Так как же тебя зовут? — Он нагнулся к девочке.

— Люся.

— Людмила, значит? Хорошее имя, красивое. А ты читать умеешь?

— Буквы знаю, а как складывать, еще нет. Дядя, а у вас отчего это? — Она пальчиком указала на его шрам. — Это больно было?

— Это было очень больно. А что — страшный я?

— Страшный, дядя. Как в одной сказке, мне бабушка читала.

Искра покраснела.

— Люся! — сказала она, дернув девочку за руку. — Ну как же так...

— А вы ее не учите врать, — сказал Дмитрий. — Пусть всегда говорит правду. Ну, желаю вам весело гулять! — Он приподнял шапку и свернул за угол.

— Люська, что ты наделала? — чуть не плача, сказала Искра. — Ну и глупая ты какая! Какая же ты глупая, доча моя! Пойдем домой, не хочу я больше гулять.

Когда Дмитрий переступил порог дома, Капа спросила:

— Хау ду ю ду?

Она уже знала, что Дмитрий Тимофеевич давно изучает самостоятельно английский язык. Узнав об этом впервые, спросила: «Вы такого писателя знаете — Шолохова?» — «Как же! Кто его не знает!» — «А его «Поднятую целину» читали?» — «Было дело. Давно только — до войны». — «Там ведь тоже один герой английский язык изучал. Помните?» — «Запамятовал. Давно, говорю, читано. А что — получалось у него?» — «Кажется, не очень. Хотелось бы посмотреть — а как у вас получается?»

Она попросила его почитать вслух и очень смеялась над его произношением. «Я, наверно, тоже ужасно говорю, но вы побиваете рекорд, Дмитрий Тимофеевич». Он нисколько не обиделся, сказал: «Учите».

Капа с ним иногда занималась; он читал, а она поправляла произношение. Они даже иной раз принимались разговаривать. На это «хау ду ю ду?» — как вы поживаете? — обычно он отвечал: «Вери уэлл» — очень хорошо. Но на этот раз ответил по-русски.

— Лучше всех.

— А мы тут с Андреем раздумываем об одной истории, которая у нас в институте произошла. На комсомольском собрании обсуждались материалы съезда партии, и вдруг один студент говорит: это не главное — всякие достижения и всякие планы. Главное, как ему объяснил кто-то, те ошибки, которые совершены в строительстве социализма. Главное — культ личности, сковавший все и свернувший нас с пути революции.

— А он на этом пути стоял когда-нибудь, ваш революционер? — спросил мрачно Дмитрий. — И какие же именно он увидел ошибки?

— Ну в основном-то он говорил о том, о чем говорили на съезде. Но главное, говорит, что с революционного пути свернули. Целей не стало. Живем по принципу: день да ночь — сутки прочь.

— И что же вы?

— Мы его, конечно, отругали. За то, что все перепутал — действительное с выдуманным. Только, наверно, не очень отругали. Сами ругавшие кое в чем путались.

Дмитрий пил чай, налитый в стакан Капой.

— Вы отцу своему об этом скажите, — сказал он. — Это очень важно. Ведь если еще найдутся такие, что будут кричать: дело не в достижениях и не в планах, а в ошибках, да утверждать, что мы с революционного пути свернули, это же головы людям задурит. Не работать будем, а вздыхать и охать. Вы не скажете, я пойду скажу.

— И очень бы хорошо, если бы пошли вы, Дмитрий Тимофеевич. Я — это одно, я дочка, а вы рабочий класс. Папа к вам скорей прислушается.

— И пошел бы. Да как? Это же ваши, институтские дела. Вроде сплетни получится. Сам не слышал, с чужих слов. Вот если бы дело было у нас на заводе... Да на заводе такое невозможно, у нас народ крепкий, не то что...

— Вы хотите сказать, не то что интеллигенция?

— Вроде этого.

— Разная есть интеллигенция, — сказала Капа. — О всех так говорить нельзя.

— Я и говорю не о всех, а о некоторых. Сходите, в общем, к отцу, непременно сходите.

2

Крутилича в новую квартиру ввел Орлеанцев. Орлеанцев сказал, что теперь они почти соседи, потому что ему тоже дали жилплощадь в этом доме, — прощай гостиница. Он деловито и придирчиво осмотрел обе комнаты, кухню, ванную, пооткрывал стенные шкафчики; бросив пустую коробку от папирос, проверил, как работает мусоропровод.

— Не Зимний дворец и даже не дача братьев Морозовых в Вострякове под Москвой над речкой Рожайкой, но жить можно.

— Что же я тут один буду делать? — растерянно спрашивал Крутилич, двигаясь следом за Орлеанцевым. — У меня и мебели-то нет, чтобы эту пустоту как-то заполнить.

— Вашу мебель, которую я видел там, у вас, в вашем каземате, надо всю выбросить. Ее сожрал жучок.

— Да она и не моя вовсе. Это хозяйское. Мой только сундук.

— Тем лучше. Значит, приобретете новую, совершенно новую. Вы даже не представляете, что такое новая мебель, от которой пахнет свежим деревом, которой еще никто не пользовался, которая только ваша, ваша, ваша. А что делать? Жениться надо, обзаводиться домом. Не то снова и в новой квартире обрастете пылью, паутиной, всяким таким...

— Вам хорошо, — говорил Крутилич, — хорошо рассуждать: жениться, новая мебель. На это деньги надо. А где они? Предложение-то мое маринуют.

— Слушайте, Крутилич, — сказал Орлеанцев, походив по гулким комнатам, — вы на этом предложении не настаивайте. Если говорить откровенно, теперь это уже не предложение, а мелкая кляуза.

— Но вы же сами!.. — воскликнул Крутилич. — Сами же его поддерживали.

— Чудак вы! — засмеялся Орлеанцев. — Не столько предложение ваше, сколько вас, вас я поддерживал.

В принципе поддерживал. Как изобретателя, как человека, который ищет, который борется против бюрократизма и консерватизма. Предложение мне, правда, тоже казалось заслуживающим внимания. Но, продумав, разобравшись в документах, я вижу, что та организация ремонтов, которая сейчас принята на заводе, она ничуть не хуже централизованной. Может быть, сейчас кое-что в ней и не доработано, но доработается. Главное же, в нее тут поверили. А вера — величайший фактор.

Крутилич загорячился, забегал по комнатам, он кричал, что начальники все такие; став начальником, и Орлеанцев загнил.

Орлеанцев выслушал все это со снисходительной улыбкой. Спросил:

— Вы закончили ваш трагический монолог? Позвольте и мне сказать. Можете верить, можете не верить, но я ваш искренний друг. И только потому, что я ваш друг, говорю вам: откажитесь от своей навязчивой идеи. Что касается денег, всяких иных материальных благ, будем думать. Давайте думать вместе. Есть распоряжение директора подыскать вам такое место, где вы, получая приличную зарплату, вы ни на что не отвлекались, а только бы размышляли над своими изобретениями и улучшениями. Вас это устраивает? Напрасно дуетесь. Например, освободилась моя должность в отделе главного технолога... Вы сколько в техникуме получали?

— Полставки.

— Ну вот видите! Почти в четыре раза будете получать больше. Есть место в кабинете по работе с изобретателями и рационализаторами, тоже что-то в этом роде зарплата или даже на пару сотен больше.

— Вот это лучше! — поспешно сказал Крутилич. — Кабинет. Изобретательство. Мне это ближе.

— Хорошо. Будем говорить о кабинете. Вы мне только верьте, Крутилич. Вы правильно боретесь против тех, кто мешает, но не зачисляйте в противники и своих друзей. Это не по-хозяйски. Теперь насчет мебели... Я попробую прозондировать почву, и возможно, что хозяйственники организуют вам рассрочку.

Крутилич шагнул к Орлеанцеву, схватил его руку, крепко сжал:

— Очень вам благодарен, очень! Вы делаете для меня много, слишком много. — Поколебавшись, он добавил: — Но все-таки с моим предложением вы не правы, нет не

правы. Неужели и вы, такой широкий и образованный, тоже за кустарщину? Не верится что-то.

Через две недели Крутилич по совету Орлеанцева праздновал новоселье. Получить мебель в рассрочку не удалось, хозяйственники отказали. Но зато Орлеанцев добился, что Крутиличу дали крупную ссуду в кассе взаимопомощи. Никому такой ссуды никогда не давали, но Орлеанцев убедил профсоюзных работников, что и случай необычный — изобретатель, несправедливо обойденный, талант и так далее, чуткими надо быть; в этом и есть сила советской власти, что, когда надо, у нас отходят от буквы правил и установлений, что самое дорогое для советской власти — человек. Уговорил, дали. Орлеанцев попросил Зою Петровну проявить вкус и помочь Крутиличу приобрести недорогую, но благопристойную мебель. Все воскресенье разъезжала Зоя Петровна по магазинам. Ничего сколько-нибудь подходящего не нашла; если дешево, то и плохо, если хорошо, то ссуды на это не хватит. Пошла разыскивать доски объявлений, их было несколько, в разных концах города. Мебель они с Крутиличем купили именно по объявлению. Кто-то спешно уезжал и в спешке продавал свои шкафы, столы и стулья по цене гораздо более дешевой, чем та, по которой они приобретались. Мебель была не новая, но и не старая. Орлеанцев покупку одобрил, похвалил Зою Петровну: «Молодец, Зоенька! Поработала хорошо. За мной премия». Зое Петровне поручение это было до крайности неприятно. Крутилич ей не нравился, особенно после того, как Гуляев сказал о нем, что он, наверно, еще и вшивый. Но отказать Орлеанцеву она уже ни в чем не могла. Он ей приказывал, она исполняла. Правда, приказы его были облечены всегда в форму дружеской просьбы, сопровождались целованием рук, но все же они оставались приказами.

Гости на новоселье были созваны по совету Орлеанцева.

— У вас есть друзья? — спросил Орлеанцев Крутилича.

— Какие же у меня друзья! — с горечью ответил Крутилич. — Я человек, всю жизнь гонимый. От таких отшатываются. Дружат ведь с кем? С преуспевающими.

— Следовательно, Крутилич, надо всегда преуспевать, — сказал Орлеанцев. — Ну, если друзей нет, тогда все обстоит проще. Видите ли, в чем дело. Гости бывают двоякого свойства: гости-друзья и гости — нужные люди. Часто они несоединимы. Допустим, вы приглашаете го-

стей — нужных людей и гостей-друзей. Гости-друзья могут иной раз и не понять, зачем вы пригласили гостей — нужных людей, могут не одобрить, могут напомнить вам, что об этих нужных людях вы тогда-то и там-то отзывались не слишком лестно, могут устроить скандальчик. А разве можно жить без нужных людей, Крутилич! Это, кстати говоря, ваша основная жизненная ошибка. Вы одиночка. А один в поле не воин. Не имей сто друзей, а имей сто нужных людей, и ты могуществен. Итак, ваших друзей и нужных вам людей лучше всего за одним столом не соединять, приглашать в разное время. Друзья, повторяю, народ опасный, они способны поссорить вас с что ни на есть нужнейшими людьми. У вас, значит, проще.

Они составили список. В нем было несколько инженеров — поклонников Орлеанцева, был инженер Воробейный, был режиссер Томашук. Крутилич сказал:

— Может быть, художника Козакова пригласить. У него, говорят, жена симпатичная.

— Козакова? — Орлеанцев прищурил один глаз, размышляя. — Не стоит. Квартира-то, которую вы получили, им предназначалась, Козаковым. А вот если бы через Томашука удалось худрука затащить, это было бы весьма недурно. Это крупная фигура. Он сюда из-за климата уехал из столицы, у него какая-то хитрая болезнь. Иначе вам бы его тут не видать. Это знаете чей ученик?... Да, да, у великих учился! Для вашего авторитета ведь важно, с кем вы знакомы. Назовете такое имя, к вам совсем иначе будут относиться. До чего же вы все-таки наивны, дорогой Крутилич. Просто дитя! Да, вот еще что вы должны сделать. Поскольку вы теперь замзав в изобретательском кабинете и начнете получать приличную зарплату, вы могли бы потратиться и на домработницу, не пожалеть пару сотен в месяц!

— Пару сотен! Знаем мы эту пару сотен. Одевай да корми. Уж лучше жениться! — заволновался Крутилич. — Да еще будет тут торчать день и ночь. Я привык, чтобы мне не мешали.

— Приходящую можно нанять. Это в Москве с домработницами трудно — вымирающая профессия. Есть две такие реликтовые профессии — короли и домработницы. Но здесь еще найти можно. Подумайте об этом.

Все, кого приглашал Крутилич, пришли. Многие бы, пожалуй, и не пришли, если бы их только Крутилич пригласил. Но еще и Орлеанцев поработал. Ему даже

удалось так поработать с Томашуком, что квартиру Крутилича соблаговолил почтить сам худрук. Не было лишь Зои Петровны. Она упросила Орлеанцева, чтобы не настаивал: она не хотела показываться заводским инженерам. Согласился, не настаивал.

Было довольно весело. Жена одного из инженеров пела, для аккомпанемента раздобыли у соседей гитару. Аккомпанировал Томашук. Он же рассказывал анекдоты. Худрук вспоминал двадцатые годы, когда, по его мнению, театр был в расцвете. Сожалели, что нет ни рояля, ни пианино; на худой конец хотя бы патефон, — хотели потанцевать.

Устраивал стол и подавал еду официант, приглашенный Орлеанцевым из ресторана. Он всех стеснял, и Орлеанцев лишний раз напомнил Крутиличу, отозвав его в сторону:

— Вот, дорогой мой, сами видите, надобна хозяйка в доме. Если вы хотите выйти в большое плавание, дом ваш должен быть открыт. А без хорошей хозяйки его не откроешь. Здесь не Москва, «Арагви» тут нет с его кабинетами. Дома, дома надо все организовывать. Надо сплачивать людей за столом. За столом люди добрее, покладистей, дружелюбней.

Изрядно подвыпили; Орлеанцев отправлял официанта еще за вином, извлекая последние сотенные из карманов своего пиджака. В ход пошел гонорар за недавнюю статью в газете — отклик на решения Двадцатого съезда.

За столом стоял шум, все кричали, требовали слова. Тосты за Крутилича давно были исчерпаны, пили за Томашука, за Орлеанцева, за худрука. Осоловевший худрук говорил:

— Спасибо, друзья! Спасибо, дорогие! Уважили старика, вспомнили!

К нему лезли целоваться, он целовался, его прошибала слеза умиления.

Один из инженеров предложил тост за успешное выполнение решений съезда партии.

— Замечательные решения, окрыляют людей, открывают новые перспективы, вооружают теоретически.

Его поддержали.

Затем говорил Воробейный:

— Я никогда не поклонялся культу. Я молчал, я стискивал зубы, когда его славословили. Сейчас я чувствую моральное удовлетворение, потому что не ошибался.

— А я этого сказать не могу, — ответил ему Томашук. — Я был среди тех, кто славословил. Ну, а что было делать? Попробуй скажи поперек... Ха-ха! Да, кроме того, ведь и не знали мы ничего.

— Мы видели успехи страны, видели, как растет она и крепнет. Мы видели великие работы. Мы участвовали в этих работах, мы участвовали в войне, в которой был похоронен германский фашизм! — горячо заговорил один из инженеров. — И это было для нас главное. Я поперек говорить не пробовал. Потому что у меня и мысли не шли поперек. Мне неприятно высказывание инженера Воробейного о том, что он-то все видел, все знал, да молчал.

— Товарищи, товарищи! — Орлеанцев поднялся. — Мы не на собрании, мы в тесном дружеском кругу. Предлагаю выпить за дружбу. За дружбу, товарищи!

Его тост не нашел поддержки, потому что начавшийся разговор всех взволновал.

— С криком «За Родину! За Сталина!» я шел в атаку, — продолжал инженер, все больше разгорячаясь. — Да, в атаку. Под пули и мины. Ополченец, с винтовкой в руках. На танки, на гаубицы! Я не был знаком со Сталиным, я ему не сват и не брат! В его лице я видел партию, наш Центральный Комитет, народ, — вот что я видел, а не просто личность. Я кричал: «За Сталина!», но дрался-то за кого? За партию, за коммунизм, за народ... И вы не пытайтесь на таких, как я, наводить тень. Не выйдет, Воробейный!

Орлеанцев так стучал ножом по графину, что графин разбился, по столу разлилась водка, потекла на пол; это на минуту остановило споривших. Орлеанцев воспользовался минутой.

— Друзья мои, — заговорил он. — Горячность, брань, оскорбительные слова — это не способ решения серьезных вопросов. Я прошу вас оставить такой тон и эти термины. Поверьте, то, о чем вы сейчас спорили, будет предметом больших разговоров. Очевидно, что ликвидация последствий культа личности станет тем главным, чем займется партия на ближайшее десятилетие, если не больше. Этим будет пронизана вся жизнь нашей страны. Не надо было только спешить, делать поспешные заявления. Они не помогают делу, они его осложняют. Нет сомнения в том, что все мы единомышленники, что среди

нас нет мыслящих принципиально противоположно. Отклоняясь в том или ином, мы идем все же к одной, общей цели. Прошу поднять бокалы!

— Да, многое придется менять, — заговорил Томашук, когда выпили. — И в политической жизни, и в хозяйственной, и в нашем искусстве. Надо будет расковывать искусство, закованное в кандалы обязательного восхваления одной личности.

— Двадцатые годы... — сказал худрук. — Да, надо будет во многом вернуться к ним, к тем годам. Тогда был взлет, было парение. Искусство, подлинное искусство не имеет ног. Оно имеет крылья. То, что ходит по земле, это не искусство. Искусство летает над нами, грешными. Оно крылато, крылато, дорогие мои. Ему нельзя подстригать крылья, как тем лебедям, которых держат в прудах. Оно не должно быть ручным и домашним.

— Подлинное искусство способно и глаза выклевать, — сказал Томашук.

— Смотря кому? — спросил все тот же горячо споривший инженер.

— А вот кому, — вдруг вступил в разговор и хозяин дома, Крутилич. — Бюрократизму, чиновничеству, вельможеству, всему, что сидит на нашей шее.

— А вы решительный товарищ. Боевик, — сказал инженер, подымаясь. — Пойду, пожалуй. Поздно уже, второй час. А завтра работать надо. Хоть Константин Романович и говорит, что главная задача на десять лет вперед — последствия культа ликвидировать, а сталь-то все равно выплавлять придется. Может быть, по-вашему, она теперь и не главная задача, второстепенная, так сказать, а вот придется, придется Константин Романович.

— Дорогой мой, — лукаво улыбаясь, подошел к нему Орлеанцев, — до чего же вы непримиримы. Чудесный вы человек. — Он обеими руками стиснул руку инженера, одного из тех, который ездил с ним осенью на пикник и который всегда восхищался деловитостью Орлеанцева.

Стали расходиться. Худрук долго надевал в передней свою тяжелую шубу, нахлобучивал бобровую шапку с бархатным верхом — нечто музейно-церковное. Он путал фамилию Крутилича, называя его то Курилиным, то Крутилиным, благодарил его, приглашал в театр.

— Прямо ко мне, ко мне, уважаемый, в мою ложу. Быстрых разумом Невтонов кто у нас не уважает? Любят вас, любят, друг Куртилин!

Когда все разошлись, когда в доме остались только хозяин, Орлеанцев и официант, принявшийся за уборку посуды, Орлеанцев увел Крутилича в другую комнату, где были и кабинет и спальня, затворил дверь, уселся на диван.

— Устал чертовски, — сказал, закидывая ногу на ногу.

— Перессорились все, — забубнил уныло Крутилич.

— Что вы! Никто не перессорился. Просто поговорили о наболевшем. Ведь каждого так или иначе все это коснулось. Минувшее.

— Вас тоже оно коснулось? — спросил Крутилич.

— О себе не скажу, — ответил Орлеанцев, подумав. — Я всегда жил неплохо. Мне никто не мешал. Меня всегда ценили. До вашего завода.

— Вас и здесь ценят.

— Теперь. А что было несколько месяцев назад?

— Зачем старое вспоминать? Теперь, Константин Романович, пойдете вы в гору, в гору. И главным будете, и директором. А там — все выше, все выше...

Орлеанцев с улыбкой на одутловатом, раскрасневшемся от вина лице качал ногой.

— Плох тот солдат, Крутилич, который...

— Ну да, ну да, — маршальского жезла который не ощущает в ранце за плечами? А вот у меня этого нет. Не то чтобы не думать никогда о жезле, — не в том смысле нет. А вот думаешь, уже что-то налаживается, устраивается — трах, конец тебе!

— Будьте умнее других, пусть не вам, а им будет трах. Сейчас установки такие: все мешающее, тормозящее — долой.

— Ну и что будет?

— Новые люди придут.

— Откуда они, новые-то? Такие же придут.

— А, например, мы с вами, это что — такие же? Вы, Крутилич, безнадежный пессимист. Придем мы, понятно? Мы!

Наконец Орлеанцев тоже ушел. Убрался и официант, унося корзины с посудой. Крутилич отворил форточки, чтобы вытянуло дым. Снял ботинки, надел шлепанцы. Прошелся по комнатам, по кухне, по коридору; возвратясь в столовую, потянулся, подымая руки кверху. Потом опять зашел в кабинет-спальню. Тут стоял его старый,

черный, обитый железками сундук. Потрогал его ногой в войлочной туфле. Велик Орлеанцев, велик, но и он человек, а не бог. В сундуке у Крутилича уже есть некоторые свидетельства земных свойств Орлеанцева. Да, в старом сундуке кое-что обновилось, обновилось с тех пор, когда Орлеанцев впервые посетил мрачное логово Крутилича и призывал его бороться за свои права. Тогда, конечно, он, Крутилич, был жалок, был всеми отвергнут и дискриминирован. Орлеанцев составил о нем, очевидно, совершенно неправильное представление как о человеке слабом, жалком, ничтожном. Но это неправда, это ошибка Орлеанцева. Стоит вспомнить рассказ, кажется Джека Лондона, о том, как один боксер проиграл свой последний, решающий бой и сошел с ринга. Был он голоден, он мечтал о куске мяса. Окажись у него этот кусок мяса, и все бы изменилось. Как важно вовремя получить его, этот кусок! Ну хорошо, Орлеанцев вовремя пришел на помощь. Если Крутилич получил необходимый кусок мяса, то за это, конечно, Орлеанцеву спасибо. Но, дорогой товарищ Орлеанцев, и в том, что вы пошли в гору, отнюдь не только ваши нужные люди в министерстве повинны. Нужные люди получили нужные письма. Круша Чибисова и всяких иных бюрократов, добрым словом он, Крутилич, поминал кого? Вас, товарищ Орлеанцев, вас, Константин Романович. Напрасно все свои успехи вы приписываете только самому себе. Но бог с ним, бог с ним, с этим Орлеанцевым, пусть тешится. Во всяком случае, если пользоваться его терминологией, он нужный человек. Надо держаться возле него. Советы он дает правильные. Вот, кстати, и насчет хозяйки дома... Ах, Соня, Соня! Пожалеешь, пальцы грызть будешь, что так легкомысленно покинула своего друга в трудный час. Снова жениться? Снова связать свою жизнь с существом, которое в новую трудную минуту — а кто от такой минуты гарантирован! — покинет тебя с легкостью необыкновенной? Нет уж, спасибо. Вот если завести помощницу в доме, вроде той симпатичной официанточки из гостиницы, это да? Толковый дельный совет. Но попробуй последуй ему! Как тут приступить к делу практически? Объявление вывесить? Пойдут мордовороты всякие. Еще и на воровку нарвешься — обчистит. Или на склочницу — по судам затаскает.

Крутилич вышел в переднюю, где было зеркало на стене, зажег свет, посмотрелся в зеркало. Преобразился

человек: костюм если не новый, то хорошо отутюженный; свежая рубашка. Галстук подарил Орлеанцев. Говорит, из Парижа привез. И верно, с изнанки какое-то иностранное клеймо пришито. Лицо усталое, но благородное; вторую неделю бреется ежедневно, даже привыкать стал к этой нудной процедуре. Вот получит первую получку завтра-послезавтра, шляпу купит.

Выпятил грудь, долго стоял перед зеркалом...

Орлеанцев тем временем в своей комнате на четвертом этаже следующего подъезда, лежа в постели, просматривал материалы, которые ему утром передал главный инженер, сказав: на ваше усмотрение. Это была большая, страниц в тридцать, докладная записка инженера Козаковой. Орлеанцев начал читать записку без всякого интереса, рассеянно, видя перед собой не столько доменный цех, не столько записку, сколько автора записки, мысленно рассматривая эту женщину со всех сторон и оценивая. В общем, тоже экземпляр любопытный, решил в конце концов и стал читать внимательней.

Записка оказалась умной, предложения были важные. Если все это внедрить в жизнь, использовать весь комплекс мер, предлагаемых Козаковой, доменный цех сможет давать металла процентов на восемь, на десять больше. А восемь или десять процентов — это в итоге многие тысячи тонн в год. Молодец, молодец Козакова! Орлеанцев взялся за подсчеты, за расчеты. Да, да, да — здóрово!

Потом, заложив руки за голову, он долго смотрел в дальний темный угол под потолком. Голова усиленно работала. В записке Козаковой было много и наивного, многое было так неуклюже сформулировано или изложено так нескладно, что, конечно, требовало более опытной, более зрелой руки. Орлеанцеву уже было ясно, чтó и как следовало переделать, чтобы записка убедила кого угодно. Он хотел тут же встать и засесть за работу, но, взглянув на часы, быстро погасил свет, натянул на плечи одеяло — в комнате было прохладно, потому что в отоплении все еще что-то не утряслось, все еще что-то портилось, — и, сказав: «Завтра, завтра займемся», стал медленно считать: один, два, три... — чтобы скорее уснуть.

3

До встречи с Андреем Капа охотно рассуждала о любви, которая в ее представлении была чем-то неземным и до крайности идеализированным, способным при соприкосновении с житейской прозой немедленно увянуть. Слушая ее в ту пору, можно было подумать, что для этого чувства люди должны отстраняться от всего ежедневно их окружающего и в некий любовный час они будут надевать некие крылья и высоко парить над землей. Потому так резко она судила о браке, который якобы завершающий аккорд любви, смертный час любви, и что его надо всемерно отдалять, если уж нельзя избегнуть совершенно.

«Ничего я в этом не понимала, — говорила она теперь подругам. — То, что бывало у нас с мальчишками, — всякие ухаживания, записочки, провожания, ревности из-за того, что на вечере сидела не с ним, а с другим, посмотрела не на него, а на другого, — все это совсем-совсем не то».

Только прожив с Андреем три месяца, Капа начинала понимать, что такое любовь не выдуманная, а земная, только теперь приходило к ней это чувство по-настоящему. Иногда говорят так: ходит кто-то за кем-то, будто тень. Она, Капа, гордая, самостоятельная, обо всем судившая по-своему, и в самом деле готова следовать за своим Андреем именно как его тень. Она бросила бы институт и ходила на завод, в доменный цех, сидела бы в сторонке и смотрела на Андрея, на то, как он работает.

Дома она так и делала. Если Андрей садился заполнять дневник доменного мастера, она устраивалась напротив, ставила локти на стол и, уткнувшись подбородком в ладони, смотрела, смотрела на своего мужа. Да, да, это был ее, ее муж, муж. Андрей даже смущался под этим взглядом. «Капочка, — говорил он, — оттого, что ты так на меня смотришь, я вот тоже... смотрю вот в книгу, а вижу фигу». — «Но я-то не фигу вижу, нет». Она рассматривала каждую черточку на его лице, видела, как морщит он лоб, задумываясь, как двигаются у него длинные девчоночьи ресницы, как медленно сползают на лоб мягкие волосы. Когда они уже вот-вот должны упасть, Капа не выдержит — подымет их снова, пропуская пряди сквозь пальцы. Андрей улыбается, целует ее руку, при-

жимается к ее ладони щекой, шепчет: «Капка, милая. Откуда ты такая взялась?»

Когда-то Анна Николаевна укоряла Капу в том, что она слишком рассудительная, холодная и какая-то еще,— Капа уже не помнила какая. Но она оказалась очень нерассудительной, она оказалась легкомысленной, ветреной — посмотрела бы на нее мама теперь. Андрей гораздо рассудительней ее. Если бы не он, у них бы, наверно, все пропало. Он, и только он, заставляет ее садиться за книги, он, и только он, заставляет ее каждое утро идти в институт. «Не хочу, — ноет она, свертываясь под одеялом, — не хочу я больше туда ходить. Надоело». Он все-таки подымет ее. Она сидит на постели сонная, с надутыми губами. «Ну тогда сам меня и одевай». Он ее поит чаем, дает в руки портфель и выпроваживает из дому. Она раз десять возвращается: «забыла тебя поцеловать», «не так тебя поцеловала», «ты мне плохо ответил»...

Так бывает, когда Андрею в вечернюю или в ночную смену. Если в утреннюю, когда он уходит раньше ее, тогда хуже, тогда надо вставать самой, в доме без Андрея холодно, пусто, скучно. Сидит, пьет чай, поставив на столе, прислонив к сахарнице, его фотокарточку, и разговаривает с ней. Иной раз спросит себя: «Может быть, это глупо? Может быть, я поглупела?» Подумает и сама ответит: «Ну и что ж, пожалуйста, лучше быть такой глупой, чем умной по-другому».

Случается — и это тоже зависит от заводских смен — вставать в одно время с Дмитрием Тимофеевичем. Он хмурый, неразговорчивый, но Капа знает: он в общем-то добрый, он весь таинственный. Если вставать им в одно время, она еще с вечера беспокоится, утром подымается до света, готовит завтрак, ходит тихо, бесшумно. Почему-то она робеет перед Дмитрием Тимофеевичем. Это не страх, нет. Капа никого и ничего еще в жизни не боялась. Десяти лет ночью прошла через кладбище, и не на пари на какое-нибудь с девчонками или мальчишками, а просто так, для себя. Она в море на несколько километров заплывает. Она... Да что там говорить о страхе! Нет, не страх и не робость даже. Это скорее уважение, большое уважение. В Дмитрии Тимофеевиче все необыкновенное: и биография его, и то, как он работает, о нем даже отец говорил, — во всесоюзном соревновании по профессиям второе место среди прокатчиков завоевал. И вот портрет

с него какой получился — действительно прекрасный портрет; художнику Козакову повезло, что он с Дмитрием Тимофеевичем встретился. И еще эта Леля, их отношения... Капа очень сожалела о том, что все так расстроилось, о том, что Дмитрий Тимофеевич с Лелей расстался.

Подав завтрак, Капа даже за стол не садится, пока Дмитрий Тимофеевич не позовет: «Что же вы, Капитолина? Один не буду. Сит даун, плиз». — «Сенк ю», — ответит и устроится напротив, как с Андреем. Дмитрий ест, пьет, старается произносить еще какие-нибудь английские фразы. Капе удивительно, до чего же быстро запоминает он слова и правила. Вообще он очень способный, Дмитрий Тимофеевич. Недавно он проводил на заводе всесоюзную школу прокатчиков, отовсюду съехались операторы крупных прокатных станов. Занимались две недели, обменивались опытом, ездили на другие заводы. Сам он об этом ничего не рассказывал, но, прибирая в комнате, Капа нашла копию приказа министра, в котором министр выносил Дмитрию Тимофеевичу благодарность за отличную работу. А читал сколько Дмитрий Тимофеевич! Он читал гораздо больше, чем она, Капа, студентка четвертого курса института. Пусть бы посмотрел кто, какие книги носит он из заводской и городской библиотек. В последнее время Дмитрий Тимофеевич зачитывается Шекспиром. Шесть томов принес и читает подряд один за другим.

Он никогда и нисколько не мешал им с Андреем. Умел вовремя уйти, оставить одних. Был чуткий и деликатный. «Если бы не ты, — говорила Капа Андрею, — я бы в Дмитрия Тимофеевича влюбилась. Не веришь? Вот тебе честное слово!»

Андрей тоже был замечательный — спокойный, добрый. О нем тоже очень хорошо отзывались. Говорили, правда, что он молод еще для настоящего доменщика; это только теперь такие мальчики домнами стали управлять: раньше домны одним дедам-мудрецам подчинялись. Ну ничего, придет время, и Андрей станет мудрецом. Капа смеялась, представляя себе Андрея сивоусым дедом. До этого было так далеко, что этого, казалось, никогда и не будет. Еще много-много лет продлится у них с Андреем только молодость, молодость.

Затянувшаяся зима наконец-то переломилась на весну. По Овражной невозможно стало пройти — ручьи, и не

ручьи даже, а целые потоки мчались по всей улице к оврагу, шумели, пенились, было в них по колено. К центральным улицам пробирались чужими дворами и садочками, лазали через заборы и сквозь заборы, воевали с цепными псами и с их хозяевами. Андрей приобрел Капе резиновые сапоги. Она смеялась: в таких только молочницы из пригорода ездят. «Ничего, ничего, — говорил он. — Дойдешь где посуше — туфли наденешь». — «А сапожищи на палке через плечо?» Смеялась, но надевала, без сапог было нельзя. Однажды она пришла в них к родителям. «Папа дома? — спросила у матери. — Хочу ему показаться». Она ступила на ковер отцовского кабинета грязными сапогами. «Вот, папуля, как вы заботитесь о нас, простых тружениках. Таких улиц, вроде Овражной, в городе если не сотни, то многие десятки». — «Так ведь весна же, весной всегда грязно, чудачка». — «И весной не должно быть грязно, весной должно быть все красиво, очень красиво. Весна же!»

Когда она об этом разговоре сказала Андрею, Андрей не одобрил: «Зачем ты так, Капочка? У Ивана Яковлевича сейчас забот больше, чем когда-либо. Любишь ты людей дразнить». — «Ага! — сказала Капа. — Уже критические замечания. В моем идеальном существе постепенно обнаруживаются недостатки. Вот-вот, с этого и начинается, с мелочей». — «Что начинается?» — «Нормальная семейная жизнь. Дальше будет больше. А когда мы, уперев руки в бо́ки, примемся друг на друга орать или если — еще лучше, — когда ты меня станешь за волосы по полу таскать, можно уже будет говорить: а чего вы от них хотите? Ведь муж и жена». Капа обняла Андрея, прижалась к нему. Ей было так хорошо, как никому, конечно, больше не бывает.

В свободные часы Капа вытаскивала Андрея в сад раскидывать снег — чтобы скорее таял. Когда снег растаял, заставила сделать под вишнями стол и скамеечки. Она каждый день рассматривала почки на деревьях — скоро ли распустятся. Однажды воскресным утром, встав раньше Андрея, влетела в дом с криком: «Вставай, вставай, сейчас же! Что происходит, что происходит!» Выскочил полуодетый в сад за нею. На вишнях теплились только что раскрывшиеся белые цветочки. «Это же, Андрей, наша первая весна! Слышишь? Самая первая». Они целовались. Дед Мокеич, глядя на них через забор, вспоминал свою молодость. Но была она такой далекой, его моло-

дость, что помнилась смутно. Чтобы так вот целовались в его времена, этого и вообще память не удержала. Строже вели себя, думалось ему за давностью времен.

Капа ждала, не могла дождаться, когда уж каникулы-то будут. Андрей возьмет отпуск, и, боженьки мои, никуда не надо будет ходить, не надо будет совсем расставаться — ни на час, ни на минуту, все вместе, вместе, вместе!

Они ходили в кино на каждую новую картину, — хорошая ли картина, плохая — все равно ходили, сидели в зале, держась за руки. Что бы там на экране ни происходило, она ни на минуту не забывала о том, кто сидит рядом с ней: Андрей, Андрюшка, муж. Мой муж! Мой! Ходили в театр. В последний раз смотрели пьесу молодого драматурга Алексахина. Пьеса называлась «Покинутая».

— Стыд, стыд и стыд! — говорила Капа по дороге домой. — Все рухнуло, столько лет жизни пропало — ведь эта женщина очень любила своего мужа, отдала ему все лучшее, что было в ее душе, а он ушел, ушел к другой, молоденькой, — и автор смеет нам говорить: «Ничего! Если нет мужа, то есть коллектив, хорошая специальность. Все хорошо». Да нет же ничего хорошего! Все плохо. Вот и надо показать, как это плохо, как это печально, как это горько. Это будет правда, верно же? Он воображает так: ах, если у нас нет эксплуатации человека человеком, если власть принадлежит народу, если все материальные блага — для народа, то уж чувства, личные счастья и несчастья только этим и определяются, только этому и подчиняются. И неважно — бросил муж жену, бросила жена мужа, кто-то кого-то полюбил, кто-то разлюбил — все мелочь, все чепуха, главное — нет эксплуатации человека человеком. Ну и что ж, что нет. Это очень хорошо, что нет. Я очень, очень горжусь тем, что живу в такой стране, как наша, но не люблю, когда по этому поводу фальшивят и сюсюкают. А ты?

Над головами было майское звездное небо, в улицах летали теплые ветерки, слышалась далекая гармонь и еще дальше — лаяли собаки. Уже шли по своим окраинным улицам.

— У нас тут как в селе, правда? — сказала Капа. — Это даже хорошо: и в городе, и в то же время в деревне.

Когда вошли в калитку, она предложила:

— Посидим на скамеечке. Вечер такой хороший.

Сели, обнялись под пиджаком Андрея. Сидели тихо-тихо, раздумывали.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросила Капа. — Я свою мысль продолжаю. Все из-за пьесы этой. Понимаешь, у нас путают две вещи, отсюда и фальшь часто идет. Послушай меня внимательно. Много тысяч лет существовало человеческое общество, и все эти многие тысячелетия оно основывалось на эксплуатации человека человеком. Один человек вез, другой человек ехал. Революция покончила с таким порядком. Впервые в своей истории человек у нас работает сам для себя. Это огромно, это грандиозно. У меня просто не хватает слов. Это именно и есть революция. Решен главнейший из главнейших вопросов — вопрос производственных отношений. Сам везешь, иной раз очень нелегко везешь, в гору везешь. Но ведь сам и едешь. Ты меня понимаешь, я не путано говорю?

— Понимаю. Это мы еще в школе проходили.

— Не смейся. Дальше труднее будет понимать, потому что у меня у самой это в полном сумбуре. Вот что дальше. Дальше я хочу сказать, что у человечества две извечные и главнейшие проблемы. Первая — вот эти производственные отношения, а вторая — семейные отношения. Они, конечно, связаны между собой. В капиталистическом мире брак часто коммерческая сделка, в свое время это был вопрос династический и так далее. У нас свободен человек и свободны его чувства. Но разве отсюда следует, что если в корне изменились производственные отношения, если нет эксплуатации человека человеком, то все непременно будут счастливы и в личной жизни? Предположим, Андрюша, меня не будет, разве тебе коллектив твоего доменного цеха заменит меня?

— То есть как тебя не будет?

— Просто я это для примера. Я буду, буду, всегда буду. Но говорю: для примера. Мне, например, тебя не заменил бы никто — ни коллектив, ни больные, которых я буду лечить когда-нибудь. Если бы ты покинул меня, я бы ревела день и ночь и ни в какую бодрую пьесу меня бы вставить не смогли. Я не годилась бы для бодрой пьесы, потому что была бы правдивой героиней. А эта, которую мы видели сегодня, фальшивая. Вот я и говорю: проблема личного счастья еще не решена. Еще никто не знает, как поступать, когда тебя не хотят любить или разлюбят. Эту проблему решат люди будущего, те, которым

уже не так остро надо будет бороться за хлеб, за существование. А у нас и в книжках, и в пьесах, и в кино это все торопят, и вот не то получается. Наговорила я тебе, да?

Андрей, помолчав, сказал:

— Все это понятно. Только кое-что уже сделано.

— Ну что, что сделано?

— Ясли вот есть, детские сады, детские дома. Матерям, если они одни остались, легче ведь, когда это есть. И всякое такое.

— Вот именно: всякое такое, Андрюша. Ведь это же, о чем ты говоришь, все к материальному, к материальному относится. Я же тебе сказала — как материальную сторону решать, революция определила, она ее завоевала. Ясли, детские сады, пособия — да, да, матери легче детишек выращивать. Но разве все это ей заменит утраченную любовь, заменит любимого человека, если он ушел к другой? Странный ты, Андрей, рассуждать так.

— Ты во многом, Капа, права, — сказал Андрей, еще поразмышляв. — Но не во всем. Видишь ли, если с тобой согласиться, то надо себе сказать: ничего мы тут изменить не можем, все это дело будущего, повесить руки и сидеть, чего-то ожидая. Если бы так люди рассуждали, то и революции бы не было, то и производственных бы отношений мы не решили. Верно?

— Ничего не верно! И Маркс и Ленин открыли законы развития общества, разработали теорию и практику революции. Все было обдумано, продумано, были ясные программы.

— Ты говоришь: Маркс и Ленин... А были и до них, которые раздумывали над судьбами человечества. Не так, конечно, научно, не так ясно и четко. Начиналось с утопистов-социалистов... Ты проходила это в школе?

— А как же? Томас Мор. Кампанелла. Сен-Симон...

— Ну вот, они тоже рассуждали о будущем, пытались его как-то изобразить. Думаешь, их фантазии не пригодились Марксу и Ленину? Хотя бы для того, чтобы, скажем, опровергать? Разве эти фантазии не заставляли людей задумываться, тоже принимать участие в размышлениях над будущим человечества? Вот и теперь, когда такие пьесы пишут, тоже ведь стараются разрешить вопрос будущего — как там будет с личным счастьем?

— А зачем за сегодняшний день выдают? Так бы и писали: фантазируем, мол, тщимся.

— Я с тобой, в общем, не очень согласен, Капочка, не сердись, пожалуйста. Пьеса, ничего не говорю, плохая, это ты права. Но что писатели думают над такими вопросами, это они делают правильно.

— Так сказать, камни в здание будущего, — усмехнулась Капа. — Для кого-нибудь пригодятся, да?

— Что ж, да.

— Никому это не пригодится. Просто дурной вкус и у автора, и у театра, и у тех, которые всхлипывали в зале.

— А вот раз они всхлипывали, это доказывает, что над такими вопросами надо думать, волнуют эти вопросы людей, хотят люди, чтобы им показали пути возможного разрешения разных жизненных противоречий. Хотят, очень хотят!

— Ну и пусть хотят. — Капа надулась, шевельнулась было, чтобы отодвинуться от Андрея. Но прижалась еще тесней, подумав: а у нее-то нет никаких жизненных противоречий, у нее есть Андрей, есть счастье. И тихо рассмеялась.

— Ты что? — спросил Андрей. — Над чем?

— Так.

И в самом деле, она не знала, чему улыбается в этот поздний весенний час. Ей было хорошо жить, в душе было предчувствие чего-то еще лучшего, сердце сладко замирало.

В степи за оврагом скрипуче кричала птица. Горожанка Капа не знала, что это за птица. В темноте в вишнях гудели жуки. А пахло... Как замечательно пахло вокруг! Во всех садах что-то цвело, во всех садах были вскопаны грядки. Запахи цветов, земли, молодых травок и, наверно, самого ночного воздуха, смешиваясь, сливаясь, составляли ни с чем не сравнимый аромат весны. Раньше тоже были вёсны, целых двадцать. Но Капа не помнит, чтобы они пахли так, как нынешняя. Капа вообще что-то не запомнила тех весен. Ничем они не отличались одна от другой. Приходили, сулили экзамены, проходили, экзамены оставались позади. Так и сливалось одно с другим: весна и экзамены, экзамены и весна. Сейчас тоже вот-вот экзамены. Но разве эта весна — весна экзаменов? Нет же, эта весна другая, эта весна — весна Андрея, Андрюши...

— Андрюшка, — сказала Капа, — неужели ты когда-нибудь поступишь со мной так же? Я буду уже не

очень молодая, уже начну седеть немножко, а ты явишься и бух: прости, Капочка, в чувствах своих не волен, жизнь с тобой прожил счастливо, но вот — новая любовь, кто сможет осуждать любовь, это святое чувство? И уйдешь. А? Неужели ты это можешь? Говори сейчас же! Я ведь тогда жить не буду, я не пойду к коллективу, я уплыву в море и утону. Не смей молчать. Сейчас же чтобы все было сказано!

Андрей схватил ее, посадил к себе на колени, стал целовать, не давая говорить. Но Капа вдруг сникла, руки ее, охватившие его шею, ослабли.

— Тише, — сказала она каким-то странным голосом.— Тише, не надо так. Пойдем лучше в дом. Холодно уже.

Дмитрий еще не спал. Но он уже напился чаю, поужинал и горячий чайник накрыл полотенцем. Капа ушла в спальню. Андрей присел к столу, спросил:

— Ну что нового у вас, в прокатке?

— Леший его знает, Андрюшк, — ответил Дмитрий. — Не пойму ничего. Такое дело, такие решения съезд принял, работать бы только. А вот находятся элементы, которые плетут, понимаешь, что в голову взбредет.

— А у нас, в доменном, элементов нету. Работаем.

— К вам элементы и не пойдут. Им там жарко. У нас попрохладней. Один сегодня... И вот ведь — поммастера, ведь и человек-то самостоятельный, такую шумиху поднял на занятиях по текущему моменту. «Отчего, кричит, статью в журнале не прорабатываем? «Сталь и стиль». Там правда сущая. Директор Чибисов заелся, под демократа маскируется, а сам бюрократ, пора обновлять такое руководство». Слушай, а вот ведь Чибисов-то... Платон говорит — он с ним больше сталкивался, — хороший, говорит, человек Чибисов. Мне лично сталкиваться мало пришлось. Ну придет, поговорит. А что еще в цехе директор будет делать? Я выступил: не о том, говорю, шумишь, дядя. Давай вместе думать, как работу в цехе улучшать. Откуда у тебя идеи такие в голове завелись — менять да менять? А чего его менять, завод плохо, что ли, работает? «Так вот же тут написано!» — и журналом трясет перед моим носом. Я у него этот журнал взял, фортка была отворена, в красном уголке занимались, в фортку и выбросил. Тут он и вовсе взыграл. «Выбросил, а что выбросил? Бумагу выбросил. Правду не выбросишь». Вот напишут, понимаешь, а люди-то читают, читают и вот какие выводы делают. А некоторые ушами хлопают.

Ничего, мол: нормальный разговор, каждый свое высказывает, откровенно, душевно. Нет, Андрюшк, не люблю я горлодеров. Не за дело болеют, а как бы половчей брякнуть что, да так и отличиться. В работе отличайся, вот тут ты весь на виду, ни за что тут не укроешься.

Андрей сказал:

— А вот дядя Платон отличался в работе. Работник он какой, верно? А что с ним сделали? Тот же твой Чибисов...

— Он мне объяснил, Платон-то, — ответил Дмитрий. — Чибисов ни при чем. Чибисов ему все бумаги показал. Он из-за Платона даже выговор схлопотал: что не выполнил приказ раньше. Ну вот. А Платон сам неправильно себя держит. Обиделся, сидит дома, что барбос в конуре, когда дождик. «Никогда, говорит, за себя не дрался, все за других, вот и не умею». А что получилось с ним? Думаю, вот что. Неправильно где-то порешили, что на таких должностях непременно с инженерским дипломом надо быть. Такую инструкцию и вынесли. А зря. Еще спохватятся.

Он ушел к себе в боковушку. Андрей сидел за столом и в раздумье жевал булку.

— Андрей! — Капа приотворила дверь из спальни. — Ну где же ты?

Голос у нее был не совсем обыкновенный, какой-то перехваченный. «Может быть, простыла, — подумал. — Напрасно сидели так долго на скамейке».

Когда он вошел в спальню, Капа плотно прикрыла дверь, прижалась к нему, в глаза не смотрела.

— Андрей, скажи, ты будешь радоваться или будешь ругаться?

— Смотря что. — У него возникла догадка. — Ты?.. — сказал он, чувствуя, как сердце ускоряет бег.

— Да, — ответила она. — Да, Андрей... Милый. Он у нас будет. Он уже есть.

Она была бледная, испуганная и счастливая.

4

Лопата легко входила в рыхлую весеннюю землю: надавишь ногой, и врежется железная лопастина по самые плечики, давнешь руками на черенок, отвалится пласт, подымай его, перевертывай; перевернутый и отброшенный, он сам рассыплется комочками.

Платон Тимофеевич работал ровно, не спеша, но почти и не отдыхая: забывал об отдыхе. Машинально управляясь с лопатой, он думал совсем о другом — не об огороде, не о картошке и помидорах, которые собралась тут сажать Устиновна, не об огурцах и морковке, не о капусте и свекле, ежегодно выращиваемых на этом ершовском участке коллективного огорода, который отведен рабочим и служащим металлургического за городом, по склонам степных холмов, обращенных к морю. Место здесь такое, что отсюда и весь город виден, широко раскинувшийся над морем, и заводы, среди которых металлургический выделяется особо своим дымным цветным клублением, и море лежит перед тобой — за портом и заводами — сверкающее, слепящее; солнце в нем переливается золотыми блестками. Чтобы смотреть туда, надо руку над глазами козырьком ставить, да и то недолго насмотришься.

А Платон Тимофеевич туда и не смотрит. И по сторонам он не смотрит. Он в землю, под ноги свои, смотрит. По сторонам оглядываться — одно расстройство. К кому здоровый, крепкий мужик в компанию попал! Слева, на участке, где стоит будка из дюралевых листов сбитого «мессершмитта» — еще и крест черный с желтым разглядеть можно на одном из листов, — на том участке совсем старый дед, Сидорин, копошится, вахтером доживал свой век на заводе два или три года после войны. С тех пор не работает, дома сидит да вот огородничает. Три улья поставил, по четыре пуда с каждого в прошлом году меду накачал. За дедовым участком — участок инвалида Отечественной войны, бывшего мартеновца. Одна рука осталась, левая, а вот тоже научился с лопатой управляться — рукой и грудью работает, да еще и ногой как-то лихо отбрасывает. А справа две бабки овощ разводят — мать одного инженера из заводоуправления и мать жены этого инженера; живут мирно старухи, обе толстые, встанут рядом — что два каупера; припасов с собой приносят полную двуручную корзину и целый день подкрепляются. И куда днем ни посмотри, всюду на участках — или дед, или инвалид, или старуха. Да еще ребятишки дошкольного возраста. И среди них он, Платон Тимофеевич Ершов. Срамотища! А что делать? На завод идти толкаться? Пропуск выдали бессрочный — можно и идти. Ну, а пойдет, легче от этого? И другим помеха, и себе никакой пользы, одно расстройство.

Легчает вечером, когда на участки, отработав в цехе, приходят главные их хозяева. Тут можно посидеть, порассуждать, новостями обменяться. А днем... Днем бы лучше дома быть. Первые дни, после того как отправили его на пенсию — торжественно, с речами, с сидением в президиуме, — первые дни после этого провел дома. Истосковался. Потом походил на завод. Придет в цех, от печи к печи послоняется, с горновыми поговорит; мастера — родной племянник, инженер Козакова и другие тоже — в глаза ему не смотрят: всем неловко. Бросил ходить на завод. За книги взялся. Множество их накопилось на этажерке, на комоде, на полках, прибитых к стенам на шнурках. Копить книги начинал еще старший — Володя. Но и те книги, что он копил, и самого Володю война сожрала. То, что есть сейчас, это уже дело среднего — Бориса и младшего — Саньки да дочки Любочки, которая в Ленинграде в музыкальном учится.

Вздохнул, расстроился оттого, что слишком уж много книг этих, слишком мало он их прочел, да, видать, никогда все и не прочитает. Выискал на полках одну — о жизни Бессемера, изобретателя конвертера для выплавки стали. Принялся за нее. Не легкая жизнь была у человека, но и написал автор о ней как-то тоже не легко: до того скучно написал — страницу, другую, третью осилишь, а уже долит тебя сон так, что только на диван или в постель.

Заводил несколько раз разговоры с ребятами. Да какие с ними разговоры! Народ занятой, все спешат, спешат. Борис этим годом, в июле или в августе, техникум кончает, Санька — ремесленное. Своя жизнь начнется, самостоятельная. Санька трудный был сынок, без матери рос, годовалого оставила она его Платону, умирая. Нелегко было подымать парнишку — ведь не дома было дело, в чужих местах, в эвакуации, на Урале...

Копает землю, вспушивает грядки Платон Тимофеевич и всю жизнь свою перебирает год за годом. Неужели жизнь его так тут среди грядок и закончится? Дмитрий ругается. «Иди, говорит, борись за себя, доказывай свою правоту, свое право на труд. Должны тебя вернуть на твое место». Яков иначе рассуждает. Яков говорит: «С удовольствием, с радостью пошел бы на пенсию. Осточертела такая работа, когда не то делаешь, что хочешь и что считаешь нужным». Но Платон Тимофеевич ни с одним, ни с другим не согласен. Ходить да за себя ка-

лючить — это пусть кто-нибудь другой такими делами занимается. Но и на пенсии сидеть радости нет. Он иначе поступит. Сейчас, может быть, не время, учебный год кончается, а вот к осени ближе, перед новым учебным годом, пойдет он в техникум или в ремесленное училище, а то и в институт, в вечерний, который при заводе, и предложит свои услуги — учить студентов доменному делу, практические занятия вести, а то и лекции читать. Что он, совсем уж лыком шит, что ли? Приходилось ему на разных курсах и профессоров и доцентов слушать... Слов, может быть, поначалу таких у него не будет, а практического материалу хоть отбавляй.

Вот как он поступит, а не так, как Дмитрий считает.

Давали родственники еще и такой совет: отправляйся в горком, к Горбачеву, свой теперь человек, пусть на завод навалится, на Чибисова. Но это могли советовать родственники не коренной ершовской породы, а зятья, которые школы старого Ершова, Тимофея Игнатьевича, не проходили. Нет у них настоящего понятия о рабочей чести. С первого знакомства попрошайничать лезть — хорошее дело получится!

Платон Тимофеевич загнал лопату в землю, распрямил спину. Отвык за год — с прошлого лета отвычка в пояснице сказывалась. Рубашка на плечах и на спине была мокрая, будто бы ее только что выстирали. Снял, повесил на черенок лопаты. Солнце ласкало плечи, грудь, руки — приятно! Пошел сел на скамейку — два чурбака вкопаны в землю и на них доска, — закурил. Зеленело вокруг. Зеленели ветлы под склоном, где змеился хилый ручеек — остатки какой-то давно пересохшей речки. Под ветлами отдыхали козы, стадо голов в двести, а то и в триста. На валуне стояла часовым старая коза — вся черная, только борода белая. Пастухи — дед и двое пареньков — спали в тени ветел. Платон Тимофеевич вспомнил Библию в протертом на углах коленкоровом переплете, на котором посредине был оттиснут крест. Лет сорок назад ее по воскресеньям листал его дед. В книге той как раз была картинка: козы под библейскими деревьями и библейские пастухи с длинными посохами.

— Тимофеич! — услышал он и обернулся. К нему шел один из горновых со второй печи. Посмотрел на часы: пять. Смена давно кончилась, сейчас начнут труженики подходить с лопатами да граблями, веселее станет. —

Дай-кось закурить, Тимофеич. Забыл табачное довольствие дома. Не идти обратно...

Протянул горновому измятую в кармане пачку.

— И дела же у нас, Тимофеич, — заговорил тот, сделав затяжку. — На твое место-то знаешь кого вчера объявили? Не поверишь. Плеваться станешь.

— Ну, ну, не тяни, выкладывай!

— Инженера Воробейного, Бориса Каллистратовича.

— Воробейного? — Платон Тимофеевич поднялся со скамейки. — Разыгрываешь!

— Хочешь, крест целовать буду? Только его у меня нету, Тимофеич, креста. Приказ, говорю, объявили. Все как следует. Все матерятся, все же знают, что он, тот Воробейный, Герману Герингу чугун выплавлял. Ребята пошли к начальнику цеха — на расчет подавать, тот взвился: «Тогда и вы мое прошеньице, други дорогие, примите. Я тоже на фиг отсюда отправлюсь». Партийное начальство пришло, беседу давай устраивать, разъяснять: так, мол, и так. Товарищ Воробейный, конечно, того, имеет проступки, пятнышки и так далее, но это опытный инженер, знающий специалист, еще до войны в цехе работал. Народ сидит, в пол смотрит, глаз не подымает: ну что, мол, ты нам рассказываешь — в чугуновоз головой твоего крупного специалиста, а не в начальство над нами ставить. Это, так сказать, если с душевной стороны смотреть. А по разуму... Ну что, Тимофеич, ты по разуму возразишь? Взяли человека за штаны гитлеры, заставили служить. Не железный. Твоего брата, Степана, тоже взяли этак, мордой об стол стукнули, служил, верно?

— Но в своих-то он не стрелял. — Платон Тимофеевич стал закуривать новую папиросу.

— И тот в своих не стрелял, Воробейный-то. В общем, ни фига Гитлер с наших печей не получил.

— А это уж не по вине Воробейного. Другие были, которые печи закозлили.

— Он, не он — трудно теперь разбираться: сколько времечка прошло. Смиряемся, Тимофеич. Под его командой служить будем.

Платон Тимофеевич скомкал пачку папирос, которую вертел в руках, швырнул на землю, схватил свою мокрую рубашку, натянул на себя; мокрая, она скрипела, когда надевал. Поднял пиджак с травы и пошел прочь с огородов.

Горновой подобрал скомканную пачку, бережно ее расправил, вытащил по одной сломанные, раздавленные папиросы, разложил их на скамейке, принялся заклеивать. Для этого он отдирал от мундштуков и слюнявил лепестки тонкой бумаги.

А Платон Тимофеевич, пройдя через библейское козье стадо, вступил в окраинные улицы города. Добравшись до автобусной остановки, он на ходу вскочил в уходивший автобус. Двадцать минут спустя уже был в приемной секретаря горкома партии.

— Доложите, — сказал он секретарше Симочке. — Ершов, скажите, пришел, Платон Тимофеевич.

Горбачев вышел в приемную, пожал руку, пригласил в кабинет, говорил, что очень рад видеть, усадил в кресло, и хотя в кабинете было написано, что здесь не курят, достал из стола коробку папирос, предложил Платону Тимофеевичу и закурил тоже. С чем Платон Тимофеевич пожаловал к нему, не спрашивал. Платон Тимофеевич сам заговорил:

— О себе — молчу. Мне жизнь испортили — это ладно...

— Чем испортили? Я слышал, на пенсию отпустили. Что же в этом плохого? Человеку у нас положено отдыхать, если возраст вышел.

— Эх, Иван Яковлевич! — перебил Платон Тимофеевич. — Не отпустили, а выперли. Взашей выперли. Разница же!

— Целое заседание было. Торжественно все. Я даже в газете читал заметку: «Проводы ветерана труда»...

— Ветеран! Да разве мой возраст ветеранский? Он формально такой. А если по силам моим?.. Посмотри на меня, я что — похож на пенсионера? Я здоровый, я работать хочу. Чего меня выперли? Вредительство это.

— Ну что ты, что ты, Платон Тимофеевич, такими словами кидаться. Это уж, знаешь, слишком.

— А сволочь всякую в цех ставить — это не слишком? — Платон Тимофеевич пошарил по карманам, папирос не было, потянулся через стол к коробке Горбачева, опрокинул медный стаканчик с карандашами, взял папиросу.

— Какую сволочь? — спросил Горбачев.

— А такую, которая фашистам служила. Инженера Воробейного.

— Куда они его поставили, на какую должность?

— На мою в обер-мастера́. А ему что фашистам служить, что советской власти.

— Зря так, зря, Платон Тимофеевич, — стараясь его успокоить, говорил Горбачев. — Конечно, это не герой отечества, ваш Воробейный. Но специалист. Он ведь еще в строительстве домен на заводе участвовал, у него печатные работы есть.

— Так, значит, все, по-твоему, правильно — Ершова по шее, Воробейного — в красный угол, под иконы, в пояс ему гнуться: батюшка ты наш, нашкодил, уважь, прими наше полное к тебе уважение — так, что ли?

— Зачем же эта церемония? Пусть чугун выплавляет — и все.

— Да его рабочие в чугуновоз головой сыпанут, тогда что?

— Это брось, это брось! Пережимаешь, Платон Тимофеевич! Эмоции, эмоции, дорогой мой. Может быть, тебе работу подобрать, если дома не сидится? Я тебя понимаю, я бы тоже не смог в домохозяйках пребывать. Так, что ли, подобрать работку? Полегче, более подходящую к возрасту?

— Сам подберу. За это прошу не беспокоиться, — сухо ответил Платон Тимофеевич, взяв еще одну папиросу. — Смотри, Иван Яковлевич, обозлите вы меня все, в ЦК поеду.

— Знаешь, Платон Тимофеевич, — мирно сказал Горбачев. — Мне этим постоянно грозятся: вот, дескать, сидишь ты тут такой-сякой немазаный и что-то извращаешь. Вот поедем в ЦК, и тебе дадут. А почему вы, дорогие товарищи, думаете, что я непременно должен все извращать, все делать не так, все во вред, все поперек людям? А я такой же человек, как и ты, такой же коммунист, я же болею за то же самое, за что и ты. А вот я тоже отправлюсь в ЦК и скажу: неправильно ведет себя коммунист Ершов. Ну и что тогда?

— А чем же я себя неправильно веду?

— Словами кидаешься, дорогой Платон Тимофеевич. Как-то слишком легко они у тебя с губ слетают. Вредительство. Сволочь. Обозлюсь. Пожалуюсь...

— Пожалуюсь — я не говорил. Я не жалобщик, товарищ Горбачев.— Платон Тимофеевич встал, выпрямился, развернулась его крутая грудь.— Я рабочий человек. Мне не на кого жаловаться. Жалуются всякие подчиненные. Я не подчиненный. Я буду призывать к порядку, вот что

я буду делать. Вот эти руки видел? — Он положил обе руки свои на стол ладонями кверху. Ладони были сильные, в старых рубцах и подпалинах. Пальцы узловатые, никто уж их никогда не отмоет, гарь вошла в них навечно, как входит в тело татуировка. — Я сам... сам... И летку разделывать, и фурмы менять, и в печь лазить, если надобно. В тысячу градусов. А теперь пойди у Воробейного посмотри его продажные ручки. До свиданья, Иван Яковлевич. Не договорились мы с тобой.

— Да ты не горячись, обожди.

Но Платон Тимофеевич все же ушел, повторяя:

— Нет уж, ладно, в другой раз.

После его ухода Горбачев вызвал заведующего промышленным отделом, сказал ему, что с металлургического идут сигналы — не все благополучно в расстановке кадров.

— Правильно, Иван Яковлевич, не всё. И я вам это скажу, — заговорил заведующий отделом. — Министерство издает приказ за приказом. Чибисов мне сказал, что хоть с завода уходи. Он с вами об этом не разговаривал? Надо, считает, решительно бороться против такого произвола. Он еще считает, что есть кто-то, кто на заводе мутит воду, а этого мутильщика поддерживают в министерстве.

— Займитесь, пожалуйста. Изучите дело поосновательней. Почему так поспешно отправили на пенсию обер-мастера Ершова, откуда всплыл этот Воробейный? Свяжитесь с партийным комитетом, поинтересуйтесь, что рабочие в доменном цехе думают. Министерство министерством, но и мы не регистраторы событий.

Платон Тимофеевич в страшной ярости шагал на завод, прошел прямо в прокатку, поднялся на стан к Дмитрию; они вышли из цеха, стали расхаживать на пустыре среди железного лома, ржавого и заросшего бурьяном, — прошлогодние сухие стебли торчали жесткой щеткой, между ними подымалась молодая зелень. Платон Тимофеевич подробно рассказал Дмитрию о разговоре с Горбачевым.

— Добряки какие! — У Дмитрия дернулся на щеке шрам. — Того не понимают: сегодня обер-мастера Ершова смололи, завтра Чибисова будут перемалывать. Уж один у нас на занятиях высказывался в таком роде... Послезавтра и до него, чудака, до Горбачева, доберутся. Воевать, Платон, надо. Я тебе сразу говорил: воюй. А ты сидел мокрой курицей.

— В обком идти?

— Иди. В заводском комитете пошуми прежде. Погрозился в ЦК поехать — поезжай, если тут ничего не выйдет. Ты правильно сказал: мы не жалобщики. Мы не жалуемся, не просим, а требуем.

— Ладно. Иди работай. Пораскину мозгами.

Домой пришел, схватился закурить — папирос тоже не было. Решил постучать к соседу, к артисту Гуляеву.

Гуляев стоял посреди своей комнаты с поднятой рукой и произносил речь.

— Очень рад,— сказал он, опуская руку, когда на его машинальное «да» в дверь вошел Платон Тимофеевич.— Очень рад. Знакомьтесь. Это молодой писатель. Пьесы пишет. Товарищ Алексахин.

Платон Тимофеевич подал руку парню, который поднялся из-за стола.

— Присаживайтесь,— сказал Гуляев, подвигая стул Платону Тимофеевичу.

Платон Тимофеевич присел.

— В общем-то, я на минутку. За папироской пришел.

— Пожалуйста,— предложил портсигар Алексахин.— Возьмите у меня, Александр Львович некурящий.

— Вот читаем пьесу, дорогой товарищ Ершов,— заговорил Гуляев, расхаживая по комнате.— У меня была мысль пригласить рабочих, специалистов с завода и почитать пьесу им. И вас имел в виду. И уж поскольку вы пришли, может быть, послушаете, о чем мы тут говорим. Пьеса вас касается, Платон Тимофеевич. И ваши тут есть рассказы, и других доменщиков. И домыслы товарища Алексахина. И мое кое-что. Как, товарищ Алексахин, прочтем пару сценок товарищу Ершову? Он, учтите, сын вашего главного героя.

— Ах вот как! — Алексахин снова поднялся из-за стола.— Так и вы здесь есть! — Он тронул рукой раскиданные по столу листки.— Это замечательно, что вы зашли к нам. Мы с Александром Львовичем работаем коллективно — переделываем, доделываем, уточняем. У вас есть время послушать?

— Давайте,— сказал Платон Тимофеевич, устраиваясь на стуле поудобней. Особого интереса к пьесе он не испытывал. И не до нее ему было. Но нехорошо вот так сразу отказаться и уйти, невежливо, все-таки работники искусства, творческая лаборатория...

Читать стал Гуляев. Он не читал, а играл эту пьесу. Читает за молодого — перед Платоном Тимофеевичем так молодой и появляется, читает за старого — старый виден. И женщиной он мог быть, и рабочим, и инженером. Было это все про жизнь семьи Окуневых, про какой-то завод, неизвестно где, а Платону Тимофеевичу виделся свой завод и родное его, ершовское, семейство. Ну до того много похожего, и все именно так, как было и есть в действительности... Папироса погасла, забыл про нее, зажатую в пальцах. Слушал, слушал о старике Окуневе и не заметил, как это случилось, старик Окунев превратился для него в покойного Тимофея Игнатьевича, в родного батьку. Стоял отец под ударами гитлеровских палачей несгибаемо, гордо: «Стреляйте вы, завтрашние трупы!» Слезу почувствовал Платон Тимофеевич при этих словах — и тогда очнулся, кашлянул, вновь раскурил папиросу.

Два часа читал Гуляев; никто не заметил, как пролетело время, как стемнело за окнами, как затеплились в майском небе голубые звезды. О многом успел пораздумать за эти два часа Платон Тимофеевич.

— Спасибо вам, товарищ писатель,— сказал он, когда чтение было окончено, и кивнул головой Алексахину.

— Разве я писатель? Что вы, товарищ Ершов! — Алексахин смутился.— Я так... Начинающий еще. Значит, нравится?

— Только вот что скажу.— Платон Тимофеевич не ответил Алексахину.— Скажу я вам такое дело. Есть у вас одна слабинка, неясность вроде. Не понять, кто домны для гитлеровцев восстанавливает, кто на стариков доносит и так далее. Все это у вас в тумане, гестапо, дескать,— и вся недолга.

— Вы знаете,— сказал Алексахин, выслушав,— вы правы. Я бывал на заводе, с рабочими некоторыми беседовал. Товарищ Бусырин, редактор городской газеты, мне рассказывал. Александр Львович тоже... А я всех слушаю и тоже чувствую: есть слабинка, и именно в том, о чем вы говорите. Драматизм от этого снижается.

— Драматизм — ладно,— нетерпеливо перебил Платон Тимофеевич.— Главное, чтоб по правде получалось. Про Воробейного слышать вам не приходилось?

— Говорили, что служил такой немцам. Но я им не заинтересовался.

— Зря не заинтересовались. Это и был тот, кто домны восстанавливал. И он, душа моя это чует, батьку нашего предал. Никто бы другой не разгадал хитрый стариковский маневр, никто бы другой не пошел доносить. Сделать это мог только тот, который уже с потрохами себя врагу продал. Продайся в одном, пойдешь по дешевке и в другом. Вот такого изобразить надо. Без него непонятно.

— Знаете, Александр Львович, а над этим стоит подумать,— сказал Алексахин.— Ведь я вам говорил, вы помните?.. Говорил, что непременно должен быть какой-то тип в ходе действия, который бы служил гитлеровцам. Вы сказали, что это не столь важно, подавай вам старика, главного героя...

— Ну, милый, пойми, мне действительно только он, старик, и нужен.— Гуляев засмеялся.— Не буду же я всех играть. О себе забочусь, о своей роли. А пьеса в целом — твоя забота. Ты уж сам смотри, что к чему. Ты хозяин, тебе видней.

5

У Чибисова только что закончилось совещание. Заседали часов шесть, обсуждали возможность увеличения выпуска чугуна и стали при тех же самых производственных мощностях. Начальники цехов назвали немало различных мер, которые позволят заводу увеличить выпуск металла не менее чем на десять — двенадцать процентов. В тоннах это выглядело весьма внушительно.

На совещании много говорили о том, как было отрадно читать в решениях Двадцатого съезда слова о тяжелой индустрии, о том, что она была и остается основой промышленного развития страны, основой ее хозяйственной и военной мощи. А то ведь всякое болтали года за два до съезда — дескать, настала пора, когда уже можно отдать предпочтение легкой промышленности, производству средств потребления, а не средств производства. Даже в печати статьи такого рода нет-нет да и появлялись. Путали какие-то люди головы народу, свои домашние рассуждения выдавали за теоретические открытия, за политику партии. «А я уже приуныл было,— сказал главный металлург.— Думал, в тираж выхожу, рутинером становлюсь. Не согласен был с разговорами о предпочтитель-

ном месте производства средств потребления: проедим государство, а тут нас и накроют шапкой. Но, думал, может, не понимаю чего-нибудь? Может, от склероза это — более гибким умам уступать дорогу надо? Нет, оказывается, гожусь еще...»

Хорошо выступил на совещании Орлеанцев. Он развернул целую программу улучшения работы доменного цеха. Чибисов слушал его и думал: «Кто знает, что это за человек? Неприятный какой-то. Но работник толковый». Вот приходили, помнится, зимой инженер Козакова с Платоном Тимофеевичем. Были у них дельные предложения, очень дельные, обсуждали тогда эти предложения вместе с главным инженером, было отдано распоряжение составить план внедрения. Но если предложения Козаковой, пусть даже дополненные многоопытным Ершовым, сравнить с тем, что предлагает Орлеанцев, преимущества будут на стороне Орлеанцева. Он все обобщил, соединил в широкую программу использования того передового, что появилось за последние годы в доменном производстве — и отечественном и зарубежном.

Новый обер-мастер цеха инженер Воробейный, назначенный на место Платона Тимофеевича, горячо поддержал Орлеанцева, развил некоторые места его программы, сказал, что и это еще далеко не предел, доменный цех таит в себе и другие возможности. Правда, сейчас он подзапущен, много недосмотров, много сметанного на живую нитку. Но это исправимо и будет исправлено.

Молодец, молодец Орлеанцев. Но Чибисов все же сказал: «Только вы в свой план не замыкайтесь. Пусть сами доменщики пошире участвуют в его обсуждении. У рабочего класса смекалка знаете какая! Такое предложат иной раз — и академику невдомек. И инженера Козакову поближе к себе держите. Я услышал тут от вас о многих мероприятиях, которые уже и она предлагала. Это хороший, инициативный работник. Так что с ней прошу работать в контакте. Не обижайте молодежь».— «Разумеется,— с понимающей улыбкой ответил Орлеанцев.— Она — один из главных организаторов в этих работах. Борис Каллистратович, как мне известно, так же думает».— «Конечно,— отозвался Воробейный.— Способная женщина. Будем поддерживать».

Окна в кабинете были распахнуты, табачный дым после совещания быстро вытянуло, на его место входил знакомый, привычный кисловатый запах от доменных

и мартеновских печей. Что там ни говори: не полезно, мол, вредно, отравляет организм и тому подобное, а любил Чибисов этот запах. Возвращаясь из отпуска, проведенного где-нибудь в Кисловодске или на берегу Черного моря, привыкнув за месяц к свежему горному или морскому воздуху, он — пусть иным это покажется странным и неправдоподобным — с величайшим удовольствием вдыхал запах металлургического производства. Запахло серой,— значит, он дома. Своим знакомым, неметаллургам, он говорил: «Удивляетесь? Не верите? А почему же у вас сомнений нет в том, что черту приятен серный запах ада? Ах, для черта это родная стихия! Ну и для Чибисова это родная стихия».

Чибисов походил по кабинету; ноги слушались плохо, затекли; вспомнил врача, который советовал после двух-трех часов работы за столом несколько минут уделять легкой гимнастике. Утром это само собой, а во время рабочего дня тоже необходимо давать организму физическую нагрузку, чтобы кровь веселее циркулировала. Присев несколько раз, поразводил руками. Подумал: «Что там гимнастика! Хоть бы обедать научиться вовремя». Посмотрел на часы: четыре — уже восемь часов без еды. А зарок давал себе — обедать ежедневно в три. Точно в три.

Вызвал звонком Зою Петровну.

— А что, если я пойду и пообедаю? — сказал ей.— Вы не очень будете возражать? — Он вглядывался в ее лицо.— Нет, слушайте,— заговорил уже другим, серьезным тоном,— вы мне окончательно не нравитесь. Вы стали угрюмой, Зоя. Даже больше — мрачной. У вас что-то неладно? Раньше вы мне рассказывали о своих делах. Сейчас — ни слова. Вы что — за Орлеанцева замуж вышли?

Зоя Петровна вспыхнула:

— Кто вам это сказал?

— Об этом многие говорят. Но я не понимаю, почему надо так сильно краснеть? Что тут плохого, если и вышли? Напротив, хорошо ведь, если вы обрели счастье. А он что — с первой-то женой развелся? У него была в Москве...

— Не знаю, — с трудом выговорив, ответила Зоя Петровна.— Ничего не знаю. И замуж я не выходила, Антон Егорович. И не собираюсь выходить. Не спрашивайте, пожалуйста, меня ни о чем. Не надо, Антон Егорович. Ну, пожалуйста.

Она смотрела в пол, кусала губы, и пальцы ее мелко-мелко, складывая вдвое, вчетверо, ввосьмеро, рвали какую-то бумажку. Чибисов растерянно наблюдал за этой работой. Он ничего не понимал. Говорили: вышла замуж, всюду с ним, всюду с ним, счастливая, такой муж! А ни счастья не видно, и замуж, оказывается, не выходила. Значит, что же? Значит, голову ей этот москвич крутит? Безобразие!

Но безобразие-то безобразием, а как тут ввязываться со стороны, если никто тебя об этом не просит? А когда не просят, когда не хотят, чтобы расспрашивали, это означает, что будет лучше, если ты вообще не станешь соваться. Что ж, желание законное.

— Да-а...— сказал он.— Из доверия, как говорится, вышел. Так я пойду пообедаю.

— Антон Егорович! — спохватилась Зоя Петровна.— Вот...— Она показала ему клочки бумаги.— Это была записка. В приемной сидит инженер Козакова. Она вам написала, не примете ли вы ее. Важный, говорит, вопрос. Что ей ответить?

Чибисов взглянул на часы: половина пятого, в животе бурчало. Вздохнул:

— Ну что ж, пусть. Пусть заходит.

Искра, зайдя, принялась извиняться. Она так трогательно щурила глаза, на которые ни за что не хотела надевать при людях очки — даже Виталий мог увидеть ее в очках только случайно, захватив врасплох,— так искренне смущалась, что голодный, усталый Чибисов не мог не улыбнуться.

— Садитесь, пожалуйста, садитесь, товарищ Козакова. У вас, помнится, имя какое-то редкостное?

— Искра.

— Искра?..

— Васильевна.

— Так чем же могу служить, Искра Васильевна?

— Видите ли, Антон Егорович, я, кажется, нашла. — Она открыла свою сумку-портфельчик, достала бумаги. — Помните, вы обратились к инженерам нашего цеха с просьбой подумать, нельзя ли сделать что-нибудь такое, чтобы в вагоне-весах не было жары от агломерата?

— Помню.

— Вы еще говорили тогда, что поручили изобретателю Крутиличу подумать. Крутилич приходил, осматривал все. Это было давно. И, может быть, он что-то сделал, но

нам это неизвестно. А я вместе с машинистами вагонавесов предлагаю знаете что? Только, пожалуйста, не смейтесь.

— Да уж какой тут смех. Меня сейчас щекочи, буду неподвижен, как те каменные атланты... Вы в Ленинграде бывали? Они портик Эрмитажа подпирают. Здоровенные такие мужики. Прошу прощения, отвлекся.

— Мы предлагаем установить в кабине вагона-весов... точнее — всю кабину превратить в это...

— Во что?

— В электрохолодильник. Такой, знаете, магазинный? В молочных бывает, в колбасных отделах. Большущий такой. И регулировать любую температуру.

— Слушайте! — Чибисов рассмеялся. — Это же гениальное решение, Искра Васильевна! Простейшее и гениальнейшее. Вы посрамили Крутилича. Я очень рад. Надо его пригласить и пристыдить.

— Зачем? — Искра замахала руками. — Не надо! Может, еще ничего и не получится.

— Прекрасно получится! Дадим сейчас задание конструкторам и электрикам. Пусть думают, как это все разместить, как оборудовать. Оставьте мне ваши записи. Завтра приду в цех со специалистами. Можно бы и сегодня. Но сегодня еще немного — и умру от голода. Знаете, с утра... У вас там в портфельчике нет завтрака? Такого вкусного, школьного — булка, теплая такая, мягкая, с корочкой, и колбаса. Нет? Жалко. Это я, понятно, не свои завтраки вспоминаю, а моих ребят. Когда учился я, таких завтраков не было. Был хлеб. Черный. И холодная картошка в мундире. Соль. Словом, очень хорошо, что пришли. Дело это двинем. Спасибо. До свиданья, до свиданья. Какая у вас маленькая ручка! Разве такие бывают?

— Это уже не ручки, Антон Егорович. Это лапы. Смотрите — мозоли. И грязные лапы, не отмыть.

— А вы пемзой пробовали?

— Пробовала. Не берет.

— Вот что, — сказал Чибисов, задерживая Искру у дверей. — Сегодня обсуждали план мероприятий по доменному цеху. В основе ваши с Ершовым предложения.

— Антон Егорович! — Искра подняла на него глаза и смотрела строго. — Только потому, что вы сегодня устали, я не сказала вам всего, что давно хотела сказать. И я бы за этим пришла специально. Все, что вы сделали с Пла-

тоном Тимофеевичем, все это неправильно. Вы как хотите, а я написала в горком партии об этом.

— Горком ничего не может сделать. Это дело министерства, Искра Васильевна.

— Тогда я в ЦК напишу. Такого выдающегося специалиста вы отпустили.

— А Воробейный разве плох?

— Платона Тимофеевича никто не заменит. Платон Тимофеевич знает печь как самого себя. Он с ней на «ты». А у Воробейного отношение с печью все-таки на «вы».

После ухода Искры силы окончательно покинули Чибисова. Он свалился в кресло. Зое Петровне сказал:

— Где уж обедать! Скоро шесть. Уж домой поеду — ужинать. На обеде сегодня сэкономил.

— Вы так богачом станете, — ответила Зоя Петровна. — Это ведь который раз.

— Идите домой, — сказал он, надевая кепку.

— Я междугородный телефон заказала. Не могу уйти.

Проводив Чибисова, она села за свой секретарский столик, задумалась. Вот приходится врать уже и Антону Егоровичу. Никакого междугородного телефона она не заказывала. Просто сейчас придет Крутилич и примется стучать на машинке. Орлеанцев привел его несколько дней назад, сказал, что изобретатель пишет объяснительную записку к какому-то изобретению, подготавливает документы к этой записке. Зоенька должна ему помочь. Зоя Петровна предложила: пожалуйста, она ему все перепечатает сама. Но Крутилич сказал, что перепечатывать не надо, оформленного у него еще сейчас нет, он оформляет, печатая. Так мысль лучше ложится на бумагу. И вот стучит тут после ухода Антона Егоровича почти каждый день, будто дятел, одним пальцем. Изводит уйму копирки. Приходится сидеть из-за него, — не оставишь же все секретарское хозяйство на усмотрение чужого человека.

Константин Романович, Константин Романович! Как много новых забот прибавилось в жизни Зои Петровны с вашим появлением на заводе. Сколько неприятностей — и никаких радостей. Что-то надо делать, что-то делать. Вечно это тянуться не может. Кем она стала, Зоя Петровна? Что она такое? На нее уже косятся. Даже подруги — сначала одобряли, думали, что она выйдет замуж за Орлеанцева. А теперь только плечами пожимают: «Удивляемся, неужели тебя устраивает такое положение?

Ни жена, ни невеста». Все это было бы, конечно, неважно, что не жена и не невеста, если бы было чувство, если бы была любовь. Но ничего похожего на любовь нет. Она удобна Орлеанцеву, она у него на побегушках, она у него для всяких организационных дел, он ей уже давно неприятен, ей хочется быть без него, хочется прятаться от него.

Жизнь идет нескладно, Зоя Петровна ничего не успевает. Ни дочкой не занимается, даже и не видит ее, ни по дому ничего не делает. С тех пор как Орлеанцеву дали комнату, он реже бывает у них дома, совсем редко, так что маму и дочку не надо отправлять постоянно в театр или к родственникам. Но зато Зоя Петровна должна ходить к нему. А это так неудобно, так стыдно — в доме живут одни заводские, столкнешься на лестнице, его не знаешь, но он-то наверняка знает секретаря директора, оглядывается — к кому это директорский секретарь так спешит? А директорский секретарь действительно спешит. Ему еще потом надо поспеть домой, чтобы хоть не очень поздно было. Несколько раз не смогла вырваться, оставил у себя. Сколько вздохов, сколько укоризненных взглядов приняла дома Зоя Петровна на другой день! Слов никаких мать не говорила, но и этих вздохов было вполне достаточно. «Бедная ты моя, — сказала ей однажды мать. — Тяжко живешь, доченька. Хоть бы замуж вышла. Сергей Петрович ведь все надеется. Уж принца, видать, не дождаться тебе». Сергей Петрович — инженер, овдовевший несколько лет назад, давно предлагает ей пожениться, говорит, что она не пожалеет. Нет, она не хочет выходить без любви. Молоденькую, ее закрутил капитан одного парохода, вышла за него, бывал он всегда в море, приезжал редко, а через несколько лет и вовсе исчез, оставив ей дочку. Ни слуху о нем ни духу. Писать во всякие пароходства и министерства Зоя Петровна не стала, стыдно было. Вычеркнула этого человека из жизни, удивлялась только, какая сила привела ее к замужеству с ним. Испарился капитан из памяти, даже лица его вспомнить не могла. Ждала, ждала после него любви и — чего дождалась?..

Было уже семь. Крутилич почему-то не пришел. Вот как к ней относятся — даже и не предупредили ни тот, ни другой. Стало жалко себя, одинокую, слабую, глупую, почувствовала, как дрожат губы, попила воды из графина. Когда наливала в стакан, горлышко графина мелко посту-

кивало о край стакана. Вода не успокоила, из глаз сами собой побежали слезы. Долго утирала их платочком, смотрела через окно на заводские дворы, по которым то промчится грузовик, то проползет паровозик, толкая платформы с изложницами или ковши чугуновозов. Попудрила нос, заперла стол, шкафы. Шла домой медленно, пешком: болела голова, в автобусе трястись не хотелось.

— Зоя Петровна, — сказали ей на одном из уличных углов. — Здравствуйте! Прогуливаетесь? Прекрасный вечер. Я вот тоже свободен в театре сегодня. Там идет некая мерзость, от участия в которой я отказался. Вот и гуляю.

Зоя Петровна разволновалась. Перед нею стоял, улыбаясь, сняв шляпу, Гуляев. Она встречается с Гуляевым уже третий или четвертый раз и каждый раз волнуется. Вдруг не то ему скажешь, вдруг ему неинтересно с тобой станет, и тогда подумает, что ты глупая. А когда стараешься быть поумнее, непременно становишься глупой. Правда, в эти несколько встреч не было случая, чтобы Гуляев держался с Зоей Петровной как-то так, будто он состоит из иной материи, чем она; он всегда прост, он равный с тобой. Но бог его знает, может быть, это только игра, может быть, он только делает такой вид, играет в равенство.

— Куда же вы направляетесь? — спросил он, видя, что Зоя Петровна растерянно улыбается.

— Так... Домой иду. С работы.

— Что-то поздно идете. Эксплуататоры ваши начальники.

— Нет, это я сама. Начальники давно меня выпроваживали. Сама.

— Если позволите, я бы присоединился к вам?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Зоя Петровна раскраснелась.

Пошли рядом. Она бросала взгляды по сторонам — смотрят или нет. Видела, что смотрят, Гуляева хорошо знали в городе.

— Почему же вы отказались играть в этой пьесе? — спросила Зоя Петровна.

— Потому что это дрянь. Это пошлость. Это для обывателя. И фальшиво. Вот обождите — рождается новая пьеса. У меня будет такая роль!.. — Он стал рассказывать о старике Окуневе. Останавливаясь среди тротуара, держал Зою Петровну за хвостик черного бархатного

бантика, который был у нее на шее, и горячо говорил то об одной, то о другой сцене. — Вот будет фигура! Вот характер! Цельный, благородный.

— Александр Львович! — выждав минуту, спросила Зоя Петровна. — А вот говорят, что людей целиком хороших нет, не бывает.

— Кто же это вам говорит, Зоя Петровна? Кто?

— Да... разные... много кто.

— Не верьте, Зоя Петровна, не верьте! Так говорят только те, которые сами плохи, которым непременно надо оправдать свои изъяны, и они находят это оправдание в том, что, дескать, все мы плохие, что так издревле ведется, человек есть человек. Не верьте! Я много прожил на свете, и я на этом свете видел множество замечательнейших людей. У каждого из нас свои глаза. Один видит только худое во всем, другой — только хорошее. И то и другое, в общем-то, плохо, но все-таки, если выбирать, я выбрал бы второе. Видеть хорошее — это значительно лучше, чем видеть только плохое. Но еще лучше — уметь видеть и хорошее и плохое в совокупности. Такие глаза не у каждого. Но видеть — это одно, Зоя Петровна. Надо еще уметь и отделять хорошее от плохого и не давать плохому заслонить хорошее. Особенно в искусстве. Искусство, как ничто иное, требует умения отбирать существенное от несущественного. Вот представьте... Грубоватый, правда, пример, прошу прощения. Но вот представьте: знаменитый академик, чудеснейшей души человек, гордость науки, и вот у него изъян — ковыряет в носу. Да, да, Зоя Петровна, знавал я такого корифея — сидит на заседаниях, в президиумах разных и занимается этим самым малоприятным делом. И вот мы с вами, изображая этого чудесного человека на сцене, — что? — обязаны сохранять эту, скажем так, индивидуальную черту его характера? Обязаны? Ну?

— Не знаю, Александр Львович. Я ведь простая зрительница, я над этим даже и не думала.

— Не обязаны! Эту черту ведь можно так натуралистически и так противно использовать, так навязчиво ее преподнести, что прекрасный человек станет зрителю неприятен. Зрителю наплевать будет на его научные заслуги, на его отзывчивую душу — он будет видеть одно: палец, засунутый в ноздрю. Прошу прощения. Есть, Зоя Петровна, хорошие, чудесные люди. У них возможны мелкие недостатки — я их отбрасываю, я их не желаю ви-

деть. И никто меня делать иначе не заставит. Я не надоел вам?

— Что вы, что вы!

— Да, говорят. В этом вы правы, — продолжал Гуляев. — Говорят, что нет идеального героя. Что он вреден, что он ослепляет и усыпляет. А я считаю, что если бы его и не было, то искусство обязано его выдумать. Без идеалов жить нельзя. Искусство не фотография, оно все может, и оно обязано было создать идеального героя. Когда сегодня мне говорят, что нет идеального героя, я иное слышу за этими словами. Я слышу: вы тридцать девять лет занимались воспитанием народа, но человек каким был, таким и остался, ничего-то вы, товарищи большевики, не сумели сделать с человеком. Вот что я слышу. Следовательно, где первоисточник этих теорий? Там, за морями! — Он махнул рукой в сторону порта. — А наши иные мудрецы повторяют чужое. Должен быть такой герой, который бы служил идеалом для людей, на которого бы люди хотели походить, которому бы подражали. Должен. Тем более что таких героев среди нас тысячи и миллионы. Видеть их надо, видеть. И выдумывать даже не придется. Вот возьмите себя, Зоя Петровна... Вы, например, хорошая?

— Не знаю, Александр Львович. Я, ну наверно, нет, не очень.

— Уж раз так говорите, значит, не совсем плохая. Ну есть какие-то изъяны, грешки всякие. В них ли дело? А вы целую семью на себе тащите, держитесь мужественно в волнах житейского моря. Простите, что так говорю. Верно ведь?

— Не знаю.

— Так что... если бы вас в пьесу вписать, что, говорю, актриса играть должна — эти грешки ваши или вашу мужественность, вашу выдержку?

— Ну что вы — меня играть! Такая обыкновенная. Что во мне?

— Что в вас? То, что вы человек. Вот что в вас. Кажется, это ваш дом? В темноте его видел когда-то. Может быть, сейчас ошибаюсь?

Да, это был ее дом. Но пусть бы его еще не было. Так не хотелось прерывать разговор, так не хотелось уходить от Гуляева. То, что он говорил, было совсем не похоже на то, что всегда говорит Орлеанцев. То, что говорил Гуляев, было ближе Зое Петровне. От слов Орлеанцева

становилось горько, терялась радость жизни, терялась вера в себя. По словам Орлеанцева, ты — мелкое, пакостное существо.

Она бы с удовольствием пригласила Александра Львовича к себе, угостила бы его чаем, так бы хорошо посидели на веранде. Но вдруг там Орлеанцев, вдруг его записка — мчись, беги куда-нибудь. Когда, когда кончится это проклятие? И потом — просто язык не повернется пригласить к себе такого человека.

— Итак, благодарен вам за минуты, проведенные с вами, — сказал Гуляев, приподымая шляпу. — Будет премьера, прошу пожаловать!

— Непременно, непременно! — воскликнула Зоя Петровна и стала подыматься по ступенькам крыльца.

6

Яков Тимофеевич выехал в Москву. Два дня назад в театре произошел грандиознейший скандал. Все перессорились, раскололись на два лагеря; жизнь театра, и до этого-то не слишком нормальная, окончательно разладилась.

Читали в тот день новую пьесу Алексахина. Сам автор читал — Гуляев его уговорил. Читал Алексахин неважно, но тем не менее на большинство актеров пьеса произвела впечатление. Слушали с интересом и, когда молодая актриса, играющая героинь, которые от престарелых жен уводят инфарктических мужей, по временам демонстративно фыркала, на нее шикали, говорили, что ей слушать не обязательно, в этой пьесе ей делать нечего, может уйти в буфет. Но шиканье не помогало, тишины все равно не было. Актриса, которую в театре держали только потому, что она жена Томашука, не стесняясь, шептала всем в уши, что возле главного входа на лотке продают свежие огурцы — бегите, а то опоздаете. Томашук все время выходил и приходил, создавая дополнительное беспокойство. Актеры оглядывались на него и нервничали. Худрук, послушав один акт, тоже вышел, возвратился к самому концу, когда актеры уже аплодировали Алексахину.

Первым высказался Гуляев. Он говорил о пьесе восторженно; он сказал, что спектакль по этой пьесе будет новым этапом в жизни театра, что это приподымет театр, как бы прибавит ему свежей крови.

— Наконец-то мы сможем хоть частично оплатить наш долг перед широким зрителем, перед зрителем-тружеником. Мы преподносили ему всякую белиберду, далекую от той жизни, которой живет он сам. Сейчас это будет спектакль, отражающий подлинно народную жизнь.

Выступали другие актеры, высказывались за то, что пьесу надо принять и немедленно приступить к работе над ней. Немало нашлось таких, которые промолчали. Гуляев грустно качал головой, глядя в их лица, в их отводимые в сторону глаза. Он-то знал, почему они молчат. Они бы тоже рады сыграть в таком спектакле, где есть что играть, но они слышали, что Томашук против новой пьесы Алексахина, и считают за благо выждать более подходящий момент для определения собственной позиции.

Но было и несколько явных противников пьесы. Они кричали о том, что ничего нового в пьесе Алексахина нет, что все эти русские деды-подпольщики зрителям приелись, хватит гестаповских зверств и сверхидейных монологов перед винтовочными стволами, хватит чугуна и стали — слава богу, в последние годы искусство отделили от тяжелой промышленности.

Томашук критиковал и высмеивал сцену за сценой.

— Пьеса схематичная, — сказал он в заключение, — слабенькая. Я не говорю о замысле... Здесь напрасно некоторые так категорически высказывались о недостатках замысла. Напрасно, товарищи. Производственная тема будет жить в искусстве. Конечно, не в качестве некоего флюса — в должных пропорциях, но будет. Просто в данном случае пьеса товарищу Алексахину не удалась. Его дарование другого плана — плана интимного, плана полутонов и нюансов. Для того материала, который мы слышали сегодня, надобно перо большого мастера, широкое, крепкое перо, опытное.

Яков Тимофеевич не выдержал болтовни Томашука, выступил горячо и гневно, утратив свою обычную выдержку.

— Я, директор театра, буду бороться за эту пьесу! — заговорил он. — Александр Львович прав. В работе над нею мы приостановим удручающий процесс омещанивания нашего театра, мы вернемся на позиции революционной идейности, которыми всегда были так сильны.

Томашук перебивал его, острил; сторонники Томашука громко хохотали над каждой остротой.

Яков Тимофеевич не узнавал своего коллектива: какой черт вселился в некоторых товарищей, кто и какое шило подсунул им под сиденье?

— Есть другая пьеса, — заговорил худрук, сцепив руки на животе и вращая большие пальцы один вокруг другого. — Актуальнейшая. Нам ее любезно передал один известный автор. Сюжетная канва такая. Человек несправедливо был осужден. Был оторван на какое-то время от жизни. Возвратился. Жена, конечно, давно вышла за другого. Друзья... кто умер, кто тоже исчез, кто отшатнулся. Автор прослеживает жизнь этого человека после возвращения. Нелегкую, сложную жизнь, когда надо преодолевать недоверие к себе со стороны окружающих.

— Жизненная ситуация. Острая, — вставил Томашук. — Можете такую наблюдать в натуре на металлургическом заводе. Инженер по фамилии Воробейный, Борис Каллистратович...

— Ситуация жизненная и острая, — сказал Гуляев. — Да, это трагедия — пострадать без всякой вины. Но инженер по фамилии Воробейный, Борис Каллистратович, не подходит под эту ситуацию! Фальшивая, мелодраматическая трактовка темы!

— Инженер по фамилии Воробейный ревностно служил немцам! — добавил Яков Тимофеевич.

— Это надо доказать! — крикнул Томашук.

— Это было доказано на суде. Суд был открытый. Были свидетели — рабочие. Они помнят все.

— Друзья, — снова заговорил худрук. — Прошу сосредоточиться. Мы поставим этот спектакль как спектакль-песню, как спектакль-поэму. Мы подымем оркестр на колосники. Будут трубить трубы...

— Вот-вот — трубы архангелов! Так сказать, Судный день устроите! — сказал Гуляев. — Только над кем судилище?

— Наш герой, — как бы не слыша Гуляева, продолжал худрук, — с последней репликой: «К жизни! К вечной справедливости! К светлому будущему!» — пойдет... Мы построим пандус, широкой спиралью подымающийся к директорской ложе... Герой пойдет по этому пандусу ввысь, ввысь...

— Вознесем его, так сказать, на небо, — сказал Гуляев. — Причислим к лику святых. Надо только придумать, как добиться натурального свечения нимба вокруг его чела.

— Плоско, — сказал худрук внешне спокойно, но по лицу его, начинаясь под бородой, пошел мелкий тик. — Дорогой Александр Львович, вы утрачиваете чувство прекрасного, чувство нового, вы становитесь заурядным рутинером. Вам следует подумать над своим будущим.

— Намеки! — крикнула одна старая актриса. — Неугодные, несогласные — ищите себе другое место? Может быть, еще шелковый шнур пришлете?

— Чувство нового! — воскликнул Гуляев. — Повторяете зады путаников двадцатых годов и называете новым всю их заумь. Вы этими россказнями только мальчикам и девочкам можете головы заморочить. Но не нам.

Алексахин сидел потрясенный и испуганный. Он не стал дожидаться конца этой сцены, собрал свою рукопись и тихонько удалился за спинами актеров, его никто не удерживал, никто не провожал, никто не посмотрел ему вслед. Даже Гуляев позабыл о нем — так разволновался и расстроился.

Яков Тимофеевич назавтра пришел в горком, но уже не к секретарю по пропаганде, а к Горбачеву. Горбачев сидел бледный, с лиловыми опухолями под глазами, держался за пульс.

— Черт его знает, — сказал он с тоской в голосе. — Два раза стукнет — и пропуск, еще два раза стукнет — и опять пропуск. Ты с чем, Яков Тимофеевич?

— Так зашел, — ответил Яков Тимофеевич. — Был тут в одном отделе. Вот и зашел. Проведать. Плохо, значит, Иван Яковлевич? Лечиться надо, лечиться. На курорт ехать.

— Куда же на курорт? Время не простое. Видишь, в мире какая свистопляска идет. Наступает на нас идеологический противник. Примазывается к нашей критике ошибок времен культа личности и уж все начинает поносить — сверху донизу. — Он снова стал подсчитывать пульс. — Вот видишь, стукнуло и молчит.

Слишком плох был Горбачев. Пожалел его Яков Тимофеевич, так и не стал рассказывать о бедственном положении в театре. Решил выехать в Москву, пойти в Министерство культуры, по знакомым походить; может быть, он и в ЦК попросится на прием. Не мог жить в неопределенности, не мог допустить, чтобы театр развалился или чтобы захватил его целиком и полностью прижимистый Томашук.

Приехав в Москву, устроился в «Гранд-отеле», в номере окнами на солнце. Был июнь, стояла отчаянная жара. В гостинице можно было задохнуться, но в ней Яков Тимофеевич почти не бывал — не хватало времени. Ходил по инстанциям, ходил по знакомым. В инстанциях ему говорили: «Позиций, Ершов, не сдавай. Держись. Не подлаживайся к горлодерам». Но он и сам знал, что позиций сдавать нельзя. Это-то он знал. Но когда заходил разговор о худруке, о Томашуке, снова слышал: «Гибче надо, дорогой товарищ, гибче». Знакомый работник одной из центральных газет, с которым еще когда-то, в молодости, вместе воевали против троцкистов в Донбассе, сказал ему: «Ты, Яков Тимофеевич, пойми, что время трудное. Кое-кто в нашей среде, имею в виду некоторую горстку из числа интеллигенции, не выдержал атаки международной реакции, подтаял, под себя, как говорится, ходить стал с переляку. Это ничего, это пройдет. Справимся. Но ждать, что с этим справляться будет за тебя кто-то другой, не жди. Дерись сам. Давай отпор решительно, как подобает коммунисту. У тебя есть свой участок фронта, держи этот участок, и не просто держи, не обороняйся, а наступай. Ты не бойся томашуков. Кроме горла и нахальства, у них нет ничего. Правда ведь за нами. Пройдет несколько месяцев, от этих витий ничего и не останется. Снова полезут в щель, из которой сейчас вылезли. Только теперь мы уже будем знать: а ведь в этой щели препротивное сидит насекомое». — «Слушай, — сказал Яков Тимофеевич. — А вот мне все говорят: гибче надо, гибче». — «Ну, а что тебе еще могут сказать: бери дубину и крой слева направо и справа налево? Так, что ли? А потом, кто же это тебе говорит — служаки из управлений. А они и сами в затылке чешут: как, мол, быть и что делать? Одни из них устарели для борьбы: ткни его пальцем — и упадет. Другие — молоды, в идейных сражениях не закаленные. Читать Ленина читают, а как к жизни приложить прочитанное — и не очень знают. Верно же? А еще ведь и не каждый хочет в драку лезть. Иной думает — а нельзя ли прожить так, чтобы ни тех, ни других не задеть? В таком случае надо многозначительно молчать, ни да ни нет не говоря. Помнишь, была такая детская игра: барыня прислала туалет, в туалете сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, красного и черного не покупать... Словом — почти что и рта не раскрывать».

Этот старый товарищ, с которым думали они одинаково и положение оценивали одинаково, оказал большую поддержку. Он даже сделал так, что Якова Тимофеевича принял заведующий одним из отделов Центрального Комитета партии. Там разговор был откровенный, прямой и дружественный. Да, нельзя поддаваться, да, нельзя быть мокрой курицей и уступать, надо давать отпор, надо быть большевиком, странно, что он, Яков Тимофеевич, в этом сомневается.

Но он вовсе и не сомневался. Просто, кроме внутреннего убеждения, кроме уверенности в правоте, нужна в каждом деле еще и соответствующая тактика, в тактике тоже нельзя ошибаться, а то возьмешься делать дело и из-за неверной тактики испортишь его. Яков Тимофеевич ехал в Москву именно за этим, за тактикой, а не за убеждениями. Убеждения свои он нес с первых революционных лет, со времен гражданской войны, с комсомольской молодости, он их никогда не менял, он был им неизменно верен.

Находясь в Москве, он увидел, что и там встречаются свои томашуки. Он разговорился с директором театра, собиравшегося уезжать на гастроли. Директор сетовал: «Везем такое старье. А новое — это же немыслимое! Наш худрук забредает в детективщину. Две пьесы с убийствами, одна почти что с изнасилованием... Прямо будто на Бродвее живем».

Однажды, когда Яков Тимофеевич сидел в редакционном кабинете своего старого товарища, туда пришло несколько писателей. Товарищ представил им Якова Тимофеевича, рассказал, с какими трудностями тот столкнулся и у себя в театре, и вот в Москве, в различных управлениях. Яков Тимофеевич добавил к его рассказу и этот разговор о пьесах. «Дорогой друг! — сказал один из писателей. — Не тот сила, кто шумит, а тот, кого не испугаешь шумом. Кто-то, видите ли, шумит и грохочет, использует ситуацию. Эти, кстати говоря, и раньше особой прочностью не отличались... А кто-то тем временем как работал, так и работает, пишет. О народе, о народной жизни, о делах партии, остается верным и себе и ленинизму. Так что не отчаивайтесь, пьесы вам будут, и хорошие пьесы. Дайте только срок». Другой писатель добавил, что пусть Яков Тимофеевич и не сомневается: активизация томашуков — явление сугубо временное. Пройдет

несколько месяцев, и они предстанут перед народом в их неприкрытом, голеньком виде.

Писатели были бодрые, веселые, уверенные в своей правоте, убежденные в том, что никакие крикуны никогда не поколеблют линию партии. Их бодрость передалась и Якову Тимофеевичу. «Нет, все-таки и у меня кое-какая закалочка имеется, — думал он. — Научила меня партия разбираться в обстановке». Он поспешил завершить свои дела в столице и выехал домой с твердым намерением решительно изменить дела в театре.

«Странно, — размышлял Яков Тимофеевич на обратном пути в поезде, — иные люди нарочно не хотят видеть жизни. Ведь только оглянись — вокруг все не так, как мы изображаем на подмостках». В вагоне с ним ехали главный агроном крупного кубанского зерносовхоза, секретарь сельского райкома с Украины, офицер-черноморец; в Донбасс возвращался шахтер — побывал туристом в Чехословакии; бабуся ехала в Красноводск, сын там работает, у него сынок родился, третий уже, вот позвали на внучка посмотреть, погостить. Много было разного народа. Разговоры шли об урожае, о всяческих историях из жизни, о том, как улучшается жизнь, о добыче угля у нас и у чехов. Простые были люди, веселые, жизнерадостные, им нравилась страна, в которой они живут, нравился народ свой родной. Якову Тимофеевичу думалось: вот случись сейчас что, не дай боже, такое... Крикнут им всем: «К оружию, друзья, — вон там винтовки в ящиках!» Расхватают винтовки и, не задумываясь, пойдут в бой. Даже бабуся потащится следом: а ну-ка рану кому перевязать. Только томашуки шипеть будут: «Ага, необученных на смерть послали! Ага, командуете бездарно! Ага...» Во всех случаях жизни томашуки найдут подходящее «ага».

Яков Тимофеевич уже знал, что́ он сделает, возвратясь домой. Вопрос о новой пьесе Алексахина он поставит на партийном бюро театра. А может быть, есть смысл и на партийном собрании обсудить. Пусть коммунисты решают, хороша пьеса или не хороша. Нельзя превращать театр в вотчину Томашука и худрука. Есть общественность, есть трудовой народ, есть партийная организация.

Не знал Яков Тимофеевич одного — что и Томашук не дремал. С командировочным удостоверением, подписанным худруком, Томашук в тот день вышел из поезда на улицу Москвы. У него тоже было немало знакомых и приятелей в Москве, были какие-то дружки и в министерских

инстанциях. Да кроме того, Орлеанцев снабдил его письмами и к своим друзьям. Томашука таскали по квартирам, поили коньяком, хвалили за то, что он проводит свою линию и не поддается отлитому из железобетона директору и всяким прочим, пытающимся командовать искусством, обещали где надо нажать, где надо надавить — и директор этот, Ершов, быстренько будет переброшен на заготовку дров или на руководство какой-нибудь артелью «Дрельпила».

Завели Томашука в дом к одной художнице. Это была хмурая женщина, ни разу не улыбнувшаяся за весь вечер. Из нее то ли всерьез, то ли в шутку разыгрывали нечто вроде ясновидящей. Она вещала скрипучим голосом — будто терлась деревяшка о деревяшку, лицо у нее было несколько косоватое, поэтому личная жизнь вещуньи сложилась, видимо, тоже с перекосом, озлобила обладательницу деревянного голоса и этой лошадиной физиономии, такой желтой, будто сквозь поры кожи у нее проступают капельки желчи.

Томашуку помнилось, что фамилию художницы он когда-то слыхал, но работ ее никогда не видел. Это не помешало ему восхвалять вещуньины полотна, которые якобы раскрыли ему глаза на сущность истинной живописи. Томашук сказал, что они дали его душе гораздо больше, чем квадратные гектары аляповатой продукции ремесленников кисти — этаких выслуживающихся лакировщиков. В доме художницы, говорили только или о ней самой, или друг о друге. Из того, что существовало за стенами этого дома, упоминалось или далекое прошлое, или зарубежное. Если говорили о живописи, то называли имена импрессионистов и сюрреалистов, если поминалась литература, называли Зинаиду Гиппиус, Марину Цветаеву, Аркадия Аверченко... Читали их стихи или вспоминали содержание их рассказов. В этой компании ощущался какой-то тревожный ветерок возможных преобразований, когда, например, партийные организации перестанут вмешиваться в дела искусства и литературы. Говоря об этом, художница утверждала, что она сама себе и партийное руководство, и совесть народа. «Смелая бабенка, — думал о ней Томашук, — ничего не скажешь!»

В разговоре Томашук помянул имя художника Козакова, который из Москвы выехал на периферию. Сказал, что Козаков ему кажется симпатичным человеком. Да, да, ответили Томашуку, был симпатичным, но не устоял,

скатился в лакировку. Слух идет, он блюминги стал переносить на холст, чуть ли не в натуральную величину. Томашук сказал, что не блюминги, а вот представителей рабочего класса Козаков действительно избрал основной натурой для своих работ, портреты пишет. Да, да, сказал кто-то, он видел фотокопию одного такого сооружения Козакова. Этакий человечище на фоне машин. Причем, поскольку человечище уродлив — лицо в шрамах, Козаков пустился на ухищрения. Прямо по старой притче. Послушайте, кто не слыхал. Жил да был один восточный владыка. Он был кос на левый глаз, и у него правая нога была короче левой, следовательно, еще и хром. Пригласил владыка трех выдающихся живописцев своего государства и сказал: «Напишите с меня портрет. Но смотрите у меня, не приукрашивать, а чтобы сущая правда была! Будет сущая правда — награда, не будет сущей правды — не взыщите, казнь». Взялись за работу. Один подумал: «Ну как с такого страшилища правду писать? Это он для кокетства говорит о правде. Всякому приятно увидеть себя приукрашенным». И намалевал красавца — оба глаза на месте, обе ноги нормальные. Взглянул владыка на портрет. И «секим-башка» портретисту. Лакировщик, мол, подлец, не любишь правды. Другой учел печальный опыт коллеги, написал все как есть. Владыка осмотрел содеянное, нахмурился и тоже «секим-башка», без словесного объяснения причин. Догадывайтесь сами. А третий, более смекалистый, вот как поступил. Он владыку изобразил на охоте: поставил правую его ногу на камень, не видно — короче она или длиннее другой, дал ему в руки ружье, владыка держит ружье, упершись локтем в колено, и целится в пасть льва — левый глаз, естественно, прищурен, не видно, следовательно, что он кривой. Вся сущая правда, пройдоха-живописец был щедро награжден.

Томашуку сказка понравилась — записал ее в карманную книжку для телефонов и адресов. Он почувствовал себя превосходно, вращаясь в тесном окружении желтолицей вещуньи, но, едва выходил из ее квартиры на московские улицы, едва оказывался в иных кругах, настроение его падало. Люди работали, люди уезжали на целину, люди подымались в воздух на каких-то чудесных новых реактивных самолетах — у всех было забот, хлопот хоть отбавляй, и забот, хлопот совсем иного толка, чем заботы и хлопоты вещуньи с ее окружением. От противоположных суждений и мнений Томашука кидало из холода в

жар, из жара в холод. По ночам в гостинице он долго не засыпал, слишком тревожно было на душе.

Тревога усилилась, когда он оказался свидетелем того, как в кружке вещуньи составляли список желаемого правления Союза художников, съезд которых предполагался в недалеком будущем — кажется, зимой.

Чего добивался в жизни Томашук? Он хотел быть всегда в театре первым, а не вторым, не третьим, не заурядным. Он хотел отличиться, хотел, чтобы о нем говорили, хотел иметь побольше материальных благ. И если он вступал в борьбу с теми, кого считал догматиками и к которым причислял и Гуляева, то делалось это потому, что они ему мешали, они не давали ему жить, взвинчивали его своей прямолинейностью, примитивностью, неуступчивостью. Им ужасно не нравятся пьесы, которые ставит он, Томашук, и которые несут успех — и аплодисменты, и сборы, и обожание со стороны десятиклассниц и студенток первых курсов. А без таких пьес жить нельзя. Следовательно, надо бороться за право ставить их, надо устранять всех, кто мешает их ставить. Вот как думал Томашук.

Когда же обсуждали список правления Союза художников, какое хотелось бы иметь вещунье и ее друзьям, Томашук увидел, что эти люди думают так же, как думает он. Они, оказывается, тоже хотят быть всюду первыми, хотят захватывать должности, места, видеть в правлении только себя и своих приятелей. Для чего? Тоже для того, чтобы иметь больше успеха, славы, материальных благ; чтобы не искать новых тем, новых решений, не утруждать себя проникновением в глубины жизни — таким хлопотным и требующим величайших раздумий, большой души, большого сердца; чтобы ехать на том, что доступней и менее обременительно.

Составляя список, эти стратеги шумели, ссорились, ругались. Они были непримиримы к противникам — то есть к тем, кого в данное время сопровождал успех. Они поносили всех, кто не они сами. «Такие ведь и тебя в случае чего затопчут, — уныло думал Томашук. — По твоему живому телу пройдут, если споткнешься. Тут все время надо мчаться вровень с ними, не убегая вперед, но и не отставая, или тебя так и шарахнет в сторону — как с чертова колеса».

Из Москвы Томашук уехал только тогда, когда получил строгую телеграмму Якова Тимофеевича, который

требовал, чтобы он немедленно возвратился. Ехал в мягком купе на двоих. Спутницей его была роскошная, несколько выше средних лет дама. Она рассказывала, что привозила с юга раннюю ягоду — клубнику. Это дело нелегкое, хлопотное, но как же быть, если москвичам необходимы витамины? Приходится заниматься и таким делом. Бедные московские жители — они за два часа раскупили весь ее товар: так набросились, так набросились! На вырученные деньги роскошная дама накупила в Москве всякой всячины. Такой всякой всячины Томашук в московских магазинах что-то не видывал. Дама сказала: «А вы думаете, так вам все на прилавки и разложат! Уметь надо покупать, уметь». Она развертывала свои пакеты, раскидывала на диванах купе кофты, юбки, еще бог знает что. Иной раз просила Томашука выйти в коридор — должна кое-что примерить. Он часами торчал в узком проходе, его толкали проходившие в вагон-ресторан или обратно. Он злился на них, злился на эту чертову спекулянтку и на тех, которые допускают, чтобы какая-то живодерка, продающая свою ягоду по полсотне рублей за килограмм, ехала вместе с ним, с деятелем искусства, режиссером, артистом. Ей в исправдоме сидеть, а она наряжается. Да ведь, пожалуй, еще и не себе эта упитанная свинья столько добра накупила; поди, приедет домой — где она там живет? — начнет втридорога сбывать местным дамам. Скотина!

Но прежде всего Томашук злился на Якова Тимофеевича: телеграфирует! Немедленно. Срочно. Какого черта! Что он ему, мальчик, что ли?

7

Воробейный взялся руководить техническим обучением в цехе. Первое занятие решил провести сам. Собрав всех свободных от смены рабочих и специалистов, он держал вступительное слово.

— На металлургических заводах нашей зоны, товарищи, — говорил он, — кампания доменных печей не превышает четырех-пяти лет, после чего их надо ставить на ремонт, тогда как на заводах Урала и Востока она составляет десять — двенадцать лет. В чем дело, товарищи? Почему такая колоссальная разница? Во-первых, низкое качество огнеупоров, отчего и низкая стойкость горна печей.

Во-вторых, труд в «Домномонтаже» организован так, что люди заинтересованы только в быстрейшем окончании работы, но отнюдь не в их качестве. Кладке лещади и шахты уделяется до крайности мало внимания, и при громаднейшем штате контролирующих работников качество кладки и монтажа остается плохим. Кроме того, товарищи, нельзя сказать, что и мы, эксплутационники, работаем безупречно. Нет, товарищи, далеко не безупречно. То, что на третьей печи вырвало фурму, то, что годом раньше на первой печи произошел прорыв горна в районе чугунной летки, — о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о плохом уходе за чугунной леткой и системой охлаждения горна, о недосмотрах, о халатности.

— Специальные комиссии установили, что причины этих аварий в другом, — сказал присутствовавший на занятиях Андрей. — Они зависели как раз от того, о чем вы раньше говорили, — от плохой работы «Домномонтажа».

— Юный друг, — с улыбкой ответил Воробейный. — Во-первых, хотелось бы, чтобы меня не перебивали. Можете взять потом слово и говорить все, что вам будет угодно. А во-вторых, не думаю, чтобы в данном случае вы были слишком объективны: все-таки причастен к этим авариям был не кто иной, как ваш родной дядя.

— Как не стыдно! — крикнула, вставая, Искра. — Это нечестно, возражать подобным образом! Вы не правы и по форме и по существу.

Собравшиеся в красном уголке загудели при этой перепалке.

— Успокойтесь, товарищи! — повысил голос Воробейный. — Все желающие высказаться получат слово. Сейчас позвольте мне продолжать. К великому сожалению, на металлургических заводах нашей зоны, в том числе и у нас, охладительная арматура изготавливается собственными силами и собственной конструкции. Что надобно? Надобно где-то организовать цех для механизированного и качественного изготовления этой арматуры по определенным, проверенным, испытанным стандартам. Дальше — электропушки. У нас, например, мощность их неудовлетворительна. Это приводит к плохому состоянию чугунных леток, к увеличению разгара лещади, к закрытию подлеточных фурм, к снижению давления дутья на выпусках чугуна и к простоям печей. Надо реконструировать наши электропушки, довести давление на поршень до двухсот тонн, за образец взять электропушки печей

номер семь и восемь доменного цеха Магнитогорского металлургического комбината.

Воробейный говорил о необходимости применения новой леточной массы, о ее составе, о новой набойке для чугунных и шлаковых желобов, о шаровых мельницах для тонкого помола составных материалов леточной массы и набойки.

Искра слушала и удивлялась — все это они с Платоном Тимофеевичем подробнейшим образом изложили в своей докладной записке. Только, может быть, не так складно у них получилось, как у него. Почему же Воробейный не скажет об этом, почему не скажет, что все предложения, названные им, уже обдумывались в цехе до него, что переоборудование электропушек вот-вот начнется, моторы к ним получены.

— Одной из наиболее тяжелых, трудоемких и особенно горячих работ является подготовка центрального желоба, — продолжал Воробейный. — Все работы на желобе ведутся вручную. Необходима машина, которая бы удаляла из желоба старую набойку, шлак и чугун и производила бы новую набойку. Дальше, товарищи! Высокая производительность строящихся ныне печей, увеличение числа выпусков чугуна в сутки, отсутствие должной механизации, усложнение ухода за чугунной леткой привели к тому, что и условия работы на горне сильно усложнились. В результате имеем большую текучесть горновых. Не буду приводить проценты, не в них дело. А дело в том, что надо повысить оплату работающим на горне. Первый горновой должен иметь...

— Двенадцатый разряд! — крикнула Искра. — Второй — одиннадцатый разряд, третий — девятый и остальные — восьмой. Это вы хотели сказать, товарищ обер-мастер?

— Да, это, товарищ мастер. И надо соблюдать хотя бы минимум дисциплины на занятиях.

— А я считаю, что надо соблюдать хотя бы минимум объективности! — Искра почувствовала, как вся дрожит от волнения. — Надо было сказать, что обо всем этом уже давно заботился Платон Тимофеевич Ершов.

— И инженер Козакова! — крикнул кто-то из горновых.

— И прежде всего — инженер Козакова, — сказал Андрей.

— Так не выйдет! — снова крикнули из рядов.

— Товарищи, не надо анархии, не надо нервничать! — снова стал нажимать на голос Воробейный. —Никто ни у кого не хочет отнимать лавры. Так делается всегда — кто-то начинает, а кто-то продолжает и развивает начатое другими. Это нормальный путь всякого прогресса. Дело ведь не в том, чтобы установить, кто первый сказал «э». В приоритетах ли дело? Гоняться за приоритетами — это значит проявлять кичливость. У нас часто спорят, кто изобрел радио — русский Попов или итальянец Маркони...

— У нас об этом не спорят, — сказал Андрей. — У нас все, даже школьники, знают, что радио изобрел Попов. Маркони шел за ним следом.

— А в мире об этом спорят, — твердо повторил Воробейный. — Но какой смысл в таком споре? Не важнее ли то, что мы имеем радио? Пользуемся его услугами...

— Так, может быть, если нам скажут, что Репин и Суриков — художники княжества Монако, тоже все равно, товарищ Воробейный? — крикнула Искра. — Тоже нет смысла утверждать, что они русские? Ведь главное-то их полотна? Да?

— И неважно, кто разгромил Гитлера? — крикнул горновой со второй печи. — Мы или англичане с американцами?

— Его громили совместно — и мы, и англичане, и американцы.

— И ты в особенности!

Этот выкрик кого-то из молодых был неожиданным. Воробейный замолчал, на минуту растерялся, снял очки, стал протирать их лоскутом замши.

— Так на чем мы остановились? — спросил он наконец в наступившей тишине.

— На том, что надо устроить перерыв, — сказал кто-то.

— Пожалуйста, — согласился Воробейный. — Пожалуйста.

После перерыва в красный уголок вернулось не более половины слушателей Воробейного. Остальные разошлись кто куда. Андрей с Искрой отправились на свою печь. Через полтора часа Искра должна была сдавать смену Андрею. Он пришел раньше времени специально, чтобы послушать Воробейного.

— Ну и ну... — сказал он, шагая рядом с Искрой.

— Да, да, Андрей Игнатьевич, ужас! И на такого человека променяли Платона Тимофеевича! Как он пожи-

вает? Все собираюсь навестить его, да вот закрутишься и не соберешься. Дочка приехала, еще забот прибавилось. Если бы не одна комната, в которой такая теснота, то мама бы моя осталась тут, все бы помощь. Но негде, негде маме жить. Уехала.

— А вы знаете, Искра Васильевна, кому вашу квартиру отдали?

— Как же! Изобретателю. Крутиличу. Мой муж с ним знаком. Говорит, что это шизофреник.

— Это что же означает, Искра Васильевна?

— Это значит, что он не совсем нормальный, сумасшедший маленько.

— Ой нет, Искра Васильевна. Мои дядья иначе судят. Они говорят, что он нормальный больше, чем надо. Они считают, что он хитрый и сволочной.

— Это, конечно, Дмитрий Тимофеевич так говорит? — Искра улыбнулась.

— Правильно, он, — ответил Андрей. — А дядя Платон говорит: «Какой это изобретатель! Авантюрист!»

— Ну, может быть, он и не авантюрист, но что он изобрел — никому не известно. Просил его директор над охлаждением кабины вагона-весов подумать, ничего не придумал. Сами ведь придумали. Все, что он делал, чепухой оказалось.

— Нет, не все чепухой оказалось, Искра Васильевна. Для него во всяком случае. Под свои прожекты квартиру у вас перехватил. Под них же в технический кабинет попал. Ссуду, говорят, громадную получил. И вообще в гору пошел. Из-за него Чибисову крепко всыпали.

Когда Искра помыла руки теплой водой из шланга и сменила комбинезон на летний костюм, Андрей сказал:

— Капа всегда о вас спрашивает. Зашли бы к нам как-нибудь. С дочкой. У нас садик. Цветы мы развели. Красиво. Не то что зимой. Помните, у нас были?

— Придем. Спасибо. Непременно придем. Капочке привет передайте.

Спускаясь по железным лестницам во двор цеха, Искра встретилась с Орлеанцевым и Воробейным. Орлеанцев ее остановил. Воробейный пошел дальше. Лицо у него было злое: видимо, и после перерыва занятия шли не так, как бы ему хотелось.

— Дорогая, — сказал Орлеанцев с улыбкой, — ну что вы такая взрывчатая?

— Простите, Константин Романович, — ответила Искра твердо и сухо, — мне бы очень не хотелось, чтобы вы называли меня «дорогая». При таких отношениях, как у нас с вами, этой «дорогой» выражают неуважение к собеседнику и стараются подчеркнуть свое превосходство над ним.

— А какие у нас с вами отношения, товарищ Козакова?

— Никаких, вот именно. Так что «дорогая» здесь совершенно неуместна.

— Хорошо. Будем официальны — я уважаю капризы женщин. Дело не в этом, дело в том, что напрасно вы стараетесь подымать шум, напрасно пытаетесь создавать видимость того, что кто-то хочет присвоить ваши и бывшего обер-мастера Ершова заслуги. Прежде всего никаких особых заслуг ни у него, ни у вас не было и нет. Вы слишком молоды для них. Он — стар. А совместно, общими усилиями, вы с ним изрядно запустили цех.

— Докажите это!

— Хорошо, постараюсь. Но, может быть, мы или подымемся наверх, или спустимся вниз? Тут здо́рово продувает.

Они поднялись наверх, зашли в пустую комнату рядом с диспетчерской. Орлеанцев сел за столик. Искра сесть отказалась, встала к окошку, за которым краны выгружали из трюмов рудовоза красную руду.

— Вот вам доказательства... — Орлеанцев принялся перечислять все недостатки на печах, те самые недостатки, о которых Искра когда-то беседовала с Платоном Тимофеевичем.

— Слушайте, — сказала она, перебивая Орлеанцева. — Вам не стыдно? Вы же работали в министерстве, вы же отлично знаете, что эти недостатки общие, а не только нашего цеха. Это недостатки очень многих заводов. И они больше от министерства зависят, чем от работников цехов. Вы что же, не знали там, в министерстве, что на доменных печах слабы электропушки, что не механизирована очистка и набойка канав, что нет хороших бурильных машин для разделки чугунной летки? Вы не знали о текучести горновых, о том, что с оплатой их тяжелого труда надо что-то делать? Вы же именно на таком участке сидели, куда обо всем этом пишут директора заводов. Почему же Воробейный, а теперь вот и вы валите все на Платона Тимофеевича? Это же нечестно.

— Не надо так волноваться. — Улыбка не покидала лица Орлеанцева, и это злило Искру, она готова была сказать ему какую-нибудь отчаянную дерзость. Но, как на грех, ничего подходящего не приходило в голову.

— Надо быть честным, — говорила она упрямо. — Нельзя только о себе думать. Вокруг вас тоже люди.

— Вы так обо мне судите, — сказал Орлеанцев, — будто бы мы с вами старые знакомые. А мы в Москве только на министерской лестнице встречались да тут виделись мельком десяток раз. Нельзя так, товарищ Искра, широковещательно выкрикивать: это честно, а это нечестно. Нельзя. Учтите, что даже самые снисходительные люди обидеться могут. Не злоупотребляйте тем, что вы женщина и что во имя этого обстоятельства вам многое прощают.

— А вы не прощайте. Пожалуйста. Можете не сковывать себя этим, как вы говорите, обстоятельством. Действуйте. Разворачивайтесь. Мы обо всем поговорили?

— Мы еще только приступаем к разговору.

— Ну, а мне пора домой. Моя смена давно кончилась. Мне надо за дочкой в детский сад. Прошу прощения. — Искра ушла, оставив Орлеанцева сидеть за столом.

До центра города она доехала автобусом, по своей Пароходной почти бежала. Только перед самым домом замедлила шаг. А куда, собственно, она так торопится? Чтобы рассказать обо всех сегодняшних обидах Виталию? Чтобы услышать его рассеянное: «Ах, подлецы!» — после чего он будет продолжать какое-нибудь там свое дело?

Искра остановилась. У нее даже слезы появились в глазах от сознания полной невозможности взволновать Виталия ее трудными, тревожными делами, от сознания того, что ему они безразличны. Невольно она шагнула в подворотню — в конце улицы показался Виталий, он вел за руку Люську из детского сада. Искра быстро утерла слезы пальцем, она улыбнулась, прислушиваясь к звонкому говору дочки; слов было не разобрать, только слышался этот радостный светлый звон. Хотела броситься навстречу своим родным, своим милым, хорошим. Но что-то, какая-то сила удержала ее в подворотне, заставила переждать, пока они войдут в подъезд, и тогда понесла ее обратно, через центр, к Овражной.

— Искра Васильевна! — воскликнула Капа радостно. — Хорошо как, что вы пришли. Вам Андрей нужен?

— Нет, Капочка, я к вам. С Андреем Игнатьевичем

мы сегодня виделись, я смену ему сдавала. Я пришла проведать вас.

— Он вам уже сказал об этом?

— О чем, Капочка? Не понимаю.

— Ну об этом... — Капа, смущаясь, зашептала Искре на ухо.

— Что вы, Капочка, мужчины об этом никому не говорят! Они стыдятся этого. Я вас поздравляю, Капочка, радуюсь за вас. Это такая радость — дети... Бывает трудно, тяжело, а придешь домой, увидишь ее, Люську, — и сразу светлее на душе. Все вокруг рассеивается, уходит, отступает от тебя, как будто его и нет — только она, она. И ты.

Они устроились в саду на скамеечке возле круглого стола под вишнями. Капа расспрашивала Искру о сокровенных материнских делах.

— Понимаете, — оправдывалась она, — по учебникам-то я все знаю. Я и еще всяких книг накупила. Но в книгах разве предусмотрено все?

Искра охотно принялась рассказывать о своей Люське, о том, как растила ее. Но у Капы, уже приобщившейся к медицине, были такие вопросы, которые приводили Искру в замешательство.

— Не знаю, — отвечала она удивленно. — Не помню. Не заметила. Нет.

Они сидели до тех пор, пока не стало смеркаться. Искра сказала, что уже свежо. Капа предложила зайти в дом. В доме никого не было, только стучали старые ходики. Когда делали ремонт, Капа оставила их на прежнем месте, на стене. Она сказала тогда Андрею, что, может быть, ему приятно будет слушать стук маятника, он, наверно, привык к этим ходикам и огорчится, если их выбросить. Андрей сказал, что она может их выбросить, он не огорчится. Но она их все-таки оставила.

— Бежит время, — сказала Искра, когда Капа зажгла свет. — До чего же быстро бежит. Уже восьмой час. Конец дню. День за днем пролетают — не успеваешь считать. Так и жизнь пролетит, Капочка. Я уже один седой волосок нашла у себя. И выдернула.

— У вас странные мысли, Искра Васильевна, — сказала Капа настороженно. — У вас неприятности, наверно. Что-нибудь на работе?

— Да, Капочка, да, на работе. — Искра стала рассказывать всю эту запутанную историю с увольнением Платона Тимофеевича, с появлением в цехе инженера Воробей-

ного; рассказывала о том, как разрабатывали они с Платоном Тимофеевичем план улучшений в цехе и как вдруг Воробейный заговорил об этом плане, будто о собственном; рассказывала о разговоре с Орлеанцевым, о том, как странно он себя держит с ней, — будто нарочно хочет обидеть.

Капа возмущалась, говорила, что так оставлять это дело нельзя, что надо указывать нахалам их место.

Искра нашла полное сочувствие и полное понимание. Ей стало легче. Но ненадолго. Как ни обманывала она себя, все-таки она знала, что не к жене Андрея шла, не ее сочувствия и понимания искала.

Уже уходя, прощаясь с Капой за калиткой, она спросила:

— Да... А Дмитрия Тимофеевича что — нет дома?

— Он сегодня в вечернюю смену.

— Ах, так! Ну еще раз до свиданья, Капочка, до свиданья. Желаю вам всего-всего наилучшего. — Она обняла и поцеловала Капу.

Когда пришла домой, Люська уже спала за ширмой. От этой ширмы, от Люськиной кровати, от ее кукол и игрушек в комнате вовсе стало не повернуться, ходить было нельзя, надо было протискиваться среди нагромождения всяческих предметов.

Виталий сказал недовольно:

— Что-то ты, Искруха, сегодня загуляла. Я уж и в цех позвонил. Сказали, давным-давно ушла.

— Меня в парткоме задержали, — не зная почему, вдруг соврала Искра и сама испугалась этой лжи, почувствовала, что краснеет, катастрофически краснеет.

Но Виталий этого не заметил.

— Хуже нет, когда жена твоя общественница, — говорил он ворчливо. — Я у тебя, Искруха, в домработника превратился. Обеды вари — я, посуду мой — я, в комнате прибирай — я, Люську отведи в садик и приведи обратно — я.

— Но ведь пойми, Виталий... Я бы с радостью, ты же знаешь...

— А я ничего и не говорю. Я не для претензий это, я для констатации факта. Так вот, Искруха, хоть поздно, но все же ты пришла и сейчас позволь удалиться мне. За мной Александр Львович заходил, он меня ждет в городском саду. Он и один молодой драматург хотят почитать мне пьесу и посоветоваться насчет оформления спек-

такля. Это же интересно — попробовать оформить спектакль. Он говорит, пьеса о рабочих. У меня, дескать, должно получиться. Я, он считает, теперь хорошо чувствую тему рабочего класса. Ну, будь здорова, ложись спать. Не жди, непременно ложись. Ты себя только изматываешь этими ожиданиями.

— Но почему ты их не пригласил к нам? Почему у нас бы не почитали? И я бы с удовольствием послушала.

— Ну ведь, Искруха!.. — Он обвел рукой вокруг, указал на ширму. — Сама понимаешь. — Коснулся губами ее лба и ушел.

Искра села за стол, и голова ее упала на руки. Жить становилось все труднее.

Сколько она просидела так — не считала. Посмотрела на часы — скоро на заводе окончится вечерняя смена. Встала из-за стола, постояла, невидящими глазами глядя на скатерть, надела жакет, поцеловала спящую горячую Люську, погасила свет и вышла. Она говорила себе, что идет прогуляться, что надо освежить голову, и шла по направлению к заводу. Она уже была у моста, когда из проходных стали выбегать к автобусным остановкам. Она тоже прибавила шагу, чтобы не пропустить, не прозевать...

Кого не пропустить? Кого не прозевать?

Остановилась, и ей стало страшно. Что же она делает? Для чего это? Какой ужас! Какой стыд!.. Немедленно назад, немедленно домой!

И снова в этот день она почти бежала, на этот раз бежала от самой себя, от своего безумия. Вбежав в комнату, она бросилась к Люськиной постельке, опустилась возле нее на колени, прижалась к теплому детскому плечику головой. И уже совсем не знала, что же ей делать.

8

Крутилич сидел за фанерными стенками, которыми его место отделялось от общей комнаты технического кабинета. На фанерной перекошенной дверце, ведшей в этот закуток, он попросил вывесить табличку. Вывесили табличку с надписью: «Заместитель заведующего т. Крутилич». Это было не совсем-то, чего бы хотелось. Хотелось, чтобы написали и его имя-отчество или хотя бы инициалы проставили. Но никто никогда по имени-отчеству его

не называл, никому это имя и это отчество не были известны, так и заказали табличку: «т. Крутилич».

Стол Крутилича был завален папками и бумагами, они лежали толстыми стопами. На этом столе сосредоточивались рационализаторские предложения рабочих и инженерно-технических работников, поступавшие из цехов. Некоторые бумаги были уже с резолюциями заведующего, их надо было отдавать на консультацию. На большинство никаких резолюций не было, судьбу их должен был решать Крутилич. Он радовался, когда видел, что предложение или ошибочно по замыслу, или безграмотно технически, или такое пустяковое, что и обсуждения не заслуживало. По таким предложениям он писал подробные заключения, докладывал заведующему, рассказывал о них, как об анекдотах, сотрудникам кабинета или шел к Орлеанцеву, чтобы и ему рассказать с издевкой: вот, мол, какие титаны ума, какие гиганты! Дельные, обстоятельные, ценные предложения его раздражали и озлобляли. Он откладывал их в сторону: «Ничего, голубчики, — думал по адресу авторов, — обождете». Он вспоминал те мытарства, какие испытал в жизни сам, и готов был сделать все, чтобы и другие шли от мытарств к мытарствам. Он ненавидел счастливчиков и удачников, считая счастливчиками и удачниками всех, кто хорошо работал и за свою работу получал хорошее вознаграждение, всех, кто добивался задуманного, всех, кому хоть что-нибудь удавалось сделать сверх того, что от них требовалось по должности.

В один пасмурный июльский день перед Крутиличем сидел молодой рабочий из прокатки — нагревальщик, или, как эту профессию почему-то называют в цехе, сварщик. Сварщик говорил о том, что у него возникла идея изменить способ нагрева слитков в нагревательных колодцах, он предлагал сделать так, чтобы слиток был как бы стержнем электрической катушки и накалялся под воздействием токов высокой частоты. Крутилич был далек от электротехники, предложение надо было посылать на консультацию специалистам. Он только мог, помня кое-что из физики, судить об этом предложении в самых общих чертах. Теоретически оно, по его мнению, было осуществимо. Неизвестно, насколько его можно применить практически и даст ли это должный экономический эффект, но уже то, что оно не было безграмотным, раздражало Крутилича.

— Где вы почерпнули такие сведения? — спросил он, разваливаясь в замзавовском полумягком полукресле. — Я говорю о знаниях, которые дали вам возможность теоретизировать.

— В школе, товарищ Крутилич. Я десятилетку окончил в прошлом году.

— Десятилетку окончили? И не пошли учиться дальше? Странно, молодой человек.

— Не выдержал в институт. Двух баллов не хватило.

— Вот-вот, ленились, значит. Привыкли к легкой жизни, к тому, что мы, отцы ваши, за вас все трудное преодолеваем, к тому что «молодым везде у нас дорога». Не выйдет, дорогой товарищ! Только собственным горбом можно свое будущее завоевать. Да-с!

— А я не жалею, что не попал в институт, — ответил сварщик, недоумевая, за что ему такая нотация читается. — Мне работа нравится.. Я для Ершова, для Дмитрия Тимофеевича, нагреваю слитки. За ним поспевать — поворачиваться надо.

— Вот и поворачивайтесь, юноша. А ваше предложение мы изучим, обдумаем, обсудим.

— А долго обсуждать будете?

— Дело серьезное. Лихим кавалерийским налетом его не решишь. Месяц, два, три... Спешить вам некуда, у вас еще вся жизнь в запасе.

«Тоже мне — гусь! — сказал мысленно Крутилич, когда молодой сварщик ушел. — Тут думаешь, думаешь, голову ломаешь и ломаешь, чтобы родилась и оформилась какая-нибудь идея, а он учебников начитался — и вот уже новоявленный Эдисон. Погни, погни спинку, милейший, поживи в конуре, поголодай, да пусть жена от тебя сбежит, тогда и изобретай, тогда и ходи со своими предложениями».

В середине дня ему позвонил Воробейный:

— Крутилич? Привет вам, мой дорогой! Может быть, соблаговолили бы зайти к нам, в доменный?

— А что там у вас стряслось?

— Хотел бы посоветоваться с вами, надо бы одно дело обсудить.

— Если надо, — ответил Крутилич не без важности, — прошу ко мне. Слишком много работы, чтобы прогуливаться по цехам.

В трубке помолчали. Потом Воробейный все же согласился:

— Хорошо, я приду.

«Приди, приди», — подумал Крутилич злорадно. К Воробейному он относился неприязненно с того вечера в доме Зои Петровны, когда Орлеанцев произносил тост за этого инженера и возвеличивал его как несправедливо пострадавшего мученика. Он считал, что Воробейного двигают в гору не по заслугам.

Когда Воробейный пришел, Крутилич принял позу человека утомленного государственными делами. Он старался придать глазам своим усталое, умное выражение.

— Присаживайтесь, — сказал он. — Я вас слушаю.

Воробейный, прежде чем сесть, походил своей мелкой семенящей походкой по закутку Крутилича, а когда наконец сел, то сказал:

— Не меня тут надо слушать, товарищ Крутилич, а совместно принимать какие-то меры, действенные и неотложные. Вы помните, Чибисов давал вам задание насчет вагона-весов?

— Было такое бредовое задание, если его можно назвать заданием.

— Оно не бредовое, — сказал Воробейный. — Оно подсказано жизнью. Там действительно немыслимая жара.

— Ну и что же? У горна еще бо́льшая жара, а сделать и тут ничего невозможно.

— А в вагоне-весах сделать кое-что возможно. А главное — уже и сделано. И кем? Козаковой, мастером с третьей печи.

— Что же, интересно, ею сделано? — Взгляд Крутилича стал еще утомленней, еще умней и значительней.

Воробейный рассказал о предложении Искры смонтировать в кабине вагона-весов электроохлаждающее устройство.

— Вы понимаете, Крутилич, что получится? Получится, что профессионал-изобретатель не справился с задачей, а девчонка, едва нюхнувшая доменного производства, ее успешно решила. Это удар, серьезнейший удар!

— По чему?

— Не по чему, а по кому! И прежде всего, Крутилич, по вам.

— А что же вы так обо мне хлопочете? Вы обо мне не хлопочите. Сам как-нибудь не пропаду.

— Напрасно вы демонстрируете такую непомерную амбицию. Нам не ссориться надо, а работать, в контакте работать, Крутилич.

— Так прямо и скажите, товарищ Воробейный, — на лице Крутилича появилась улыбка, схожая с улыбкой Орлеанцева, понимающе-снисходительная и немножко ироническая, — так и скажите, что вам нужен контакт, то есть, короче говоря, моя помощь.

Воробейный насторожился. Ему показалось, что Крутилич, повернув разговор в таком направлении, завлекает его в какую-то ловушку, что Крутилич хитрее, чем кажется и чем о нем думает и говорит Орлеанцев.

— Причем тут помощь? — сказал он. — Просто я считаю, что не холодильники надо ставить, а какую-нибудь систему вентиляторов. Вот бы вы и занялись этим.

— А пока будем заниматься вентиляторами, — Крутилич усмехнулся, — предложение насчет холодильника полежит, так?

— Ну уж я не знаю... Вам виднее, товарищ Крутилич. Видимо, да. Можно, конечно, и параллельно работать...

— Но лучше пусть полежит? — Крутилич не мог скрыть злорадства. Он улыбался во весь рот. — На что вы меня толкаете, Воробейный? Подумали бы вы об этом, советский инженер! Ведь это же низкая подлость, верно? И кто вам дал право думать, что я пойду к вам в соучастники в таком деле? Нет, уважаемый, нет. Я беспартийный, но я знаю, что на это место меня поставила партия. Да-с, партия! Я стоял и буду стоять на страже интересов советских рационализаторов и изобретателей. Это мой святой долг, и я его выполню.

— Вы ненормальны, — сказал Воробейный. — Вы с удивительной ловкостью извратили весь мой разговор с вами. Это же провокация — поворачивать дело так.

— Не пугайте словечками, не пугайте, милый. Это вы толкали меня на провокацию. Единственно, на что я пойду, это на то, чтобы не разглашать наш разговор, никуда не сообщать о том, как вы мыслили себе так называемый контакт со мной. Не волнуйтесь, я не предатель. — На последние слова Крутилич надавил особо, пристально глядя прямо в глаза Воробейному.

— Как знаете, как знаете, — сказал Воробейный. — Но если дойдет до разбирательства где-либо, я назову именно это слово, имейте в виду, я скажу о вас еще раз: провокатор, да, да, да, именно провокатор. Я в вас грубо ошибся. Я считал вас иным человеком. — Он встал и вышел.

Крутилич соскочил с кресла и тоже принялся расхаживать по своей комнатушке. Он был не на шутку встревожен тем, о чем говорил Воробейный. Это же действительно будет крупный скандал, если осуществится предложение Козаковой. Найдется немало желающих посрамить его, Крутилича, — дескать, хваленый изобретатель, а пустого дела не мог решить. Но он же, черт возьми, пытался решить это дело. Никакая система вентиляторов там не поможет, будет ветер, будет простуда, а жара останется. Ну как не додуматься было до электроохлаждения? Это же не что иное, как технические дважды два. Воробейный, конечно, прав — пострадает от этого прежде всего престиж Крутилича. Но и сам Воробейный хорош. Давай, мол, организуем бандитскую шайку по борьбе с Козаковой. А потом, случись что, милейшим образом тебя предаст. Нет, с такими лучше не связываться. Орлеанцев утверждает, что, мол, главная ваша ошибка, Крутилич, заключается в вашем одиночестве, вы одиночка, работаете в одиночку. Что ж, может быть, может быть. Но уж лучше такая ошибка, чем ошибка сообщничества с типами, подобными Воробейному.

Он стал думать, что же можно сделать, чтобы предложение Козаковой не осуществилось. Ничего придумать не мог. Очень расстроился.

Вечером к нему домой пришел Орлеанцев.

— Послушайте, — сказал Орлеанцев, осматриваясь в квартире Крутилича. — Послушайте, вы не последовали моему совету, вы пренебрегли им — и что же?..

В комнатах плохо пахло, всюду была раскидана какая-то дрянь, на кухне стояла грязная посуда с присохшей картошкой и капустой, постель на диване была не застелена, пыль лежала на подоконниках, на мебели. Резиновые подошвы ботинок Крутилича исчертили паркетный пол черными грязными полосами, паркет был зашаркан, запакощен.

— Опять у вас хлев, Крутилич. Прошу извинить за прямоту. Нельзя же так, вы инженер, ведущий инженер. Или женитесь, или заводите домоуправительницу. Третьего пути нет, он приведет вас к новому падению. Я вам больше помочь не смогу.

Крутилич угрюмо молчал. Ему не нравились эти назидания Орлеанцева. Он и сам видел, что и в новой квартире, недолго пожив по-человечески, снова живет по-старому. Без женской руки в его жизни ничто не изменится,

Но где взять такую женщину, которой можно было бы верить, которая бы не обкрадывала, не обманывала тебя и не шпионила за тобой.

— Нельзя без женщины в доме, — сказал Орлеанцев.

— А где я ее возьму? — ответил Крутилич.

— Так бы и сказали, дружище! Раньше бы сказали. — Орлеанцев засмеялся. — Беру заботы на себя. А теперь вот что. Присядем, что ли? — Он развалился в кресле, нога пришла в привычное качающееся движение. — Ну что вы какой неуживчивый! Что за скандал вы учинили с Воробейным?

— Он думает, что если он подлец, то и все подлецы, — быстро проговорил Крутилич. — Ошибается. Не на того наскочил.

— Вы не так его поняли. Я с ним сейчас разговаривал. Он пришел, чтобы предупредить вас о возможной неприятности. Ведь все-таки действительно директор давал вам поручение найти способ понизить температуру в вагоне-весах. Я даже документ такой видел.

— Какой документ? — Крутилич насторожился.

— Записка директора главному инженеру с просьбой проследить, как вы это задание выполняете. Следовательно, и главный инженер о задании знает. Да, собственно, весь доменный цех знает, что вы брались за это дело, но у вас ничего не вышло. Вот так, милый. Воробейный хотел вам добра.

— И что же, значит, нужно было принять его руку и вместе хоронить предложение Козаковой?

— Что вы, Крутилич! Какие слова! Да вы, гляжу, шутник. Разве можно хоронить ценное предложение?

— Но он именно этого хотел. Давайте, говорит, вентиляторы выдумывать, а предложение Козаковой — под сукно...

— Это следствие того, что у вас расстроена нервная система, Крутилич. Вам надо в отпуск, надо на курорт. Куда-нибудь в Сочи. Вы бывали в Сочи? Нет? А надо побывать, надо. Придете на пляж... Какие милые существа населяют этот сочинский пляж! А можно и в Сухуми. Вы бывали в Сухуми?

— Я нигде не был, я не бывал на курортах, слышите! — зло выкрикнул Крутилич. — Вы издеваетесь надо мной, спрашивая так. Я бывал раза три в местных домах отдыха, каждый раз по двенадцать дней. И все, все! Я

никогда не ездил в мягком вагоне. Я не говорю о международном. Я... Не хочу говорить об этом!

— Почему не говорить? Это все достижимо. Только надо вести себя умнее. Не устраивать истерик, не отталкивать друзей. Борис Каллистратович объяснил мне, что он вам совсем иное хотел предложить. Он хотел предложить, чтобы вы с Козаковой вместе работали над охлаждением вагона-весов.

— А как же это можно? Она же не согласится.

— А вы согласны? Вы, я спрашиваю, вы?

— Так нет... Я что?.. Не от меня...

— Определенней, пожалуйста.

— Я говорю определенно — не от меня зависит.

— Согласиться или не согласиться. А кто же это будет делать за вас, Крутилич?

— Я вас, Константин Романович, окончательно не понимаю. Если Козакова сделала предложение, она его автор, она его и доведет до конца. При чем тут я?

— При том, что Козакова неопытна. При том, что у вас ум и опыт изобретателя-профессионала. При том, что Козаковой надобно помочь. Вот при чем вы. А главное, Крутилич... — Орлеанцев поднялся с кресла, смотрел на Крутилича сверху вниз, смотрел без привычной улыбки, на лице было жесткое выражение, он не допускал даже мысли, что ему могут возразить. — Главное, Крутилич, в том, что среди бумаг, которые мне передал для разбора мой патрон, я нашел машинописную копию вашей докладной на имя директора. Вы ведь тоже предложили, и раньше Козаковой, и тоже электроохлаждение. Забыли, что ли?

Крутилич опешил. У него даже рот раскрылся. Он растерянно смотрел снизу на величественного, всемогущего Орлеанцева.

— Вот, — сказал Орлеанцев, извлекая из кармана пиджака сложенную вчетверо бумажку. — Почитайте и припомните.

Крутилич схватил бумажку, развернул. У него тряслись руки. Это была копия докладной, в которой кто-то сообщал директору завода о возможности решения трудной задачи понижения температуры в вагоне-весах. Этот кто-то, как свидетельствовала внизу машинописная подпись, был он, Крутилич. Документ был помечен двадцать шестым января, слева на полях у него были пробиты две круглые дырочки для подшивки в скоросшиватель, из

которого он, видимо, и был вынут Орлеанцевым. Стояла чья-то чернильная загогулина: с подлинным верно.

— Вот так, дорогой друг, — сказал Орлеанцев, забирая у него из рук бумажку. — Коротковата у вас память. Что же вы молчите? Ваш это документ или нет? Деньги за изобретение вам будут причитаться или не вам? Может быть, и в самом деле несколько десятков тысяч уступим молодой симпатичной даме — товарищу Козаковой?

— Несколько десятков тысяч? — шепотом переспросил Крутилич.

— А как вы думали? Будет патент. Изобретение пойдет и на другие заводы... Да, предстоят крупные деньги.

Крутилич схватился за голову. Обошел, обвел вокруг пальца его Орлеанцев, взял мертвой хваткой за горло. Это не дурак Воробейный. Это настоящий дьявол. Крутилич, конечно, понимал, откуда мог взяться такой документ, он понимал, что завтра Орлеанцев его обнародует, поднимет шум, объявит, что кто-то затер еще одно предложение Крутилича, как затирали раньше; возможно, на этот раз прямым виновником зажима будет объявлен Чибисов, которого Орлеанцев ненавидит, о чем нетрудно догадаться. Все, все будут на стороне обманутого Крутилича, в этом и сомневаться нечего. Козакову пожалеют, — бедняжка, мол, не повезло, изобрела уже изобретенное. Приоритет, конечно, перейдет на сторону его, Крутилича. А может быть, Воробейный, не поладивший с Козаковой, обвинит ее в плагиате, в том, что именно она перехватила идею Крутилича. Будут искать подлинник докладной. Не найдут. Чибисову попадет за утерю документа.

Крутилич боялся поднять глаза на Орлеанцева. Он был во власти этого человека. Не было сил отказаться от близкого успеха, от близких денег. Наконец-то он станет настоящим изобретателем, настоящим! А не жалким маньяком, обившим за свою жизнь тысячи порогов в многолетней ходьбе за счастьем.

— Да, да, я совсем позабыл об этом, — сказал он еле слышно. — Совсем позабыл. Голова... Мне надо лечиться, да, да...

— Ну вот, дорогой мой, я рад просветлению вашего разума, — с облегчением вздохнул Орлеанцев. — Теперь перед вами три задачи. Первая — уже об этом больше не забывать. Вторая — найти к завтрашнему дню все черновики докладной записки. Они у вас, безусловно, сохра-

нились. Рукописные черновики. Всяческие записи. Наверно, есть даже и эскизики. Есть эскизики?

— Кажется, — пролепетал, так и не поднимая головы, Крутилич.

— Отлично. Ну и третья, тоже совершенно обязательная задача: пойти и извиниться перед Воробейным. Вы его напрасно обидели, напрасно, Крутилич.

Крутилич был побежден, победитель Орлеанцев мог диктовать ему любые условия, мог как угодно издеваться над ним. Но Орлеанцев этого не делал. Все условия его были деловые и отнюдь не обидные, кроме извинения перед Воробейным, но что же делать — можно стерпеть, дело минутное, можно один раз унизиться перед отвратительным человеком, зато впереди столько возможностей, столько удовольствий. Да, единственно неприятно — это условие. В остальном Орлеанцев корректен и великодушен, ничего не скажешь. Он даже вот предлагает пойти в ресторан, встряхнуться немножко; говорит, что если у Крутилича нет денег, сам заплатит, пусть Крутилич не беспокоится.

Но Крутилич идти никуда не может, Крутилич устал, нервы его действительно на пределе. Нет, он останется дома, ляжет спать.

— Но прежде чем спать, — сказал Орлеанцев, уходя, — извольте отыскать свои черновики. Вот так. Желаю успеха.

Затворив дверь за Орлеанцевым, Крутилич вернулся в кресло напротив того, в котором только что сидел Орлеанцев. Надо было продумать и решить вопрос, как же все-таки быть с Козаковой. Есть три решения. Первое — взять ее в соавторы, таким образом, она пострадает только на пятьдесят процентов. Второе — счесть, что молодая инженерша уже изобрела изобретенное, повторила его, Крутилича, настоять на своем приоритете, который безусловно призна́ют любые инстанции, — копия докладной имеется, к утру будут черновики и наброски чертежей, эскизы; для этого в сундуке у Крутилича есть и выцветшие листы писчей бумаги, и чернила можно так развести, что написанное ими вполне сойдет хоть за прошлогоднее. Все это можно, все это будет. И таким образом Козакова пострадает на полные сто процентов. Но ведь возможно третье решение — обвинить ее в плагиате, в том, что она присвоила чужое предложение. Тут уж дамочка пострадает не на сто и даже не на двести, а на всю тысячу процентов.

Какое из решений выбрать? От этого зависит дальнейшая тактика. Крутилич мысленно видел перед собой Орлеанцева, всматривался в его лицо, в его глазах пытался прочесть ответ на трудный вопрос. Таких глаз этого человека никто, наверно, не видел, только Крутилич увидел их, только Крутилич знает, что инженер Орлеанцев не всегда улыбается, не всегда произносит тосты за дружбу. Он не мог не восхищаться этим человеком. О, если бы этот человек да жил где-нибудь за рубежом, у капиталистов, он был бы великим боссом, он мог бы ворочать громадными делами, швыряться миллионами, перед ним трепетали бы и президенты и гангстеры. Он всех прибрал бы к рукам, величайший из величайших.

И он снова прав — нельзя жить в таком запустении, в такой грязи, которая неизвестно откуда берется. Крутилич пошел на кухню, хотел взять веник и подмести пол. Но сорговый веник уже отслужил и распадался на отдельные стебли.

Открыл сундук, достал необходимое. Сел за стол, разложил бумаги, принялся за работу. Снова видел перед собой Орлеанцева. Восхищался Орлеанцевым. И ненавидел его. Остро, бешено, непримиримо.

9

Степан жил в заводском общежитии. Было это очень удобно для холостого. О постельном белье не заботься — когда надо, тогда и переменят. В помещении подметут, приберут, пол вымоют. Если рано вставать — разбудят. То, что их четверо в одной комнате, это Степана не стесняло. Наоборот, от этого только веселее; привык к многолюдству. Ну, правда, спишь иной раз ночью, а в коридоре шум, грохот, словесная перепалка: кто-то возвратился с гулянки. Проснутся все четверо, а потом и не уснуть: один другому мешает разными рассуждениями по этому поводу. Но это ведь не каждую ночь случается...

Зарабатывал Степан неплохо. Приоделся: купил готовый костюм из темно-серой шерсти, черное широкое пальто, черные ботинки, вязаный пестрый шарф. Долго не знал, как быть с головой: шляпу ли купить, кепку или фуражку? Любил когда-то фуражки — морские, с «капустой». Но молодое время прошло, и такую фуражку уже ни с того ни с сего не наденешь. Да и к пальто к его

широкому она не пойдет. Примерил шляпу в магазине, глянул в зеркало — застеснялся видеть себя такого, быстренько снял, возвратил продавщице. А та стояла что истукан; хоть бы посоветовала что-нибудь, просто бы рот разинула, слово сказала. Берут же таких в торговлю... А им бы в похоронном бюро работать, где, в общем-то, уже разговаривать не с кем и ни к чему.

Приобрел в конце концов новую кепку взамен старой и ходил по-прежнему в кепке. «А новая-то кепочка вас молодит, Степан Тимофеевич, — сказала ему кокетливая уборщица в общежитии. — Как надели ее — сразу годочков десяток долой».

Когда стригся в парикмахерской и сидел повязанный вокруг шеи этакой белой штуковиной, какую ребятишкам в детском саду надевают во время еды, чтобы кашей не обмазались, вспомнил эти слова и долго рассматривал свое лицо. Нет, даже если и десять годочков сбросить, все равно не тридцать восемь дашь ему, Степану, глядя на эту личность, а все сорок пять, а не то и с полсотни; почти Платона догнал — морщины, седина, волосы на темени по штукам пересчитать можно...

Задумывался Степан над своей дальнейшей жизнью. Работает он хорошо, даже очень хорошо; его хвалят, имя Степана постоянно на доске передовиков; но не с кем ни заработок разделить, ни похвальные слова, ни удовольствие видеть свою фамилию в почетном списке под стеклом. Леля окончательно ушла из его жизни. Даже если бы все еще и чувствовал он к ней что-нибудь, то все равно встретиться больше бы не смог. Разно вели они себя в трудных обстоятельствах; ниже, намного ниже ее оказался он, крепкий, молодой, здоровый мужик; простить это самому себе невозможно, пусть если и простят другие. Но у него и чувств к ней никаких не осталось; не о такой Леле помнил долгие годы; новая — она была незнакомая, чужая, Дмитриева. Напрасно Дмитрий порушил отношения с ней. Ну чем, спрашивается, он, Степан, помешал им? Что он — права какие-нибудь заявлял на Лелю? Или косо смотрел на брата? Нет, же. Пусть бы жили, как прежде им жилось.

Не одобрял Степан поведение Дмитрия, говорил себе, что вот соберется да потолкует с ним, пристыдит. Но толковать не спешил. С Дмитрием много не натолкуешься; еще неизвестно, под какую руку ему попадешь; так отбреет, и жизни рад не будешь. «Эх, Оленька, Оленька!..» —

вздыхал иной раз Степан, но это уже совсем не относилось к реально существовавшей Леле.

Когда-то там, далеко, думы о будущем непременно связывались с Оленькой Величкиной. Теперь они не были связаны не только с ней, но и вообще ни с кем. И от этого на душе лежали тяжелые холодные булыги.

В гараже смазчицами-шприцевщицами работали женщины. Толстые, в неуклюжих заношенных комбинезонах, с масляными полосами и пятнами на лицах, все они казались одинаковыми, одного неопределимого возраста; их имена не считалось обязательным запоминать, окликали всех «девахами»: «Эй, деваха! Сюда!» Девахи привыкли к этому, не обижались и исправно делали свое смазчицкое дело.

Однажды воскресным днем Степан отправился в заводской Дом культуры: он прочитал в афишах, что там будет концерт, артисты приедут издалека, чуть ли не из Киева или даже из Ленинграда. Купил в буфете бутылку ситро и два бутерброда, сел за столик, закусывал в ожидании звонка.

— Здравствуйте, Степан Тимофеевич!

Поднял глаза. Стоит женщина лет тридцати, в синем шерстяном платье, с черной блестящей сумочкой в руках, аккуратно причесанная. Лицо как будто бы и знакомое, а все равно не вспомнить, кто же это такая.

— Здравствуйте, — ответил. Встал со стула, смотрел в недоумении.

— Не признали, — засмеялась она. — А ведь я Рая. Шприцовщица.

— Хотите ситро? — предложил он. — Сейчас попросим еще.

— Да нет, не хочу. Я просто так сюда зашла. Подруга потерялась.

Зазвенел звонок.

— Надо идти на места, — сказала шприцовщица.

— А что спешить? Еще позвонят.

До второго звонка Степан успел сказать раз десять: «Вот, значит, какое дело! Рая вы, значит. Я и то гляжу — лицо знакомое, а не вспомню...» — «Не удивительно, — повторяла она в ответ. — Мы в гараже-то какие?.. Вроде трубочистов».

Места у них были в разных концах зала, больше в этот вечер они уже не встретились. Но Степан все время думал о шприцовщице Рае, оглядывался, искал ее глазами в рядах; не находил.

Назавтра они оказались в разных сменах, послезавтра — тоже, и встретились только дня через три. Но зато уже встретились как старые знакомые, разговаривали о концерте — понравился или нет.

Следующим воскресеньем Рая пошла в Дом культуры уже не с подругой, а со Степаном: он ее пригласил. Стали встречаться. Степан узнал Раину историю. Была замужем, муж оказался плохой, ушла от него; теперь живут вдвоем со старшей сестрой, потерявшей мужа на войне. Степан поинтересовался было, что означает «плохой муж», она ответила: «Плохой, и все. Грубый, например. Только о себе и думает». Больше не расспрашивал.

Была Рая спокойная, рассудительная, должно быть, и хозяйственная. Говорилось с ней легко. Степану она нравилась. Он думал о ней, и не просто думал, а с каких-то пор мысли о будущем стали связываться у него с ее именем.

В те дни весь гараж взволновало неприятное событие. Как-то выяснилось, что один из диспетчеров и несколько шоферов уже года два выполняли на заводских машинах разные частные подряды — перевозили на дачи и с дач домашние вещи, картофель и овощи с огородов, кирпич и дерево для построек индивидуальных домов, оформляли это фальшивыми нарядами, а вырученные деньги делили меж собой.

Было очень горячее собрание в гараже. На нем, не выдержав, поддавшись общему настроению, впервые выступил перед народом и Степан. Он стыдил жуликов, которые в то время, когда люди строят новую жизнь, только и заняты тем, чтобы мошенническими путями набивать себе карманы деньжищами.

Рая сказала ему: «Вот уж не знала, что вы такой замечательный оратор!»

Выходили с собрания вместе. Степан был возбужден, все еще переживал свою речь. На дворе их остановил один из тех шоферов, о которых был разговор на собрании.

— Слушай, Ершов, — сказал он, загораживая дорогу. — Ты сам-то кто? А болтаешь о строительстве новой жизни. Хорош строитель! Да ты знаешь или нет, — он повернулся к Рае, — знаешь, что твой дружок — власовец? Что он гитлеровцам...

Степан рванулся, сгреб его за грудь. Треснула ткань, полетели пуговицы... Товарищи схватили Степана за руки, стали успокаивать: «Степ, Степ, да ты что, спятил! Из-за

такой дряни биографию будешь себе портить!» — «Чего ему портить? — кричал шофер, которого тащили в другую сторону. — Куда дальше! Мы хоть просто леваки. А он кто?» Степан уже этих его слов не слышал, стоял — в глазах темно, в висках кровь билась так, что во всем теле слышно; не мог перевести дыхание — перехватывало в груди.

В общежитие шел, чувствуя себя оплеванным. Вновь все старое, страшное, только-только начавшее позабываться, поднялось, как пузырь из болота, и лопнуло, распространяя вокруг свое отвратительное зловоние. Он даже и о Рае не вспомнил.

А тихая шприцовщица шла, оказывается, с ним рядом.

— Это правда, Степан Тимофеевич? — еле слышно спросила она, когда он наконец ее заметил.

— Правда, — ответил он. — Правда! Ну и что же, что?

Она остановилась, не пошла дальше за ним.

— Нехорошо так, Степан Тимофеевич, — сказала в спину. — Не предупредили... Зря только обнадеживали.

Он обернулся пораженный. Открыл рот, а слов и не было. Долго смотрел, как поспешно, почти бегом уходила она от него в другую сторону.

Слонялся вокруг завода и по городу до тех пор, пока ноги сами собой не принесли его поздним вечером в дом к Платону.

Платон Тимофеевич слушал рассказ Степана молча, собирая в горсть свои усы в подпалинах.

— Надо с Дмитрием посоветоваться, — сказал, подумав. — Так оставлять нельзя. А то привыкнут поминать твое прошлое, и пойдет... Одна дорога останется — в петлю. Пойдем к Дмитрию.

Чтобы не тревожить молодых, зашли к Дмитриеву окошку из сада. Окно было отворено, Платон Тимофеевич окликнул. Дмитрий видел, должно быть, уже третий сон — был час ночи, — не проснулся. Платон Тимофеевич достал до него хворостиной. Дмитрий не сразу понял, чего от него хотят, потом накинул пиджак на плечи, вышел в сад. Сели в темноте вокруг стола.

— Ну и чего ты хочешь? — сказал он, тоже выслушав рассказ Степана. — Чего тут удивительного?

— А я ничего и не хочу, — ответил Степан безразлично. — Платон вот говорит: одна дорога — в петлю. А я думаю — уехать, что ли, куда?.. С глаз отсюдова.

— Никуда ты не уедешь, если для тебя рабочая честь чего-нибудь еще стоит, — заговорил Дмитрий. — Перело-

мишь себя, будешь работать, как работал. Это все тебе отплата за минуту трусости.

— Брось, Дмитрий, — сказал Платон Тимофеевич. — Уж что было, то было...

— Вы что же оба думаете, — по голосу было слышно, что Дмитрий постепенно накаляется, — думаете, такое проходит без следа? Вот и терпи, неси на себе этот груз. Кто как понимает о тебе, тот так и высказывается. Рот не зажмешь.

Посидели молча. В тихом ночном воздухе через весь город было отчетливо слышно, как время от времени из колошников доменных печей со свистом вырывался горячий воздух. Это был характерный звук, напоминавший визг артиллерийского снаряда перед тем, как ему упасть и разорваться.

Степану припомнился весь его путь, приведший сюда, в ночной сад, посаженный покойным отцом. Дмитрий думал о том, как поступил бы отец в истории со Степаном.

— Вот что, — сказал он, — ты, Степа, иди на мою койку и спи. А мы с Платоном посидим. У меня к нему дело есть.

Степан понял, конечно, что его выпроваживают, и, хотя ему было не до сна, поступил так, как сказал Дмитрий: ушел в дом и лег поверх одеяла на постель брата.

— Мы должны найти того типчика, Платон, — сказал Дмитрий, когда за Степаном затворилась дверь мазанки. — Я ему прочитаю такую лекцию, что больше и рта не разинет.

— Сто́ит ли, Дима, связываться? — Платон Тимофеевич попытался говорить в примирительном тоне. — Ты ведь верно это сказал: расплачивается парень за свой грех.

— А мы сами с него эту расплату возьмем. С грязными руками в такое дело соваться нечего. Как ты не понимаешь? — Дмитрий накалялся все больше. — Пойдем искать того шофера. Ты не пойдешь, один пойду.

Платон Тимофеевич с трудом уговорил Дмитрия не делать этого ночью, завтра, мол, пойдут, вместе пойдут. Хоть и не очень, но все-таки надеялся, что за ночь Дмитрий, может быть, остынет.

Кое-как провели ночь, постлав на полу все, что нашлось подходящего в мазанке, отправились утром на завод втроем.

— Держись. Работай, — напутствовал Дмитрий Степана возле проходной. — Только так можешь ты смыть с себя копоть от прошлого. Понял? А вечером к нам приходи. Не живи по-сурчиному в норе.

Платон Тимофеевич думал, что все уже обошлось. Но ошибся. После работы Дмитрий потащил его разыскивать шофера — узнал где-то имя, отчество, фамилию и адрес.

Шли, Платон Тимофеевич думал: что-то будет? Ведь Дмитрий может таких дел натворить — не расхлебаешь после. Но шел, все равно шел, готов был вмешаться в случае, если дело примет слишком острый оборот.

На половине дороги Дмитрий остановился.

— Нет, Платон, — сказал он зло, — не по-рабочему это будет, а по-купечески — в драку кидаться за честь вывески. По-рабочему будет — не скрывать болячку и не делать виду, будто бы ее нет. Сам наблудил, пусть сам все и терпит.

Платон Тимофеевич тяжело вздохнул. В общем-то и он был вполне согласен с Дмитрием.

Степан послушался Дмитрия наполовину. Держаться он держался, работать — работал. Но вечером к братьям не пошел. Переживал свое в одиночку. Шприцовщица пряталась от него. Да он ее и не искал. Только теперь он, пожалуй, по-настоящему, в полной мере понял, какую боль причинил Леле в тот вечер, когда отшатнулся от нее, когда сердце не подсказало ему, кто перед ним...

10

Партийное бюро и партийный актив театра два дня обсуждали пьесу Алексахина об Окуневых. Почти все выступавшие высказывались за то, чтобы ее принять, поставить по ней спектакль и выпустить его к Октябрьским праздникам. Яков Тимофеевич добился своего. Томашуку и худруку ничего не оставалось, как смириться с тем, что в театральном коллективе нашлась сила более могущественная, чем их сила.

Томашук сказал: «Что ж, ставьте, но я в этом деле вам не товарищ. Спектакль провалится, будете показывать его пустому залу».

Худрук объявил себя больным, и дней десять о нем не было ни слуху ни духу. У него в эти дни гостил

заезжий драматург, тот самый, который, как в свое время выразился худрук, любезно предоставил театру пьесу, обещавшую огромный успех.

Заезжий драматург был не столько талантлив, сколько опытен в написании пьес. У него не было своей темы, своих идей, за которые он сражался бы этими пьесами. Он не ходил за темами в жизнь. Он терся в различных кругах, прислушивался, стараясь угадать, какова общественная ситуация и что именно в этой ситуации может принести успех сегодня. Он все мог, потому что ни то, ни другое не было ему дорого, ни то, ни другое не было его кровным, личным, все это было для него чужое, постороннее, он служил и тому и другому попеременно, и выбор, чему служить сегодня, зависел от того, что было ему выгодно в данный момент.

Драматург знал, как он выразился, «московские тайны», он легко давал прогнозы общественной жизни страны, он сообщал их худруку один на один, с глазу на глаз, из уст в уши, предупреждая каждый раз: «Это, конечно, строго между нами. Вы сами понимаете, что это только для вас». У него были переводы статей каких-то неизвестных худруку зарубежных критиков, яростно поносивших советскую литературу, советское искусство, метод социалистического реализма, а в конце концов — и сам социализм. Худрук крутил пальцы на животе, качал головой то сверху вниз, то с боку на бок; по этим жестам невозможно было судить о его отношении к тому, что рассказывал драматург. А если что-либо и произносил, то большей частью: «Ого!», «Ну и ну!», «Это уж они что-то того...»

В театре тем временем шла работа над пьесой об Окуневых. Томашука упрашивать не стали, за постановку взялся молодой режиссер, который попросил, чтобы и Гуляев принял участие в режиссерской работе. Алексахин, растерявшийся было после злополучного первого чтения пьесы, теперь приободрился и тоже стал захаживать в театр.

Работа была в полном разгаре, когда вдруг на одну из репетиций явился худрук. Все были поражены. Он уселся в углу репетиционной, смотрел, слушал, сделал несколько замечаний. Зайдя в кабинет к Якову Тимофеевичу, он сказал: «Вы уж того... не извольте держать в секрете репетиции. Я еще на пенсию не ушел». Сказав это, он побагровел и начал свирепо ругаться.

Яков Тимофеевич спокойно ответил, что очень рад настроению худрука поработать над новой пьесой. Его и в самом деле обрадовала неожиданная перемена. Не мог он только понять, чем же эта перемена объясняется. В душу худрука не заглянешь.

Но если бы Яков Тимофеевич и мог заглянуть ему в душу, он бы увидел далеко не все, потому что худрук даже перед самим собой скрытничал. Умный и хитрый и уже не молодой, проживший большую жизнь, талантливый актер и режиссер сумел за россказнями бойкого драмодела увидеть их истинный смысл. Он увидел перед собой ловкача-ремесленника, он увидел перед собой человека без идей, ловца удач, ловца, для которого непременно была надобна мутная вода. «Ишь вы, — думал о нем и ему подобных худрук с неприязнью. — Широко размахиваетесь и не на то замахиваетесь». Он был очень доволен, когда драматург уехал, когда окончилось словесное хождение по краю какого-то очень опасного болотца. Но даже самому себе не сказал об этих темных пучинах. Он уклончиво сказал и самому себе, и Якову Тимофеевичу: «От его пьесы лучше отказаться. Нам с таким спектаклем не справиться, мы театр маленький, периферийный».

Томашук ничего не мог понять, не мог уловить, откуда же дунул ветер, так странно повлиявший на худрука. Он сказал худруку, что не одобряет его участие в работе над спектаклем по пьесе Алексахина, что эта работа бесперспективна и обречена на провал, что славы она ему, худруку, не принесет. «Возможно, возможно, — ответил худрук. — Но все-таки я попробую, все-таки попробую. И очень вас прошу, Юрий Федорович, не мешать мне... Знаете, так вот — не каркать надо мной». — «Вы обижаете, — сказал Томашук, не привыкший, чтобы худрук с ним разговаривал в подобном тоне. — Я, кажется, не заслужил...» — «Возможно, и это возможно, но тем не менее вот так: не надо каркать».

Томашук расстроился окончательно. Ему нужна была поддержка, ему необходим был толковый дружеский совет. Он подумал об Орлеанцеве, у которого в последний раз был, когда, возвратясь из Москвы, передавал московские приветы. Конечно, Орлеанцев далек от искусства, он инженер, металлург, но, во-первых, у него широкие связи в мире искусства, в чем Томашук убедился, появляясь с его записками в московских квартирах, во-вторых, он всегда хорошо информирован о том, что происходит

в высших сферах, и, в-третьих, это вообще умный, много знающий и много умеющий человек.

Орлеанцев принял Томашука, как всегда, дружески, обнял за плечи, усадил в мягкое кресло, потчевал коньяком с лимоном; журил за то, что Томашук его, кажется, совсем позабыл.

— Да все неприятности, неприятности, Константин Романович.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Юрий Федорович, но это факт, — сказал Орлеанцев, — я это уже заметил, что провинциалы большее значение придают неприятностям, чем приятностям. С кем тут ни поговори, непременно о неприятностях услышишь. Не умеете вы жить в свое удовольствие, вот ваш главный недостаток. Можно подумать, что человек в провинции только для того и родится, чтобы испытывать неприятности.

— А что же делать, Константин Романович, если действительно неприятности одолевают? — Томашук стал рассказывать о том, что происходит в театре.

— Вам не бросается в глаза, Юрий Федорович,— спросил Орлеанцев, выслушав его внимательно, — что как-то слишком много места везде и всюду занимают эти... как их?.. Ершовы? Смотрите: у вас неприятности из-за Ершова. Яков Тимофеевич — так вы его назвали?

— Да. Яков Тимофеевич. Но разве он один, Константин Романович! Гуляева я считаю более опасным.

— Допускаю, допускаю. Но я говорю о том, чтó бросается в глаза. У вас, значит, один Ершов. В доменном цехе нашего завода разваливал дело второй Ершов, некий Платон Тимофеевич. Там и еще Ершов остался, совсем молодой, мастер смены. В прокате, на блюминге работает четвертый. Мало того, волна, поднимаемая этими Ершовыми, расходится концентрическими кругами, достигая таких пределов, которых им касаться, казалось бы, и не стоило. Что, например, прошумело на художественной выставке? Портрет работы Козакова. Почему? Потому что изображен Ершов, именно тот, четвертый, из прокатки. Какая пьеса легла камнем на вашем пути? Пьеса Алексахина. Кто герой этой пьесы? Окуневы. Псевдоним Ершóвых. Кто главный герой пьесы? Окунев — Ершов, глава этого ершовского семейства.

— Что же из этого, Константин Романович?

— Да ничего. Просто констатирую факт. Словом, вот что. Я не великий знаток ваших театральных дел, и если

вы хотите от меня помощи, то помочь я смогу вам одним... Прежде всего давайте уговоримся, что вы будете непримиримейшим образом бороться за свою правоту.

— Конечно. Я человек активный. Не думайте, что я растерялся. Просто хотел посоветоваться...

— Ну правильно, правильно. Так вот, надо действовать. Моя помощь выразится в том, что к вам придет весьма милый молодой товарищ — корреспондент областной газеты. Умный, понятливый. У меня с ним установились прекраснейшие отношения. Между прочим, дорогой мой, многие у нас недооценивают роль печати. И среди нас, инженеров, и среди вас, деятелей искусств, есть такие чудаки, которые свысока смотрят на печать, на ее работников. К иному дяде придет корреспондент, дядя говорит: занят, не могу, в другой раз и так далее. Премного от этого дядя может потерять. Я, например, любое, самое важное дело отложу, если имею дело с журналистом. Любое. А уж если нельзя отложить, назначу точное время, приму товарища так, как полагается. И у меня никогда еще не было ссор с печатью. Напротив, она меня постоянно поддерживает. Вот этот молодой человек, о котором я вам говорю, он ведь замечательную статью написал. Помните, была? О мытарствах Крутилича, о том, как на заводе зажимали изобретателя, о Чибисове?..

— Помню, как же! Умно, остро было написано.

— А ведь могло и иное быть там написано. Не повстречай я этого товарища, попал бы он в руки какого-нибудь кляузника, тот бы ему наговорил. А ведь в ухо войдет, не скоро выйдет, застрянет в мозгу. И вот, когда иной дядя отмахивается от корреспондента, он что этим делает? Он отдает его в руки других, может быть, необъективных, недобросовестных, и сам в результате по шее получить может с газетных страниц. Информировать корреспондентов, особенно молодых, неопытных, надо самому, самому, Юрий Федорович. Только тогда вы будете уверены, что материал газета получит объективный и напишет объективно. Вот я вам и обещаю: завтра-послезавтра придет к вам этот чудесный молодой товарищ. Поговорите с ним об обстановке в театре... Вы даже еще, гляжу, и не подозреваете, какая это сила — печать, а живете на свете сколько?

— Полвека, Константин Романович, — вздохнув, ответил Томашук. — Пятьдесят два года. Уставать стал, нет того огня, что был когда-то.

Они еще долго сидели в креслах, коротая вдвоем дождливый вечер.

— Итак, ждите, — сказал на прощанье Орлеанцев. — И не уподобляйтесь недальновидному дяде, который не умеет дружить с печатью. Проявляя высокомерие по отношению к работнику печати, он расписывается в своей глупости, в том, что он индюк — и больше ничего, и остается, в общем, в дураках.

Через два дня корреспондент областной газеты пришел в театр. Томашук долго и подробно рассказывал ему о театральных делах, о том, что в театре еще не преодолены тяжкие последствия культа личности, что здесь еще тянутся к лакировочным, бесконфликтным пьесам, отвергают острокритические, актуальные, в итоге не выполняют свой долг перед народом, перед партией. Непомерную власть в театре захватил директор, дело которого — хозяйство, финансы, а не репертуарная политика. Что он понимает в искусстве, если еще несколько лет назад трубил на трубе в заводском оркестре?

Корреспондент слушал, записывал в блокнот.

— Да, да, — говорил он по временам. — Мне примерно так охарактеризовал вашу обстановку и Константин Романович. Вы его хорошо знаете?

— Мы друзья, — ответил Томашук. — То, что он инженер, а я театральный работник, это нас не разделяет. Человеку нельзя замыкаться в рамки только одной своей профессии. Неизбежно захиреешь, не правда ли?

— Конечно. Это очень правильно, то, что вы говорите. И поэтому знаете, какая мысль у меня возникает? Не я должен писать статью, а вы, Юрий Федорович. Именно вы. Сейчас мы даем серию статей, знаете, таких статей-раздумий людей самых различных профессий. Раздумий перед праздником, перед Октябрем.

— Что вы! Не умею я писать! — воскликнул Томашук. — Казенную докладную получите от меня, а не раздумья.

— Пусть это вас не очень беспокоит. Главную тяжесть, если хотите, приму на себя. Я ведь записал все ваши мысли, я их только сведу воедино. Так сказать, объединю, оформлю. А вы потом просмотрите. Что захотите, то исправите...

— Не знаю... — Томашук колебался.

Но корреспондент был настойчив. В конце концов он ушел, чтобы через три дня прийти с проектом статьи Томашука.

Поскольку через три дня было воскресенье, то, помня советы Орлеанцева, Томашук пригласил корреспондента к себе домой.

— Приходите часика в два, поработаем, а там, глядишь, и обед будет готов.

Не без удовольствия вспомнив делового, пунктуального Орлеанцева, Томашук отправился взглянуть, как там репетируют пьесу Алексахина. «Ладно, ладно, — думал он, —получите вы подарочек к празднику. В другой раз не будете так легко отмахиваться от людей». Он уже и о худруке думал неважно; надо будет и его в статью вставить как человека, не умеющего занять определенную, твердую позицию, как человека, который готов всю жизнь сидеть между стульями — чтобы и не на одном, и не на другом. «Бесхребетное существо. Амеба».

Увидав Томашука в репетиционной, Гуляев тотчас прервал какой-то монолог, сказал:

— Я подожду, когда товарищ Томашук выйдет. Он заблудился, очевидно.

— Не надо острот, Александр Львович, — ответил Томашук, усаживаясь на стуле.

— Какие могут быть остроты! Вы же сами заявили, что в постановке этой пьесы вы нам не товарищ. Были сказаны такие слова или не были сказаны?

— Были, но это не имеет значения. Я не ставить что-либо пришел сюда. Как режиссер театра я имею право знакомиться с работой каждого из своих товарищей.

Гуляева окружили актеры, что-то шептали ему в уши, он махнул рукой. Репетиция продолжалась. Томашук злился. Он слушал меткие, хорошим языком написанные реплики, он видел, с каким увлечением работали актеры. Он прекрасно понимал, что спектакль получится и что это будет хороший спектакль. И чем яснее он это сознавал, тем отвратительней становились ему и этот Гуляев, и директор, и худрук — эта тряпка, не сумевшая удержаться на правильных позициях, и все актеры, так легко отвернувшиеся от него, Томашука.

Покинув репетиционную, в одном из коридоров он столкнулся с Козаковым. Не один раз знакомили его с этим художником. Но каждый раз художник позабывал своего нового знакомого. Даже и то, что однажды встретились за столом, на вечеринке, устроенной Орлеанцевым, не помогло.

— Товарищ Козаков, — сказал Томашук. — Разве это можно? Нас знакомят, а вы не хотите признавать знакомств.

— Простите, если так, — ответил Козаков рассеянно. — Знаете, думаешь всегда о чем-нибудь. Век такой сложный, голова вечно занята...

— Неприятности, поди, да?

— Есть и неприятности.

— Ха-ха! — засмеялся Томашук. — А наш общий знакомый Константин Романович утверждает, что неприятности — удел провинциалов. Не становитесь ли вы провинциалом, товарищ художник? Но это шутка, шутка, не сердитесь. Скажите лучше, зачем пожаловали к нам в театр, чем можем служить?

— Да вот пригласили спектакль оформить. Присматриваюсь, обдумываю. Пьеса нравится, хорошая пьеса. Местá есть сильные. Взволнует публику.

— Что за пьеса, простите? — Томашук чувствовал, что сейчас перестанет владеть собой, треснет кулаком в подбородок этого идиота Козакова, пойдет и начнет швыряться чернильницами и пресс-папье в директора, в худрука, которые с ним уже окончательно не считаются, не советуются. Оказывается, уже и художника пригласили, и все у них на ходу.

— Об Окуневых. Молодой драматург написал, — ответил Виталий, не замечая состояния Томашука.

— Вы, значит, так сказать, теперь специалист по производственным темам? — Томашук снова хохотнул.

— То есть как по производственным? — Для Виталия высказывание Томашука было неожиданным.

— Ну, портрет сталевара, портрет рыбака... Прокатчик, блюминг этот нашумевший... Теперь тоже. Тут, насколько я знаю пьесу, доменные печи понадобятся, шихта и так далее. Увлекательно!

Томашук оставил озадаченного Козакова в коридоре, прошел в кабинет директора, к Якову Тимофеевичу.

— Может быть, мне пора заявление подавать? — спросил он, садясь.

— Какое заявление, о чем? — Яков Тимофеевич встал.

— Обыкновенное. Может быть, театр в моих услугах больше не нуждается?

— Видите ли, Юрий Федорович. — Яков Тимофеевич понял его. — Видите ли, — повторил он, — это уж как вам будет угодно. Если вы настолько расходитесь во взглядах

и с партийной организацией, и со всем коллективом, то ваше дело плохо. Но учтите — о заявлении не я вам сказал и никто иной. Это вы сами сказали. Вы, очевидно, хотите, чтобы вас упрашивали, чтобы умоляли: будьте любезны, Юрий Федорович, снизойдите до работы с нами. А я вас упрашивать не буду. Я здесь не хозяйчик, и вы здесь не работничек. Перед партией мы равны. И прошу мне мелодраматических сцен не устраивать. Не хотите работать — не надо. Обойдемся.

Томашук был огорошен словами Якова Тимофеевича, всем оборотом, какой приняло дело. Он не знал, что и сам Яков Тимофеевич огорошен своей речью. Якову Тимофеевичу всюду твердили: гибче, гибче, осторожнее со своими кадрами, они тонко организованы, они обидчивые, от обид вянут, уходят в себя, замыкаются. Он обещал: ладно, ладно, постарается быть гибче, осторожней, — и не выдержал, сорвался. Сейчас Томашук встанет, чтобы хлопнуть дверью. Через пятнадцать минут на столе у Якова Тимофеевича появится его заявление. А там и пойдет... Будет этот человек плести всюду, что его вынудили подать заявление, что директор сам орал: «Подавайте, не хотите работать — не надо, упрашивать не будем, обойдемся!»

Томашук действительно встал и, не говоря ни слова, вышел. Но он не вернулся ни через час, ни через два, и никакого его заявления на столе Якова Тимофеевича не появилось.

В тот вечер Томашук снова консультировался с Орлеанцевым.

— Вы совершили грубейшую ошибку, — укорял его Орлеанцев. — Что это за истерика: «Уйду! Подам заявление!» Да этому Ершову только того и надо. Немедленно на уголке вашего, так сказать, рапóрта будет начертано: «Согласен. Произвести расчет. Ершов». Вы облегчаете ему задачу, вы покорно кладете свою голову в пасть противника. Не напрасно наши классики издевались над хлипкостью российской интеллигенции. Слабы нервишки у вас, слабы, Юрий Федорович.

— Что же делать теперь?

— Теперь? Теперь вот что делать: такого разговора не было, и развертывать борьбу. Корреспондент приходил?

— Приходил.

— Очень хорошо. Не мы должны покидать свои места, а они, они, эти железобетонные типы. Их время кончилось, они доживают и отживают. Это все мертвецы, с кем нам

приходится сталкиваться. Но ведь, как говорится, мало убить, надо еще и повалить. Вот и действуйте, валите. Тут уж, знаете, считаться ни с чем не следует. Победителей не судят. Понятно?

— Кажется.

— Директора надо взять за горло. Рассказать коммунистам о том, как он требовал от вас, чтобы вы подали заявление об уходе по собственному желанию. Показать всю эту лицемерную кухню, с помощью которой они, такие вот Ершовы, расправляются с неугодными им кадрами, с инакомыслящими. Только не молчать, только ничего не прощать, только не утешать себя поговоркой: собака лает, ветер носит. Нет, Юрий Федорович, и лаять нельзя давать. А то увидят, что ты молчишь, — значит, подумают, боишься. Возьмут да и укусят.

Орлеанцев пошел провожать Томашука. Шли по улицам под черным низким небом. С моря гнало рыхлые сырые тучи, из которых то и дело сеялся противный мелкий приморский дождишко. Орлеанцев и на улице все время внушал Томашуку, что нельзя молчать, надо бороться. Томашук говорил, что бороться трудно, мало кто тебя поддерживает. Уж на что он надеялся на худрука, и тот вот уже качается, не поймешь, чего и хочет. Орлеанцев говорил, что да, конечно, справедливость доказывать нелегко, поначалу мало кто будет тебе верным товарищем. Но отчаиваться нельзя. Если у тебя будет успех, если переживешь полосу невезения, то ряды единомышленников начнут расти, и тогда с удовольствием вспомнишь о том, как бился в одиночку и вот выстоял, победил. Это чудесное чувство — увидеть и осознать свою победу.

11

Леля давно не была на Овражной — с того жуткого зимнего вечера, когда Степан ее не узнал, когда в глазах его она увидела не то страх, не то отвращение, не то жалость, а может быть, и все вместе взятое. Так тепло и уютно бывало всегда в этой мазанке на краю города, так тянуло в нее, к Дмитрию. С приходом Степана в мазанку у Лели Дмитрия отняли. Она знала, что в мазанке, счастливые и нечуткие к чужим несчастьям, живут молодожены. Она не сомневалась, была убеждена в том, что сердце Дмитрия занято женой художника Козакова, ма-

ленькой курносенькой женщиной по имени Искра. Понимая, что тогда, весной, прощаясь с нею возле барака, Дмитрий только из вежливости, а может быть, даже просто машинально приглашал ее: что, мол, не приходишь на Овражную, приходи, — Леля все-таки помнила об этом приглашении, ей очень хотелось помнить о нем. Оно было последней жалкой паутинкой, связывающей ее с Дмитрием.

Однажды в августе, когда закончен был субботний трудовой день, когда через Лелины огрубевшие руки прошли последние метры изодранных недавним штормом сетей, она под общим умывальником умылась с тягучим, похожим па колесную мазь, зеленым мылом, затем, как бывало прежде, надела выходную длинную юбку, пестренькую кофточку, которую ей подарил года два назад Дмитрий, зеленые туфли — тоже его подарок, и отправилась на пристань.

По улицам вечереющего города Леля шла не спеша, заглядывала в витрины магазинов, читала афиши кино и театров, рассматривала снимки в окнах фотографий. Эти снимки всегда вызывали боль в Лелином сердце: на них изображалось то, что обошло Лелю стороной, то, чего с ней никогда не было и никогда не будет. На какую-нибудь юную пару — на жениха и невесту, а может быть, уже на мужа и жену — Леля могла смотреть долгими минутами. Сидят оба испуганно-счастливые, он — в новом отглаженном костюме, она — в белом и тоже, конечно, только что сшитом пышном платье, неуклюжие, смешные, смотрят в самый объектив, хотя фотограф просил их смотреть куда-то влево, на его поднятый палец. Потом они встанут со стульев, немножко вспотевшие от напряжения, и отправятся домой... Домой... Леля представляла себе их дом, их комнату, старалась угадать профессию и его и ее. На других снимках были детишки — и в платьицах, и совсем без платьиц. На третьих — гордые девчонки, у которых в дневниках одни тройки, но зато на лицах выражение восточных принцесс. Леля тоже когда-то мечтала сфотографироваться вот так, но почему-то ей это не удавалось, ее фотографировали только знакомые мальчишки, неважно фотографировали, принцессу сделать из нее они не могли.

Леля дошла до Овражной, до мазанки, в сумерках. В саду среди вишен, над круглым, вкопанным в землю столом горела яркая лампа, вокруг нее облаком вились

мотыльки и бабочки, их летучие тени перекрещивались, пересекались на земле, на стене дома, на стволах деревьев. Леля позвала Капу, возившуюся возле стола. Капа подошла к калитке, воскликнула:

— Это вы? Входите, скорее входите! Я очень, очень вам рада! — Она схватила Лелю за руку и потащила к столу. — Мы сейчас будем пить чай. Сейчас придет Андрей. Садитесь, пожалуйста, садитесь.

Взволнованная такой встречей, Леля не сразу увидела большой живот Капы. А увидев, подумала о том, как быстро идет время. Вот ведь уже и новая жизнь возникла в этом доме. Ветхий домик, он, может быть, еще сотню лет простоит на земле. В него будут приходить все новые и новые люди. На смену старым. И новые не вспомнят, пожалуй, о них, о старых. О тех, которые некогда населяли этот домик, об их радостях и горестях, их волнениях, мечтах и бедах, у новых это будет все свое.

— О чем вы? — сказала Капа. — О чем вы так задумались?

Леля только улыбнулась, пожимая плечами.

— Понимаю, — сказала Капа. Потом она спросила: — Я не знаю, как вас называть. Я не могу называть вас Лелей, вы старше меня.

— Тогда зовите меня: Величкина. Как зовут в Рыбацком. Все. Даже дети.

— Величкина? — вполголоса повторила Капа. — Нет, тоже не могу. Есть же у вас отчество? Ольга?..

— Нет, не надо, не надо! — запротестовала Леля. — Это будет так непривычно, так дико. Я не хочу.

— Вы ставите меня в очень затруднительное положение. — Капа вздохнула.

— Ничего, это пройдет. Вы привыкнете. — Совсем другим тоном, меняя разговор, Леля сказала: — Значит, скоро вы станете мамой? Скоро тут снова будут слышны детские голоса.

— Да, да, да, это и Дмитрий Тимофеевич говорит! — воскликнула Капа. — Он говорит, что у этого дома начнется вторая жизнь. А то первая уже вся, говорит, исчерпалась. Чуть-чуть, говорит, не бросили мы этот домишко.

— А где он сейчас, Дмитрий Тимофеевич? — спросила Леля и почувствовала, как застучало, забилось ее сердце.

— Ушел к Платону Тимофеевичу.

— Вы меня простите, Капочка... — Леля поднялась, хотела сказать, что должна идти, что зашла только на минутку, по пути, но у калитки послышался стариковский кашель, зашаркали по сухой земле валенки — шел дед Мокеич.

— Что не видно-то тебя? — сказал он Леле, садясь на скамейку. — Ну сядь, сядь, потолкуем. Бежать успеешь. Всех делов все равно до самой смерти не переделаешь. Я вон делал-делал, думал, без меня не обойдутся. А бросил все — обходятся. Да еще как. Лучше моего. Сидай, плюнь на все, взбодрись. А то у тебя знаешь вид какой? Будто пойдешь сейчас, да и под паровоз кинешься.

— Что вы, дедушка! — сказала Капа. — Выдумываете все. Такой разговор начали...

— Обыкновенный, — упорствовал Мокеич. — Вид, говорю, у нее шальной, у меня жизнь за плечами, понятие про дела ваши имею. Да ты сядь, сядь, успеешь, говорю, куда надобно-то. — Он взял Лелю за руку, заставил сесть рядом с собой. — Вот я вам расскажу рассказ. Было на одном заводе, еще под Юзовкой, с Тимофеем Игнатьевичем, с покойным хозяином мазанки этой, мы там работали на доменной печи, на горне. Стоим с ним раз возле желоба, курим, смотрим, как чугун водовороты крутит. Вдруг шасть, возле нас девчоночка откуда ни возьмись. Аккуратненькая такая, махонькая — ну птичка божья, да и только. «Игнатьич! — толкаю в бок приятеля-то своего. — Не к тебе ли на свиданьице прилетела?» — «А может, к тебе? — говорит. — Может, тайные амуры завел?» Ну, значит, стоим, языком чешем. А она курточку с себя черненькую прочь, платочек с головы прочь, и не успели мы с Игнатьичем шагу к ней шагнуть — через перильца железные — раз! — и туды, в ковш, в чугунные водовороты, в геенну. Ничего я не видел далее, стоял, глаза закрывши рукавом. А Игнатьич мне сказывал после: только фукнуло из ковша, парок легкий взметнулся. И конец.

Мокеич пошарил в карманах, нашел сломанную папироску, выпрямил, подклеил ее. Пока возился так, и Леля и Капа молчали, потрясенные его рассказом. Закурив, он продолжал:

— Ни пить, ни есть не могли мы с ним в тот день. И после еще много ден мучались. Оттого мучались, что глаз ее не разглядели толком, что зубы-то скалили, а не разобрались в душе ее, не помешали ей, не отвели беду. А могли, могли, девоньки. Все могли. Вспоминали

после — ведь в глазах-то тоска у нее стояла, не к нам на свиданьице шла она — прямо к господу богу, с жалобой на жизнь опостылевшую...

— А что у нее случилось, дедушка? Отчего так все опостылело? — спросила Капа.

— С чего у девок жизнь постылеет? Всегда с одного и того же. Из-за балбеса какого-нибудь.

— Ну и что, — спросила Леля, с трудом шевеля деревянными от волнения губами, — спасти уже было нельзя?

— Говорю ж тебе — один пар от нее остался. Спасти! Хоронить не знали что. А ты — спасти! Разлили чугун по формам, да и закопали три тысячи шестьсот пудов металла в могилу, крест поставили, имечко ее надписали и фамилию. Так, говорят, и по сей день стоит этот крестик среди заводских дворов.

— Я пойду, — сказала Леля, вновь поднимаясь.

— Сиди.

— Нет, нет, пойду.

— Страху нагнал на тебя? Ну давай чего веселого расскажу. Дед у нас один женился раз. На старухе, думал. Своего возраста. А то была девка молоденькая. Только, бестия хитрая, переоделась, видишь, под пожилую. Вот тут и началось...

— Не надо, не надо, дедушка! — Леля молча пожала руку Капе и быстро пошла к калитке.

Вновь пересекала она вечерний город. Только уж не смотрела больше ни в витрины магазинов, ни в окна фотографий. Перед ней стояла эта страшная, рассказанная дедом картина. Во всех подробностях, во всех чертах видела она молоденькую работницу, обиженную жизнью, так обиженную, что жить она больше не могла. Леля видела ее черный, потертый, поношенный жакетик, ее косынку, выцветшую под солнцем, ее глаза, в которых не было ничего, кроме отчаяния. Она вспыхнула еще в воздухе, еще не долетев до ковша. И длилось это одно мгновение. И еще мгновение над ковшом вился белый дымок. А потом люди думали, что же делать с чугуном в ковше, — ведь в нем человеческая жизнь, в нем сплавился металл с мечтами, с надеждами, с крушениями надежд, со слезами и горем. Из такого сплава нельзя делать ни рельсы, ни станины к станкам, ни машины, ни приборы. Это хотя и металл, но все же и человек...

На Лелин звонок отворила Устиновна, звала зайти, сказала, что сидит дома одна, рада будет гостье.

— А Дмитрий Тимофеевич к вам не заходил? — спросила Леля. — Говорят, он к Платону Тимофеевичу пошел.

— Может, и пошел, — ответила Устиновна. — Туда, прямо на огород. Суббота же. Мужики по субботам всегда на огороде.

Леля отправилась за город.

В темноте по склонам холмов светились костры. Навстречу Леле летели песни, звуки гитар и мандолин. Леля подходила то к одному костру, то к другому, спрашивала, где участок Ершовых. Ей объясняли, указывали пальцами во мрак. Она шла дальше, оступаясь, спотыкаясь на незнакомой дороге.

Платон Тимофеевич сидел на корточках возле костра, доставал из огня печеные картофелины. Вокруг было человек пятнадцать, не меньше. Кто стоял, кто сидел на скамье и на каких-то ящиках, а кто и лежал на раскиданном сене. Шел громкий разговор.

Оставаясь в темноте, Леля среди этого сборища выискивала Дмитрия. Но не находила. Пересилила себя, подошла ближе. Внимания на нее не обратили, так были заняты разговором.

— Ведь я же его знаю, знаю. Носище такой, раз увидишь, и после всю жизнь будешь помнить, — говорил какой-то старичок. — Я тогда вахтером стоял возле складов. А машину, длинную такую, черную, ребята как раз за стеной склада и оставили, чтоб, значит, если немцы обстрел поведут, ее бы осколком не задело. Вот как, говорю, дело было.

— А где же ты его видел, когда? — спросил Платон Тимофеевич, застыв с картофелиной, надетой на прутик.

— Сегодня в городе, на почте. Пенсию ходил получать. Гляжу, стоит у одного окошечка... Знакомая, гляжу, личность. По носу его и вспомнил. Как же так, думаю, таких делов, подлец, натворил, а ходит как ни в чем не бывало. «Извиняюсь, говорю, вы, гражданин, не с металлургического?» — «Я, говорит, да, с металлургического». — «Извиняюсь, говорю, а в сорок первом осенью, когда немцы город брали, вы тоже на металлургическом работали?» — «Да, говорит, работал». — «А вот случай говорю, вы один такой не помните?..» Говорю, а сам весь трясусь, и в глотке у меня перехватывает. «Такой, говорю, случай... Свечи из мотора легковой машины кто, говорю, выкручивал, чтобы немцу осталась, чтоб ребята наши уйти на ней не смогли?» — «Из ума вы, говорит,

папаша, выжили». Похлопал меня по плечу и ушел. А я же личность его — во как! — запомнил. Нос-то у него что дуля хорошая!

— Степану надо бы рассказать, — сказал Платон Тимофеевич, — Степан хоть и помнит про эти свечи, но сам не видал — Воробейный или кто их вывертывал. Только догадывается. А ты, дед, — живой свидетель.

— Когда его, Воробейного-то, за службу у немца судили — что печи восстанавливал да за всякое такое, он, змей, про свечи молчал, — сказал кто-то из темноты.

— А что же ты хочешь, чтобы он сам на себя наговаривал, — вот, дескать, и то я натворил, и это, и еще это? — ответили ему. — Преступник норовит что? То, чтобы сказать как можно меньше, а скрыть как можно больше.

— Что эти ваши свечи! — сказал третий голос. — Много ли они прибавят к делам Воробейного! Главное — служить пошел к немцу добровольно, добровольно печи восстанавливал, добровольно металл плавил против Красной Армии.

— Ну так он за это и получил. Если бы не амнистия, и сейчас бы отсиживал.

— Свечи вот к чему, — сказал Платон Тимофеевич. — Не к тому, чтобы его снова судить. А просто чтобы знал народ в доменном, какая личность у них в начальниках.

— Мы и так знаем, Тимофеич. Подбрось-ка сюда картошечку лучше. Хватит про этого Воробейного. Субботний день из-за него портить.

Платон Тимофеевич поднялся от костра и увидел Лелю.

— Ты что тут? — удивился. — Где пропадала столько времени? Иди испробуй печеной. Свежая.

— Свежую не пекут, — сказала Леля. — Ее вареную лучше.

— Правильно. И со сметаной, — поддержал кто-то.

— Да с укропчиком.

— Ничего, она и печеная хорошо идет, — не согласился Платон Тимофеевич, подавая Леле картофелину. — Да ты садись. Вот сюда, на пиджак. Зачем пожаловала-то, говорю?

— Дмитрия ищу. К вам, сказали, пошел. Давно уже.

— Может, дома меня дожидается?

— Была дома, нету.

— Тогда не знаю. Не видал его. Всю неделю не видал.

Вот как родные братья живут — по неделе один другого не встретит!

Он шутил, а у Лели сердце замирало. Где же тогда он, где этот Дмитрий? Так хотелось увидеть его, услышать голос, взглянуть в глаза, побыть рядом хоть минутку. Пусть ругается, пусть ворчит, пусть даже и не смотрит. Но ведь нет же, кроме него, никого на всей земле роднее для Лели. Не может она уйти от него навеки. Куда она пойдет, куда денется?.. Вот разве...

То ли оттого, что в костре подброшенный сушняк вспыхнул в эту минуту и ударил в черное небо огненными искрами, то ли еще отчего, но вновь перед глазами Лели пожаром прошла картина, рассказанная Мокеичем. Даже лицо рукой прикрыла.

— Что, жар сильный? — сказал старик Сидорин. — Ты отодвинься чуток. А то, гляди, юбчонку спалишь. В чем ходить станешь? Гардероб-то, поди, не то, что у императрицы Марии Федоровны, супруги Александра Третьего. Пришлось до войны побывать в квартире ихней, во дворце под Ленинградом, в Гатчине. Пятнадцать тысяч платьев. Хочешь — считай, хочешь — так верь. Только шкафов с ними, с платьями, целых восемь комнат, и все они в шкафах — рядами, рядами, рядами...

— А еще чего, дед, видеть там приходилось? — спросил молодой голос из темноты.

— Еще чего? Еще вот у самого, у царя-то, была такая лестница винтом — с одного этажа на другой подыматься. Так все стены, покудова по винту вверх или вниз идешь, этакими мадмазелями обклеены, того и гляди, не на ту ступеньку ступишь да кумпол расколешь, брякнувшись.

— Ой, врать ты, Сидорин! У царя чтоб мадмазели — царица не допустит. Там всякие троны, держава, скипетр...

— Не знаешь — не говори! — обозлился Сидорин. — Держава, скипетр!.. Они в кладовке, под замком. А на квартире у него еще и наковальня была, тиски, инструмент всякий. Ключи чинил, зажигалки делал... На трубе играл.

Шел спор, смеялись, перебивали старика, подшучивали над ним. Леля почти ничего не слышала. Она машинально откусывала от горячей картофелины, и было на душе у нее так тоскливо, что вот бы отползти куда-нибудь туда, в темную росную траву, уснуть и никогда бы уж не просыпаться.

— Пойду, — сказала она Платону Тимофеевичу, вставая.

— Куда пойдешь-то? Сиди, потом вместе пойдем, к нам пойдешь. Переночуешь. — Он говорил это так, будто в чем-то виноват перед Лелей.

— Нет, пойду, — повторила она, отряхнула юбку, поправила волосы под платочком, сказала «до свиданья» всем и ушла по тропинке в город.

— Кто такая? — спросили Платона Тимофеевича, когда шаги ее затихли вдали. — Из родных?

— Ага, — ответил он. — Из родных.

А Леля шла и шла, и так ходила по городу до того позднего часа, когда гаснут последние огни в окнах, выбралась на морской берег к пляжу, села там на скамеечку. Надо было ждать утра, первого парохода. Ровно плескались волны у лодочных причалов, шурша, бежали вдоль берега по галькам. Ветер был свежий и одновременно теплый, летний. Под этот шорох воды, обласканная ночным ветром, Леля стала задремывать.

И вновь, ударив по глазам, блеснуло перед ней жаркое палящее пламя, вновь вспыхнула страшная картина. Леля вскочила на ноги. В море стучал сторожевой катер, обшаривая берег длинной белой рукой прожектора.

12

Андрей и Капа ждали гостей. Это была идея Капы — устроить молодежную вечеринку. Капа сказала, что вот уже скоро начнется учебный год, время у девчат и у ребят будет занято, давай позовем, пока все свободны. Андрей спросил, выдержит ли она целый вечер забот и хлопот в таком ее положении. Капа засмеялась, сказала, что положение еще отнюдь не угрожаемое и вообще и в таком положении изнеживаться нельзя — от этого один вред и никакой пользы.

Решили, что вечеринка будет самой простой, по-настоящему студенческой, в ход пойдет посуда какая есть, у родителей Капа ее занимать не будет и ни над какими деликатесами голову ломать не станет.

Позвали не только однокурсников и однокурсниц Капы, но и несколько заводских товарищей Андрея. «Просто даже интересно, что из этого получится», — сказала Капа.

Ранее всех пришел бригадир из мартеновского цеха, невысокий, крепкий, улыбающийся.

— Знакомься, Капочка, — сказал Андрей. — Мы с ним с первого и до седьмого класса на одной парте просидели. Коля Пузырев. Раньше его звали просто Пузырь, и в отличниках он не ходил, как сейчас ходит. Помнишь, я тебе его портрет в газете показывал? Он самый молодой депутат горсовета.

— Исчерпывающая характеристика, — засмеялся Пузырев. — Даже доверенное лицо меня так на выборах не расписывало, хотя уж на красивые слова не скупилось. Я сидел перед избирателями, сквозь пол готов был провалиться.

Колю послали через забор к Мокеичу, чтобы притащил скамейку.

За Колей появились две подруги Капы. Андрей фамилий их не запомнил, запомнил только, что черненькую с большими стреляющими глазами зовут Марусей, а худенькую шатенку, с любопытством разглядывавшую все в доме, Зиной.

Потом подходили еще и еще, и так собралось человек двадцать. Толпились в саду под вишнями, шумели. Товарищи Андрея — их было трое — держались от студентов в сторонке и не совсем еще знали, как им тут себя вести; они непрерывно курили. Капа поспешила позвать всех в дом, за стол, — за столом знакомство пойдет успешней. У нее заранее было помечено на бумажках, кому где сидеть. Получалось, что Коля Пузырев должен был сесть возле востроглазой Маруси, техника Махоткина посадили рядом с любопытствующей Зиной, третьему товарищу Андрея, газовщику Серегину, в соседки дали толстуху Аллочку, о которой Капа сказала, что это будущий хирург, — у нее очень сильные руки. Капа и Андрей совсем не хотели, чтобы у них за столом кто-нибудь напился пьяным. Капа заранее расспросила Андрея о его товарищах — кто из них любитель выпить. Андрей сказал, что некоторую опасность в этом смысле представляет только Серегин, остальные ребята спокойные, трезвые. «А из наших надо посматривать, — сказала Капа, — за Белобородько и за Поповым. Я с ними девочек посерьезнее посажу. И вообще водки чтоб никакой не было, только чтобы виноградное вино».

Когда расселись за столом, когда налили в рюмки этого виноградного вина и на минуту стало очень тихо, толстая Аллочка сказала:

— Нужна речь. Тост нужен. Кто умеет?

— Тут нечего и уметь, — ответил лохматый и бледнолицый Белобородько. — В этом доме может быть только один тост. — Он встал и поднял рюмку: — За новую жизнь, которая в скором времени появится под этой крышей.

— Правильно!

— Молодец, Саша!

Зазвенели разнокалиберные рюмки и стопки.

— За нового человека!

— За его маму!

На какое-то время все занялись своими соседями и соседками, стали предлагать друг другу закуски, расспрашивать, кого и как зовут, — когда знакомились, ни имен ничьих, ни фамилий в толкучке не запомнили. Затем Белобородько предложил новый тост — за Андрея, поскольку Андрей тоже причастен к тому, что в этом доме должна появиться новая жизнь: все-таки будущий папаша как-никак. Андрей смутился, покраснел; когда поднял рюмку, рука дрожала; ему сказали, что, значит, он кур воровал и вот это теперь явственно видно.

В ожидании третьего тоста сосед Аллочки газовщик Серегин налил себе вина не в рюмку, а в стакан. Решительная Аллочка накрыла стакан пухлой ручкой, сказала:

— Здесь пять рюмок, не меньше. Вот вам и будет на пять тостов. Ясно?

— Ясно, — ответил Серегин. — Еще только учитесь, а уже командуете как доктор. — Аллочка Серегину нравилась. От ее могучего организма струилось тепло, и хотя и без этого в доме было жарко, Серегин старался незаметно придвинуться к ней поближе. — Что пропишете, то и исполню, я дисциплинированный.

— Это кто же вас так дисциплинировал? Жена?

— Профсоюз. Жены у меня нету.

— Почему же? Пора.

— Я без жилплощади. В общежитии, на коечке квартирую.

— А вы женитесь, тогда и жилплощадь скорее дадут. Женатым всегда в таком деле предпочтение.

— Не хотят выходить за коечника. Боятся, а вдруг предпочтения и не будет?

На другом конце стола озорная Маруся совсем иное говорила Коле Пузыреву:

— От этого виноградного вина только кисло делается, и больше ничего. Вы не находите?

— А какое же вы предпочитаете вино? — поинтересовался Коля.

— Мой папа — он погиб на фронте — утверждал, что самое лучшее из вин — это водка. Я с ним согласна. Я тоже предпочитаю только водку.

— Ну что ты плетешь, Маруся? Ты, наверно, никогда водки и не пила, — шепнула ей в ухо одна из подруг.

— Не мешай, — ответила досадливо Маруся и, обращаясь к Коле, продолжала: — Мужчина должен быть мужчиной, верно?

— Верно, — ответил Коля весело. — Но это совсем не значит, что степень своего мужества он должен доказывать количеством выпитой водки.

— Вот как! Вы рабочий? — спросила Маруся.

— Да, рабочий.

— А вы что делаете на заводе?

— Я выплавляю сталь. Я сталевар.

— А!.. Ну тогда простите, что я вам всякие глупости говорю. Вы знаете, я с такими, с настоящими рабочими еще не встречалась. Я все с такими, знаете, которые приходят замки чинить или комнату оклеивать. Они все страшные пьяницы и жулики.

— Это не рабочие, — сказал Коля. — Это эксплуататоры беспомощности среднего горожанина. Замки они чинят плохо.

— Верно! — воскликнула Маруся. — Через день снова чинить надо.

— Комнаты они оклеивают долго.

— Тоже верно! Сначала возьмут аванс и исчезнут на неделю. Вот я по ним, простите меня, пожалуйста, и судила о рабочих. А такие, как вы — сталевары, кузнецы разные, — они, думалось, где-то далеко, в книжках. Они когда-то сделали революцию, построили пятилетки, а теперь передали все государственные дела инженерам, интеллигенции.

— А куда ж подевались сами?

— Я про это не думала. Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня.

— Мне кажется, Маруся, что ты излишне много извиняешься, — через стол сказал все время молчавший Попов. — Не дай ввергнуть себя в идеализацию совре-

менного рабочего. Сегодня рабочий совсем не тот, который делал революцию.

— Да, не тот, — сказал Коля. — Сегодня он грамотный, у него за плечами семилетка, а то и десятилетка.

— Только и всего, что грамотность! А где революционность, всегда отличавшая рабочий класс?

— Что значит, где революционность? — удивленно возразил техник Махоткин. — А выпуск продукции сверх плана, перевыполнение нормы?.. А когда четыре домны работают так, будто их пять? Это что, не революционность? А у нас на заводе за год несколько тысяч рационализаторских предложений внесено рабочими, и они дали экономию средств в восемь миллионов — это что, не революционность рабочего класса?

— Я не про то... А где массовые, сплоченные действия?

— Догадываюсь! Вам, может быть, забастовку хотелось бы видеть? А против кого и чего?

— Мало ли! — крикнул Попов. — Бюрократизма сколько, безобразий всяких! Вельможи завелись.

— Слушайте, гражданин, — сказал Коля сдержанно. — А вы видели их, вельмож этих, бюрократов, сталкивались с ними? Или в журнале «Новый мир» вычитали про них?

— Не будем делать из этого секрета, товарищи, — сказал один из студентов, — товарищ Попов слушает «Голос Америки» и «голоса» всяких «свободных Европ». Ему уже говорили об этом у нас. Говорили, что мозги у него слабые, противостоять дряни не могут.

— Среди дряни зерна правды попадаются, — огрызнулся Попов.

— Какие же это зерна?

— Мальчики, мальчики! Умоляю вас, перестаньте! — закричала Аллочка, вставая. — Прекратите эти глупые разговоры.

— Это не глупые разговоры! — крикнул Попов. — Об этом нельзя молчать. А мы молчим, мы всего боимся, всего стесняемся. Болезнь внутрь уходит.

— Какая болезнь?

— Такая. Если мы хотим последствия культа личности искоренить, то почему у нас не разгоняют старый аппарат?

— Какой аппарат? — спросила Капа.

— Всякий. Разный. Бюрократический.

— У меня отец — аппарат! — сказала Капа с гордым волнением. — С первых лет своей сознательной жизни он

боролся за советскую власть, за партию, за народ. Он не знал ни одного часа отдыха. Никогда! У него совершенно больное сердце от этого. Он всего себя отдал людям, родине...

У Капы стало дергаться под глазом. Коля Пузырев бросился к ней со стаканом воды.

— Что вы, что вы! — заговорил он. — Не волнуйтесь так, вам нельзя. Он дурак, и больше ничего.

— Нет, он не дурак! — Капа отпила глоток. — Он уже не первый раз это. Мы ему прощали. Он уже говорил, что мы свернули с революционного пути. Мы зря ему прощали. Он гнилушка, гнилушка!

— Капочка, ты это зря, — сказала Зина. — Так нельзя кидаться: гнилушка. Жоре двадцать два года. Где и когда он успел сгнить?

— Бывает, и на корню гниют, — сказал Андрей.

— В плохую погоду, — поддержал его один из студентов. — Когда слякоть и дождь.

— Товарищ Попов, — заговорил Андрей. — Мы с вами встретились впервые, мы друг друга не знаем, вы, может быть, не обязаны слушать то, что скажу я или что уже говорили здесь ваши и мои товарищи. Но меня, скажу я вам, очень обидели слова о рабочем классе. Я вот рабочий. И отец у меня был рабочий и дед. И у деда отец тоже был рабочим.

— Лекция? — спросил нагловато Попов, разваляясь на стуле.

— Да, — ответил Андрей спокойно. — Это уже известно, когда некоторым говорят правду, они кричат: «Лекция! В лоб! Прописные истины!» В ООН, например, там и вовсе правду называют «большевистской пропагандой». Так вот, лекция. Мой прадед, отец деда, сгорел при взрыве печи. Когда рабочие его хоронили, были вызваны казаки. Они стегали товарищей деда нагайками, секли шашками. Чтобы так никогда больше не было, мой дед совершал Октябрьскую революцию. Чтобы дать народу самому управлять своей судьбой, и дед и мой отец строили свое, Советское государство. Мой дед не позволил гитлеровцам пустить печь на нашем заводе и геройски погиб на своем рабочем, боевом посту. Отец мой сражался на фронте и за нас с вами отдал свою жизнь. И все для того, чтобы никогда не вернулось прошлое, чтобы никогда не было ни казачьих нагаек, ни полицейских шапок. За это же и я в любую минуту отдам свою маленькую жизнь. Про-

тив кого же вы хотите, чтобы мы устраивали, как вы выражаетесь, «массовые действия»? Против нас же самих? Против дела наших прадедов, наших дедов, наших отцов? Против своего собственного дела?

— Слишком много прадедов и дедов! — с усмешкой сказал Попов. — Как там было у них, это мы знаем. А вот наша жизнь в вашем описании довольно неопределенно выглядит.

— Попов! — зло крикнула Аллочка. — Его деды, — она указала на Андрея, — ходили голодные и оборванные. А ты? Смотри, какой у тебя костюм, из какой замечательной материи. Ты что, у «Голоса Америки» его получил? Ты сидишь хоть один день в месяц голодный? Ты одет, накормлен, тебе дали жилище, тебе стипендию платят, тебя учат. Как тебе не стыдно болтать! Поезжай, дурак, к капиталистам...

— Прошу не выражаться! — сказал Попов.

— Нет, буду выражаться. Да, да, ты дурак, дурак, дурак! Ты чего-то наслушался по этому иностранному радио, ты начитался глупых книг. И плетешь и плетешь ерунду. Вот поезжай, говорю, к капиталистам и попробуй там получить стипендию, высшее образование, а потом получи работу врача, и тогда мы послушаем твои разглагольствования.

Коля Пузырев решил этот разговор прекратить.

— Слушайте, — сказал он. — Товарищи! Мы этого человека все равно сегодня не перевоспитаем. Ну его к лешему! Может быть, покончим с тостами, да и потанцуем все-таки. Мне Андрей говорил, что в этом доме пластинки есть какие-то хорошие.

— Правильно! — крикнула Аллочка. — Вы, Коля, гений.

— Он депутат горсовета!

— И он бригадир! Он умеет руководить!

— Но мы же тут не сталь варим.

— И очень жаль. Я бы все-таки предложила тост за тех, кто ее варит.

— И за тех, кто чугун варит.

— Его не варят, а выплавляют.

— Неважно. За вас, товарищи Андрей, Коля, и за вас, товарищи Махоткин и Серегин!

— Попов, конечно, за вас чокаться не будет, — сказал Белобородько, — поэтому я вынужден принять двойную порцию.

— Вот уж нет. — Аллочка и тут стояла на страже. — Никаких двойных. Здесь все равны.

Танцевали в саду, под вишнями, вскапывая каблуками иссохшую летнюю землю. Радиолу выставили на подоконник, она гремела на всю Овражную и, наверно, даже и за овраг, далеко в степь. Аллочка танцевала только с Колей Пузыревым. Они непрерывно о чем-то разговаривали.

— Колька, нехорошо, — улучив момент, сказал ему Серегин. — Это не по-товарищески.

Коля не обратил внимания на его укоры. Серегин позлился, позлился и незаметно ушел. Никем не замеченный, ушел и Попов.

Натанцевавшись, все разбрелись по саду, и, хотя был он крошечный, этот садик, каждый сумел отыскать в нем укромный уголок. Всюду шли разговоры, споры и даже... Капа могла в этом поклясться... Она сказала:

— Андрей, кто-то у нас целуется.

— Ну и что? — ответил Андрей. — А тебе жалко?

— Просто интересно — кто?

Потом попили чаю, спели несколько песен не очень стройным хором и разошлись. Последними, после всех, уходили Коля Пузырев и Аллочка. Получилось так потому, что Аллочка где-то в саду оставила шарфик, долго его там искала, а Коля ей помогал искать.

— Хитрая Алка, — сказала Капа, когда наконец ушли и они. — Я же вижу, ей твой Коля понравился. Вот и подстроила, чтобы проводил до дому.

— А там — адресочек... Какой-нибудь телефонный номерок: два двадцать — два нуля.

— Вот-вот. На лодочке пригласит покататься, — подхватила Капа. — Потом он обожжется у своей мартеновской печи. Аллочка его лечить будет.

Они обнялись возле калитки. Голос Моксича сказал:

— Что же ты ее, как медведь, тискаешь? В ейном положении это не годится. Беречь тяжелую бабу надо, неуч.

Убежали со смехом в дом.

— До чего смешно, — сказала Капа. — Баба! Вот бы мои родители слышали, кого вырастили: бабу!

Ничего не разбирая на разгромленном столе, оставив все эти дела на завтра, они тихо и мирно, одни, принялись пить чай.

— Все-таки устала, — сказала Капа.

— Болван этот ваш Попов, — сказал Андрей.

— Вы замечательно ему все отвечали. Я так радовалась. Может быть, это и хорошо, что он высказался. У всех сразу и мысли нашлись, и слова, и доказательства.

— А в общем, неприятно, — сказал Андрей. — Значит, живут среди нас такие, с такими взглядами. Я уж думал, что это все в прошлом. Работаешь, работаешь, перед тобой все печь да печь, ребята заводские, и начинаешь думать, что жизнь только из этого и состоит. А оказывается — вот еще что в жизни водится...

Они сидели друг перед другом за столом, смотрели друг другу в озабоченные, встревоженные глаза. Для них не было сомнения в том, как поступят они, если родине будет грозить опасность. Они любили Павла Корчагина, они любили молодогвардейцев, Зою, Чайку, Матросова, любили за то, что те поступали именно так в тяжелую годину, как поступили бы на их месте и они, Андрей и Капа Ершовы.

13

Орлеанцев пришел в партийный комитет.

— Когда-то, помню, — сказал он, сидя в кресле и покачивая ногой, — в этом кабинете обсуждалось то, как наш директор Чибисов отнесся к рационализаторскому предложению инженера Крутилича. Тогда товарищ Чибисов объяснял свое поведение тем, что недооценил, недопонял, занят, завертелся и тому подобное. К сожалению, факты свидетельствуют, что это не так. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с документами. — Он принялся извлекать из портфеля бумаги и раскладывать их на столе перед секретарем партийного комитета.

Можно было бы давно прийти в партийный комитет, можно было бы давно опубликовать все эти бумаги. Но Орлеанцев добивался того, чтобы сделал это Крутилич, чтобы именно он, этот озлобленный человек, пошел ходить по инстанциям с кляузой, с фальшивыми документами. Орлеанцев не учел одного. Он не учел, что Крутилич, получивший квартиру, Крутилич, состоящий на хорошей зарплате, Крутилич, обретший власть над заводскими изобретателями, — этот Крутилич уже утратил свой боевой пыл. О Козаковой, которая, по замыслу Орлеан-

цева, должна была выглядеть плагиатором, он даже сказал: «Я бы, откровенно говоря, простил ей эту маленькую погрешность, Константин Романович. Может быть, мы с ней шли параллельно. Может быть, она вовсе и не плагиатор. Может быть, и ко мне и к ней мысль явилась в одно время. Ведь бывает же так. История знает примеры». — «Эх, Крутилич, Крутилич, странный вы человек!» — сказал Орлеанцев, стараясь говорить это спокойно. «Не хуже некоторых, — ответил Крутилич. — Нет, не хуже, Константин Романович».

Возможно, что Орлеанцев, не находя прямой поддержки у Крутилича, так бы и не решился пускать в ход свои бумаги, если бы на завод вновь не приехал автор статьи «Сталь и стиль». Три дня провели они вместе. Приезжий возмущался, почему по его статье не приняты меры, ходил в горком — к Горбачеву, был в редакции. Обошел только Чибисова, с ним почему-то встретиться не захотел. Он говорил Орлеанцеву: «Никаких сомнений быть не может — все старое, все косное, догматическое будет сметено. Разве вы здесь не чувствуете свежего ветра?» Он сказал еще, что выступит с новой статьей, с еще более резкой и категорической.

Это, конечно, сильно противоречило жизненным принципам Орлеанцева — лезть в неизведанное, в непроверенное, но речи приезжего очеркиста укрепили его в необходимости активных действий. Иначе прозеваешь момент, иначе не будешь первым.

— Вот они, эти документы, — повторил он, разложив все листки перед секретарем парткома. — Из них следует, что товарищ Чибисов вообще странно понимает методы работы с изобретателями. Вот его записка главному инженеру, в которой директор просил главного инженера проследить, как товарищ Крутилич будет выполнять задание об охлаждении кабины вагона-весов. Значит, такое задание было, значит, директор был заинтересован в такой работе, значит, к ней привлекали изобретателя Крутилича. А дальше что? Дальше — вот докладная Крутилича о том, что работа проделана. Вот его объяснительная записка к этой работе. Вот схема электроохлаждения вагона-весов. Вот рабочие записи, эскизы. Смотрите дату — когда это было? Давным-давно, в январе. Почему же никто не знал, что Крутилич выполнил задание директора, и блестяще выполнил? Почему все это было подшито в папку и оставлено без движения? Не потому ли,

товарищ секретарь, что, признав на словах неправильность своего отношения к Крутиличу, Чибисов затаил против него злобу? Может быть, и задание-то он дал изобретателю в надежде, что тот его не выполнит, для дискредитации изобретателя? А когда благодаря одаренности, талантливости Крутилича задание было все-таки выполнено, директор спрятал его от заводской общественности. Что же дальше? А дальше... Дальше, поскольку высокую температуру в вагоне-весах надо все-таки ликвидировать, решили предложением Крутилича воспользоваться. Но сделать так, будто бы не он автор, а во всех отношениях бесцветная инженер Козакова. Какова тут механика — сказать трудно. Или прямо передали ей все эти материалы, или умело подсказали, навели на решение. Но тут уж за точность не ручаюсь, высказываю предположение. Это уж мой домысел, прошу прощения.

Секретарь партийного комитета был взволнован. С одной стороны — бумаги, представленные Орлеанцевым. С другой стороны — невозможно было поверить тому, что Чибисов способен на подобные махинации.

— Да... — сказал он настороженно. — Что ж, оставьте, товарищ Орлеанцев, будем разбираться.

Приглашенный в партийный комитет Чибисов, увидав эти бумаги, буквально онемел.

— А что я буду говорить? — сказал он. — Правильно, вот моя записка главному инженеру. Правильно, давал задание Крутиличу. Остальное... Первый раз вижу эти документы.

— А с Козаковой разговор был?

— Был. Рассказывала о своем предложении. Интересное предложение. Я одобрил. Главный инженер одобрил. Поручили конструкторам, электрикам. Сейчас уже монтируют.

— Почему же одобрили предложение Козаковой, а точно такое же и раньше разработанное Крутиличем замариновали?

— Не знаю. Ей-богу, не знаю. — Чибисов напрягал память, стараясь вспомнить все встречи, все разговоры с Крутиличем, курил папиросу за папиросой, и вид у него был до крайности виноватый.

— Запутанное дело. — Секретарь партийного комитета долго в молчании протирал очки лоскутком замши.

Вызывали главного инженера, вызывали Орлеанцева, инженеров из соответствующих отделов, вызывали начальника доменного цеха и обер-мастера Воробейного.

Собрали их в парткоме всех вместе. Воробейный сказал, что весной он что-то такое о предложении Крутилича слышал, — то ли Крутилич уже сделал это предложение, то ли еще только собирался это сделать. Но разговор подобный был, да, был, и что Крутилич еще год назад спускался в скиповую яму, это могут подтвердить рабочие. Главный инженер сказал, что хорошо помнит записку директора, но, должен признать свою вину, поручение не выполнил — с Крутиличем своевременно не побеседовал, ход работы не проконтролировал. Он спросил Орлеанцева, где тот разыскал документы Крутилича. Орлеанцев сказал, что там же, где была и записка директора, в той же архивной папке. «А как они туда попали? — спросил Чибисов. — От кого?» — «От вас, видимо, товарищ Чибисов, — ответил Орлеанцев. — В той папке только материалы, поступавшие главному инженеру от директора». — «Не было у меня таких материалов! — воскликнул Чибисов. — Не было! Тут какое-то колдовство!»

Порешили в конце концов на том, что для расследования запутанного дела будет создана комиссия. Но слухи об этом деле помчались впереди комиссии. Воробейный в тот же день, после короткой встречи с Орлеанцевым один на один, говорил в цехе мастерам и рабочим: «Конечно, нельзя во всем винить только Козакову. Виновата, виновата Козакова, что правда, то правда, не выстояла перед соблазном. Но и дирекция не должна была вводить ее в соблазн — подсовывать чужое предложение». — «А зачем это дирекции? — спросили Воробейного. — Какая разница, чье предложение — Крутилича или Козаковой? Важно, что дело сделано». — «Разница, товарищи, есть, и немалая. Во-первых, директор уже давно не ладил с Крутиличем. Ему, кажется, в свое время даже попало из-за Крутилича. А во-вторых, ну все же мы люди, все человеки... Инженер Козакова — женщина, а товарищ Чибисов — мужчина... Я ничего не утверждаю, это моя фантазия, но думаю, что не беспочвенная».

Так рос этот ком слухов и сплетен и, мчась с горы, налетел на Искру.

— Дернул же вас нечистый сдирать у Крутилича! — сказал ей в своей грубоватой манере начальник цеха. — Хоть бы у кого другого, а то у полнейшего психопата.

— Но ведь это же неправда, — сказала Искра горячо. — Неправда, страшная неправда. Неужели вы верите в это?

— Я готов, конечно, и вам верить, Искра Васильевна. Но и документам не могу не верить. А документы... ходил, читал их в парткоме... убедительные документы.

— Ну пусть, пусть, пусть Крутилич!.. Пусть он предложил, пусть берет все, пусть это его. Но я-то не с него... Я сама, сама...

— Все может быть, Искра Васильевна, все. Вот комиссия и разберется.

— Виталий, Виталий, Виталий! — вбежала она домой с криком. — Ужасное несчастье, ужасное!

Виталия дома не было. На столе, как всегда, лежала записка, за ширмой уже спала Люська. В записке было сказано, что Люську он накормил, что даже Искре приготовил поесть — завернуто в одеяло — и, исполнив свои домработницкие обязанности, удалился, пусть она его не ждет.

Искра пометалась по комнате, есть ничего не стала — не могла, выбежала на улицу: ей необходим был кто-нибудь, кому она скажет все, все.

Она не могла себе объяснить, как появилась такая мысль, но она побежала в новый заводской дом, она хотела найти не кого иного — Орлеанцева. Ведь это он поднял документы и принес в партийный комитет. Главный инженер сказал об этом: «Мог бы уж так поспешно и не мчаться в партком. Меня бы хоть сначала поставил в известность. Или директора». Искра давно испытывала неприязнь к Орлеанцеву, еще с той стычки в цехе, когда он попытался разговаривать с ней в развязно-снисходительном тоне. Но это ничего не значит — неприязнь неприязнью, а надо, надо выяснить все обстоятельства.

На дверях квартиры было написано, что к Орлеанцеву звонить три раза. Искра позвонила. Орлеанцев был дома. Отворив дверь, он стоял перед Искрой в теплой пушистой пижаме; в руке его была длинная трубка, из трубки шел приятно пахнувший дым.

— Вы? — удивился Орлеанцев. — Прошу.

Он провел Искру в свою комнату. На письменном столе здесь лежал раскрытый блокнот и на блокноте красивое «вечное перо» с золотым наконечником. Орлеанцев, видимо, что-то писал, когда она позвонила. Кроме этого, на столе ничего не было, он был чист и пустынен — ни единой книги, ни бумажки, ни карандаша.

— Присаживайтесь! — Орлеанцев указал на кресло.

Искра села и тут только почувствовала, что она совершила глупость, придя к этому человеку. Зачем она при-

шла к нему? Это холодный и самовлюбленный человек. Он посмеется над ней, и больше ничего; о ее приходе к нему будет рассказывать своим приятелям, как смешной анекдот. Она молчала. Он чистил и заново набивал трубку светлым, золотистым табаком. Вдруг у нее сами собой по щекам побежали слезы.

— Ну зачем же? — сказал он. — Вы такая мужественная, такая самостоятельная женщина...

Искра быстро вытерла глаза и сказала:

— Простите, но я, конечно, зря вас побеспокоила. Мне просто очень хотелось знать, почему вы могли подумать, будто бы я что-то взяла у Крутилича. Разве в тех бумагах, которые вы отнесли в партийный комитет, говорится и обо мне? Или вы просто так думаете?

Чиркая спичку за спичкой, Орлеанцев раскуривал трубку.

— Мне ведь это очень важно, — продолжала Искра. — Ведь если там есть что-то, подтверждающее такое заимствование, значит, документы эти подложные, потому что я ничего ни у кого не заимствовала. Я хочу знать...

Орлеанцев долгим, изучающим взглядом смотрел ей прямо в глаза.

— Нет, — сказал он, — письменного свидетельства того, о чем вы спрашиваете, в тех бумагах нету. И я, когда был в партийном комитете, отнюдь этого не утверждал.

— Но вы же об этом сказали. Сказали?

— Чисто в предположительном, гадательном плане. Если это не так — опровергайте. Охотно признáю ошибку.

— Опровергайте! Нет, это вы доказывайте! Вы пустили сплетню. Вот и доказывайте... — У Искры было такое состояние, что она готова была вскочить и ударить этого иронически улыбающегося, величественного, качающего ногой человека.

— Женщина может себе позволить такое удовольствие — говорить дерзости безнаказанно. — Орлеанцев галантно поклонился. — Мужское дело — принимать их безропотно.

— Напрасно вы паясничаете.

Он снова поклонился, но уже без улыбки.

В душе Орлеанцева происходил противоречивый процесс. Увидев в дверях Искру, он почувствовал неловкость, ему было неприятно смотреть в глаза человеку, на которого, мягко говоря, он возвел напраслину. Через ми-

путу эти внутренние укоры и неудобства ушли, а когда Искра села в кресло да еще принялась утирать слезы, он уже вновь усмехался своей обезоруживающей иронической усмешкой. Была даже минута, когда его потянуло схватить эту женщину за руки, привлечь к себе, и пусть бы она позабыла все их расприи, все раздоры. К чему, в сущности, это? Недоставало еще ему воевать и ссориться с женщиной, и к тому же, как при ближайшем рассмотрении выясняется, довольно-таки привлекательной. Но когда она заговорила, когда перешла в наступление, он насторожился. Замечание о том, что он паясничает, совсем его обозлило. Привлекательная женщина перестала быть привлекательной.

— Еще что? — сказал он сухо.

— Еще то, — с отчаянной решимостью ответила Искра, — что после всего этого вы нечестный, скверный, несоветский человек.

— А еще что?

— А еще то, что, если бы следовать вашему благородному примеру, я должна бы распространять на заводе все слухи и сплетни, какие ходили о вас в министерстве: о ваших похождениях, о скандалах, которые ваша жена устраивала чуть ли не всем молодым сотрудницам, о знаменитой Газюне...

— Думаю, что хватит, достаточно, — сказал Орлеанцев, подымаясь. — Я вам очень благодарен за этот милый вечер воспоминаний.

— Пожалуйста, — ответила Искра, тоже вставая. Ее знобило от бессилия, от невозможности вывести этого человека из себя.

Так больше она ему ничего и не сказала, так и ушла, провожаемая им до лестничной площадки. Когда она уже спустилась этажом ниже, он сказал ей вслед:

— Заходите чаще. Буду рад. Не каждый день попадается такой приятный собеседник. — И захлопнул дверь.

Искра вернулась домой. Завтра рано вставать — надо бы лечь, заснуть, выспаться. Но она не могла ложиться, не могла спать. Еще не было в ее жизни такого большого несчастья, какое свалилось на нее в эти дни. Когда она читала в книгах о том, как оклеветали честного, хорошего человека, она говорила: этого не может быть, кто поверит клеветникам, кто им позволит клеветать? Во многое плохое, что бывает в жизни, ей не верилось; ей казалось, что почти все плохое уже отмерло, ушло в прошлое. И вдруг...

Что же это такое? Неужели действительно это с нею случилось? А может быть, проснешься — и ничего уже не будет? Может быть, это страшный, жуткий сон, какие бывали в детстве?

Она стала вспоминать детство, покойного отца, хождение с ним в лес и на речку, когда он нес ее за плечами, или, как в их местности называли, «на кликушках». Хорошо было прижаться к теплой отцовской спине. Милая отцовская спина!.. От скольких бед скрывалась за ней маленькая Искра. Она помнит, как ребята раздразнили придурковатого мужика Колю-Колю-дровоколю и дровоколя, размахивая посохом, почему-то погнался именно за ней, за докторовой восьмилетней девчонкой. Она со страшным криком, спотыкаясь и падая, мчалась по деревенской улице домой. Но она бы далеко не убежала от обитой железом огромной палки, если бы вдруг не отец, вышедший на помощь.

Стоило забежать за отца, и все страхи рассеивались, все горести проходили, все несчастья отпадали сами собой.

Как бы нужна была ей сейчас такая защита! Как бы хотела она в эту минуту за чью-нибудь надежную, теплую спину. Виталий?.. Ах, Виталий... Поймав себя на этом вздохе, Искра подумала, почему она вздыхает, — не считает ли она себя несчастной? Это глупые мысли, сказала она себе. Я счастливая. Я очень счастливая. У меня есть Люська, у меня любящий и любимый муж, хороший, талантливый, у меня такая специальность, каких нет у других женщин, очень, очень интересная специальность.

Она повторяла, что она счастливая, счастливая — и глаза у нее наполнялись слезами. Ну почему нет Виталия, почему его всегда нет, когда у нее трудные, горькие минуты? Он работает для театра, оформляет новый спектакль. Он увлечен работой, — все это понятно. Но почему не работает днем, почему это надо непременно вечерами и непременно так поздно?

Она погасила верхний свет, оставив только ночник на тумбочке, возле тахты, которая им с Виталием заменяла кровать, но легла не на тахту, а пошла за ширму и, скорчившись, устроилась возле Люськи. Люська, не просыпаясь, обняла ее за шею, прижалась и ровно и жарко засопела в самое ухо. Боясь шевельнуться, Искра лежала так, может быть, час, а может быть, два и три. Пока не пришел Виталий. Пришел он с Гуляевым и был вдребезги пьян, а Гуляев совершенно трезв.

Уложили Виталия на кушетку.

— С кем, не знаю, Искра Васильевна, — ответил Гуляев на ее хмурый вопросительный взгляд. — Лично я не причастен, не виноват ни перед ним, ни перед вами. Уже два месяца в рот не беру. Захватил меня образ старика Окунева. До малодушного пьянства с такой высоты опуститься не могу: образ не позволяет.

— Где вы его нашли? — спросила Искра с горечью в голосе.

— Образ-то?

— Виталия.

— Все пропало! Все прахом! — забормотал Виталий, ворочаясь на кушетке.

— Вот так он всю дорогу дудел мне в ухо, — сказал Гуляев. — А нашел я его возле своего дома, на крыльце. Сидел и спал. Сказал, что шел ко мне, что домой не хочет: все, мол, пропало.

— Да, пропало! — выкрикнул Виталий, садясь на кушетке. — Вы обманули меня, вы завели меня туда, где в тупиках, мертвые и холодные, стоят старые, отжившие паровозы искусства. Я искал свою собственную неповторимую дорогу. А вы... и ты! — Он устремил палец в лицо Искре. — Да, и ты, и ты! Завели меня на заброшенную колею.

Он повалился и уснул, тяжело дыша и всхлипывая. Гуляев поцеловал руку Искре, сказал, что он всегда к ее услугам, и ушел. Искра села рядом со спавшим Виталием на кушетку, смотрела в его серое лицо, трогала волосы, почему-то мокрые и слипшиеся, и больше не говорила себе, что она очень, очень счастливая.

В эту ночь она почти не уснула, и когда перед рассветом, перед тем, когда уже надо было вставать, Виталий поднялся попить воды из графина, он увидел ее рядом с собой, в измятой кофточке, в измятой юбке, растрепанную и смотрящую на него усталыми, измученными глазами.

— Ты чего? — спросил он ее, пошатываясь. — Чего такая?

— Виталий, — сказала она, садясь на кушетке. — Виталька, у меня большое, очень большое несчастье.

Он не спросил, какое у нее несчастье. Он пораскачивался перед нею с минуту, пошел к дверям, туда, где должен был висеть его плащ, пошарил в сумерках, чего-то не нашел, чертыхнулся. Потом, походив по комнате,

наткнулся на стул, на спинке которого висел его пиджак, повешенный Искрой, порылся в карманах, вытащил скомканную газету.

— Ты всегда думаешь только о себе, — сказал он зло. — У нее несчастье! А какое у тебя может быть несчастье? Чугун перекипел, видите ли... А здесь крушение всего. Всего! На, наслаждайся! — Он швырнул газету ей на колени.

Чтобы прочесть, что там было, в этой измятой газете, надо было искать очки, — а где они? И времени для этого уже не оставалось. Уже во весь бас пел заводской гудок. Ровно через сорок минут надо было принимать смену. Но как же идти на завод после вчерашнего, как смотреть людям в глаза?

14

Сдавая смену Искре, Андрей сказал:

— Искра Васильевна, не огорчайтесь. Правда все равно свое возьмет.

— А вы ее знаете, правду, Андрей?

— Особенно-то нет, не знаю. Но ведь кто же у нас поверит всей этой болтовне, которая про вас?

— Спасибо.

Днем Искра выбрала время, чтобы просмотреть газету, которую сунула утром в карман курточки. Уйдя в пирометрическую, она развернула страницы, захватанные Виталием. Глаза ее сразу нашли фамилию: Козаков. Это было в большой полутораподвальной статье, подписанной режиссером Томашуком. Статья называлась: «Бескрылый догматизм в искусстве».

Прожив столько лет с Виталием, встречаясь часто с его друзьями и знакомыми — с художниками и актерами, Искра знала, конечно, сущность их творческих споров, знала, что среди них есть разногласия в определении и толковании социалистического реализма. Она и сама принимала участие в таких спорах. Однажды, еще в Москве, когда один художник, отстаивая импрессионизм, говорил, что напрасно устраиваются походы против этого течения, наоборот, дескать, социалистическому искусству надо взять его на свое вооружение и создать свой, социалистический импрессионизм, — слушавшая все это Искра сказала: «Ну, если можно создать социалистический импрессионизм, то почему тогда не быть социалистическому

сюрреализму, социалистическому абстракционизму и вообще — социалистическому формализму? А в конце концов и социалистическому капитализму». Ее прямое, ясное суждение обезоружило защитников «социалистического импрессионизма»; ничего толком они сказать после этого не смогли, только кричали, что так примитивно проводить параллели нельзя.

Читая статью Томашука, Искра прекрасно разбиралась, куда и против кого направляет свою критику автор. Бедный Виталий — как он не понял, что попал в эту статью в качестве отрицательного примера совсем не потому, что работы его плохи, а потому, что Томашук против большой правды жизни, против больших, красивых идей в искусстве. Конечно, это подло писать так, как пишет Томашук: «Кому нужна операция над действительностью, какую проделал художник Козаков? Взяв моделью рабочего металлургического завода, он постарался не заметить, что лицо у его модели изуродовано войной (а чего же тут стыдиться — это благородные шрамы!), что на фоне гигантских прокатных машин рабочий выглядит отнюдь не величественно, скажем прямо — он теряется среди них (и в этом нет ничего удивительного — машины действительно огромны, и тем значительней труд человека, управляющего ими). Козаков бесцеремонно отступает от правды. Козаков, вопреки правде, пишет некий лик мыслителя и фигуру некоего гиганта, подчиняющего себе стихию механизмов. Чем же тогда социалистический реализм художника Козакова отличается от методов воспроизведения правды в искусстве, которых когда-то добивался некий восточный владыка? Пусть простит мне читатель, но я вынужден сообщить ему эту поучительную историю. Владыка был кос на левый глаз, и правая нога у него была короче левой...»

Искра читала длинное изложение анекдота, услышанного Томашуком в салоне московской художественной дивы. «Чудак Виталий, так расстраивается из-за этого, — думала она. — Уж если анекдоты идут в ход для доказательств против тебя, значит, у противника ничего больше нет, значит, противник теряет выдержку, значит, победил ты, значит, правда на твоей стороне, на твоей».

Прочитав все, что было сказано о работе Виталия, все злые насмешки по его адресу, Искра стала читать статью сначала, по порядку. Главным объектом атаки был в ней не Виталий вовсе, а та часть коллектива театра, которая

работала над постановкой спектакля об Окуневых. Вот где Томашук не жалел красок. Он высмеивал молодого драматурга, который, по его словам, попробовав поработать над глубокими, человеческими темами, понял, что это путь трудный, доступный лишь истинным художникам, и встал на путь иной — на путь лакировки действительности, прикрываясь, конечно, лозунгами социалистического реализма. Томашук восклицал: «Стоит задуматься над тем, почему наиболее горячо, наиболее яростно за вышеназванный метод выступает именно тот, кто боится вскрывать тайники, язвы и противоречия?»

За Алексахиным шел в статье Гуляев — «актер в прошлом талантливый, но в различных отступлениях от норм человеческого общежития растративший свое дарование, потерявший способность играть характеры многогранные, богатые красками и, естественно, ищущий образов плакатных, схематичных, заезженных, над которыми не надо много трудиться». В нескольких местах статьи поминался директор театра Ершов, «бывший трубач духового оркестра, диктующий ныне свою волю людям искусства». Даже и худрук не был пощажен. Деликатно, но все же вполне определенно Томашук говорил, что из соображений отнюдь не принципиальных этот выдающийся ученик и последователь выдающихся театральных мастеров уступил перед натиском лакировщиков, прикрывающихся знаменами социалистического реализма. В заключение еще раз вспоминалось имя Виталия, уже в связи с тем, что не случайно именно этот художник был приглашен и согласился оформлять именно этот спектакль. «Общность порочных взглядов на искусство, общность порочных методов свела здесь их всех воедино!» — писал Томашук. И заканчивал призывом не делать панацею из метода социалистического реализма, а всем вместе творить искусство социалистической эпохи, которое вберет в себя все методы, все течения и направления. «Мы будем ломать копья из-за метода и не достигнем подлинного искусства. Не лучше ли иметь прекрасные произведения, а какими методами они созданы — оставить это для изучения нашим потомкам?»

Искре захотелось немедленно побежать домой, броситься к Виталию и сказать ему все, что она думает об этой статье, об этом Томашуке и о безвольном поведении самого Виталия. Она даже по временам позабывала о своей собственной беде.

Но беда ее не оставляла, беда продолжала ходить вокруг. В конце смены в цех явились член парткома, товарищ из профсоюзной организации и инженер из заводоуправления; они сказали, что пришли по поручению комиссии, и долго расспрашивали Искру о том, как возникла у нее идея электроохлаждения кабины вагона-весов. Искре было очень горько оттого, что они не хотят верить ей с первого же слова, а непременно переспрашивают, непременно задают еще множество дополнительных, по ее мнению, совершенно излишних вопросов. Она даже сказала, не выдержав: «Вы разговариваете так, будто в милиции». Взглянув на ее усталое лицо, инженер из заводоуправления сказал: «Товарищ Козакова, ну что вы, право? Мы так подробно, так придирчиво расспрашиваем вас потому, что нас самих это дело глубоко волнует и мы хотим разобраться в нем до конца, чтобы уже никакой неясности не осталось». — «И все же неясно многое, очень многое», — сказал товарищ из профсоюзной организации. «Что же тут неясного, что вам неясно?» — воскликнула Искра. «Ну, вот представьте, — заговорил инженер, — представьте, что мы всему, что сказали вы, полностью поверим, а как тогда относиться к тем документам, которыми располагает партийный комитет?» — «Разве в тех документах есть хоть намек на то, что инженер Козакова воспользовалась материалами изобретателя Крутилича, что она знала об этих материалах, что ей кто-то их показывал, говорил о них?» Искра волновалась так, что у нее тряслись руки. «Нет, этого там ничего нету», — ответил ей член партийного комитета. «Ну так вот, ну так вот! — Искра сжала руки в кулаки. — Ну так вот!» — повторяла она.

Все четверо сидели понурив головы, все четверо чувствовали себя плохо, все четверо искали выхода из проклятого тупика, в который их загнали бумаги, принесенные в партийный комитет заместителем главного инженера товарищем Орлеанцевым, и комментарии товарища Орлеанцева к этим бумагам.

Смена Искры уже окончилась, а обследователи еще были в цехе. Они спускались в скиповую яму, они ходили к начальнику цеха, они разговаривали с рабочими. Искра не дождалась их ухода, переоделась и отправилась домой. Стоя на автобусной остановке, она впервые пожалела о том, что ее здесь не ждет, не окликнет Дмитрий Ершов. Он бы сказал ей что нибудь определенное, он бы

поддержал ее, он бы успокаивал. Она даже представила себе, как взял бы он ее руки в свои жесткие, царапающие, теплые ладони...

Виталий, к удивлению Искры, был дома. Он учил Люську складывать из кубиков «мама» и «папа». Голова у него была обернута полотенцем.

— Ужасно болит, — сказал он. — У меня, наверно, кровяное давление повышено.

— Но ты же всегда утверждаешь, что водка расширяет сосуды, — ответила Искра.

— Не водка, а коньяк расширяет.

— Ну, а что же ты вчера пил — коньяк или водку?

— Не помню.

Искра что-то поделала для вида у стола, походила по комнате.

— Виталий, — сказала она. — Как тебе не стыдно? Я прочитала статью. Почему ты так на нее реагируешь? Почему ты кричишь: «Все пропало, все пропало!» Как ты мог...

— Потому! — взорвался Виталий. — Потому что запутали мне голову, втянули в это болото, а теперь все разбегутся, бросят одного. Лакировщик! Служитель культа! Воспеватель! Куритель фимиама! Другого имени мне не будет. Больших живописцев громят сейчас за это. А таких, как я, будут прихлопывать, как мух.

— И что же, Томашук этот, по-твоему, прав?

— А что думаешь!.. Может, и прав! Откуда я знаю!

— Но ты же всегда говорил, что социалистический реализм...

— Вовсе и не всегда. Ну говорил, было, говорил. Заговоришь. Перестань ты об этом. Социалистический реализм! Послушала бы, что за границей с ним делают!

— А что с ним делают за границей? — выпрямив всю свою маленькую фигурку и отчетливо произнося слова, спросила Искра.

— А то, что по этому методу, мол, создавались «фанерные сооружения», а не произведения искусства.

— И ты согласен с этим?

— При чем тут я? Это они говорят. Вон в Венгрии тоже. Демонстрации какие-то. Студенты. Писатели.

— Ты с кем вчера был? — спросила Искра.

— Ни с кем. Один. Купил днем газету... и один.

— А сегодня?

— А сегодня... Тут один приезжий литератор сейчас

в городе... Он пришел с этой вчерашней газетой. Вы, говорит, товарищ Козаков, на ложном пути.

— Он тебе и наговорил о Венгрии? Откуда он-то все это знает?

— В Москве и мы с тобой знали всего больше, чем тут. Сама помнишь, как все бывало. Вот говорил тебе, зря мы сюда едем, говорил! Сидим в болоте, от жизни отстаем.

— Виталий, Виталий, — сказала Искра, качая головой. — Как ты мечешься, милый, как ты бросаешься из крайности в крайность. Ведь это же неправда, что тебя завели в болото, что тебя бросят. Я не знаю, что там в Венгрии, но у нас-то, нашим советским людям, нравятся и картины советских художников, и книги советских писателей, и твои работы нравятся. Это не фанерные сооружения, зачем ты повторяешь мерзость, злобную чужую мерзость! Какой успех был с портретом Дмитрия Ершова! Настоящий ведь успех. Он лжет, твой Томашук, лжет, что Ершов написан по методу восточного владыки. Это настоящее, большое. Ты не копию снял, ты понял душу человека. Эх ты, глупый, глупый!..

В это время пришел Гуляев.

— Ну как, — сказал он, — пойдем?

— Куда? — ответил Виталий мрачно. — В театр?..

— Конечно.

— Не пойду. Больше я туда не пойду. Договор рву, работу бросаю. «Общность порочных взглядов на искусство, общность порочных методов свела здесь их всех воедино».

— Томашука цитируешь? Глупости, Витя. Не обращай внимания. Заканчивай декорации, мы заканчиваем репетиции, послезавтра генеральная, седьмого ноября — премьера.

— А Томашук? Статья?

— Что статья и что Томашук, если спектакль получается? Замечательный будет спектакль. А что касается статьи, то статья дурацкая, пошлая, злобная. И неграмотная. Он щеголяет эрудицией, а сам... Сам не знает, что анекдот о восточном владыке и трех живописцах — вовсе не анекдот, а новелла замечательного грузинского писателя восемнадцатого века Сулхана-Сабо Орбелиани. И вообще, проводя параллели, нельзя жонглировать веками. Словом, работать надо, Витя, работать, а не хныкать.

— Вот и я говорю, — подхватила Искра. — А он совсем раскис.

— Учись у своей замечательной подруги, — сказал Гуляев, положив руку на плечо Виталия. — Мне, нашлись добрые люди, сообщили об ее беде. Действительно, Искра Васильевна, — он повернулся к Искре, взял ее руку, — до чего же еще подлый народишко есть среди нас. Между прочим, вот не чувствовал я расположения к этому столичному льву.

— О чем вы говорите, о какой беде? — прервал Гуляева недоумевающий Виталий.

— О том, — вновь начиная волноваться, заговорила Искра, — о том, что меня обвинили в краже, в плагиате, в том, что я украла идею у инженера Крутилича. Помнишь, говорила тебе про электроохлаждение?..

— И это все? Вся беда и все несчастье? — Виталий улыбнулся. — Мне бы твои заботы, как говорится.

— Виталий, постыдись, — сказал Гуляев, видя, что Искра бледнеет от волнения и не находит слов для ответа Виталию. — Постыдись, дорогой. Обвинение серьезное, беда большая. И нужны немалые силы, чтобы доказать правоту.

— Может быть. — Виталий пожал плечами.

— Да, — Гуляев поспешил занять Искру разговором, — да, так вот я и говорю: не чувствовал расположения к нему, к Орлеанцеву к этому. Сначала он обхаживал меня, зачем, не ведаю. Пообщались с ним раз или два. Потом пошло на охлаждение. Увертливый. Будто все время роль какую-то играет. Уж мой-то актерский глаз это видит, уж поверьте мне, миленькая Искра Васильевна. Думаю, что ваша заводская общественность разберется в этом деле правильно. Не переживайте так. А то вот и глазки выцветут от слез, и щечки побледнеют от волнений, и носик вытянется, а он, курносый, такой симпатичный.

Искра при этих словах не могла, конечно, не улыбнуться. Она сказала, что плакать уже бросила со вчерашнего дня, что у нее появляется железная твердость в характере.

Виталия шутки Гуляева не тронули.

— Носик-то носик... да вот... — сказал он как-то неопределенно и неизвестно к кому это обращая.

Искре очень хотелось выяснить у него, что означает такое высказывание, но мешало присутствие Гуляева. А Гуляев сказал:

— Ну, милейший, хватит поддаваться интеллигентской панике. Надевай свой макинтош, бери кепку, и пошли, милый, пошли. Закончишь работу, тогда можешь демонстрировать любое свое несогласие, любые свои обиды с кем угодно и против кого угодно, а мне изволь подать к завтрему декорации, там и остались-то пустяки.

Виталий сопротивлялся, отстранялся от макинтоша, который на его плечи накидывал Гуляев, говорил, что у него болит голова, но Гуляев был настойчив и в конце концов увел Виталия.

Когда они ушли, Люська, безмолвно игравшая все это время на полу кубиками, сказала:

— Мамочка! А это ведь неправда, что ты у какого-то дяди холодильник утащила?

— Ну конечно, неправда! — горячо воскликнула Искра, но, сообразив, кто ее собеседник, засмеялась, подняла Люську на руки.

Та продолжала излагать свои наблюдения над жизнью:

— Вот у нас так получается, мамуля, как у других — так совсем наоборот. Вот у других волнуются, кричат, нервничают мамы, а папы их успокаивают. У нас волнуется, кричит, нервничает папа, а ты, хотя ты и мама, а не папа, его успокаиваешь. И получается, что ты наш папа, а папа — наша мама. Только, когда ты мама, лучше, чем если мама — папа. Ты меня понимаешь?

— О да! Конечно.

Люська еще что-то болтала, но Искру вновь кололи в сердце слова Виталия: «Носик-то носик... да вот...» Что «да вот»? Что он хотел этим сказать? Когда-то он действительно любил этот носик безо всяких «да вот». «Да вот» — это какое-то «но». А «но» можно тут понять и так: отстаньте вы от меня с вашим носом.

Искре стало очень обидно от такой мысли. К этой обиде присоединилась другая — обида оттого, что Виталий так равнодушно отнесся к обвинению, которое возвел на нее Орлеанцев.

Было обидно, но, пораздумав, Искра пришла к выводу, что ничего иного она в общем-то от Виталия и не ожидала. Ведь знала же она его, хорошо знала, и хорошо знала, что все происходящее с нею на заводе его мало интересует, он не придает этому никакого значения; вообще и ей-то самой особого значения он не придает. Все это Искре было известно, и все же в сердце никогда не умирала надежда: а вдруг, а вдруг?.. Вдруг Виталий от-

правится на завод, вдруг придет в партийный комитет или к Орлеанцеву, стукнет там кулаком по столу, заявит по-мужски, решительно и грозно: «Кто дал вам право обижать мою жену? Я вас!..»

За стеной включили радио. Женский хор пел о том, что куда-то летят утки и два гуся. Женщины по этому поводу вздыхали и охали. Водоплавающие летели невыносимо долго, охов и вздохов было соответственно много. Искра нервничала, хотелось пойти и выключить приемник, хотелось тишины. Но надо было терпеть. Она подумала о том, что в жизни приходится слишком много терпеть неприятного именно потому, что люди часто включают в жизнь что-то, не подумав, а как будет другому от этого включения, заботясь только о себе, о своих вкусах, о своих настроениях. Конечно, кто-нибудь другой на месте Искры и не терпел бы эту музыку, он, может быть, пошел бы перерезал провода, вывинтил пробки, глушитель придумал какой-нибудь, мог бы даже и весь приемник соседу испортить. Но Искра этого не может. И могла бы, да не стала. «И очень плохо, — сказала она себе, — очень плохо, что не можешь. Оттого что одни слишком много терпят и стесняются, от этого другие все больше наглеют, все больше перестают считаться с ближними».

А что, если все-таки прекратить эту музыку?

Искра долго колебалась, долго раздумывала. Наконец пошла все же и позвонила в дверь соседней квартиры.

— Извините, — сказала она, пугаясь своего нахальства. — Пожалуйста, извините. Но у вас так громко кричит радио, а у меня девочка не может уснуть.

— Пожалуйста, — сказал какой-то небритый гражданин в подтяжках. — У нас все равно никто его не слушает. И вообще мы о нем позабываем, так вы не стесняйтесь, заходите.

Когда Искра вернулась в свою комнату, за стеной уже было тихо, не было ни гусей, ни уток. Вот, оказывается, как все просто. Оказывается, не надо только сидеть и думать, что это невозможно, надо делать, действовать, и невозможное станет возможным.

В передней позвонили, Искра пошла отворять. В дверях стоял мальчик и протягивал письмо.

— Просили передать, — сказал он, отдавая письмо, и убежал вниз по лестнице.

Искра повертела в руках письмо; возвратясь в комнату, надела очки, вскрыла конверт, извлекла листок

бумаги; почерк был незнакомый. Она прочла: «Кляузам о вас никто не верит. Все знают, что это вранье. Не переживайте и не расстраивайтесь. *Д. Ершов*».

Только в эту минуту Искра поняла, что она ждала, ждала какой-либо вести, какого-нибудь знака от Дмитрия. Он не мог, не мог остаться равнодушным к тому, что с нею произошло! И не ошиблась: он подал знак.

Она опустилась на кушетку, держа письмо в ладонях, прижалась к нему лбом.

15

— Что вы ревете? Ну что вы ревете, Зоя Петровна? — свирепо сказал Чибисов. — О чем вас теперь ни спроси, вы сейчас же начинаете реветь. Нельзя же так! Это же не работа.

— Ну увольте меня, увольте! — в каком-то отчаянии выкрикнула Зоя Петровна. — Уж всему тогда разом конец.

— Чему конец, чему всему? — заинтересовался Чибисов. — Вы что-то странное произносите.

Зоя Петровна не ответила. Чибисов помолчал в ожидании, сказал:

— Не хотите говорить, как хотите, тогда, по крайней мере, не ревите хоть. Займемся делом. Я спрашиваю: вы знаете что-нибудь об этих документах, которые раскопал Орлеанцев? Вы их видели когда-нибудь?

Ну что могла на это Зоя Петровна ответить после минувшей ночи?

Вчера вечером Орлеанцев привел ее к себе домой, был необыкновенно ласков, уговорил — он это умеет! — выпить несколько рюмок коньяку, включил приемник, поймал какую-то хорошую музыку из-за границы, танцевали. Зоя Петровна говорила себе, что, может быть, она зря против него ожесточается, может быть, она чего-то недопонимает и напрасно капризничает, может быть, время образует все как надо, так, чтобы все было хорошо.

Где-то уже среди ночи Орлеанцев стал рассеян и печален. Когда она спросила, в чем дело, он посадил ее на диван, уткнулся ей лицом в колени и заплакал. Испуганная, она пыталась поднять его голову, целовала в лоб, в глаза; на губах было мокро от его слез, слезы падали ей на платье, крупные тяжелые. Она просто не знала, что делать. Она шептала какие-то сумасшедшие слова,

чтобы только его успокоить. Он сказал: «Я погиб, Зоенька, погиб, родная. Погиб». Она пыталась расспрашивать; он или молчал, или повторял: «Нет, нет, все кончено, все кончено. Наверно, это наша с тобой последняя ночь».

Было страшно от его состояния, от его слов, от неизвестности. Зою Петровну тоже стало познабливать, она тоже стала плакать. Но он не успокаивал. Он сказал: «Я вынужден буду покончить с собой, я не смогу вынести такого позора». — «Какого позора, Костя? Скажи, какого позора?» Зоя Петровна в ту минуту была готова сделать для него все, готова была принять любой позор на себя, лишь бы спасти Орлеанцева. «Видишь ли, — сказал он, прикрыв глаза рукой. — Чибисов пошел против меня походом. Он утверждает, что бумаги, которые я представил в партийный комитет, фальшивые... Они, конечно, подлинные, подлинные, Зоенька. Это рука Крутилича, это его записи, его черновики, эскизы... Но Чибисов стоит на своем. Ради карьеры он кого угодно смелет в порошок». — «Не может этого быть, Костя. Он совсем не такой. У него душа...» — «Какая там душа! До тех пор душа, пока его самого не коснулось. А ведь коснется, потому что во всем виноват он. Он будет изворачиваться изо всех сил, будет всех душить и топить. Спасти положение, помочь отстоять правду, спасти меня можешь только ты, одна ты». — «Но если ты прав, то почему говоришь о каком-то спасении, если ты прав, зачем тебя спасать, Костя?» — «Как ты не понимаешь, эти люди способны на все, они объединятся, они встанут один за другого, через их стену не пробьешься. Разве ты этого не знаешь?» — «Какие, люди, Костя?»

Тихая музыка в невыключенном приемнике в эту минуту смолкла, и бархатистый радостный баритон, слишком старательно и отчетливо произнося слова, сказал по-русски: «Внимание, внимание! Говорит «Свободная Европа». Чрезвычайное сообщение. Измученный коммунистическим режимом, народ Венгрии восстал и сбросил ярмо тирании. По всей стране идут освободительные бои...»

Голос продолжал захлебываться от радости. Зоя Петровна притихла, сжалась, закрыла лицо руками. «Милая, — сказал Орлеанцев, отводя ее руки и целуя ее глаза. — Милая, я тебя понимаю... Как жаль, что я не там. Я был бы сейчас на баррикадах, с теми, кто защищает горком партии в Будапеште, кто мужественно стоит против этих разбушевавшихся контрреволюционных банд. Это, конечно, контрреволюция...»

Зоя Петровна была подавлена, разбита, измучена страшной ночью. Под утро она подписала расписку, продиктованную Орлеанцевым. В расписке говорилось, что она, Зоя Петровна, секретарь директора металлургического завода, приняла для директора на стольких-то листах докладную записку и материалы к ней от инженера Крутилича. Дата была поставлена старая: январь. Орлеанцев сказал: «Так и только так можно доказать подлинность бумаг Крутилича и его право на рационализаторское предложение. Отстоять честного человека. Спасибо, ты хорошая, ты чудесная. Ложись под одеяло, поспи. Я посижу возле тебя, поберегу твой сон. Усталая моя».

Поспать удалось только час. Орлеанцев и в самом деле весь этот час сидел возле нее, держал ее руку в своей; сквозь сон она слышала его ласковые прикосновения, и, наверно, ей было бы очень хорошо, может быть, так хорошо, как никогда еще и не бывало в ее трудной жизни, если бы не радостный голос в иностранном радио, если бы не глухое сознание чего-то очень скверного, сделанного ею в эту ночь, если бы не эта расписка.

Ну как должна была отвечать Зоя Петровна на вопрос Чибисова, знает или не знает она о документах, представленных Орлеанцевым в партийный комитет? Она их, конечно, никогда не видела и никогда о них не слыхала. Но ведь сегодня ночью она расписалась в том, что десять месяцев назад приняла их от инженера Крутилича для передачи директору. Значит, что же — она их директору не передала своевременно, так, что ли? Да, конечно, именно так.

— Простите, Антон Егорович, — сказала она, бледнея. — Но эти бумаги у нас действительно были. Я помню это. Инженер Крутилич их мне приносил. Я их приняла у него. Давно уже, зимой. Он, знаете, такой, он даже расписку у меня потребовал. Я дала расписку.

Чибисов опустился на стул, ошеломленный и недоумевающий.

— Расписку дали... Приносил, значит? Были... Так куда же вы их девали тогда?! — закричал он. — Если у вас эти проклятые бумаги были, то у меня-то их не было. Что бы мне тут ни говорили, не видел я их!

— Да, вы их не видали, Антон Егорович. Виновата во всем я. Сразу не отдала вам. Они провалялись у меня в столе. А потом я их отнесла туда, в отдел главного ин-

женера, сказала, что это старые бумаги. Ну, там их, наверно, и подшили в папку.

— Я увольняю вас к чертовой матери! — закричал Чибисов. — Вы не работник. Вы бюрократка, вы разгильдяйка. Для вас труд человека — ничто. Вы можете его сунуть в стол и спокойно шляться по свиданиям и не ночевать дома. Я не хочу ничего слышать!.. Сейчас же вызовите ко мне начальника отдела кадров.

Начальнику отдела кадров, безропотно вызванному Зоей Петровной, он сказал, чтобы немедленно был подготовлен приказ, чтобы немедленно дали расчет Зое Петровне и чтобы на ее место немедленно пришел другой работник.

Через час в его приемной Зои Петровны уже не было, на ее месте сидела другая молодая женщина, которую перевели из отдела главного механика. Она приветливо улыбалась, но Чибисов смотреть на нее не хотел.

А Зоя Петровна шла пешком домой. Она с трудом передвигала тяжелые ноги. В голове было так, будто туда насыпали битого стекла, голову нельзя было поворачивать, повернешь — стеклянные осколки смещаются и во множестве мест пронизывают мозг своими остриями.

Зоя Петровна добрела до сквера, села на холодную скамейку, вытянула ноющие ноги, утопив при этом каблуки ботинок в песке, засунула озябшие кисти рук в рукава пальто; голова сама собою опустилась на грудь. Ни о чем не думалось, все было безразлично. Дремалось. Впереди, в завтрашнем дне, было черно и безнадежно. Ну и что же, все равно, какая разница, как там будет. Светло никогда в ее жизни не бывало. Какие-то люди в эту жизнь приходили, ничего с собой не приносили, потом уходили, как будто бы ничего и не уносили, но жизнь становилась почему-то все пустее и пустее; значит, что-то все-таки уносили.

Когда-то она была совсем другая, до этих разграблений...

Вспомнился Вовка, с которым училась в школе. Вовка был первый и, наверно, последний, кого она по-настоящему любила. Вовка, едва началась война, пошел проситься на фронт. Его взяли, но не на фронт, а в школу летчиков. Она тоже отправилась за ним и поступила официанткой в столовую этой школы. По окончании школы Вовка получил назначение в истребительную часть. Она отправилась за ним в эту часть и тоже работала там —

сначала официанткой, а потом ее перевели в канцелярию; стала стучать на машинке. Они встречались украдкой в короткие Вовкины свободные часы, говорили о разных разностях, о минувшей школьной жизни, о знакомых ребятах и девчатах, о будущем. Потом они решили пожениться, открыть свои отношения и больше не прятаться. Но так и не успели это сделать, — Вовка погиб. Его сбили в воздушном бою недалеко от полевого аэродрома. Она ушла в соседние кусты и пролежала там весь день среди кочек, поросших жестким брусничником, она думала, что умрет от горя. Еще день она провела возле его могилы, возле глинистого холмика, в который вкопали красный столбик с пятиконечной звездой на вершине и фотографией Вовки, врезанной в дерево. Было немыслимо думать, что под этой рыжей землей лежит он, веселый, красивый, умный, хороший, что он уже никогда не засмеется, не взглянет на нее своими мальчишескими серыми глазами и никогда больше ее не поцелует.

Она вспомнила минувшую жуткую ночь и страшного, упорного Орлеанцева. Ненадолго смогли обмануть ее его ласки. Уйдя, отойдя от него, она видела только жестокость, только все ломающую вокруг него настойчивость этого человека. Вовочка, милый, как недостает тебя, как ты нужен! Ведь больше никто, кроме тебя, не заступится, никто, кроме тебя, не скажет этому человеку, чтобы он ушел, отвязался!..

Холод медленно и упрямо проникал под пальто. Зоя Петровна стала зябнуть. Она поднялась со скамьи; застывшие ноги плохо двигались. Было странное чувство оттого, что не надо никуда спешить. Даже в недели отпуска не бывало такого состояния. Даже в санатории все время куда-то спешилось: на завтрак, на процедуры, на купание, в кино. А тут совсем можешь не смотреть на часы. Когда бы ни пришла и куда бы ни пришла — все равно никто от этого не пострадает, ничто от этого не изменится.

Придя домой, она так и не могла согреться; позябла, позябла, легла в постель и попросила грелку. Вскоре пришел Орлеанцев, сидел возле постели, целовал ей руки. Но она не хотела его слушать, не хотела видеть, глаз так и не раскрыла, — она вспоминала и видела одного Вовочку. Вовочка был давно, очень давно, а после него ничего не было, совсем ничего, не было ни этого Орлеанцева, ни всех историй с документами и расписками, ну совсем-

совсем ничего. Орлеанцев, прощаясь, сказал, что завтра зайдет снова.

Вечером, громко постучав, в комнату с газетой в руках вошла соседка — толстая пожилая женщина, вдова погибшего на фронте рабочего с металлургического завода.

— Зоя Петровна, извини, милая, ты, гляжу, хвораешь, но дело такое, извини, говорю, ты партийная, объясни, что же это творится? — Она потрясла газетой. — Какая-то реакция, волнения, вылазки. Да у меня там сын служит, в танкистах, Шурик-то, ты же его знаешь. В мирное-то время, да вдруг что случится. Мало мужа, сын еще вдруг... Зоя Петровна! Как же это? Народная демократия. Народная власть... Кто же против-то затевает? Какая реакция? Кто это?

— Это контрреволюция, Павла Федоровна. У нас тоже бывали такие заговоры после семнадцатого года. Белогвардейцы, эсеры, анархисты, иностранные разведки... — Зоя Петровна говорила с трудом, едва шевеля губами; глаза не хотели открываться, нужны были усилия, чтобы поднять веки.

— Так ведь тут не семнадцатый год! — продолжала волноваться мать танкиста, Павла Федоровна. — Они уже сколько при народном-то строе живут. Куда же ихние власти смотрели? Чего такую контру развели, дали ей голову поднять? Это ж куда же такое годится! Как народ-то позволяет? Случись нам с тобой, да разве мы бы сидели сложа руки! Да мы бы с тобой, бабы, пошли, этими бы руками подлецов передушили. Как считаешь?

— Ну ведь и там, Павла Федоровна, народ справится с контрреволюцией.

— Дай-то бог, дай-то бог! — сказала соседка. — А Шурка-то мой, как думаешь, Шурка-то?..

— Что вы, Павла Федоровна! — Зоя Петровна поняла, какого ответа хочет от нее эта взволнованная женщина. — Ничего ему не сделается. Не война же. Отдельные стычки, волнения.

А та вновь принялась вслух читать сообщение из Будапешта, будто хотела еще что-то вычитать между строк. Слишком скупое было сообщение, слишком короткое для матери, у которой там, в Венгрии, сын-солдат. Она хотела бы такое прочесть, чтобы и Будапешт этот был виден весь, и те, кто за народную власть, за социализм стеной стоят, и те, кто против него, и чтобы ясно было, кто подговорил их на это, кто дал им оружие в руки, и главное —

чтоб видно было, хорошо было видно, где Шурик ее там, что делает, что с ним.

Поздно вечером, послушав радио, соседка снова явилась.

— А бои-то все идут. Из-за границы какая-то контра проникает. Зверства. Коммунистов убивают. Что же это, Зоя Петровна? Ты партийная, ты должна знать.

Зоя Петровна не знала, что отвечать. Откуда ей, больной, разбитой, раздавленной, было знать, что там происходит, в Венгрии? Она понимала, что происходит что-то очень скверное и тяжелое, и только. А знала она об этом не больше соседки, хотя и была партийной. «Партийная», — усмехнулась она сама над собой. Партийная, которая пишет фальшивые расписки. Какая она партийная, она несчастное, жалкое, бессловесное существо. На него топнули, его пощекотали за ухом, и оно уже готово покорно выполнять чужую волю.

Вызванный назавтра врач заводской поликлиники сказал, что положение Зои Петровны очень плохое, что нервная ее система до крайности истощена, что если не будут приняты самые решительные меры, дело может окончиться катастрофой. «Но какие меры, доктор, какие?» — спрашивала мать, стараясь говорить так, чтобы Зоя Петровна не слышала. Но Зоя Петровна все слышала. «Необходим основательный отдых, — отвечал врач. — Лучше всего, конечно, санаторное лечение. Сейчас еще не поздно — ноябрь, куда-нибудь в Гагры, в Сочи. Купаться, может быть, нельзя, но солнце, воздух, природа, отключение от привычного... Ваша дочь — секретарь директора. Если шеф похлопочет, при экстренности случая путевку можно достать быстро». — «Да, да, я схожу к Антону Егоровичу».

— Мамочка, — сказала Зоя Петровна, не открывая глаз, когда врач ушел. — Можешь никуда не ходить. Меня уволили с завода.

— Боже мой! Как же так, Зоенька? Тебя всегда хвалили, премировали...

— Вот так, мама, уволили. И за дело. Я очень виновата. Я тебя прошу об одном. У меня в сумке деньги, я получила расчет. Живи на них как можно дольше, постарайся жить очень экономно, ешь сама и корми девочку, мне ничего не нужно. Это все наши с тобой деньги. Где их брать дальше, я не знаю.

— Бюро идет, товарищ. — Секретарь Горбачева, Симочка, старалась говорить как можно убедительней. — Еще не меньше двух, а то и три часа заседать будут.

— Ничего, я подожду, — ответил Дмитрий, присаживаясь на стул в приемной секретаря горкома.

— А потом Иван Яковлевич пообедать же должен. Он ведь тоже человек, правда?

— Подожду, подожду, — повторил Дмитрий.

— И вообще к Ивану Яковлевичу лучше в приемные дни приходить. Вот завтра будет приемный день. А потом — в пятницу. Можно ведь заранее записаться, без спешки, без нервничания.

Дмитрий раскрыл книгу, принесенную с собой, сказал:

— У него в пятницу приемный, а у меня рабочий. Расписание не сходится. — И стал читать.

Симочка помолчала и занялась своими бумагами. За три года работы в этой комнате она всяких посетителей насмотрелась. Вначале она очень боялась шумливых, которые стучали кулаками по столу, выкрикивали слова о бюрократизме и отрыве от народа, оскорбляли и ее и Ивана Яковлевича. Такие казались ей грозными борцами за правду, за справедливость. Когда они кричали что-то про революцию, про братские могилы и били себя в грудь, у нее начинали трястись коленки. Но время шло, Симочка давным-давно убедилась в том, что крикливые архисправедливцы, как правило, мелкие склочники и большие трусы; стоило взяться за телефон и сказать, что «если вы не перестанете, гражданин, безобразничать, я позову милицию», как они поспешно исчезали. А если и милиция не действовала, то в конце концов их выпроваживала сама Симочка. Она научилась разбираться в их натурах и в их делах.

Страшнее, значительно страшней были тихие, которые на все отвечали: «Ничего, я подожду» — и, каменно часами высиживая в приемной, все-таки добивались своего. Иван Яковлевич их принимал. Иные из них приходили тоже не с очень-то важными делами, бывало даже — просто с ерундой. Но поди узнай — с ерундой он пришел или не с ерундой! Часто шли ведь и такие, которые подымали серьезнейшие вопросы, такие вопросы, что Иван Яковлевич ставил их на бюро.

— Вы, может быть, в буфет сходите, товарищ? — сказала Симочка через некоторое время. — Чайку попьете. Буфет у нас внизу, с лестницы спуститесь — и налево.

— Спасибо, — ответил Дмитрий, не подымая глаз от книги. — Дома пил.

— Так ведь это же было, наверно, утром?

— В обед.

Дмитрий прочел немало страниц к тому времени, когда из кабинета Горбачева стали выходить люди. Они, еще несколько минут переговариваясь между собой, толпились в дверях и в приемной, что-то спрашивали у Симочки, чего-то у нее требовали, возвращаясь в кабинет, вновь выходили. Дмитрий все читал, одним глазом следя, чтобы не прозевать Горбачева.

Вышел наконец и Горбачев. Тогда Дмитрий встал и подошел к нему:

— Здравствуйте, Иван Яковлевич.

— Здравствуйте, Дмитрий Тимофеевич. Здравствуйте, дорогой. Не ко мне ли?

В глазах у Горбачева было такое выражение, что он был бы, наверно, очень рад, если бы оказалось, что Дмитрий пришел не к нему, а кому-нибудь другому. Глаза смотрели устало, ввалились. Но Дмитрий не мог откладывать свое дело ни на один день.

— К вам, — сказал он. — Совершенно верно.

— Ну что же... Симочка, — стараясь делать веселое лицо, обратился Горбачев к своей секретарше, — пусть нам принесут чайку да парочку-другую бутербродов. Заходите, Дмитрий Тимофеевич.

Они сели друг против друга за длинным столом заседаний. Горбачев, подперев щеки руками, молча смотрел на Дмитрия, но видел, кажется, не его. Может быть, только в эти минуты ему на ум приходили еще более верные решения, чем те, которые были приняты на бюро. Дмитрий тоже молчал. Когда собирался идти сюда, когда шел, когда ожидал в приемной, такие горячие слова, такие веские, убедительные примеры и доказательства прямо-таки рвались с языка. А тут — куда они и подевались?

— Ну вот что, — сказал он, преодолев это состояние. — Не знаю, как посмотрите вы, Иван Яковлевич, но у меня уже все горит в груди от той каши, какая у нас получается.

— От какой каши? — спросил Горбачев.

— А вот какой! Честных людей шельмуют. Брата мое-

го, Платона, с завода погнали. Инженера Козакову травят. Молодая, трудолюбивая, честная... А ее — в чем? — в воровстве обвинили, в том, что чужое изобретение за свое выдала.

— Что-то заговариваешься, Дмитрий Тимофеевич. — Горбачев достал папиросу из портсигара. — Разошелся... Ты факты давай!

— Факты?.. А брата, говорю, моего, Платона, почему выставили из цеха? Не для того ли, чтобы мразь эту взять — Воробейного, который кому хочешь служить будет, хоть нашему врагу? Не закрывай глаза на факты, Иван Яковлевич! Инженер Козакова чистой души человек, что с ней делают? Такой туман вокруг развели, того и гляди, в петлю загонят. Чибисов... Он не брат мне и не сват. Он директор, начальник. По-обывательски рассуждать, у нас с ним разные интересы. А у нас они не разные, общие. Товарищи мы с ним по общему делу. Это настоящий человек...

— Ты мне его не расписывай, — перебил Горбачев. — Чибисов расплачивается за легкомысленное, за неправильное, за непартийное отношение к изобретателям и изобретательству. Я это дело знаю. Я и сам тут виноват. Надо было ему своевременно дать взыскание, это его дисциплинировало бы и заставило задуматься.

— Так ведь теперь чего хотят? Спихнуть его хотят. Дело грошовое. А какие-то типы раздувают его знаешь до каких размеров, Иван Яковлевич? Прямо небоскреб строят. По заводу слухи распространяют один противнее другого. А в театре!.. Ты бы брата моего, Якова, вызвал, порасспрашивал, что там творится. Читал, статейка была на днях, режиссера Томашука? Кого он в статейке чернит? Якова, думаешь? Или артиста Гуляева? Или художника Козакова? Партию, которая таких людей вырастила и поддерживает, вот кого! Партию. Вроде бы и соцреализм обсуждают, а на самом деле... Нельзя, Иван Яковлевич, терпеть это больше, нельзя молчать. А то ведь вот еще что... Ты дочку свою порасспроси, как среди некоторых студентов дела обстоят. Завихряются молодые головы. Путаница всякая процветает.

— Слушай, Дмитрий Тимофеевич, — сказал Горбачев. — Может быть, конечно, какие-то элементы того, что ты тут рассказываешь, и есть в жизни. Но в общем-то ты великий мастер преувеличивать.

— Лучше преувеличить опасность, чем преуменьшить и недооценить. От спички города гибнут.

— И преувеличивать нельзя. От этого только паника разводится.

— А преуменьшать — благодушие получается, самоуспокоенность. Благодушных голыми руками берут, знаешь?

— Знаю. А один паникер целую дивизию разложить может.

— Значит, никудышная она, эта дивизия, если одному паникеру может поддаться. В общем, Иван Яковлевич, я пришел к тебе как рядовой коммунист к партийному руководителю, чтобы прямо и официально заявить: разберись, товарищ руководитель, в положении. Наш отец, когда мы, ребята, пожитки какие-нибудь свои раскидаем, а потом не найти их никак, говаривал: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Через самоуспокоенность, через благодушие можно так много потерять, что потом слезами умоешься, пальцы грызть будешь. Вот, Иван Яковлевич!

— Загибщик, ах загибщик! — Горбачев с укоризной покачал головой. — Ты молодой. Ты того не знаешь, через что мы прошли. А мы прошли и через огонь и через воду, через все испытания. У нас монолитная семья народов, сплоченная вокруг партии. Люди какие у нас замечательные выросли. Ну, иные еще, бывает, путаются в политике, бывает, чего-нибудь не поймут — не всем быть одного сознания, кто докуда дорос. Но в целом-то, в целом — хорошие они, советские люди. Конечно, какие-то одиночки и могут быть, которые по неразумению своему да по неумению противостоять зарубежной пропаганде назад нас пытаются тянуть. Но это же комариные укусы будут, и только.

— Все это верно, Иван Яковлевич, про хороших людей. Только и комаров нельзя недооценивать. От комариных укусов малярия заводится, которая потом треплет несколько лет.

Дмитрий ушел недовольный, хмурый. Уходя, сказал:

— Слушайте, про все это я буду писать в Центральный Комитет.

— Ваше право.

Проводив Дмитрия до лестницы, Горбачев собрался домой. Но Симочка сказала:

— Иван Яковлевич, тут инженер Крутилич звонил, просил вернуть ему какую-то докладную записку, он вам подлинник оставлял.

— Да, было дело, было. Давно только было. У вас ее нету в шкафах?

— Нету, Иван Яковлевич. Я рылась, рылась, потом вспомнила: вы ее тогда домой к себе увезли. Вам еще нездоровилось, вы сказали — вот положу, почитаю.

Дома перетряхнули вечером все ящики стола, все книжные полки. Нигде не было проклятой папки.

— Может, сожгли? — сказала Анна Николаевна. — Летом-то, перед отпуском, ты ненужные бумаги отбирал... Может, и сунул ее в хлам этот? Говорю тебе всегда: не носи бумаг домой, держи у себя в горкоме.

— Да их же читать надо, а не только держать, чудна́я. А все прочитать там разве можно? Сама же знаешь, какая она, горкомовская жизнь.

В этот вечер договариваться о совместной встрече Октябрьских праздников к родителям пришла Капа. Узнав, чем так озабочены родители, она сказала:

— Ох, отец, зря ты эти бумаги потерял. Ты не знаешь, кто такой Крутилич. От него на заводе столько несчастий. Там тоже бумаги какие-то потеряли. Всем нервы треплют сейчас.

— Милая, сравнила! — Горбачев даже свистнул. — Там Чибисов набезобразничал...

— А Дмитрий Тимофеевич говорит, что...

— Был, был у меня твой Дмитрий Тимофеевич сегодня, — перебил Горбачев. — Хоть бы вы его воспитывали с Андреем.

— А что такое?

— Да вот то... — Горбачев хотел сказать о том, что Дмитрий Ершов загибщик, человек, который на общественные явления смотрит слишком узко. Но не сказал этого. Задумался.

Хотя он и спорил сегодня с Дмитрием Ершовым, однако отлично понимал, что в словах того немало правды. За десять месяцев после Двадцатого съезда пришло не одно сообщение из партийных организаций о том, что, примазываясь к работе партии по ликвидации последствий культа личности, крича громкие революционные слова, подняли голову такие люди, которые десятки лет не открывали рта. Среди крикунов были, конечно, и просто запутавшиеся, плохо разобравшиеся в событиях. Но были и подобные некиим шестиногим существам, которые, перезимовав в щелях, с первой оттепелью начинают шевелить всеми своими конечностями и уже смотрят, кого бы кус-

нуть. Болтуны появились, прожектеры. Какие-то чудаки принялись восклицать о свободе искусства от какой-либо ответственности. Именно чудаки, иначе их не назовешь. Неужели же они думают, что искусство, «освобожденное» от руководства партии, способно существовать «само собою»? Что на него не начнет охоту буржуазная идеология? Буржуазная идеология еще сохранила цепкость и хитрость, ее тактика в том, что она умело и тонко развращает человека, воспитывает из него индивидуалиста, стяжателя. Там, у себя, она подчинила этой цели все — литературу, театр, кино, живопись, все виды зрелищ и развлечений. Странно, что чудаки, рассуждающие о «свободе искусства», этого не понимают, что они с наивно разинутыми ртами идут за этой приманкой «свободы», как те детишки из сказки, которых расписным пряником заманивала в лес баба-яга, чтобы выкормить пожирнее, изжарить в печке да сожрать.

Все это есть, все это видит и он, Горбачев. Но ведь это же единичные случаи, ведь все это единицы. И эти люди не враги, они просто заблуждаются. Пошумят, пошумят, да и перестанут, сами поймут свои заблуждения; жизнь заставит их понять, потом краснеть будут.

Капа уже давно договорилась с Анной Николаевной о праздниках, а Горбачев все сидел и размышлял.

— Смотри, отец, попадет тебе от Крутилича из-за его бумажек, — неожиданно сказала Капа.

Не сразу понял, о чем она. А когда понял, рассердился.

— Как-нибудь, как-нибудь, — ответил недовольно. — Разберемся.

17

Седьмого ноября Гуляев не пошел на демонстрацию, хотя очень любил в этот день бывать на улице в толпах поющих, танцующих, смеющихся людей. Молодел среди них, вспоминал минувшее, бодрился.

Не пошел, потому что готовился к вечернему спектаклю, к премьере, волновался. Генеральная репетиция прошла хорошо, на нее были приглашены, так сказать, друзья театра, которые из ложных соображений могли сказать и не всю правду и, поздравляя, пожимая руки, лобызаясь, ее, эту всю правду, все-таки оставить при себе. Есть такая манера у работников искусств: умалчивать о твоих не-

достатках, чтобы только тебя не огорчить. Был позавчера и общественный просмотр. Тоже собралась публика особая — различные руководящие товарищи, работники культуры и печати, или, если некоторые из них не смогли в этот день прийти, то их тетки, бабушки, домработницы. А сегодня — сегодня премьера, сегодня придут любители театра, купившие билеты в кассе за свои кровные, заработанные. Они не будут произносить речей, они не будут высказывать уклончивые суждения за бутылкой лимонада в кабинете директора или худрука. Они или долго после окончания спектакля будут вызывать актеров на сцену, или не досмотрят до конца, или жиденько похлопают в конце для приличия и дружно бросятся за калошами.

Уж в стольких спектаклях участвовал на своем актерском веку Гуляев, уж столько сыграл он ролей, — пора бы и перестать волноваться перед новой постановкой. Нет, не получалось, равнодушная опытность не приходила; волновался так, будто впервые выйдет сегодня на сцену. Подумывал даже, не выпить ли для храбрости стопочку коньяку. Но нет, отказался от этого средства. Вот тут-то, сказал он себе, и лежит зародыш возможного провала, вот отсюда-то и может возникнуть неверная тональность ведения роли старика Окунева — или повышенное зубоскальство этакого традиционного театрального деда из народа, или ходульный мелодраматизм. Нет, все должно быть правдой, высокой, красивой, благородной правдой.

Сомнения, волнения и колебания пропали сами собой, как только Гуляев вышел на сцену. Он почти не видел зала, лишь отметил в уме, что зал переполнен, даже сидят на приставных стульях. Затем зал исчез, началась рабочая жизнь семьи металлургов Окуневых. На сцене решались большие проблемы довоенной жизни советского народа, строились планы, вынашивались мечты о коммунистическом будущем, которое уже казалось таким близким. Одни собирались жениться, другие уйти на пенсию, третьи только что родились. Разразилась война... Свадьбы, пенсии, мечты, планы — все было отброшено назад. Но жизнь семьи, так же как и жизнь страны, не прекращалась. Она стала суровой, напряженной; иные планы, иные мечты зарождались у людей — разбить, во что бы то ни стало разбить врага, добраться до его сердца, и пусть он сам, породивший кровь и слезы, поймет, на себе испытает цену крови и слез. Во имя победы, которая непременно

будет, преодолевали любые лишения, любые страдания металлурги Окуневы, ставшие в большинстве солдатами. Другие из них плавили на Урале сталь для танков и пушек. А самые старые и самые малые волей судеб остались на родных пепелищах, на земле, занятой врагом.

В антрактах Гуляев запирался в своей уборной. Он прятался от друзей и знакомых. Он не хотел, чтобы от их слов, от их высказываний рассеивалось напряжение, возникшее в нем с первых шагов по сцене. Он чувствовал, как от картины к картине это напряжение нарастало; он отдавался ему полностью. Предпоследнюю картину, в которой старик Окунев гибнет под ударами гитлеровцев, но гибнет так, что зритель уже видит близкую неотвратимую гибель самих палачей, Гуляев провел с потрясающей силой. Зал гремел от аплодисментов и криков, когда погас свет на сцене и зарокотал поворотный круг перед последней картиной. А когда спектакль был закончен, разразилась овация. Металлурги, портовые рабочие, моряки, судостроители кричали «браво», требовали на сцену режиссера, автора, вновь и вновь вызывали Гуляева. Алексахин так растерялся, что запутался в занавесе и чуть не упал в оркестр. Гуляев был весь в слезах. Он давно уже не испытывал такой радости, такого восторга.

Вызвали наконец и худрука. Вид у него был растроганный. Он обошел толпившихся на сцене актеров, кому пожал руку, кого обнял по-братски; с Гуляевым он трижды по русскому обычаю расцеловался; всех благодарил, прижимал к груди руки. Ему аплодировали так, будто бы он и есть главный виновник того, что театр выпустил такой волнующий спектакль.

Даже художник Козаков, автор оформления, был вытащен на сцену. Только не было на сцене директора театра — Якова Тимофеевича Ершова. Взволнованный приемом, какой зрители оказали спектаклю, он поспешил в свой кабинет, откупорил несколько бутылок шампанского, распорядился, чтобы актеров и их друзей вели сразу же к нему. Вскоре обширный кабинет стал заполняться людьми. Обнимались, поздравляли друг друга, держали себя так, будто все изрядно выпили. У театра был праздник, большой, настоящий, радостный праздник. Может быть, в драматургическом отношении пьеса Алексахина и уступала пьесам опытных, набивших руку драматургов, может быть, в ней было что-то лишнее, но зритель пренебрег

молочами, увидав на сцене себя, свою жизнь, свои чувства, свои помыслы, мечты и порывы. И за это был благодарен театру.

Не сразу, постепенно, стал Гуляев различать лица собравшихся в кабинете директора. В этот день он разослал десятка полтора билетов, которые купил на свои собственные деньги. Главным образом его приглашенными были доменщики, с которыми он сдружился, работая над ролью, и которые помогали ему советом, подсказывали словечки, каких ни он сам, ни Алексахин не знали. Некоторые из этих новых знакомых были здесь, в кабинете директора театра. Говорили: «Ну и здóрово, Александр Львович! Просто даже замечательно! Это вы нам вроде подарка к празднику преподнесли!» Но многие, видимо, зайти сюда постеснялись или даже и не догадались. Так, должно быть, поступила и Зоя Петровна, которой Гуляев, помня обещание, послал два билета на премьеру. А может быть, и не было ее в театре, может быть, этот столичный красавец ни сам не захотел идти на провинциальный спектакль провинциального театра по пьесе провинциального драматурга, ни ее не пустил...

Искра Козакова сказала ему, что он так все время оглядывается, будто кого-то потерял.

— Вы очень наблюдательны, Искра Васильевна, — ответил он. — Не столько потерял, сколько не нахожу. Я одну милую даму приглашал на сегодня. Может быть, вы ее знаете: секретарь директора вашего завода, Зоя Петровна.

— Зои Петровны нет, — ответила Искра. — Директор ее грубо, по-свински уволил, просто даже выгнал, как старорежимный хозяйчик. Все возмущены.

Гуляев расстроился:

— Что вы говорите, Искра Васильевна! Из-за чего же?

— Все из-за того же, из-за чего и меня по всяческим комиссиям таскают. Крутилич... Орлеанцев... Какие-то записки, расписки. В общем, ну их! Не хочется в такой день, в такой праздник о них вспоминать.

Гуляев хотел все-таки подробней расспросить Искру о Зое Петровне, его очень удивила эта история, но подошел Горбачев, пожал руку:

— Поздравляю, товарищ Гуляев. Сам бывший рабочий, могу дать наивысшую оценку тому, как вы изображаете рабочего. С большим тактом, с большой любовью и уважением. Спасибо, еще раз спасибо!

— И вам спасибо, — поклонился Гуляев, — за добрые слова.

Вокруг них стал тесниться народ. Яков Тимофеевич сказал:

— А нелегко спектакль дался театру, Иван Яковлевич. Большая борьба была. Александр Львович — один из главных энтузиастов этого спектакля, точнее — самый главный.

— Честно говоря, он значительно главнее автора пьесы, — сказал, смущаясь Алексахин. — Если бы не он, не Александр Львович, пьесы бы и не было. Он меня заставил ее написать, и сам написал добрую половину.

— Полно, милый, полно, преувеличиваешь! — остановил его Гуляев. — Уж так скромничать нельзя, это через край.

— Идеи, идеи, идеи побеждают в искусстве, — сказал худрук, крутя пальцами на животе.

— Но некоторые, например, утверждают, что в искусстве главное — мастерство, форма, — не удержался, напомнил худруку недавние разговоры Гуляев. — А под мастерством при этом понимают умение удивить, поразить, огорошить зрителя.

— И без мастерства нельзя, нельзя, нельзя, это и я скажу, а не только некоторые.

— Против этого никто и не возражает, — продолжал Гуляев. — Но, имея мастерство, имей и идею, а не преподноси только мастерство.

— Тоже верно, голубчик, тоже верно.

Худрука трудно было вывести из равновесия — был он стар, умен и опытен.

Гуляев сказал Горбачеву, что и художник хорошо поработал, что декорации выразительные, оригинальные. Он подвел Козакова поближе.

— Совершенно верно, — согласился Горбачев. — Вы понимаете рабочую тему, товарищ Козаков. Я портрет прокатчика отлично помню. Закрою глаза, и он весь передо мной. Сильная была вещь.

— А вы читали, товарищ Горбачев, как эту, по-вашему, сильную вещь вдребезги разнес режиссер Томашук? — спросил Виталий.

— Читал. На что же тут обижаться? — ответил Горбачев примирительно. — Творческие споры. У вас, у работников искусства, всегда так. В спорах истина рождается.

— Истина?.. — покачал головой Виталий. — Вы же вот утверждаете, что портрет прокатчика — сильная вещь, так?

— Да, утверждаю. Так.

— А он утверждает, что это фальшь, лакировка, приспособленчество. Истина-то где же? Кто нас рассудит? Чье утверждение вернее?

— Думаю, что мое. Потому что за него большинство зрителей. Есть же отзывы посетителей выставки. Вы не огорчайтесь по поводу этой статьи. Работайте, доказывайте свое новыми работами. Новое всегда нелегко пробивать в жизни. Слышали, что товарищи говорили про этот спектакль? С боем шел. Так?

— Так, — подтвердил Яков Тимофеевич. — И кто бой-то нам давал? Все тот же вышеупомянутый товарищ Томашук, наш режиссер, который, кстати, и на спектакль сегодня не пришел. Он знаете что говорил? Он говорил: показывать будете пустому залу.

— Вот видите? — сказал Горбачев Виталию. — И это его предсказание не оправдалось. Неважный он ценитель искусства. Кстати, товарищ редактор! — Горбачев обратился к Бусырину. — А стоило бы поддержать театр, дать статью о спектакле.

— А мы это планируем, Иван Яковлевич. Сам буду писать.

Поговорили еще, доели зеленые мандарины, стали расходиться.

Гуляев шел по улице один. Слегка морозило, падал редкий снежок. На душе было празднично, как всегда бывает у человека, сделавшего что-то хорошее, значительное, нужное людям. Только где-то очень далеко, в глубине сознания шевелилось крохотное зернышко непонятного беспокойства. Он вновь переживал весь ход спектакля, повторял про себя отдельные реплики, еще и еще выверяя, так ли он их произнес; слышал аплодисменты, чувствовал на щеках поцелуи; рука хранила ощущение крепких радостных пожатий; все было чудесно, но беспокойство возьмет да и шевельнется, возьмет да и напомнит о себе.

Что такое? В чем дело? Гуляев остановился, даже потрогал лоб рукой. Потерял что-нибудь, или забыл, или еще что? И вдруг он понял. Зоя Петровна! Да, да, Зоя Петровна. Что это за нелепая история? Что за самодур Чибисов! Он вспомнил, как провожал Зою Петровну до дому,

как расспрашивала она, есть ли хорошие люди на свете. Уж один этот вопрос чего стоит! Значит, не сладко жилось человеку на свете, если человек стал задумываться — а есть ли вообще хорошие люди? Значит, сколько же обманывали этого человека, сколько он натерпелся от людей!

Гуляев был готов тут же свернуть со своего пути и отправиться дорогой, которая вела к дому Зои Петровны. Его бы не остановило то, что часы показывали около трех ночи. Тому, кто приходит с дружеским, искренним сочувствием, несправедливо обиженный человек рад всегда, в любое время суток. Остановила мысль об Орлеанцеве, который, кажется, играл весьма серьезную роль в жизни Зои Петровны. Какой многорукий он, этот товарищ! И здесь он тут как тут. И чудесного Платона Тимофеевича выжил из цеха, и жене Виталия успел какую-то свинью подложить...

Нет, не свернул Гуляев со своего пути. Медленно шагая, вдыхая свежий ночной воздух, дошел до дому, отворил двери собственными ключами; в доме было тихо, соседи, видимо, уже мирно спали, хотя, как знал Гуляев, Платон Тимофеевич и Устиновна в театре были, он их даже видел в рядах, сидели оба сосредоточенные и торжественные. Надев мягкие туфли, принялся расхаживать по комнате. Спать не мог, слишком был возбужден, взволнован. Много лет мечтал он о такой роли, какую сыграл сегодня, на годы вперед определит она дальнейшее направление его жизни. Теперь вновь он будет чувствовать себя уверенно, крепко на земле. Он отлично понимал того писателя, с которым провел как-то месяц на курорте. Писатель говорил, что удивляется иным своим собратьям по перу, которые, написав одну книгу, способны десять и двадцать лет существовать этой книгой. «Я не о материальной стороне говорю, — объяснял он. — Я о другой, о духовной. Взять меня, — если три-четыре года у меня нет новой книги, я чувствую себя плохо, я не вижу за собой права выступать перед читателями, перед своими товарищами, я не вижу за собой права быть избранным в какие-либо руководящие органы писательского союза — словом, я чувствую себя очень неполноценным. А ведь есть и такие литераторы, что книг не пишут, а тем не менее руководят, поучают, о каком-то своем художественном опыте рассуждают». Гуляев чувствовал себя теперь, как писатель, написавший новую книгу, подтвердив-

ний свое место в искусстве, свое право занимать это место.

В дверь к нему тихо постучали. Он отворил. В коридоре стояла Устиновна.

— И когда же вы пришли, Александр Львович? — сказала она. — А мы-то ждем, мы-то ждем!.. Так бы и прождали. Да, спасибо, свет увидела у порога. К нам, к нам идите. Платон уже здоровьичко-то помянул ваше.

Ершовы, оказывается, вовсе и не спали. Стол был у них накрыт.

— Ну, друг дорогой, — поднялся навстречу Гуляеву Платон Тимофеевич и крепко обнял. — Садись, отметим твое сегодняшнее достижение. Тетка моя слезами изошла сегодня, да и я пальцем в глазу скреб. Взял ты за душу, крепко взял!

Потом, когда все трое расположились вокруг стола, он сказал:

— Ты знаешь, что со мной сделал? Ты мне полную мою силу вернул, вот что. Понял я, что не имею права уступать, уходить из цеха. Я, видишь, ребятишек пошел учить, так сказать, серединное решеньице своей судьбы выбрал. А я чугун, чугун выплавлять обязан! Я здоровый, крепкий, я умею его выплавлять. Праздники пройдут, ставлю вопрос ребром — мое место в цеху, нигде больше. И все из-за тебя, такой ты мне пример, Львович, подал, просто словами и не объясню.

Они долго рассуждали о театре, об искусстве, о чугуне, о доменных печах и хитрых поворотах жизни; упомянул Гуляев и Зою Петровну, когда заговорил о неправильностях, какие совершаются иной раз на заводе.

— Тоже вот, — согласился Платон Тимофеевич, — сломали жизнь человеку. Больная лежит. Сильно хворая. Чибисов уже и сам не рад, что уволил.

— Черствый он человек.

— Нет, он не черствый. Голову ему заморочили.

— Ну, как же так, взять и выгнать?

— В жизни, Львович, всякое бывает. Эх, жизнь ведь это такая несусветная путаница, Львович! О ней вот так — раз,' раз! — прямо-то судить нельзя. Каждый из нас может черт-те чего натворить. От незнания, от нервов — вскипел, взорвался. От всякого другого. А вот главное — как дальше повести себя. Допустим, натворил чего, а потом понял свою несуразицу. Так вот, один, как только поймет, что натворил несуразного, сразу же исправлять ошибку

станет, не постесняется ее признать, сказать: так и так, товарищи, верно, напортачил, берусь обратно все вертеть, помогайте, если можете. Другой — нет, ни в какую! Есть ведь и такой среди нас народец. Что бревно, на своем стоять будет. Уж сам видит, что безобразиев натворил выше лба, — нет, будет и дальше одно на другое наворачивать, лишь бы, видишь, не признаться в своей вине. Прыщик на ровном месте.

— Так Чибисов-то из первых или из вторых?

— Запутали его, Львович, запутали. Еще, может, и сам не удержится на заводе. Такая буря идет, того и гляди, вырвет его с корнем. Хотя мужик крепкий, не из пугливых.

Назавтра Гуляев встал поздно. Снова его позвали к Ершовым чай пить. Были пироги, домашние печения Устиновны. Чувствовал себя хорошо, он бы мог сказать даже, как дома, если бы у него был когда-нибудь дом, если бы он помнил, что́ такое дом.

Потом решил выйти на улицу, благо день стоял солнечный и без ветра. Ходил по улицам, смотрел, как народ веселится, хотел в кино зайти — попалось по дороге, — шла незнакомая ему картина. Но билетов в кассе уже не было. Тогда понял, что на улицу его потянуло совсем не для того, чтобы воспользоваться солнцем и безветрием, а чтобы пойти и проведать Зою Петровну, —вот для чего он вышел на улицу.

Сказав себе это, почувствовал облегчение и отправился прямо по направлению той улицы, на которой она жила.

Зоя Петровна лежала в постели. Ее дочка, которая, когда он подал руку, назвалась Ниночкой, читала книжку на стуле возле окна. Мать за столом вязала что-то из зеленой шерсти. Лицо у Зои Петровны было почти такого же цвета, что и эта шерсть.

— Простите, — сказала она, — пожалуйста, простите — не пришла вчера. — Не подымаясь, она пошарила рукой на тумбочке возле постели, нашла конверт. — Вот и билеты пропали. Спасибо за них. Я хотела встать, но не смогла. Мучительно болит голова. Мучительно!..

— Вы, пожалуйста, не говорите, — сказал Гуляев. — Вам это трудно.

— Нет, я хочу говорить. Я уже очень давно молчу. Мне надоело молчать.

— А вас разве не посещают?

— Приходят, приходят. Подруги, сослуживцы с завода были. Вчера, после демонстрации, и то зашли. — Она назвала каких-то незнакомых ему людей. Среди них фамилии Орлеанцева не было. Гуляев очень хотел спросить о нем, но не решался. — Хватит обо мне, неинтересно, — сказала Зоя Петровна. — Лучше расскажите, как премьера прошла.

Он стал подробно рассказывать о спектакле, о разговорах после него, о своих волнениях и переживаниях.

— Вы не устали? — спрашивал время от времени. — Я вас не заговорил?

— Нет, нет, что вы!

Он шел сюда с намерением расспросить Зою Петровну о тех обстоятельствах, при которых Чибисов ее уволил, о причине увольнения, он хотел знать ее вину. Ему трудно было представить, что Зоя Петровна способна на что-то такое, за что надо увольнять с работы. Но он видел, что расспрашивать ее об этом нельзя. Он просидел долго, рассказывая всякую всячину; даже не заметил, как промчалось время и в окнах стало смеркаться.

Мать Зои Петровны позвала его к столу, пить чай.

— Только вы уж нас извините, — сказала она. — К чаю-то ничего нет.

— Мама!.. — тревожно окликнула ее Зоя Петровна.

— Что уж тут «мама!» Александр Львович и сам понимает, что мы с тобой не капиталисты. И раз ты не работаешь, то и средств у нас никаких нету.

— Мама!.. — еще тревожней и взволнованней воскликнула Зоя Петровна. — Я сейчас же встану. Слышишь?

Мать умолкла. Гуляеву стало не по себе от этой сцены. Он тоже умолк. Он пил чай за столом вместе с дочкой Зои Петровны. Зое Петровне мать подала стакан в постель. Он говорил себе, что мать, конечно, права: этой семье живется сейчас очень тяжело, когда кормилица ее без работы и больна. Ей, наверно, и по больничному листу не платят. Кто же будет платить, если она уволена?

Он ушел, размышляя над тем, как бы помочь Зое Петровне. Можно, например, покупать и приносить продукты. Но ведь наверняка купишь не то, что нужно хозяйке. Лучше бы всего дать денег. Он не богач, конечно, зарплата актера периферийного театра известна; он не миллионер, нет, не миллионер, и все же несколько сотен он готов был отдать этой семье. Но возьмут ли? Старушенция в этом смысле кажется, правда, вполне покладистой.

Но быть ужаснейшему скандалу, если узнает Зоя Петровна.

Он снова подумал об Орлеанцеве. Впечатление складывалось такое, что седовласый лев в этот дом, видимо, уже не ходит.

18

«Запутался, подлец, запутался! — с радостью думал Крутилич об Орлеанцеве. — А поучал всех, жить учил, ногой до чего же роскошно качал, деньгами швырялся. Притих, голубчик! Обожди, еще тише станешь...»

Крутилича радовало все, что происходило на заводе, — и то, что не стало в доменном цехе обер-мастера Ершова, и то, что уволили Зою Петровну, и то, что Чибисов ходит под угрозой строгого партийного выговора, а может быть, и более сурового наказания, и то, что инженера Козакову издергали так, что, говорят, у нее ссора с мужем, и вообще, что ходят комиссии, подымают архивы, заседают, пишут заключения, акты, выводы. А теперь вот и сам великий Орлеанцев под угрозой. Кто-то сказал, что с документами Крутилича — дело темное, не появились ли они в папке главного инженера задним числом, после того, как в заместители главного инженера пришел этот товарищ Орлеанцев. Ведь если начнут разбираться по-настоящему да позовут на помощь судебную экспертизу с ее современными средствами — химическими и рентгеноскопическими, то, конечно, подлог Орлеанцева докажут. «Паршивый карьерист! — думал о нем Крутилич. — До чего ловко всех расталкивает локтями. В министры прет! Ни больше ни меньше — в министры ему надобно».

О себе Крутилич не очень беспокоился. У него уже был разработан отличный план на крайний случай. Его с этими бумагами, с докладными и всякими объяснительными никто нигде не видел, он с ними никуда не ходил. Бегал с ними Орлеанцев. Его, Крутилича, спрашивали, конечно, чьи это бумаги. Он отвечал: да, его бумаги, и не больше. В решительный момент он скажет, что эти бумаги подобрал у него дома Орлеанцев и в целях подлой борьбы против Чибисова, который когда-то его обидел, потащил в партийный комитет; он, Крутилич, не будет отрицать, что эти бумаги — результат большого его труда; но ему, Крутиличу, инженеру серьезному, не любящему работать поспешно и поверхностно, своя работа по-

казалась слабой, несовершенной, и он временно ее отложил; с предложением своим никуда не обращался и не обратился бы, не завершив, и о нем бы раньше времени не узнали, если бы не Орлеанцев со своим склочничеством и карьеризмом. Позиция будет благородная, красивая, особенно если еще сказать, что предложение Козаковой, пожалуй, совершеннее, чем его, Крутилича, что он, Крутилич, охотно отдаст ей пальму первенства в этом деле. Закончится все тем, что их, Козакову и Крутилича, заставят эту пальму разделить на двоих. Ну и что же — не так плохо, если учесть, что Орлеанцев-то, великий Орлеанцев, при этом будет выглядеть как мелкий интриганишка. Да, да, все прекрасно: Козакова шла своим путем в разработке схемы электроохлаждения кабины вагона-весов; в это время у него, Крутилича, уже была разработана своя схема, но о ней никто не знал, потому что он, Крутилич, не считал ее совершенной. Вот так все будет.

Тайная и острая ненависть Крутилича к Орлеанцеву, к преуспевающему, к самоуверенному и удачливому Орлеанцеву, давно и безрезультатно искавшая выхода, вынашиваемая, лелеемая, наконец-то дождалась своего часа. Поизвивается этот гордец, поползает на брюхе. Крутилич потирал руки. Ему нравилось, что он перехитрил такого гиганта. Ему нравилось, что, в сущности-то, все заводские передряги происходят из-за него, из-за Крутилича, но на виду у людей оказался не он, а Орлеанцев. «Никогда не лезь вперед, — морализировал он сам с собой. — Что тебе важней — сделать дело? Или чтобы непременно знали, что это дело сделал именно ты? Не будь тщеславным. Как приятно сознавать, что скрытой и поэтому еще более могущественной пружиной событий, задевающих, касающихся многих, являешься ты, ты и никто другой».

В минуты таких размышлений Крутилич любил посмотреться в зеркало. Он подошел к зеркалу, стер с него пыль грязным носком, валявшимся на подзеркальнике. Женщина в его доме так и не появилась, несмотря на то, что Орлеанцев обещал помочь в этом трудном деле. Приходило, правда, несколько по его рекомендации. Об одной Орлеанцев в записке писал, что это отличная повариха. Но была она остроносая — вот-вот клюнет в темечко, и косая — смотришь на нее, и самому хочется глаза сводить к носу. Ужасно. Отказался. Подумаешь, повариха! Что ему — банкеты давать, что ли? Другая принялась рассказывать, как жила она в Москве у генералов да

у маршалов, всех знала она по имени и по отчеству; такие подробности из генеральской жизни выслушал от нее Крутилич, что подумал: «Да ты, матушка, не домработница, а форменный полковник Лоуренс в юбке». Тоже отказался. Третья, обхаживая квартиру, как-то загадочно усмехалась, потом спросила, а которая из комнат будет ее комнатой. Он сказал, что никоторая, и они распрощались. Четвертую он даже и в дом не пустил — приоткрыл дверь, узнал, по какому она делу, сказал: «Не надо, не надо, сам не белоручка», — и закрылся на замок.

Вот, конечно, и пыль от всего этого.

В кое-как протертом зеркале он увидел свое лицо. Очень хорошее лицо. Нет былой лихорадки в глазах, нет обтянутости скул. Спокойное выражение в глазах. Этот человек не лыком шит. Кое-кто еще о нем узнает, кое-кто еще пожалеет, что не разглядел его вовремя, относился к нему с покровительственной снисходительностью, а не как равный к равному. Прощать никому ничего нельзя. Простишь, не так поймут. Подумают, что ты слаб. Не простишь, сразу почувствуют твою силу, уважать будут. А если не уважать, то, во всяком случае, бояться. А это, пожалуй, еще и лучше. Вот и Горбачеву решил Крутилич не прощать, когда узнал, что тот не может найти его папку с объяснительной запиской. Написал об этом в областной комитет партии. Пусть вызовут, пусть поговорят с «хозяином города», пусть на себе испытает, каково это, когда тебя прорабатывают. А то ведь, наверно, живет, забот не знает, в свое удовольствие.

Вчера Горбачев приглашал к себе, сказал, что просит извинить его, пожалуйста, но вот пропала папка и найти ее не может, был тогда болен, не проследил. Словом, извините, товарищ Крутилич, все ведь мы люди и так далее.

Люди-то мы все — действительно люди. Но ты, милый, вот так сказал «извините», и для тебя инцидент исчерпан. А если бы я твою какую-нибудь паршивенькую бумажонку потерял, что бы со мной было? Выговор — это как минимум. А вернее всего, расчетный листок в зубы — и на вылет с работы. Бывало, бывало, не раз бывало такое в жизни Крутилича. Вот тебе и все мы люди!

Постепенно накручивая одно на другое, Крутилич распалил себя против Горбачева так, что рука его сама собой потянулась к бумаге и к перу. Заскрипело перо, стало плести букву за буквой, строчку за строчкой. Не знал, не

ведал секретарь горкома Горбачев, что́ готовил ему щуплый, немытый человечек, перед которым он вчера извинялся.

Заслышав звонок, Крутилич спрятал в стол свое сочинение, отправился отворять. Пришел Орлеанцев.

— Так и живете в свинушнике? — сказал он, садясь в кресло. — От вас уйдешь, потом костюм надо будет отдавать в чистку.

Крутилич не ответил, сел напротив, помимо воли своей смотрел на Орлеанцева злобно. И тот не улыбался, как бывало прежде.

— Ну как? — спросил Орлеанцев наконец.

— Что — «ну как?» — ответил Крутилич независимо.

— Как живется, спрашиваю.

— Помаленьку, Константин Романович, помаленьку.

— Довольны жизнью?

— Вполне, Константин Романович, вполне.

— А вы знаете, что скоро этому вашему благоденствию придет конец?

— В связи с чем же, Константин Романович?

— А в связи с тем, Крутилич, что бумажки ваши хотят объявить подложными, вот в связи с чем. И я бы на вашем месте не веселился так в подобных обстоятельствах.

— Странно, Константин Романович, я о своих бумагах не забочусь, заботитесь о них почему-то вы. Я о своей судьбе не хлопочу, хлопочете почему-то о ней вы. Откуда такая заинтересованность, откуда такая нежность!

Орлеанцев внимательно порассматривал лицо Крутилича, его руки, ноги в недавно купленных, но уже стоптанных туфлях из черной замши с лаком. Думалось ему невеселое. Он жалел, что связался с этим типом, таким жалким, несчастным в начале их знакомства и вот постепенно все больше и больше наглеющим. Почему он себя так держит, что он знает такого, что не знает Орлеанцев, какое он имеет в запасе оружие, почему он ухмыляется, почему его не пугают возможные разоблачения? От таких людей можно ожидать чего угодно, они способны продать родную мать с отцом, не то что... Орлеанцев чуть было не сказал себе: не то что товарища. Это было чудовищно — ему, Орлеанцеву, попасть в товарищи к такому мозгляку, к такому ничтожеству, бездарному, склочному, завистливому, обреченному на вечное прозябание. Как можно было так обмануться, как можно было не побрезговать

в средствах? Разве с помощью таких деградирующих, мелкотравчатых существ можно чего-либо добиться?

— Слушайте, — сказал он. — Может быть, вы это позабыли, но я-то отлично помню, при каких обстоятельствах началась полоса вашего процветания, Крутилич, вашего, так сказать, просперити...

— И я помню, Константин Романович, прекрасно помню, не думайте, что забыл. Началось все с того, что вы оказали мне великодушную помощь, что вы отыскали меня в моей жалкой берлоге и принялись вытаскивать на свет божий. Вы сражались за меня перед дирекцией, вы организовали статьи обо мне и моей работе в газетах и журналах, вы обеспечили меня хорошо оплачиваемой должностью на заводе, вы исхлопотали мне эту квартиру, вы...

— Довольно точный перечень, — прервал его Орлеанцев. — Ну, а как вы думаете, почему я так поступал, из каких побуждений, во имя каких целей и расчетов?

— Вот этого не знаю, Константин Романович. Чего не знаю, того не знаю. Могу только предполагать. Возможно, что из природного, так сказать, вашего благородства. Может быть, от широты вашей незаурядной натуры.

Орлеанцев следил за его глазами, за его губами, не мог понять, серьезно это все говорит Крутилич или смеется над ним самым наглым и беззастенчивым образом. Тварь, тля, ничтожество, а держится как сфинкс.

— То, что вы говорите, это красивые слова, — заговорил он не совсем уверенно. — При чем тут благородство и так далее! Просто я заинтересован в развитии нашей техники, нашей промышленности. Я увидел, что вы одаренный человек, одаренный инженер, и мой долг коммуниста обязывал меня помогать вам. И только. Я и впредь считаю своим долгом оказывать вам помощь в пределах своих возможностей.

— Спасибо, дорогой Константин Романович, спасибо.

— И сегодняшний мой приход к вам прошу рассматривать в этом же плане. Может быть, вы, не знаю только, по каким причинам, не сознаете всей опасности создавшегося положения, но положение неприятное, смею вас уверить. Под угрозой ваша репутация как изобретателя.

— Отчего же, интересно? — Лицо у Крутилича приняло выражение озабоченности. — Не совсем понимаю.

— Оттого, что ваши бумаги могут, говорю, признать подложными, если захотят это сделать.

— Но ведь они же не подложные, Константин Романович! — воскликнул Крутилич. — Вы это сами прекрасно знаете. Они все выполнены моей собственной рукой, это любая экспертиза признáет.

— Но они появились-то после того, как было сделано предложение Козаковой.

— Да, после. Но почему? Только потому, что они лежали у меня вот в этом сундуке. Я не считал работу законченной и не опубликовывал их. Значит, мы с Козаковой шли параллельно к одному и тому же решению. Она опубликовала раньше. Ну и что?

— А то, что не она опубликовала раньше, а вы, товарищ Крутилич, вы! Бумаги ваши не в сундуке хранились, а в папке главного инженера. С января месяца сего года. Как они туда попали из вашего сундука?

— Вот чего не знаю, того не знаю, Константин Романович. Перед кем угодно покаюсь: не знаю.

Скромно потупясь, Крутилич торжествовал. Он прижал к стене Орлеанцева. Действительно же, не он подсовывал в папку главного инженера свои документы.

— Может, кофейку выпьем? — предложил он, чувствуя, что готов засмеяться от радости. — У меня сгущенное кофе есть. Кипяточку согрею... — Не дожидаясь ответа, он повернул ключ в ящике стола, сунул его в карман и бросился на кухню. По дороге взглянул в зеркало, увидел сияющую физиономию, втянул голову в плечи, как бы в ожидании, что его вот-вот трахнут по затылку за ловкий, за очень ловкий и хитрый ход. «Молодец», — сказал он себе, разжигая газовую плиту.

Целых десять минут, пока он неуклюже и торопливо возился с посудой, с чашками и тарелками, на которые вытряхивал из мятых пачек остатки печенья и сдобных сухарей, в квартире стояло молчание. Орлеанцев не подавал о себе вестей. Крутилич даже забеспокоился — не взламывает ли он его стол, заглянул на ходу в комнату. Но Орлеанцев ничего не взламывал, все так же, в той же позе сидел в кресле и качал ногой.

Крутилич пригласил его к столу и, когда Орлеанцев пересел на стул, предложил:

— Может, коньячку хотите?

— От новоселья сохранили?

— Почему от новоселья! Бывает, принимаю как профилактическое против осенней сырости.

— Помогает?

— Прекрасно.
— Что же, давайте. Только ведь у вас и закусить, наверно, нечем?
— Яблочко есть.
На столе появилась начатая бутылка коньяку, выработанного почему-то довольно далеко от благодатных виноградных долин — в подвалах винного завода в городе Артемовске, в Донбассе.
— Это, конечно, не армянский, — прихлебнув из рюмки, сказал Орлеанцев, — и не азербайджанский, и не грузинский, и даже не молдавский...
— Это чисто металлургический, горняцкий, — вставил Крутилич.
Он был готов шутить, балагурить, он чувствовал себя так, как, наверно, чувствует кошка, наконец-то изловившая мышь, много дней дразнившую ее из щели под плинтусом. Мышь поймана, помята когтями, оставлена среди комнаты, она может воображать, что свободна, даже может бежать. Но только до определенного места, шаг дальше — и настороженные, бдительные когти тут как тут. Он даже принялся рассказывать притчу.
— В одном восточном царстве появился винокур. Так сказать, первый в этом царстве производитель вина. Царь узнал, сказал, что это безобразие и тому типу надо срубить голову, чтобы не насаждал разврата и разложения. Позвали, конечно, винокура к царю, так и так, вот что с тобой будет сделано. Винокур взмолился: ведь это же вовсе не разврат и не разложение, а напиток чудесного действия. Он способен слепого сделать зрячим, вернуть руки безрукому и нищего превратить в миллионера. «Если это так, — сказал царь, — то я не только тебя прощу, но милость моя пойдет еще дальше — ты станешь моим придворным винокуром». Да вы пейте, Константин Романович, пейте.
— Давайте уж вместе. Что это я один буду пить.
— Ну давайте. За ваше здоровье! Так вот, устроили испытание. Посадили в одну темную, без окон, залу слепого, безрукого и нищего с дороги. Поставили перед каждым по кувшину доброго вина. Пьют сердешные, царя хвалят, что устроил им такое угощение. Царь сидит за ширмой, слушает, наблюдает. Вот поднапились ребята, слепой и говорит: «Светло как стало! Эх, и окна здесь замечательные!» Безрукий закричал, входя в раж: «К черту окна! Сейчас встану, возьму стул и вышибу все ваши

окна!» Нищий, валясь под стол, успел пробормотать: «Бей, не стесняйся. За все плачу».

Орлеанцев усмехнулся.

— Что, смешно? — спросил довольный Крутилич.

— Не так смешно, как грустно, — ответил Орлеанцев. — Многие из нас ведут себя, как тот или иной из этих трех приятелей, но за собой этого не замечают и думают, что оно относится только к их ближним. Как считаете, Крутилич? Вы не бывали в положении этого слепого, этого безрукого или этого разгулявшегося беспортошника?

Крутилич пожал плечами. Тон, каким Орлеанцев сказал о беспортошнике, ему не понравился. Слишком многозначительным тоном сказал это Орлеанцев.

— Что ж, вернемся к нашему разговору, — заговорил Орлеанцев, не получив ответа от Крутилича. — Ваша версия о том, что бумаги хранились в сундуке, неверна. Они были подшиты в папке главного инженера.

— Только в таком случае они и могут быть фальшивыми! — воскликнул Крутилич. — Любая экспертиза докажет, что они туда всунуты кем-то значительно позже даты, которая на них стоит. Мои бумаги подлинные, они хранились в сундуке, пока вы их у меня не забрали и не унесли неизвестно куда. Я бумаг никуда не носил, ничего об этом не знаю.

— Но ведь на вашей докладной, в авторстве которой вы сами признались перед комиссией, стоит дата: январь. Именно в ту пору бумаги и были подшиты в папку.

— Январь-то январь, но, подписав этот январь, я документы запер в сундук, а не понес к директору. Я же сознавал, что работа была не закончена, а полуфабрикатами, как говорится, Константин Романович, не торгуем. Нет.

— Так что же, по-вашему, я таскался с этими бумагами, я их отдавал директору, я их куда-то подшивал?

— Не знаю, Константин Романович, ничего не знаю, прошу меня извинить.

Одутловатому, обрюзгшему от беспокойной жизни лицу Орлеанцева не шло выражение озабоченности и растерянности. С таким лицом Орлеанцев пришел к Крутиличу. Сейчас на нем снова была привычная, может быть, не такая непринужденная, как обычно, — может быть, чувствовались некоторые усилия Орлеанцева сделать ее

такой, — но все же это была его привычная, самоуверенно-снисходительная улыбка.

— Что же это вы такой забывчивый, дорогой мой? — сказал Орлеанцев. — Каждый раз вашу память надо стимулировать, принуждать к работе. Не склероз ли у вас, Крутилич? Что-то рановато. Хотя такая беспорядочная жизнь... Словом, Крутилич, такого-то января текущего года вы собственной рукой передали свои бумаги секретарю директора и собственной рукой получили у нее в этом расписку. Прошу полюбоваться.

Орлеанцев извлек из кармана пиджака лист бумаги, на котором ошеломленный Крутилич прочел: «Я, З. П. Ушакова, секретарь директора металлургического завода, 26 января с. г. получила от инженера т. Крутилича докладную записку и приложение к ней на 17 (семнадцать) листах об оборудовании электроохладительного устройства в вагоне-весах для немедленного вручения директору тов. Чибисову. *З. Ушакова»*.

Не успел Крутилич опомниться, как бумажка уже снова вернулась в карман Орлеанцева.

— Дорогой мой, даже стиль расписки и тот выдает вас с головой. Кто же еще такую бюрократическую загогулину способен выдумать!

— Но ведь это же вранье! — сказал Крутилич.

— Но ведь расписка-то подлинная. И та, которая ее подписала, принимая бумаги от вас, где угодно подтвердит, что документы ей приносили вы. Вы, вы, вы лично, что она принимала их именно от вас, от вас, а не от кого другого.

Крутилич палил рюмку коньяку. Выпил. Налил еще. Выпил. Проклятый Орлеанцев снова поймал его в какую-то ловушку.

— Чего же вы хотите? — спросил он злобно.

— Вот это уже нормальный разговор, — сказал Орлеанцев. — Речь, как говорится, не мальчика, а мужа. Хочу, чтобы вы не дожидались, когда вас скушают со всеми вашими потрошками, а чтобы за себя боролись, боролись за свою правоту. Вы должны пойти и пресечь всю эту болтовню о подложности документов. — Орлеанцев вновь извлек из кармана расписку, бросил ее на стол перед Крутиличем. — У вас есть и еще материалы к вашему предложению, если порыться в сундуке. У вас есть эта расписка наконец. Если она, — Орлеанцев указал пальцем на бумажку, — почему-либо исчезнет, вам стоит, между прочим, учесть, Крутилич, что та, которая ее писала, су-

ществует и всегда может восстановить документ. Вы меня понимаете? Итак, дорогой мой, действуйте, действуйте. Вы старый, опытный боец, не мне вас учить, — закончил Орлеанцев, подымаясь.

Уходил он вновь — и в который раз! — как победитель. Нет, не мог, не мог подняться вровень с ним Крутилич, не говоря уже о том, чтобы его перерасти. Действительно же, вел он себя сегодня, как тот захмелевший нищий, который вообразил себя богачем.

19

Мамаша Зои Петровны особой щепетильностью не страдала. В этом предположении Гуляев не ошибся. Те несколько сотенных, которые, вырвав из своего бюджета, он вложил ей в руку со словами: «Поправятся дела, отдадите», — она приняла как должное. «Лучше, если Зоя Петровна этого не будет знать», — добавил он, следя за тем, как проворно старуха прячет деньги в карман своего старого суконного платья под передником. «А как же, а как же! — согласилась она. — Останется между нами».

Гуляев заходил к Зое Петровне часто, заходил днем или даже утром. Позже не мог, позже его звал театр. Спектакль о семье Окуневых шел с большим успехом, и Гуляев был занят в нем почти ежедневно.

Зоя Петровна огорчалась, что все еще не может встать и посмотреть спектакль, о котором так много говорят в городе. «Но мне уже лучше, значительно лучше, — уверяла она. — Скоро выйду на улицу, а там — и в театр». Но так она только говорила, состояние ее по-прежнему было скверным, она не ощущала в себе ни малейших сил для того, чтобы встать. Когда дело доходило до еды, она с трудом заставляла себя съедать то, что готовила ей мать. Она удивлялась матери — как хозяйственно, как бережливо расходует та деньги, полученные при увольнении с завода. Время идет, а мать успокаивает: «Не волнуйся, не волнуйся, лежи, на месяц-то, на два еще за глаза хватит. Вот уж сразу видно, что не хозяйка ты, что отошла от домашней жизни и того не знаешь, как теперь продукты на рынке подешевели. Теперь, милая, на ту же двадцатку, на которую раньше день жили, теперь на нее и два, а то и три дня протянешь».

Посещения Гуляева радовали Зою Петровну. С ним было так хорошо, так интересно и вместе с тем легко,

просто. Он прожил большую жизнь и мог неистощимо рассказывать десятки, сотни человеческих историй; одни из них были смешные, другие трагические, но все такие, что очень волновали. Старый актер прекрасно знал человеческую душу, чужая душа не была для него потемками, он умел в ней разбираться.

Несколько раз заходил к Зое Петровне и Орлеанцев. С ним разговаривать она не хотела, лежала молчаливая, отворотясь к стене. Он приносил мандарины, шоколад, принес бутылку портвейна. Зоя Петровна после его ухода говорила матери: «Пожалуйста, выброси это все». Мать соглашалась: «Конечно, конечно, Зоенька». Но Зоя Петровна знала, что старуха никуда ничего не выбросит и потихоньку будет давать Ниночке. Но спорить и настаивать не могла.

Теперь она понимала, что вся та трагическая ночь, когда Орлеанцев рыдал и говорил о самоубийстве, была сплошным спектаклем, сплошной комедией, в которой разыгрывали ее, Зою Петровну. Как могла принимать она это всерьез, какая слепота нашла на нее! До чего же глупы мы, женщины, обойденные счастьем, до чего же легко верим даже самым неуклюжим, самым фальшивым уверениям! Верим не потому, что нас убедили, доказали нам, уверили нас, а потому, что сами хотим верить, горячо, страстно, слепо хотим верить.

В последний раз Орлеанцев сказал, что пришел попрощаться, — он взял отпуск и уезжает в Москву. «Надо проветриться, — сказал он. — Воздух здесь стал затхловатый. Венгерские события как-то отразились на людях. Люди стали подозрительней. С ними стало труднее». Зоя Петровна молчала, отворотясь к стене. «Между прочим, — продолжал Орлеанцев. — Между прочим, Зоенька. Тут могут начать приставать к тебе с этой распиской. Что да как. Я очень тебя прошу, очень...»

Зоя Петровна не выдержала и впервые после той ночи заговорила с ним: «Не выдавать вас, да? Об этом вы просите? — Она повернулась к нему, почти села на постели, взволнованная, бледная, трясущаяся. — Да, да, да? Об этом?» Она почти кричала. Орлеанцев принялся ее успокаивать, хотел положить на подушку ее голову. Она отстранилась. «Как вам не стыдно! — продолжала она. — С кем же вы провели год вашей жизни! С человеком, который способен, по-вашему, на любые подлости? Что же вы не удосужились разглядеть этого человека?» Она

опустилась на подушку, усталая, задыхающаяся. «Не бойтесь, — сказала, помолчав. — Ведь я могла, как выражаетесь вы, выдать вас еще и раньше». Он схватил ее руку — она не смогла воспротивиться — и поцеловал ее. «Как же я не видел, кого же я действительно не разглядел? — зашептал он. — Но не я тебя отталкиваю. Это ты...» — «Перестаньте, — сказала Зоя Петровна. — Я очень устала». — «Тогда прости, прости. Пожалуйста, прости».

Он попрощался и ушел. Зоя Петровна продолжала думать о том, как же ему не стыдно было обращаться к ней с такими просьбами. Нет, Зоя Петровна не смогла бы опуститься так низко, она не могла бы пойти и сказать о том, что человек, которому она позволяла обнимать себя и которого сама обнимала, вот, мол, такой-то и такой-то — он заставил, он вынудил ее сделать то-то и то-то. Как это было бы пóшло и по-обывательски ничтожно! Что значит заставил? Что значит вынудил? Может быть, он вывертывал ей руки или загонял иголки под ногти? Может быть, угрожал кнутом или пистолетом? Нет, ничего этого не было, она сама взяла в руки перо, сама все написала под его диктовку. Она могла бы ничего и не написать, и никто бы не смог заставить ее сделать это против воли.

Она вспомнила его слова о том, что люди после венгерских событий стали подозрительней. Станешь, подумала. Недавно приехал соседкин Шурик. Он был легко ранен, его отпустили на две недели домой. Он рассказывал, что дела в Будапеште были трудные. Контрреволюция разгулялась вовсю. Она пришла с Запада, долго и тщательно подготавливалась. Но были пособники ее и внутри страны. Шурик рассказывал о зверствах контрреволюционеров, о том, как использовали они отсталые настроения некоторых людей, беспечность тех, кто обязан был проявлять бдительность, растерянность тех, кто должен был проявлять организованность и твердость.

Долго раздумывала обо всем этом Зоя Петровна после ухода Орлеанцева, пока вопреки своему обычаю не пришел к ней в довольно поздний вечерний час Гуляев.

— Сегодня спектакля нет, в театре выходной, вот решил навестить. Не рассердитесь?

— Что вы, что вы! Садитесь, пожалуйста.

Поговорили о погоде, о последних газетных новостях. Зоя Петровна спросила:

— Александр Львович! Вот говорят, что после венгерских событий люди стали подозрительней. Как, по-вашему, правда это?

Гуляев помолчал, посматривая по временам на Зою Петровну. Он думал о том, что уже не первый раз Зоя Петровна задает ему вопросы, ссылаясь на то, что об этом где-то что-то «говорят». Он вспомнил: вот так же «говорили» когда-то о том, что полностью хороших людей нет на свете, все с червоточиной.

— Видите ли, Зоя Петровна, если вы скажете, кто это говорит, мне будет легче вам ответить. Но если не скажете вы, я возьму на себя смелость предположить, от кого идут эти разговоры. К вам просьба подтвердить, если я окажусь прав, и опровергнуть, если буду неправ. Но не отмалчиваться. Хорошо?

— Хорошо.

— Это говорит Орлеанцев.

Глаза Зои Петровны расширились от удивления.

— Почему вы так думаете, Александр Львович? Да, это он, вы правы.

— Почему я так думаю? Потому что человек этот многое в нашей жизни понимает и истолковывает не так, как мы с вами. Я, например, скажу, что люди стали бдительней, стали видеть единую связь, казалось бы, мелких, незначительных, разрозненных фактов. А он называет это подозрительностью. Как видим, как чувствуем — такое ведь этому и слово подбираем. Я не имею права вмешиваться в вашу жизнь, милая Зоя Петровна, я не знаю, какую роль в ней играет Орлеанцев, но как человек более опытный, чем вы, испытавший всего во много раз больше, чем испытали вы, хочу вам сказать... Простите, пожалуйста, но я непременно скажу. Этот человек играет, он лжет, он фальшивит. А вы!.. Вы открытая, честная, добрая, светлая душа. Другом вашим должен быть такой же открытый и честный, светлый человек.

«Вовочка, — подумала Зоя Петровна. — Один он был таким, открытым, честным и добрым. Вовочка...»

Она не возразила Гуляеву. Только через некоторое время сказала:

— Его уже нет.

— Кого, простите?

Она посмотрела в сторону ширмы, за которой при свете настольной лампы вязала мать, — тени ее рук, действовавших крючком, мелькали на пестрой ткани, — и занима-

лась уроками Никочка, — тень ее кудрявой головы неподвижно склонилась над столом, — понизила голос:

— Орлеанцева нет. Никакой роли он уже не играет. Видите, как я с вами откровенна. Даже не знаю, отчего так, Александр Львович.

— Оттого, что я старый, и оттого, что я служитель. Служитель муз, — в шутку ответил Гуляев. — Во мне вы усмотрели духовного отца.

— Нет, это не так, не шутите. Над вашим возрастом я не задумывалась. Просто я вам почему-то бесконечно верю. Видимо, потому, что на многое смотрю так же, как смотрите вы. Вот вы сказали об этом человеке... Он и я почти на все смотрели не только по-разному, но даже просто противоположно. А с вами, что бы вы ни говорили, я во всем согласна, согласна, согласна...

— Зоя Петровна, — тоже оглядываясь на ширму, сказал приглушенным голосом Гуляев. — Если я вам внушаю хоть сколько-нибудь доверия, будьте со мной откровенны, снимите с души моей тяжкий груз, который гнетет меня вот уже сколько времени. Расскажите правду о вашем увольнении. Я не верю в то, что вы оказались равнодушной к чьей-то судьбе, что вы держали у себя важные бумаги человека, для которого они были плодом большого исследовательского труда. Я не верю в это. Вы не такая. Вы не могли поступить так. Для меня, для человековеда, это несуразица, и она угнетает меня. Слышите?

Зоя Петровна молчала.

— Не хотите сказать. — Гуляев вздохнул. — Жаль. Очень жаль.

— Я не могу.

— Почему же?

— Это касается не только меня.

— Значит, здесь и он замешан, Орлеанцев. Ну, следовательно, я прав — все обстоит не так, как рассказывается на заводе. Все сложнее и туманнее, чем следовало бы. Вы пострадали из-за этого человека, так, Зоя Петровна?

Зоя Петровна молчала.

— Тогда скажите хотя бы одно, — настаивал Гуляев. — В этой истории все честно или есть кое-что и нечестное?

И на это Зоя Петровна не ответила.

Он шевельнулся на стуле, хотел встать. Она поймала его руку, удержала на месте.

— Не уходите. Пожалуйста, не уходите.

— Но вы со мной не откровенны. Мне будет трудно...

— В другой раз я вам все скажу. Не сегодня. Не настаивайте. Мне так тяжело. Если бы это только меня касалось, я бы все, все, что хотите, сказала. Но я же говорю, это не только меня касается.

— Ну хорошо, хорошо. Не надо. Ни о чем спрашивать больше не буду. Вы и так устали. Помолчите. Лучше я вам что-нибудь расскажу. Хотите?

Он видел, как из-под опущенных век Зои Петровны одна за другой выкатывались крупные медленные слезины.

В тысячный раз размышлял он об этой женщине, о ее жизни, о ее обидах. Он был сильный человек и, как всякий, у кого много силы, всю жизнь стремился проявлять заботу о том, кто слабее его, и никогда у него из этого ничего не получалось. Вместе с отцом Виталия Козакова они отвоевали гражданскую. Они воевали не только штыком и гранатой на фронте, но еще и на подмостках походных театров, в боевых самодельных пьесах. Вместе демобилизовались, вместе поступили в театр, и, на великое несчастье Гуляева, оба влюбились в одну девушку. Она ответила на чувства будущего отца Виталия. Они поженились. Гуляев остался рядом с ними. Все готов был делать для этой женщины, жизнь готов был отдать ей в любую минуту, если бы попросила, если бы потребовала. Но ей от него ничего не надо было, и жизни его она не требовала. Потом она умерла.

На дорогах Великой Отечественной войны солдат армейского художественного ансамбля Гуляев подобрал умирающую девчонку лет десяти, выходил, вылечил; только привык к ней, глядишь, пролетело время, стукнуло ей восемнадцать, вышла замуж, уехала в Среднюю Азию, не нужны ей его заботы; даже письма, должно быть, не очень нужны, отвечает редко.

Сердце по-прежнему переполнено чувствами — было бы только кому их отдать. День и ночь готов был заботиться Гуляев об этой больной, несчастной женщине, о Зое Петровне. Но ведь разве поймешь — а ей-то нужны ли его заботы?

Он ушел от Зои Петровны очень грустный. Придя домой, несмотря на поздний час, постучал к Платону Тимофеевичу.

Платон Тимофеевич сидел за столом и, прикусив кончик языка, водил пером по бумаге.

— Решительное заявление в обком пишу, — сказал он, снимая очки. — Пусть подумают, правильно ли так старые, опытные кадры разбрасывать.

— Боретесь за возвращение в цех?

— И вернусь! У нас советская власть, Александр Львович! Проходимец, конечно, и при ней может иметь успех. Но вся разница, что иметь он будет временный успех, временный! На основе обмана власти. Обман — позиция непрочная и недолговечная. Лететь гражданину Воробейному с места, на которое прав у него никаких, кроме диплома.

— Вот уж коли мы с вами об этих ваших заводских делах заговорили, Платон Тимофеевич, — Гуляев присел на стул возле стола, — то должен нарисованную вами картину дополнить и таким штришком, как увольнение секретаря директора, о чем мы с вами уже беседовали...

— Зои Петровны-то?.. — подхватил Платон Тимофеевич. — Сюда это не подходит, уж тут все ясно: потеряла бумаги, это большая вина. Крутилич — паршивый человечишка, говорить даже о нем неохота, но справедливость должна быть, Александр Львович. С твоим бы трудом так обошлись, какие бы слова заговорил ты, а?

— А вы убеждены, Платон Тимофеевич, что с этими бумагами было именно так, как на заводе рассказывают?

— Это ж она сама перед директором все высказала. А никто другой. Ее за язык не тянули.

— А вы убеждены, что не тянули?

Платон Тимофеевич только руками развел.

— Там уж дебря, — сказал он. — Дальше уж общественные организации не разберутся. Там, как говорится, компетенция уголовного розыска, если так.

— Может быть, вы правы, — в раздумье сказал Гуляев. — Но прошу выслушать меня внимательно. Я был сейчас у этой больной и очень несчастной женщины. Расспрашивал об этом деле, поскольку не даст оно мне покоя, терзает меня, не верю я в ее вину.

— Так ведь сама же признала, Львович!

— А вы знаете, Платон Тимофеевич, как юридическая наука говорит о таких собственных признаниях? Она

говорит, что к признаниям этим надо относиться особо осторожно, что они могут быть продиктованы некоей скрытой, неизвестной нам силой. На человека, может быть, где-то давят, а мы-то этого не видим. Верно?

— Кто же на нее давить будет? Страхи рассказываешь. Женщина самостоятельная, не девочка — сама дочку имеет. Кандидатом в партию состоит.

— Это еще далеко не все, Платон Тимофеевич. Есть силы, которым мы с вами полной цены даже еще и не знаем. Если вы мне дадите слово, что теми мыслями, какими я сейчас с вами делюсь, будете пользоваться очень осторожно и тактично, я вам расскажу о своих некоторых наблюдениях и соображениях.

— Сорока я, что ли, на хвосте-то носить?

— Но, между прочим, и ход им надо дать, этим соображениям. Вот какая сложность. Дело в том, что на бедную Зою Петровну имел влияние некто, о ком, как я слышал, вы отзывались не слишком лестно. Этот некто — Орлеанцев.

Брови у Платона Тимофеевича сошлись над переносьем. Он внимательно слушал, сложив руки на столе.

— Не был ли он, этот Орлеанцев, — продолжал Гуляев, — заинтересован в том, чтобы именно так вела себя Зоя Петровна? Я не очень знаю тонкости заводских дел. А как по-вашему?

— Да ведь как сказать, — не сразу ответил сильно озадаченный Платон Тимофеевич. — Быстро-то не сообразишь такое дело. Вообще Орлеанцев тип кручёный. Думаю, что с ним счеты будут большие у многих — у наших, заводских. Он осекся в верхах и думал по нашим головам пробежать дорожку снова вверх. Это мы раскусили. А вот тут, с документами Крутилича, не пойму. Тут скорей бы Крутилич должен был комбинировать. Орлеанцеву это вроде бы и ни к чему. Не знаю, не знаю... Наоборот, он эти бумаги отыскал да в партком представил. Нет, не соображу, не соображу, — рассуждал вслух Платон Тимофеевич. — Дмитрию бы нашему сказать. Хочешь, пойдем к нему, к Дмитрию-то? Ты ведь его знаешь. Вместе, помню, на Овражной встречались.

— Встречались. Портрет его видел. И у художника дома, и на выставке. Знаю, в общем. Только когда пойти?

— Завтра и пойдем. Согласен?

— Согласен, конечно. Но все-таки, думаю, не мешало бы и с директором пообщаться. Если бы вы это мог-

ли, Платон Тимофеевич. Было бы очень хорошо. Взять да так осторожненько и изложить ему мои соображения.

— Это можно, это можно. И еще ему скажу, что ведет он себя вроде старорежимного хозяйчика: выгнал человека, да и забыл про него. А человек с ним более трех лет бок о бок проработал, сколько дел ему всяких переделал. Секретарская-то должность ведь какая! Даже директоровы конфликты с женой должна была она, Зоя Петровна, улаживать. И такое случалось.

— Тем более. Обязан бы позаботиться. Ведь сама она с постели не встанет. Ее лечить надо. Ей курорт надо. А тут получается, что даже и есть нечего.

В эту ночь Гуляев засыпал трудно, вновь и вновь продумывал он весь свой разговор с Зоей Петровной. И вновь возвращался к мысли о том, что во всем ее деле какую-то, и немалую, роль играет Орлеанцев.

Орлеанцев в этот час спал в мягком вагоне скорого поезда, увозившего его в Москву. Мелкие дрязги провинциалов остались позади — за станционным семафором. Перед масштабами Москвы они ничто. Пройдет время, он вернется, на заводе уже все уляжется, утрясется, позабудется. В Москве немало нужных людей, которые помогут этому. Не имей сто друзей, а имей сотню нужных людей — замечательное правило жизни. Оно еще никогда не подводило Орлеанцева.

20

Шли дни, полные неопределенности. В этом запутанном деле никто разобраться толком не мог. Комиссия, созданная партийной и профсоюзной организациями и дирекцией завода, несколько раз меняла свои выводы. Однажды уже доказали, что если Крутилич и разработал схему электроохлаждения вагона-весов, то, во всяком случае, никто ее не видел на заводе. И, следовательно, она, Искра Козакова, шла своим, самостоятельным путем, и никаких разговоров о плагиате, о заимствовании быть не может.

Затем секретарь директора призналась в том, что бумаги все-таки были представлены Крутиличем в заводоуправление, и если они не получили хода, не его вина, а ее — во всем виновата она. Снова стали выяснять —

только ли одна Зоя Петровна виновата, и если так, то по каким в этом случае путям идея Крутилича могла дойти до сведения инженера Козаковой?

Кто-то из инженеров высказался в том смысле, что очень уж активен в истории с Крутиличем Орлеанцев. Почему он так активен? Тогда Орлеанцев сказал, что умывает руки и больше этим делом заниматься не будет, пусть на заводе цветет директорский произвол, пусть недоучки крадут технические идеи у талантливых изобретателей, пусть насаждаются нравы, чуждые социалистическому обществу.

Он и в самом деле отстранился от всех дрязг, вместе с обер-мастером инженером Воробейным занялся налаживанием работы доменного цеха по тому плану, какой еще разрабатывали когда-то Искра и Платон Тимофеевич; дело с бумагами Крутилича зашло тем временем в полнейший тупик.

Тогда в партийный комитет явился сам Крутилич и, потрясая распиской Зои Петровны, заявил, что ему это все надоело, не он начинал кляузу, он человек скромный, но уж поскольку кляуза начата и повсюду треплют его честное имя, он требует, чтобы была внесена полная ясность — кто виноват в том, что и это его предложение было замариновано на металлургическом заводе, и кто же в конце концов автор предложения — он или Козакова. Вот чего он требует, это минимум того, что должно быть сделано немедленно.

— Что же тут неясного, над чем вы раздумываете? — возмущался он. — Прошлой осенью директор завода дал мне задание разработать систему охлаждения кабины вагона-весов. Двадцать шестого января я подал директору — вот же расписка! — докладную о том, что задание выполнено, приложил необходимые схемы. Неважно, кто там виноват, что моя работа завалялась в столе заводоуправления, — секретарь ли директора или сам директор, замариновавший немало ценных предложений, — неважно. Важно сейчас другое. Важно, чтобы прекратили меня склонять во всех падежах на заводе и завершили бы наконец установку охладительных устройств в вагоне-весах. Мы, начальники, разводим склоку, а рабочие от этого страдают.

Требование Крутилича выглядело абсолютно законным. Комиссия была пополнена новыми людьми, и началась новая, еще более мощная волна обследований и расследо-

ваний. Искра, которая успела так полюбить завод, его людей, которая еще совсем недавно с таким удовольствием входила в свой цех, в его дымный, горячий, пахнувший кислым воздух, теперь почти с содроганием думала о том, что вот будет новый день, будет новая смена, надо будет идти на завод и снова встречаться с людьми, которые тебе не верят, которые тебя подозревают, которые при каждом твоем слове переглядываются и пожимают плечами.

Несколько раз она встречалась с Дмитрием Ершовым. Дмитрий ее утешал, говорил, что все будет в полном порядке, что люди рано или поздно, но разберутся, кто прав, кто виноват. Он говорил это все так уверенно, так спокойно, что Искра тоже успокаивалась. Он говорил, что удивляться всей этой истории нечего. Идет борьба двух миров, борьба старого и нового. Она, Искра Васильевна, оказалась на переднем крае борьбы, старое сосредоточивает на ней свой огонь. Брат его, Платон, не выдержал этого косоприцельного огня, пал одной из первых жертв. Искра Васильевна должна быть следующей жертвой. Но этого не случится, этого не допустят. Зря она думает, что ей не верят, зря думает, что люди переглядываются и пожимают плечами, сомневаясь в ее словах. Ведь если бы они стояли не на ее стороне и не на стороне Чибисова, дело давно бы порешилось так, как оно выглядит в описаниях Орлеанцева и Крутилича. Сомневаются, значит, не в ее, Искры Васильевны, утверждениях, а в утверждениях противной стороны. Разве она этого не понимает?

Когда вот так говорил Дмитрий Ершов, когда она его слушала, когда бывала с ним, все ее тревоги рассеивались. Конечно же, он прав, конечно же, все так и будет, как он говорит, странно, что она еще в чем-то сомневалась. С Дмитрием Тимофеевичем было так, как было когда-то за отцовой теплой широкой спиной. И как только возникало новое осложнение, она бежала к нему, к Дмитрию Тимофеевичу. Больше ей было не с кем делиться мыслями, сомнениями, откровенничать. Виталий занимался только собой, своими делами. Его то возносило под небеса, то он оттуда с грохотом валился на землю. Сейчас был такой период, когда его вновь вознесло. На премьере спектакля об Окуневых его вызывали на сцену как автора оформления. В самом деле, он создал такие декорации, в которых передавалась поэзия заводского пейзажа,

своеобразная красота приморского города, простота и величие жизни рабочей семьи. Его очень хвалили за это оформление, напечатали о нем в газетах, и даже журнал, пишущий о театре, журнал, зараженный критиканством и брюзжанием по поводу всего истинно народного, истинно партийного и художественного, и тот вынужден был хоть сквозь зубы, но все же сказать слово одобрения о работе Виталия. Виталий радостно размахивал книжкой журнала. «Виталий, Виталий, — говорил Гуляев. — Не увлекайся. Могут быть и еще удары, и какие! Портрет твой сначала тоже хвалили, а потом выскочил Томашук и трах дубиной». — «Не те времена. Теперь томашуки притихли». — «Не самоутешайся. На наш с тобой век томашуков хватит. Мы с тобой их не переживем. Еще и твоим детям с ними воевать придется. А может быть, еще и внукам». Виталий не слушал никого. У него был подъем сил. Он начал несколько новых работ одновременно. «Мне очень много помогла партия, — говорил он Искре. — Вот Горбачев... Как он меня поддерживал в трудные минуты! Он ведь очень интересный человек, верно? Старый большевик, несет на себе бремя таких огромных забот о городе. Вот бы его написать, как думаешь?» — «Попробуй, но он всегда занят, Виталий. Тебе трудно будет». — «Что значит трудно! Ершов вообще отказывался позировать».

Искра радовалась за Виталия, очень радовалась. Уже давно, много лет, она его интересы не отделяла от своих, его успехи считала и своими успехами. Но у нее никогда прежде не случалось таких крупных неприятностей. Даже и не неприятностей, а просто несчастий. Это же несчастье — то, что происходит сейчас с ней на заводе. И должен был, должен Виталий это понять и уделить ей внимания хоть немногим больше, чем уделяет обычно.

Горюя о том, что Виталий не хочет видеть ее душевного состояния, она уходила к Дмитрию Ершову. Они гуляли с Дмитрием в пустынных садах, по не расчищенным после снегопада дорожкам, зябли и не замечали этого. Сидели на вокзале рядом со спящими на скамейках дядьками. Были даже в кино однажды. Там Дмитрий взял ее руку в свою, и она ее не отняла у него. Он так и держал ее пальцы в своих до конца сеанса. Странное было состояние у Искры, странное. Ее несло по какому-то течению, а куда несло, она не очень понимала, вернее — не очень за-

думывалась над этим. Наверно, Виталий мог бы все это остановить. Но он и не думал останавливать.

Дальше пошло хуже. Гуляев был прав — Виталий радовался слишком рано. Театральный журнал в разделе «Творческая трибуна» поместил небольшую, но очень злую, ядовитую статью о спектакле по пьесе Алексахина. Автор статьи спорил с тем, кто в предыдущем номере журнала хорошо отзывался о спектакле, и вдребезги разносил и спектакль и его оформление.

— Больше не могу, — сказал Виталий. — Конец. Я не из бронзы и не из диабаза. Я человек с ограниченным запасом нервных возможностей. Мы не можем больше с тобой сидеть в провинции. Они там совершенно бесцеремонно обращаются с провинциалами и исключительно деликатно пишут о своих, столичных. И понятно: столичный, напиши о нем без реверансов, придет в редакцию, сядет против редактора и начнет жилы выматывать. А мы тут? Мы тут все скушаем. Мы должны вернуться в Москву. Слышишь?

— Значит, уедем и всем покажем, что мы струсили? — ответила Искра. — Тогда-то всем станет совершенно ясно, что я плагиаторша, воровка.

— Опять только о себе думаешь? Ну и что! Пусть думают что хотят. Бросишь эту дурацкую металлургию. Без тебя обойдутся. Оттого что ты уйдешь с завода, выплавка чугуна в Советском Союзе не окажется под ударом.

— Что же, по-твоему, я буду делать?

— Что-нибудь придумаем. Разве это так важно?

— Конечно. Не буду же я сидеть дома за пяльцами.

— Другие почему-то сидят.

— Ну и пусть сидят, Виталий. Я их не осуждаю. Но сидеть, как они, не хочу. Я же люблю свою специальность, пойми!

— Но она что-то не очень тебя обожает.

— Нет, Виталий, нет, мы не должны уезжать. Здесь будут еще две домны строить...

— Ах, ах, значит, для меня еще готовятся сюжетики.

— Можешь смеяться. Но ты смеешься над собой. Все, что ты сделал значительного, лучшего в живописи, связано с этим заводом. Ты еще убедишься со временем...

— Со временем... Человек две с лишним тысячи лет назад вырубил из мрамора женщину, и она стоит в Лу-

вре, и художественная ее ценность от времени не зависит. А мои «сталевары», «кузнецы» и «прокатчики», когда заводы станут автоматическими и труд человека — вот с этим временем, о котором ты говорила,— резко изменится, они все утратят всякую ценность.

— Не понимаю тебя. Они будут еще ценнее, чем сейчас, они будут свидетельствами удивительных дней, которые достались нашему поколению.

— Ну, милая! Политграмота. Вот что значит иметь партийную жену. Достаточно меня в Союзе художников просвещали.

— Судя по тебе, у вас там это дело очень плохо поставлено.

— Давай, Искра, не пререкаться. Давай обдумывать организационную сторону дела. Мы должны собрать чемоданы и испариться отсюда как можно скорее. Мы же вздохнем полной грудью, как только поезд тронется. Как ты этого не понимаешь!

— У тебя психология дезертира.

— Это уже лишнее, милая женушка. Таких словечек не надо.

Виталий был возбужден, взвинчен, чувствовалось, что мысль уехать, вернуться в Москву захватывает его все больше и больше.

— Видишь ли,— сказал он.— Я все равно уеду. Ты, предположим, останешься. Но ты об этом пожалеешь. Еще обожди, после всех комиссий начнутся всякие заседания по проработке тебя. Чего доброго, и до суда дойдет. Осудят, засудят, признают плагиаторшей. Может быть, и в газетах об этом напечатают. Фельетончик какой-нибудь. Знаешь, с таким веселеньким названьицем: «На чужой каравай рта не разевай», или: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Крутилич будет расписан как герой труда, а вы с вашим Чибисовым и всякими другими деятелями предстанете хапугами, жуликами и так далее. Приятные перспективки.

Уже несколько дней Искра ходила под впечатлением этого разговора. Все в ней протестовало против мысли бросить завод, бросить цех и уехать в Москву. И в то же время какой-то червячок точил душу. Была ведь и правда в словах Виталия. В самом же деле, неизвестно, чем кончится история с обвинением ее в плагиате. Дмитрий уверяет, что полным торжеством для нее. Но пока дождешься этого торжества, пока взойдет солнце, как говорят, роса

глаза выест. И второе. Виталий такой — возьмет да и действительно уедет один. Как же тогда жить? Во имя чего развалится их семья, во имя чего будет страдать Люська? Впрочем, будем рассуждать независимо от Люськи. Есть ли у них надобность разрушать семью, расставаться?.. Это была горькая, очень горькая, до крайности горькая мысль. Столько жили, столько перетерпели, перенесли вместе всяких неприятностей, и радостей сколько было совместных, привыкли друг к другу, стали родными, совсем-совсем родными, такими родными, что родней у них никого, пожалуй, и нет, потому что мать — это в расчет не берется, это иное, и вдруг все — трах, бах! — разлетится. Только потому, что он из упрямства едет в Москву, а она из упрямства останется здесь.

Никак не могла решить вопрос этот Искра. Посоветоваться с Дмитрием тоже не могла,— с ним об этом нельзя было советоваться.

В последнюю встречу Дмитрий сказал:

— Как я и думал, Искра Васильевна, дело это, крутиличевское, не чистое дело. Оно не просто запутанное. Его специально запутали. Люди сходили к бывшему секретарю директора, к Зое Ушаковой. Хотя прямо и не говорит, но из разговора они поняли так, что вину на себя она приняла напрасно. Думаем, что и расписку дала Крутиличу задним числом.

— Кто так думает?

— Ну я, брат мой Платон, артист Гуляев.

— Гуляев? Как же он-то в эту историю попал?

— А всякий честный человек таким делом возмутится. Вы что думаете, мы дадим вас съесть? Нет, Искра Васильевна, не на то мы живем на свете, чтоб видеть безобразие да не покончить с ним. Вот еще и Чибисов, — продолжал он перечислять. — Главный инженер тоже на нашей стороне. В партийном комитете, в завкоме, всюду...

Искру вызвал Чибисов.

— Вы только, пожалуйста, не обижайтесь на мои вопросы,— заговорил он.— Я вам верю, но такая чепуха происходит в последнее время, что сам себе верить перестаешь. Ведь мой секретарь... ведь это же, я считал, вернейший человек, и то... Словом, не обижайтесь, но я вас спрошу вот о чем. Бумаг Крутилича вы, конечно, и видеть не видывали, это факт. Но, может быть, или вам,

или кому другому, кто в разговоре мог передать это вам, Крутилич упоминал о своей работе? Бывает же так, и сколько угодно — идейка вылетит, повиснет в воздухе, другой ее, сам того не замечая, подхватит как свою... Ну, ну, ну, товарищ инженер, только не плакать!

— А я и не думаю плакать. Мне просто очень обидно. Вы же должны помнить, я пришла к вам и все рассказала об этом охлаждении.

— Это верно, это верно. Я и не сомневаюсь. Просто, так сказать, для самоконтроля завел с вами разговор. Вы также странные существа, женщины...

— При чем тут женщины, — резко оборвала Искра, — если всю склоку затеяли мужчины и при этом ведут себя хуже баб. Прошу меня тоже извинить.

Он пожал ей руку, еще и еще раз просил не сердиться, проводил до двери.

Искра видела, что Дмитрий Ершов прав, что все, с кем бы она ни встречалась на заводе, начинают поддерживать ее, что все готовы сражаться за правду. Ну как же тут бросить завод и уехать в Москву? Это будет нелепо, странно, необъяснимо. Смешно, если она пойдет и будет заявлять всюду: знаете, муж так решил. Нет, нет, нет, надо уговорить Виталия, доказать ему, что уезжать нельзя.

— Виталий, — сказала она вечером. — Я все обдумала. Мы не должны уезжать. Ты обязан пересилить свою минутную слабость.

— Хороша минутная. Уж, знаешь, с каких пор об этом думаю. Еще с того дня, когда сел в поезд, чтобы ехать с тобой сюда. Я ехал сюда на время. А ты разве навек?

Он начал бушевать, ругаться, обвинять ее в том, что она плохая хозяйка, что у них дома свинарник — человека привести боязно; что она его обманула — обещала квартиру, а где эта квартира; что он у нее за домработницу, ему думать некогда, некогда сосредоточиться на теме, он не живет, а прозябает. Все, что он говорил, было в какой-то мере и правдой и в то же время совершенно несправедливо, до крайности обидно. Он хотел, чтобы у него было так, как у многих его товарищей, — чтобы жена занималась только им, чтобы она обеспечивала ему удобства жизни, чтобы он, не зная больше ничего, отдавался только своему творчеству. Что ж, он, может быть, и прав. Может быть, так и должно быть. Тогда, зна-

чит, он ошибся в выборе жены, тогда действительно им не жить вместе, тогда действительно они должны расставаться.

Все это Искра стала высказывать вслух. Говорила тихо, голос ее дрожал, губы кривились. Ей было очень, очень жалко себя. Вот как неудачно получилось: и ему и себе испортила жизнь.

Виталий тоже расстроился. Принялся ее обнимать, целовать руки, говорил себе, что он болван, кретин, негодяй, если доставляет ей такие огорчения, что он ее очень любит, он постарается никогда больше ее так не обижать. Но и она со своей стороны должна же наконец понять, что нервничает он неспроста, а потому, видимо, что темы здесь для него исчерпаны; надо пока возвратиться в Москву, а там будет видно, что делать дальше; может быть, они потом махнут и еще куда-нибудь на периферию.

— Творческий человек, Искруха, должен передвигаться, понимаешь? Он должен видеть, много видеть. Только тот, кто много видел, может о многом и рассказать. Разве я не прав?

Да, он, кажется, был прав. Но творческий-то человек, который должен многое видеть, чтобы о многом и рассказывать людям, это он, Виталий, а почему и она должна порхать с места на место?

Они сидели на тахте, обнявшись, оба грустные, печальные. Потом Виталий вновь, с еще большим жаром принялся уговаривать уехать:

— Мы даже еще с тобой жизни по-настоящему не видели. Ты не была никогда за границей, в какой-нибудь другой стране. Отсюда никуда и никогда не выберешься. А в Москве... Я обещаю тебе, что выхлопочу командировку, свезу тебя, хочешь — в Италию, хочешь — в Грецию? Ну куда хочешь? Молчишь, глупенькая. Чугун выплавлять хочешь, и больше ничего.

Он отстранился от Искры, пошел к шкафу, отворял дверцы одну за другой.

— Водки ищу, — сказал он. — Тут оставалась где-то. Алкоголиком становлюсь, мрачным пьющим тупицей. Разве я был в Москве таким? Часто ты меня видела там пьяным? Я заражаюсь провинциальным кретинизмом, одним из характернейших признаков которого являются стакан водки и кружка пива с утра. Под конфетку.

— Хорошо, — сказала Искра, взглянув на часы. — Мы уедем. Но очень прошу тебя, Виталий, не торопи. Не сейчас, немного погодя. Я не могу бежать в минуту опасности, я перестану себя уважать, Виталий, а это страшно. Пусть будет доказано, что меня оболгали, что права я.

— Это сколько же ждать?

— Не знаю. Может быть, месяц. Может быть, больше. Но ведь это же несерьезно — непременно ехать сейчас, сию минуту. Мы уедем немножко позже. Но уедем. Можешь быть доволен, Виталий. Но учти, ты решил неправильно, и жизнь тебе об этом еще скажет.

— Ну ничего, ничего, с жизнью-то мы как-нибудь столкуемся. Главное было с тобой столковаться. Я очень рад. Молодец! Нет, я все-таки в тебе не ошибся. Хорошая ты баба, замечательная! Если бы не твой кокс и всякие колошники, вообще бы цены тебе, Искруха, не было.

21

Они сидели у стола один против другого и друг на друга смотрели с неприязнью.

— Чибисов, — говорил Горбачев, — я тебя сто раз предупреждал, что работа с изобретателями и рационализаторами — важнейший из каналов технического прогресса. Это глубоко партийное дело. Ты, очевидно, не понял добрых слов. Ты жалуешься, что тебе треплют нервы. А кто виноват? Ты виноват, ты один. Больше мы прощать тебя не намерены. Придется вызвать на бюро такого коммуниста и поговорить по-настоящему. В четверг явишься, и, видимо, тебе следует приготовиться к выговору.

— За что?

— Вот за это... За все...

— Это не формулировка: за все. Скажи, за что? Точно сформулируй. Тысячи предложений внедрены на заводе за год в производство. Миллионы рублей экономии. Приди посмотри — в каждом цехе висят примерные темы возможных предложений, каждый рабочий знает, над какими узкими местами в организации производства, в использовании техники, в тех или иных конструкциях следует задуматься. Есть кабинеты, комнаты изобретателей и рационализаторов, есть для них консультации, премии

выплачиваем своевременно, безо всякой волынки. Да ведь если бы этого ничего не было, мы не смогли бы так перевыполнять план. Ведь наш завод, ты же знаешь это, дает в год металла столько, сколько до революции не давала вся металлургия юга России. За что же ты мне выговор будешь лепить? Дело, которое Орлеанцев и Крутилич раздули, — липовое дело. В нем под стать уголовному розыску разбираться. Наш партийный комитет еще доложит тебе об этом деле. Там расследование подходит к концу.

— Вот, вот, — сказал Горбачев строго,— вот правильно говорят, что некоторые из наших руководящих кадров не терпят ни малейшей критики.

— Эх ты, Иван Яковлевич! Те, на которых ссылаешься, еще и не то о нас с тобой говорят. А ты с ними согласен, что ли? Они же говорят, что мы с тобой такие железобетонные типы, которые сопротивляются решениям Двадцатого съезда партии. А решения съезда они толкуют так, что уж нам надо помаленьку буржуазно-демократические порядки вводить. Уж если боевую программу строительства коммунизма с ног на голову стараются перевернуть, то меня-то грешного, Антона Чибисова, члена партии с тысяча девятьсот двадцать восьмого года, и в самого Бенкендорфа превратить могут.

— Знаешь, Антон Егорович, сейчас таких, как ты, развелось довольно много.

— Каких же это таких, как я? — спросил Чибисов. — Интересно бы узнать.

— Таких, которые в панику впадают. Которые начали преувеличивать остроту положения.

— И ты всем им по выговору обещаешь? Да это же самые преданные партии кадры, которые волнуются, которые требуют абсолютной ясности в идейных позициях, которые требуют того, чтобы принимались меры против шельмования активных бойцов-коммунистов.

— Я и не спорю. Будем принимать меры. Всегда принимали. Всегда боролись. Только спокойней все надо делать.

— Жизнь нас, Иван Яковлевич, рассудит. Я твои рассуждения понимаю. Ты ведь рассуждаешь как? Ты рассуждаешь: реакция, оппортунизм, ревизионизм бушуют за нашими рубежами. А мы — скала, мы — монолит. Я с тобой полностью в этом согласен: и партия наша, и народ наш действительно скала, монолит. Что мы на своем

веку выдержали, что перенесли — этому только удивляться надо. Но, дорогой мой, не все же еще с готовностью и радостью приемлют властную руку ведущего рабочего класса, руку партии, есть же которые повольготней существовать хотели бы. Согласен ты или нет? Есть такие?

— А как же! — согласился Горбачев. — Конечно, есть. Им говорят: служение народу, делу рабочих и крестьян. А они думают: а когда же я буду служить своему собственному делу, уж достаточно наслужился делу народа, рабочих и крестьян? Вот тут один титан мысли... — Горбачев взял с полки толстую книгу, от которой пахло свежей типографской краской, раскрыл, полистал страницы. — Этот титан мысли, слушай, что пишет в своей статье: «Не надо фетишизировать народ и излишне перед ним преклоняться, не надо культа личности, но не надо и культа народа». Смотри, куда уже метит, на народ уже замахивается.

— Вот мы и договорились! — воскликнул Чибисов. — Хоть и немного таких, от которых скверно пахнет, но зачем же себя утешать тем, что вонь не сильная. Я за то, чтобы всюду в нашей общественной атмосфере пахло хорошо. Надо прямо говорить об этом, Иван Яковлевич, надо определять вслух наши позиции. А у тебя в горкоме иные, не обижайся, молчат об этом. Мне директор театра Яков Тимофеевич Ершов говорил еще летом. Приду, говорит, посоветоваться, как быть и что делать, одно инструктор советует: осторожней, да легче, да гибче. Я, говорит, до того доизгибался, вроде штопора стал. Теперь, говорит, только на то и гожусь, чтобы мной бутылки открывали...

— Штопор, штопор! — перебил Горбачев. — А какой спектакль замечательный поставил! Все на Томашука жаловался, а вот ведь не помешал ему этот Томашук.

— Так ведь, может, если бы не Томашук, Ершов три бы таких замечательных спектакля поставил, а не один. И всякого хлама на сцену не пустил бы, а? Не в том дело, что томашуки способны нас вспять повернуть. На это уже никто не способен, нет таких сил в мире. А в том дело, что медленнее едем, приходится все время палки из колес вытаскивать, которые томашуки вставляют. Ведь вот про что мы толкуем. Словом, до четверга, значит? Ладно, Иван Яковлевич, предстану перед бюро городского коми-

тета партии. Но учти, защищаться буду. Если ты мне выговор приготовил, он несправедливый выговор, я его признать не смогу и буду опротестовывать вплоть до Центрального Комитета. Учти.

Чибисов ушел. Разговор с ним расстроил, взволновал Горбачева. Он подошел к сейфу, накапал на кусочек сахару несколько капель валидола, сидел за столом, ощущая во рту мятный холод, думал. Думал о том, что ведь, в сущности, все они — и этот Чибисов, и Дмитрий Ершов, и его брат Платон, приходивший раньше, и третий брат из семьи Ершовых — директор театра, и беспартийный актер Гуляев, с которым Горбачев беседовал после премьеры, и его собственная дочь Капитолина, и ее муж Андрей, и многие работники горкома и партийных комитетов предприятий и учреждений, — все они правы в своих тревогах и волнениях. В самом деле, ведь крикливое критиканство появляться стало, а критиканство — не критика, оно порождает нигилистический дух, оно подрывает уважение к тому, что сделано партией и народом за тридцать девять лет советской власти. Критиканство мешает работе честных людей. Надо принимать меры, безусловно, надо. Они, конечно, и так принимаются: работают политкружки, проводятся лекции, проходят собрания, на которых пропагандируются достижения и успехи страны. Но, видимо, надо еще что-то придумывать, новое, более гибкое, действенное. А что?

Горбачев сидел, опустив голову, сердце ныло: по временам, как электрическая искра, там, уходя в руку, вспыхивала острая боль.

Зажглась лампочка на аппарате телефона, связывавшем горком прямым проводом с обкомом. Говорил секретарь обкома:

— Горбачев? Время у тебя есть? Заезжай. Тут документик один... Пробеги его.

Оделся, отправился в обком, который помещался на другом конце города в неудобном старом здании. На холме над морем вот уже третий год строили новое здание; когда оно будет готово, туда не только обком переедет, но и горком, ближе будут друг к другу, удобнее будет.

Секретарь обкома порасспрашивал о здоровье, рассказал подробности о декабрьском Пленуме ЦК, на котором присутствовал и о решениях которого месяца полтора назад докладывал областному партийному активу. Пого-

ворили об интересных мерах, предложенных Центральным Комитетом для улучшения руководства народным хозяйством.

Беседовали долго. Горбачев несколько раз порывался завести разговор о тревогах последнего времени, о сомнениях Чибисова, Дмитрия Ершова и своих собственных. Но каждый раз сам же и останавливал себя — не хотел, чтобы и его посчитали паникером. «Неужели, — говорил он себе, — мы сами не разберемся в своих делах? Неужели обязательно и обком беспокоить надо?» А пока так колебался, секретарь обкома достал из стола зеленую папочку и подал ее со словами:

— Почитай. Чтобы быть в курсе. Сядь за тот столик, там удобнее, и почитай. Наберись терпения. Бумага длинная.

Горбачев принялся читать. С каждой страницей боль в сердце усиливалась, сердце стучало все громче и беспокойней. Щеки, уши, шея горели.

Это было заявление на него. Писал Крутилич, который начинал с того, что Горбачев утерял его важнейший технический документ. Секретарь горкома, правда, извинился за это перед ним, Крутиличем, и он, Крутилич, в иное время, может быть, по легковерию своему и смирился бы с таким простым способом, каким иные отделываются от назойливого изобретателя, но факты свидетельствуют о том, что утеря эта — звено в общей цепи антипартийных действий, какие имеют место в городе. Прежде всего пусть областной комитет знает, что Горбачев из каких-то отнюдь не принципиальных побуждений избавил от выговора и директора завода Чибисова, и редактора городской газеты Бусырина — этих двух тесно спаявшихся пьяниц и гуляк, зажимщиков критики, которые единым фронтом выступают против изобретателей. А избавил он их потому, что у самого рыльце в пушку, сам пренебрежительно относится к работе изобретателей. Моральный облик Горбачева оставляет желать лучшего. Знает ли областной комитет, что один из его родственников — дядя мужа его родной дочери — служил у гитлеровцев в войсках изменника Власова, следовательно, сам был изменником, за что и осуждался в свое время советским судом? Довел ли это кристальный большевик Горбачев до сведения обкома? Знает ли областной комитет, что другой родственник Горбачева является виновником прошлогод-

ней аварии на третьей доменной печи металлургического завода? Знает ли областной комитет о том, что, выдавая свою дочь замуж, Горбачев устроил шикарную свадьбу со свистопляской до утра и что улицу, на которой происходила эта свадьба, специально по заданию Горбачева целый день расчищали от снега городские снегоочистители? Знает ли областной комитет партии, что Горбачев всячески рекламировал лакировочный, помпезный портрет третьего своего родственника, сделанный подхалимствующим художником Козаковым? Знает ли областной комитет, что еще один родственник Горбачева возглавляет драматический театр в городе, что он травит там наиболее талантливые творческие кадры и что в порядке саморекламы протащил к постановке пьеску юнца Алексахина, беззастенчиво воспевающую семейку, с которой в родственниках Горбачев? Знает ли областной комитет партии...

— Подлец! — воскликнул Горбачев, отбрасывая папку. Его за сердце взяла горячая железная рука, стиснула; в сердце, как показалось Горбачеву, хрустнуло; нестерпимая боль остро ударила под лопатку, прошла через плечо до локтя, к голове прихлынула кровь, в ушах зашумело, он почти перестал видеть. — Извини, я лягу, — сказал он и, шатаясь, пошел к дивану.

Секретарь обкома бросился к нему, поддержал, помог лечь, распорядился вызвать врача.

Через час Горбачев лежал в больнице, в отдельной палате. От него только что ушли приехавшие с ним вместе Анна Николаевна и Капа. У него еще было мокро на лице от их слез. Инфаркт миокарда. Вот и к нему подкралось это страшное несчастье, безжалостно набрасывающееся на людей, которые работают так много, как он, Горбачев, которые плохо отдыхают, которые недосыпают.

Он хотел повернуться на бок.

— Нельзя, — услышал голос. — Нельзя, Иван Яковлевич.

Рядом сидела сестра. Она продолжала:

— Уж наберитесь, пожалуйста, терпения. Придется долго полежать. Иначе не поправитесь, Иван Яковлевич. Инфаркт — болезнь такая, что успех ее лечения не столько от врачей зависит, сколько от самого больного. Режим соблюдать надо очень строго, Иван Яковлевич.

Он ничего на это не сказал, закрыл глаза. Его охватила тоска. Болей в сердце уже не было. Ему сделали

уколы — обезболивающие, расширяющие сосуды. Была боль в сознании. Теперь он уже ничто, он почти вещь, и притом совершенно бесполезная. Он будет лежать тут два или три месяца, лежать как тюфяк, без движения, он разучится ходить, у него атрофируются мышцы ног, он станет капризным, его будет раздражать эта больничная обстановка, и все время, пока не привыкнешь, над ним будет висеть страх: одно неосторожное движение — и конец, смерть.

— О делах не думайте, — говорила сестра свое. — Не беспокойтесь, дела не остановятся, будут идти и без вас. Старайтесь вообще думать поменьше или если думать, то о чем-нибудь приятном.

О чем-нибудь приятном? Попробовал, и ничего из этого не вышло. Приятное не вспоминалось. Вместо приятного возникла мерзкая папочка в зеленом переплете. Капа говорила, да, говорила о том, что Крутилича надо бояться, зря, мол, отец, ты его недооцениваешь... Было остро обидно от той грязи, какую собрал в своей папочке этот негодяй.

Вспомнился Чибисов, вспомнился Дмитрий Ершов — все те, кто ходил в горком и возмущался, что честных людей шельмуют, а горком не вмешивается. Прямой и откровенный Дмитрий Ершов — как он воевал за Чибисова, за инженера Козакову, за своего брата Платона... Найдется ли такой Дмитрий Ершов, который пойдет воевать за него, за секретаря горкома партии Горбачева? Может быть, и в самом деле он, Горбачев, поступал неправильно, стараясь успокаивать людей, доказывать им, что они преувеличивают? Может быть, о каждом случае проявления гнилого, нездорового надо было говорить громко, прямо, определенно, на этих примерах учить коммунистов, воспитывать в них партийную зоркость, партийную принципиальность? Пусть люди лучше волнуются, чем будут излишне спокойны.

Пришел врач, принес письмо, сказал:

— Мы не хотели принимать это послание. Но оно от секретаря обкома. Будете читать?

— Дайте сюда, — попросил Горбачев.

— Нет уж, вы, пожалуйста, не шевелитесь и не двигайте руками. Я надену вам очки... вот так... и буду держать перед вами эти странички. Вот так. А вы читайте. Когда перевернуть страничку, скажите, переверну.

Секретарь обкома писал: «Дорогой Иван Яковлевич! Виноват во всем я. Не надо было давать тебе эту дурацкую кляузу. Не нахожу себе места. Казнюсь: взрослый, опытный человек, а поступил, как школьник. Но я ведь чего хотел? Я хотел, чтобы ты был вооружен на случай новой кляузы. Кляузник чем страшен? Тем, что, как привяжется, отвязаться от него трудно. Он ведь что чирей. Я думал, жизнь тебя достаточно закалила для того, чтобы не придать значения этой стряпне». Он еще и еще извинялся, желал здоровья, обещал в воскресенье непременно навестить.

«Я думал, жизнь тебя закалила». Горбачев даже усмехнулся, еще раз прочитав эти слова.

— Доктор, ну какая может быть закалка против подлости? Возможна ли такая закалка?

Врач пожал плечами.

— Видите ли, Иван Яковлевич, — сказал он. — Такая закалка, по-моему, все-таки существует. Два, так сказать, взаимоисключающих варианта ее. Первый — самому стать подлецом. Второй — ясно сознавать, что подлость — одно из оружий врага, и, встречаясь с врагом, не удивляться, что он пускает в ход свое оружие. А в общем, прошу вас лежать и не волноваться.

Снова лежал и пытался не волноваться Горбачев. Он думал о своей семье, о том, как переживают сейчас дома Анна Николаевна с Капой. Остро хотелось домой, к ним, в привычное. Он, в сущности, мало, слишком мало бывал со своими близкими, родными. Всегда куда-то спешил, бежал от них, считая, что дело не ждет, а они-то подождут. Время, когда они побудут вместе, всегда откладывалось на потом, на когда-нибудь в другой раз. Выросли сыновья, так по-настоящему и не побыв с отцом, и ушли в самостоятельную жизнь, не очень-то зная жизнь отца. Старший — инженер на Урале, младший — помощник капитана парохода на Севере. Выросла Капа, которая так и не дозвалась его погулять в парке или на морском пляже. Долгие годы прожила рядом Анна Николаевна, все ожидая каких-то лучших, более спокойных времен, все надеясь на них, да так и состарилась, не заметив в сплошных ожиданиях, когда и как это произошло.

Горбачев незаметно уснул. Снился ему осенний солнечный день. Он в этот день плыл на лодке. Лодка в гуще таких же лодок, переполненных матросами в черных бу-

латах и бескозырках, медленно приближалась к берегу. Позади дымила трубой канонерка. С берега, с крутых обрывов, стучали навстречу белогвардейские пулеметы, вода кипела и брызгалась от пулевых очередей. Канонерка отвечала гулкими пушечными ударами, от которых вставали дыбом и рушились береговые обрывы.

Песчаная кромка уже рядом. Поправив пулеметные ленты на груди, Горбачев выхватил наган из-за тугого пояса, прыгнул в воду. Когда хрустнула под ногами сухая галька, ощутил толчок в грудь, вскрикнул от боли. «Ранили, гады!» — подумал, падая.

Открыв глаза, он увидел больничный потолок над собой, рядом сестру в белом. «Так и есть, ранили, — подумал, вновь закрывая глаза. — Где-то теперь ребята? Если в госпитале лежу, значит, город-то взяли. Все, значит, в порядке. Наступаем». И снова уснул успокоенный.

22

В четверг, как обычно, состоялось очередное заседание бюро горкома. Вел его второй секретарь. Он сообщил членам бюро о болезни Горбачева. Но почти все об этом уже знали и были очень огорчены.

— Не знаю, — сказал второй секретарь, — как тут быть. В повестке дня у нас есть один вопрос, который поставлен по просьбе Ивана Яковлевича. Можно ли разбирать в его отсутствие?

— Это который же вопрос? — поинтересовался начальник порта, плотный седой здоровяк в морском кителе с золотыми нашивками.

— Вот этот, о директоре металлургического завода товарище Чибисове, о том, как он работает с кадрами рационализаторов и изобретателей.

— А Чибисова вызвали? — спросил редактор газеты член бюро Бусырин.

— Вызвали. На четыре часа.

— Вопрос подготовлен?

— Подготовлен. Отдел промышленности занимался. У заведующего собран весь материал. Я просматривал.

— Что ж, обсудим, — предложил начальник порта. — Оснований откладывать нет. Надеюсь, Иван Яковлевич

доверит нам такое дело. Потом ему расскажем. Когда врачи разрешат.

С ним согласились.

В четыре часа явились Чибисов и тоже получившие приглашение секретарь партийного комитета завода и главный инженер.

Чибисов сделал обстоятельное сообщение о работе с изобретателями на заводе, о том, какой экономический эффект дает эта работа производству, рассказал о планах на будущее. Его выступление дополнил несколькими интересными примерами главный инженер.

Затем свои материалы докладывали инструкторы, знакомившиеся с положением дел в заводоуправлении, в цехах, и суммировал их выводы заведующий отделом промышленности. Он сказал:

— Как видим, Антон Егорович правильно осветил картину действительности. Изъяны в работе с изобретателями и рационализаторами есть. Но они никак не могут заслонить всего огромного положительного опыта завода. Когда Иван Яковлевич поручал нам этот вопрос, он указывал на то, что за Антоном Егоровичем большой грех по отношению к одному из изобретателей — товарищу Крутиличу. Но, откровенно говоря, мы этого греха не обнаружили. Напротив даже: изобретатель Крутилич того не стоит, какими благами его осыпал завод. Вокруг этого изобретателя создавалась мутнейшая атмосфера. Он все запутал. И в этом ему активно помогает заместитель главного инженера товарищ Орлеанцев.

— А что же партийный комитет молчит? — спросил кто-то из членов бюро.

Секретарь парткома ответил:

— У нас создана авторитетная комиссия, она работает. Но дело действительно очень запутанное. Мы уже нисколько не обольщаемся ни по отношению к Крутиличу, ни на счет Орлеанцева.

— Товарищи, — сказал, волнуясь, Бусырин. — Разрешите мне. Я, может быть, больше, чем кто-либо другой, в курсе этой истории. Очень жаль, что нет Ивана Яковлевича. Получится, что вроде за его спиной идет разговор. Но есть стенограмма, и он сможет все прочесть, когда поправится. А кроме того, все это я ему говорил и в глаза. Дело в том, что и мне вместе с товарищем Чибисовым Иван Яковлевич обещал проработку на бюро. Дело в том, что и я замешан в это дело с Крутиличем и

Орлеанцевым. И вообще это дело несколько шире и касается не только Крутилича, меня, Орлеанцева, Антона Егоровича. Тут будут и Воробейный, который ныне обер-мастер в доменном, и режиссер театра Томашук, и еще кое-кто, кого мы, может быть, и не знаем. Помните, была в областной газете статья о том, как на заводе зажимают Крутилича? Меня очень заинтересовало: как же так в советскую, партийную печать проникла столь неверная, столь тенденциозная корреспонденция. Я встретился с ее автором, довольно симпатичным молодым человеком. Пригласил его к себе в редакцию побеседовать. Окончил, оказывается, университет, журналистское отделение. Готов бороться за правду, искоренять всяческое зло. Но уж очень неопытен, зелен. И что вы думаете? Некоторые товарищи на заводе отмахнулись от него. А товарищ Орлеанцев пригрел, обворожил, не пожалел времени для бесед, разные документы показывал, сводил домой к инженеру Крутиличу... Тот тогда в жуткой хибаре жил. Словом, сильно повлиял на мозги молодого парня. А в редакции не очень тщательно проверили материал. Позвонили на завод, спросили: есть такой Крутилич? Есть. Сделал ценное рационализаторское предложение? Вроде бы что-то сделал. Тянут с рассмотрением? Да, еще спор идет. Ну и готово, все в порядке, материал проверен.

— А у вас в редакции так не бывает? — спросил начальник порта.

— Возможно, бывает и у нас, — ответил Бусырин. — Редакция состоит из живых людей. А все люди разные. Один работает более добросовестно, другой менее. Но дело, повторяю, не только в Крутиличе и Орлеанцеве, оно шире. Мне этот молодой товарищ с университетским значком, когда я дошел до его души да раскрыл ему глаза на то, как его обманули, — он мне и еще кое-что рассказал. Он мне рассказал, как создавалась статья режиссера Томашука, в которой этак, под видом рассуждений о высоких материях, шельмовались преданные партии работники искусств — драматург Алексахин, художник Козаков, артист Гуляев и другие артисты нашего театра. Оказывается, молодого человека снова приглашал к себе Орлеанцев, снова обрабатывал, обворажнвал его, рекомендовал ему связаться с талантливейшим из талантливейших режиссеров современности товарищем Томашуком...

— Слушайте, — сказал второй секретарь горкома, — а где этот бесконечно поминаемый Орлеанцев? Почему его не пригласили сегодня?

— Он в Москву уехал, — ответил Чибисов. — В отпуск.

— Жаль. И очень, — сказал начальник порта. — Мне сдается, что сегодняшним заседанием мы только начинаем разбор этого дела и что нам придется к нему еще вернуться, и, может быть, не один раз. Что-то тут есть весьма дурно пахнущее. Чибисов, по-моему, тут ни при чем, а если и при чем, то лишь в том смысле, что так долго терпит безобразия у себя на заводе. И весь партком заводской виноват в том же: тяпете, товарищи, тяпете. Решительности у вас недостает. И с театром надо разобраться. Идеологический противник ищет щелку, чтобы туда подвести бикфордов шнур, а мы не даем ему отпора.

— В театре, в частности, ему дали крепкий отпор, — сказал секретарь горкома. — Там полностью победили здоровые, партийные силы.

— Вот и надо этим здоровым, партийным силам помогать. Больше помогать, чем мы это сейчас делаем. В силах партии, в силах горкома многое, очень многое.

Выступали почти все члены бюро. Разделяли точку зрения начальника порта о том, что горком обязан больше оказывать помощи партийным организациям в борьбе против всяческих чуждых влияний, оперативней реагировать на сигналы с мест. Никто не поминал всуе имени Горбачева, но каждый в душе считал — это можно было понять из выступлений, — что Иван Яковлевич значительно раньше должен был вынести такой сложный и серьезный вопрос на бюро.

В решении записали, что бюро горкома партии нисколько не сомневается в честности Чибисова, но что на заводе излишне затянули расследование дела Крутилича, Орлеанцева и Воробейного, что надо расследование ускорить и вынести на обсуждение рабочих и инженеров. И, кроме того, решили созвать партийный актив города и поставить на нем вопросы идеологии, вопросы активной борьбы против буржуазных влияний.

— Иван Яковлевич тут маленько слиберальничал, — сказал начальник порта, когда устроили перерыв и вы-

шли в коридор покурить. — Хорошей души человек, честнейший, а тут недосмотрел.

— Вот сам и пострадал, — отозвался Бусырин. — Он к ним, к этим крутиличам, по-человечному, а они вот какую «человечность» ему в ответ.

23

В Москве Орлеанцев пробыл не месяц, а больше. «Нужные люди» в министерстве сказали по секрету, что ожидается важный пленум ЦК, есть смысл задержаться недельки на две, и устроили ему вызов якобы на инструктаж по внедрению кислородного дутья в мартеновское производство. Знакомые и приятели Орлеанцева были возбуждены, взволнованы, верили слухам, а слухи ходили самые разноречивые. И толки были различные.

Одни охали: плохо, мол, дело, есть проект ликвидации министерств, руководство народным хозяйством будет децентрализовано, в республиках, в областях возникнут какие-то координирующие хозяйственные органы. Значит, многим, кто давным-давно обжился в Москве, привык к своим кабинетам, к определенному укладу жизни, придется покидать Москву и тащиться невесть куда, где, может быть, даже еще и теплых уборных нет. «Скорее будут, — отвечали оптимисты. — Понастроите».

Другие уверяли, что ожидающаяся перестройка — замечательное дело и лишь в общих чертах можно пока что представить, какие неслыханные даст она результаты. Децентрализация позволит людям еще шире развернуться.

Были и такие, которые всячески намекали на то, что стоят очень близко к руководящим кругам и хорошо информированы, — они многозначительно и загадочно говорили: «Не волнуйтесь, ничего не будет. Там, — они указывали пальцем вверх, — согласия по этому вопросу нет. У некоторых там особое мнение. Все останется по-старому».

Два наиболее близких Орлеанцеву «нужных человека» говорили именно такое — совершенно противоположное. Один говорил: «Костя, не надейся. Сидеть тебе на заводе еще долго. Никаких изменений не будет. Старики не допустят. Они народ консервативный. Так что набирайся

терпения». Другой уверял: «Костя, поверь мне, ты же знаешь, к кому я вхож, перестройка будет. И огромная. Координирующие органы на местах будут созданы. Жди, тебя вспомним, в какое-нибудь хорошее местечко перебросим — в Ленинград, например, или в Киев, в Харьков. А оттуда и обратный путь в Москву недалек».

Орлеанцев ходил по Москве, пытаясь разобраться в этих слухах. А разобраться было совершенно необходимо. В сельском хозяйстве, говорят, один весенний день год кормит, — настолько там важно не упустить подходящие сроки для посева. В общественной жизни, по твердому убеждению Орлеанцева, дело обстояло еще острее. Там, он считал, один правильно использованный момент мог надолго определить карьеру человека — или ты вознесешься, если угадал, или полетишь под откос, если ошибся.

Можно, конечно, выбрать и такой путь: честно работать, делать свое дело, и тогда, что бы ни происходило, ты всегда, независимо от того, куда и откуда дуют ветры, остаешься на своем месте. Но Орлеанцеву этот путь не годился. Так называемым своим местом довольствуются безнадежные середняки. И вообще, если говорить начистоту, то кто знает, где и каково это свое место для него, для Орлеанцева?

Так где же все-таки правда, какой из слухов вернее? В кругу его литературных и художественных «нужных людей» тоже ему никто ничего сказать по этому поводу не мог. Художница-вещунья пребывала в состоянии полной прострации. На одном бурном собрании кто-то назвал ее кликушей, вульгарной, ординарной кликушей, и она день и ночь стенала теперь, взывая к справедливости и жалости. Иные, понашумевшие минувшим летом, ходили в свои творческие организации и требовали стенограммы своих речей, чтобы, как они утверждали, «уточнить некоторые формулировки». Автор одного пасквильного раскритикованного писателями рассказа — Орлеанцев не запомнил названия — счел за благо прикинуться кем-то вроде чеховского злоумышленника и всюду повторял: «Ей-богу, не знал, что так получится. Хотел ведь лучше сделать, хотел помочь партии. Думал, меня хвалить будут», — одним словом, как же без грузила шелешпера поймать? Мрачный автор статьи «Сталь и стиль», пошумев, погремев в свое время, уехал в дальние лесные

края — ни слуху ни духу о нем не было. Писатели готовились к пленуму своего правления, на котором, как они говорили, им предстояло по-серьезному разобраться в тех причинах, которые породили плесень и гниль в небольшой, но очень шумливой литературной кучке, прежде тщательно ограждаемой от критики.

Один из литературных знакомых Орлеанцева, еще во время войны приезжавший в часть, в которой служил Орлеанцев, и писавший о нем, Орлеанцеве, очерки, признался: «Я вам откровенно и прямо скажу, Константин Романович, все. Я делал вид, что тоже с этой кучкой. Почему я делал такой вид? Очень просто почему. Я литератор небольшой, я это понимаю. Меня затоптать легко. А в этой кучке, как на грех, народ с чертовски раздутыми репутациями и влияющий на умы наших издателей. Вы меня, надеюсь, понимаете? Скажет такой или такая слово — и нет моей книжки».

Орлеанцев вспомнил, каким этот человек был во время войны, как отважно ходил в передовые траншеи, с какой готовностью ехал на тот участок фронта, где наиболее опасно, и сказал: «Уж от кого-кого, а от вас-то я этого не ожидал — так отпихиваться от товарищей». Тот обозлился: «А вы чего хотите, чтобы я, спасая их, амбразуры дотов собой закрывал? Нет уж, увольте! Они бы ради меня и пальцем не шевельнули».

В конце концов Орлеанцев понял, что тем зарвавшимся одиночкам, которые, переоценив свое общественное значение, в минувшем году излишне расшумелись, остается одно — плакаться и каяться перед своими товарищами, признавать, что они не только политически слепцы, но и просто люди-то незрелые. Он сделал вывод, что с ними лучше не знаться, в авантюры не лезть, быть поближе к жизни.

Пораздумав, он пришел к выводу, что изменения в руководстве промышленностью, несомненно, будут, и решил выступить с большой, заметной статьей, в которой предвосхитить события, попасть в ногу с партийными и правительственными решениями. Он договорился с отраслевой газетой, в которой освещались подобные вопросы, и засел за статью. Было, правда, сомнение: поминать ли то, что полтора года назад он выступал совсем с другой статьей, с теми «Записками инженера», в которых утверждал, что централизацию управления надо всячески укреплять и совершенствовать, что надо идти путем еще

большей специализации. С одной стороны, позиция будто бы и красивая: признать свою ошибку, сказать, что жизнь тебя поправила. Благородно, эффектно. Но в то же время это будет все-таки и некое покаяние. А покаяние редко когда подымает. Покаяние есть покаяние. Это лирика, эмоции, дело оно не движет. Решил сделать вид, что никаких «Записок инженера» не было. Кто о них вспомнит! Кто полезет рыться в старых журналах!

Писал горячо, вдохновенно, громил тех, кто держится за старое, всяческих рутинеров, политических слепцов, доказывал насущную необходимость децентрализации, уничтожения ведомственных рогаток; о координационных органах на местах восклицал: «Может быть, это будет нечто вроде былых совнархозов, создававшихся когда-то еще при великом Ленине, может быть, это будет возвращение к старым, испытанным формам, но получающим новое, более совершенное содержание!»

Сознание того, что он попал на верную дорогу, отравлялось одним: тем, что он совершил величайшую глупость на заводе, связавшись с Крутиличем, со всей историей, касающейся электроохлаждения вагона-весов. Зачем, зачем ему это все понадобилось? Мелко, ничтожно, провинциально. Борьба с каким-то Чибисовым. Кто такой Чибисов в сравнении с ним, Орлеанцевым? Нельзя было становиться на одну доску с ними со всеми. Ведь все равно он ушел бы от них в какой-нибудь крупный совнархоз, где смог бы в полную силу развернуть свои способности, показать себя. Все равно он всегда бы и при любых обстоятельствах стоял выше их. А сейчас дело может и осложниться, если они не покончили с этим делом, не отказались от кляуз и дрязг. Хоть бы сдох этот идиот Крутилич! На свое горе он, Орлеанцев, породил его, выпустил из бутылки злобного мерзкого духа.

Возвратясь на завод, Орлеанцев убедился в том, что Крутилич жив-здоров и подыхать не собирается, что от «кляуз и дрязг» никто не отказался, что ждали его, чтобы завершить дело, и что этим делом уже даже горком партии занялся. Но он еще раз убедился и в том, что поступил мудро и дальновидно, опубликовав статью о перестройке.Инженеры подходили к нему, расспрашивали о пленуме ЦК, полагая, что о его работе Орлеанцев отлично информирован, уж коли такую статью написал. Орлеанцев отвечал уклончиво и загадочно, давая понять, что впереди им всем предстоит узнать еще много нового и ин-

тересного. Держался самоуверенно, похлопывал инженеров по плечам.

Орлеанцев попросился на прием к секретарю обкома. Несколько раз встреча откладывалась. Наконец секретарь обкома его принял. Орлеанцев пришел к нему, захватив с собой десяток книг, перевязанных бечевкой. Книги он накануне специально подобрал в городской библиотеке. В его связке были труды по истории ислама, синтаксис турецкого языка, очерки о потенциальных возможностях пустыни Сахары, биография Бисмарка на немецком языке, старопечатная книга о производстве железа в допетровской Руси, песни Беранже... Он положил их рядом с собой, на соседний стул.

И оделся Орлеанцев тоже соответствующим образом — просто и скромно: вместо пиджака он надел синюю заводскую спецовку, выстиранную и отглаженную, на которой разместил планки с орденскими ленточками; их было довольно много.

Секретарь обкома, на что Орлеанцев и рассчитывал, сразу же обратил внимание на книги, просил развязать их, стал рассматривать. Заинтересовался.

— Мы диалектике учились не по Гегелю, — скромно сказал Орлеанцев, — в бряцании боев.

— Да вижу, вижу, что в боях бывали. — Секретарь обкома поднял глаза на его ленточки.

— Вот и приходится пополнять знания, — продолжал Орлеанцев. — Человечество накопило их столько, что за голову хватаешься от сознания полной невозможности хотя бы бегло ознакомиться с этими богатствами.

— Да, да, я вот тоже иной раз задумываюсь, — подхватил секретарь обкома. — Еще век назад среднеобразованный человек вполне справлялся с тем, чтобы регулярно следить и за художественной литературой, и за литературой, отражавшей достижения общественной мысли и науки. А сейчас? Сейчас, будь ты семи пядей во лбу, всего не охватишь, нет! Миллионы книг создаст сегодня человечество ежегодно. Миллионы! А как статистика показывает, одному человеку за всю жизнь дано прочесть в среднем только около двух тысяч томов. Иные, правда, и значительно больше прочтут. Но все равно — что это рядом с миллионами, выходящими ежегодно?

— Спать восемь часов в сутки — слишком много для человека, — сказал Орлеанцев с доброй улыбкой. — Зря время теряем. Вот бы медицина совместно с биологией

постарались уменьшить это часов до четырех, до трех. Сколько бы высвободилось времени для самообразования, для самоусовершенствования.

Перескакивая от темы к теме, он во всем обнаруживал немалую эрудицию и в конце концов довольно основательно расположил к себе секретаря обкома. Тот потом звонил Чибисову: «Слушай, а вы не очень там сгустили краски насчет Орлеанцева? Ведь это был и солдат боевой, и инженер он инициативный. Ты бы побеседовал с ним по душам. Образованнейший человек и все взял собственным упорным трудом, усидчивостью. Ты бы поинтересовался, какие книги он читает. Взвесьте все еще раз, прежде чем делать оргвыводы». — «А уж это как народ, — ответил Чибисов. — У меня с ним личных счетов нет. Сам с кем хочешь рассчитается. Я что! Пусть уж народ решает».

Орлеанцев понемножку успокаивался и начал обретать обычную самоуверенность и выдержку. Он даже сказал главному инженеру, что дирекция, кажется, ошиблась, назначив Воробейного обер-мастером. Не годится инженер Воробейный на это место, и прежде всего не годится потому, что коллектив цеха его не любит: очевидно, из-за не очень-то светлого прошлого. «А я считал его вашим протеже, — сказал главный инженер. — Думал, что именно вы им дорожите». — «Был такой грех, был. Но ошибся. Переоценил его инженерский опыт. Ведь всегда стараешься, как лучше».

Начал Орлеанцев принимать некоторые меры для того, чтобы удалить с завода и Крутилича. Он собрал немало письменных жалоб рабочих; рабочие жаловались на бюрократизм Крутилича, на его бездушие и зазнайство. Передал жалобы Чибисову. Чибисов раскричался: «А чего вы мне это показываете? Будто я этого Леонардо да Винчи на такое место продвигал! Вы его нам подсунули, вы им и занимайтесь. Вы мне работать мешаете. Мне сталь, сталь выпускать надо, а я только и знаю, что кляузами занимаюсь. Я историю ислама не изучал, и синтаксис турецкого языка мне неизвестен. Но я знаю пятилетний план Советского Союза, я знаю план своего завода, я знаю, что от стали, которую мы вырабатываем, зависит будущее — и наше, и других социалистических стран, и я буду выпускать эту сталь, даже если бы вы с вашим Крутиличем думали иначе, товарищ Орлеанцев!» — «Напрасно повышаете голос, товарищ Чибисов, — спокойно

ответил Орлеанцев. — Сейчас громовержцы не в почете. Задумайтесь над тем, что вас губит бескрылый практицизм, пренебрежение марксистско-ленинской теорией, так называемое делячество, товарищ Чибисов». Чибисов махнул рукой, больше он не хотел разговаривать с Орлеанцевым.

Орлеанцев ушел от него с улыбкой победителя. Все равно, думал он, Крутилича надо убирать, с твоим директорским участием или без оного, но убирать, убирать. Эта мелкота, на которую пытался опираться в свое время Орлеанцев, теперь становилась грузом на его ногах. Необходимо сбросить гири. Но как это сделать? Как распутать теперь им же самим запутанный клубок?

Он отправился было и к Зое Петровне, чтобы порасспросить, каковы ее дела, вязались ли к ней с той злосчастной распиской. Но мамаша Зои Петровны, проинструктированная соответствующим образом, сказала ему, что к Зоеньке нельзя, Зоенька все еще очень хворая, врачи не позволяют, и вообще она спит, и уж иди, батюшка, иди, раз такое банкротство у тебя получилось. «Жаль, — сказал Орлеанцев, стоя в передней. — А я ей новые духи привез из Москвы». — «Духи, это давай, духи передам. А заходить нельзя, нельзя, батюшка».

Потом он узнал, что к Зое Петровне ходит Гуляев, усмехнулся: значит, вот почему его не принимают, вот в чем причина, а вовсе не в том, что хворая. И сколько же можно хворать? — полтора месяца прошло. Махнул рукой: бог с ней, это и к лучшему; слезливая, от нее уже давно одна тягость.

Попытался даже установить отношения с Искрой Козаковой. Он считал, что это было бы очень хорошо — начать вместе с нею какую-нибудь работу, все предыдущие недоразумения отсеялись бы сами собой. Он пришел к Искре с разговором о том, что напрасно-де она и Воробейный приостановили внедрение нового в цехе, ведь разработан целый комплекс новшеств, ведь она одна из авторов этого комплекса, нельзя же так легко отступать перед трудностями.

Искра, как всегда у нее бывало в решительных разговорах, выпрямилась, — ей казалось, что от этого она становится выше, внушительней и грозней, — и сердито прищурила свои совсем несердитые глаза, сказала сухо: «Сейчас я один из авторов, а завтра буду плагиатором, не так

ли? Нет, увольте, увольте и увольте!» Она три раза отрезала в воздухе своей маленькой ручкой.

Получалось так, что вокруг него, Орлеанцева, не было никого. Нужные люди оказались ненужными, и вообще нужные люди остаются до тех пор такими, пока ты им сам нужен, пока ты тоже сила. В отличие от друзей. А вот друзей-то Орлеанцев и не видел, потому что сам же всегда отпугивал их от себя своими нужными людьми. Можно было бы, конечно, снова быстро сколотить крепкую компанию, привлечь на свою сторону кого следует, но для этого были необходимы деньги, деньги, много денег, чтобы платить за коньяк, за осетровую икру, за шашлыки по-карски, чтобы было подо что подымать тосты «за дружбу». Но таких денег не было, растряс Орлеанцев свои капиталы, давно не печатал ничего крупного, давно не получал премий.

Возвращаясь домой, одиноко сиживал в кресле, качал ногой и дымил трубкой. Или лежал на диване, глядя в потолок. Иногда не выдерживал, шел в плохонький ресторанчик, а то и просто в пивную. Ухаживал там за официантками, прикидываясь «парнем из народа», слушал, что говорят за соседними столиками, завидовал дружным веселым компаниям. Дожидался закрытия заведения, провожал усталую официантку до дому, рассказывал по дороге какую-нибудь трогательную историю, выдавая ее за историю из своей жизни; официантка его жалела, восклицая: «Надо же, господи! И надо же!»

Однажды на улице он встретился с редактором городской газеты Бусыриным. Принял свой обычный преуспевающий вид, пожал руку, спросил, читал ли редактор его статью в центральной газете. Бусырин сказал, что, конечно, читал. В редакции была даже мысль перепечатать ее. Но товарищи отыскали «Записки» Орлеанцева в журнале; получается принципиальное расхождение в позициях, и никак притом не оговоренное.

Бусырин говорил это деловым и даже равнодушным тоном, но Орлеанцев почувствовал, что редактор над ним издевается. Первоначальная мысль — предложить редакции статью на какую-либо подобную тему, появившаяся было при встрече, отпала. Он попрощался с Бусыриным. Шел и думал, что в такой выходке редактора нет ничего удивительного, — ведь Бусырин закадычный друг Чибисова. Позавидовал: есть же вот у некоторых дружки. Горой стоят один за другого. Не то что продажная мелко-

травчатая шайка, которая собирается вокруг него, Орлеанцева, когда в его кармане заводятся деньги.

Одиночество напоминало о себе на каждом шагу. Орлеанцев подумал, что, пожалуй, это была одна из самых страшных ошибок в его жизни — уехать из Москвы, забраться в неизвестный провинциальный угол. Боялся потерять партийный билет, спасался от агрессивных действий жены, а что нашел? Партбилет сохранен, но какой ценой, какой ценой! Надеялся на то, что завод будет трамплином для нового прыжка по лестнице успеха. А что получается?.. Ну ничего, ничего, не надо хлюпать носом, — принимался утешать себя. — Все уляжется, образуется. У кого это? — кажется, у царя Соломона было кольцо, на котором хозяин приказал выгравировать надпись: «И это пройдет», — и когда наваливалось очередное несчастье, повертывал кольцо, читал мудрые слова и в том находил утешение.

Действительно же, все проходит. Даже самые неприятнейшие из неприятностей — и те не вечны. Но, к сожалению, вместе с ними проходит и жизнь. И безвозвратно.

24

Бусырин на «пикапе», который ему для этой цели дал Чибисов, через заснеженные равнины ехал в старинный степной городок, отстоявший от моря километрах в ста пятидесяти. Вчера он услышал по радио, что туда по приглашению студентов педагогического института самолетом прилетел из Москвы известный советский писатель — автор многих книг из народной жизни, и во что бы то ни стало хотел встретиться с писателем, поговорить с ним, получить от него ответы на некоторые трудные вопросы последнего времени.

Еще до Нового года, в те дни, когда Бусырин опубликовал свою статью, в которой разбирал и оценивал спектакль о рабочей семье Окуневых, он понял, что вступил на весьма нелегкий путь. Во-первых, он получил десятка полтора анонимных ругательных писем. Их безымянные авторы называли Бусырина догматиком, невеждой, посвящали ему издевательские стишки. Были ругательные письма и с подписями, с тщательно выписанными на конвертах обратными адресами. Но когда Бусырин попытался встретиться с теми, кто писал эти письма, то каждый раз

выяснялось, что «таковой по данному адресу не проживает». Во-вторых, на его статью обрушился один ведомственный журнал; в заметке «Из последней почты» высмеивались и пьеса Алексахина, и спектакль, и статья Бусырина, и сам Бусырин.

Но бывалого журналиста, своим пером помогавшего строить Магнитку и Кузнецк, в редакционной полуторке проехавшего от Воронежа до Варшавы и Праги, трудно было сбить с его твердых партийных позиций. В своей газете он стал яростно воевать за искусство, которое бы активно вмешивалось в жизнь, помогало бы людям жить и строить, за литературу, воспитывающую большие чувства, зовущую к революционным идеалам. Прежде городская газета занималась главным образом промышленными предприятиями, расположенными в городе, портом, учреждениями коммунального и бытового обслуживания населения; вопросы литературы и искусства освещались на ее страницах скупо и редко, что называется — от случая к случаю. Бусырин понял, что это была его ошибка, попросил заслушать доклад редактора на бюро горкома партии, сам же себя раскритиковал и внес предложение, чтобы бюро решило усилить и укрепить редакционный отдел искусства и литературы.

Именно в те дни Бусырин и встретился с молодым корреспондентом областной газеты, который выступал со статьей в защиту Крутилича и помогал сочинять статью Томашуку. От разговора с Бусыриным молодой человек очень расстроился. «Нас всему учили в университете, всему, — говорил он горячо, — но только не тому, что в жизни мы еще можем встретить очень хитрых, очень ловко маскирующихся карьеристов. И вот как их различать среди честных людей, скажите, товарищ Бусырин?» — «Дорогой друг, — объяснял ему Бусырин. — В наше время, в двадцатые годы, дело обстояло проще. Классовая расстановка была в обществе яснее и отчетливей. Мы знали бандитствующего кулака, знали вредителя, знали, что есть до поры до времени скрывающиеся белогвардейские офицеры. Помните Половцева из шолоховской «Поднятой целины»? А сейчас их нет — ни кулака-бандита, ни белогвардейца, закопавшего где-то за овином пулемет и ящик с гранатами... Народ смел их с лица нашей земли. А вот кое-что и осталось от прошлого: карьерист, стяжатель, не очень разборчивый в средствах и методах. С ним труднее, он речи научился закатывать какие революционные. Так

что, дорогой друг, я вас не очень и виню. Вы попались на удочку хитрецов. Но это вам уже опыт. Не правда ли? Вот только так, на опыте, вы научитесь разбираться в людях. Через год-другой вас уже не обманешь».

Усилил Бусырин свое внимание и к литературной группе, существовавшей при его газете. Состояла группа из людей до крайности разных и по возрасту, и по способностям, и по взглядам на жизнь. Были среди них изрядные путаники. Двоих или троих тянуло на какой-то неодекаданс, они западничествовали, слагали заумные стихи без сколько-нибудь понятного содержания. Всех их надо было поставить на верный, правильный путь. Бусырин на свои силы не надеялся. Он вел с ними беседы, но видел, что для них его слова не очень много значат; для них мог быть авторитетом только писатель с именем. Но как такого залучишь на занятия кружка при маленькой периферийной газетке?

И вот это вчерашнее сообщение по радио... Бусырин торопил шофера, боялся, что приедут поздно, когда писатель уже улетит.

Но писатель не улетел. За ним надо было ехать еще дальше. После вечера, проведенного накануне в клубе у студентов, он с утра отправился в степь, в колхозы. Догнали его уже в сумерках. Пришлось вместе с ним заночевать в хате для приезжих. Хата была чистая, теплая. В большой комнате стояли четыре железные кровати. Начальница этой сельской гостиницы, узнав, кто к ней приехал, распорядилась две из этих кроватей куда-то вынести, к уже имевшимся трем огромным, как баобабы, фикусам добавила четвертый — еще больший, принесла клетку с хромым скворцом, сказала, что, если скучно будет, пусть дорогие гости покалякают с птицей: умная, дескать, и разговорчивая.

Писатель угощал Бусырина китайским зеленым чаем, заваривая чай кипятком из термоса, и расспрашивал про редакционные дела.

— Мой интерес к этим делам не случаен, — говорил он. — Литературная жизнь моя начиналась тоже вот примерно в такой же, как ваша, маленькой редакции. Еще меньше, пожалуй. Это было в тысяча девятьсот восемнадцатом году, в захолустном городишке. Печатали газету каждый день на разной бумаге. Бывало, и на оберточной, знаете, синяя такая, от сахара. И на обоях. А работалось чудесно, горячо работалось.

Был писатель невысок ростом, не молодой, но крепкий. Седые усы коротко подстрижены. Глаза проницательные, пытливые. Они напоминали глаза Платона Тимофеевича Ершова. С ним хотелось говорить и говорить: он тебя понимал.

— Я непременно приеду к вам, непременно, — ответил он на просьбу Бусырина. — С молодыми, с начинающими люблю встречаться. И поспоришь с ними — ершистые, и поссоришься иной раз. А в итоге какие-то семена упадут на эту почву. Не без пользы говоришь.

Бусырин рассказал ему о делах в театре, о том, какому поношению подвергся за свою статью со стороны аполлимщиков.

— Злее будете, — сказал писатель с усмешкой. — А то все писали, поди, о всяческих процентах, о выполнении и перевыполнении, так сказать, о делах чрева человеческого, а про душу его и позабывали. А тут всегда опасность таится. Вопросы души запускать нельзя. Их всегда оттачивать надо. Главный оселок для этих вопросов — искусство и литература. Ни через что так до души человеческой не доберешься, как через книгу, через спектакль, через полотно живописи. С помощью этих могучих рычагов душу можно поворачивать и к добру и к злу. Наша с вами задача заключается в том, чтобы поворачивать ее к добру и противостоять поворотам к злу. Следовательно, вот какими эти рычаги должны быть.

Знал Бусырин, что слова писателя — не просто слова. С первых дней советской власти всем своим творчеством, даже самыми первыми, несовершенными рассказами и повестями, писатель боролся за новую душу человека — за душу, свободную от черных и злых пороков капитализма.

— Скажите, — поинтересовался Бусырин. — Неужели вы приехали сюда только потому, что вас пригласили студенты?

— Откровенно говоря — нет, не только поэтому. Меня приглашают в десятки городов, в сотни мест — учреждений, институтов, библиотек, на заводы, в колхозы. При всем желании объехать их никак не могу. Чтобы хоть на десятую часть приглашений откликнуться, писать надо бросить совсем и только ездить и ездить. В данном случае я решил совместить два дела: и у студентов побывать, и у колхозников. Когда у меня какая-нибудь останов-

ка в творчестве, когда возникают затруднения, неясности, сомнения, я должен идти, ехать к людям, к тем, среди которых живут мои герои. Общение с людьми, с народом — вопрос моего творческого здоровья. Вы понимаете меня?

Бусырин стал расспрашивать про нашумевшие сборники, в которых некоторые писатели опубликовали произведения с дурным душком, про некоторые повести и рассказы.

— О, — сказал писатель, — это в литературе не останется. Это низкопробно. Когда художнику изменяет идея, ему, как правило, изменяют и средства изображения. Не волнуйтесь, мы в этом разберемся. Рано или поздно, а разберемся. Тем, кто писал эти рассказы и повести, будет когда-нибудь стыдно. Очень стыдно! За что? А за то, что, в то время когда народ, удваивая, утраивая усилия, идет неудержимо вперед, они стоят в сторонке, и не только стоят в сторонке — это еще полбеды, — а даже и путаются под ногами, мешают шагать. Скажу вам честно, удел их жалок. Никогда не быть признанным народом — страшновато, а? А кто же тебя признает, если ты идешь не на помощь, а на помеху!

Два дня ездил Бусырин по степи вместе с писателем, на третий привез его в город, привел в редакцию, к своим кружковцам. Состоялась большая беседа по душам. Писатель легко сокрушил теоретические устои юных неодекадентов, разобрал по косточкам заумные результаты их практического следования этим теоретическим устоям, одобрил рассказ одного молодого врача, ответил на множество вопросов. Всем стало как-то легче после этой беседы, многое прояснилось. Кружковцы благодарили Бусырина за такую встречу.

А писатель гостил в городе еще несколько дней. Посмотрел спектакль об Окуневых. Отозвался о нем хорошо, хотя и сделал несколько серьезных критических замечаний. Захотел встретиться с кем-либо из Ершовых, поскольку, как ему объяснил Гуляев, Окуневы — это ершовский псевдоним. Его водили на завод, по цехам, разговаривал он с Дмитрием, с Андреем, побывал дома у Платона Тимофеевича. Поразила писателя домашняя библиотека Дмитрия. Он долго перебирал его книги. «Неужели вы и это читали?» — спрашивал, листая страницы толстого труда по истории русского искусства. «Читал», — отвечал односложно Дмитрий. «И это читали?» — в руках пи-

сателя были песни Беранже. «Читал», — ответил Дмитрий. «И это?» — писатель взвешивал на руке объемистые «Русские былины». «Читал и это».

Потом, когда сидели за чаем, писатель сказал:

— Жалко, что современного рабочего не могут увидеть те, кто вел рабочий класс на штурм самодержавия. Ильич, например, жаль, что не дожил до наших дней. Как все изменилось, как выросли люди!.. Да вы же, друзья мои, уже не просто рабочие, а рабочие-интеллигенты!

Дмитрий при этих словах подумал о Леле. Вот ведь Леля так же говорила о нем: «Разобраться если, ты ведь тоже, Дима, интеллигенция». По сердцу прошла грусть: писатель говорил что-то еще, но Дмитрий уже его слов не слышал.

25

— Я и пробовать не буду, и не показывайте мне, пожалуйста, — категорически отказывался Горбачев. — Нет, нет, не буду.

Сестра уговаривала его попробовать вышивать по канве. Она принесла пяльцы, нитки, альбом рисунков. Уверяла, что это очень интересно и, главное, совершенно отвлекает от мыслей, очень успокаивает нервную систему.

— Один министр в Москве... Заболел, так сейчас же пяльцы потребовал.

— Вот стану министром, тогда и посмотрим, — отшучивался Горбачев.

Никакие горкомовские дела до него в больницу не доходили. Ни о чем серьезном посетители с ним не говорили — не разрешалось. Зато Горбачев очень много читал, и это ему запретить не могли, как ни старались. Читал книгу за книгой и с каждым днем убеждался в том, что в труде, в непрерывной работе слишком односторонне пополнял свои знания, слишком много интереснейших книг прошло мимо него. Он подписывался на все подписные издания, на все собрания сочинений, на трехтомники и двухтомники; продавщица из книжного киоска при горкоме оставляла ему все новинки; дом загромождался сотнями книг. Получив новую книгу, он листал ее, просматривал оглавление, говорил себе, что она очень ин-

тересная, непременно надо прочесть, и книга отправлялась на полку. И так год за годом накапливалась невосполнимая задолженность.

Лежа неподвижно на больничной койке, Горбачев пытался эту задолженность погасить. Анне Николаевне и Капе разрешали приходить и читать ему вслух, чтобы он не слишком перетруждал глаза.

Он увлекся сочинениями Ленина. Он не просто читал, он вдумывался в каждую строку, в каждое слово. Многое открывалось для него заново, когда он ленинские страстные выводы сопоставлял с фактами современности. Он понял, что то, о чем говорят сегодня, — ревизионизм, не что иное, как давно разоблаченный Лениным оппортунизм. Оппортунизм всегда страшен и опасен для революционного движения. Оппортунизм служит буржуазии, потому что, сохраняя революционную фразеологию, прикрываясь ею, стремится выхолостить революционную сущность марксизма, стараясь сделать так, чтобы народы, трудящиеся классы, и в первую очередь рабочий класс, утратили веру в социализм, в великие цели революционной борьбы, вообще бы отказались от дела революции и борьбы за социализм.

Горбачев за последние месяцы перед болезнью прочел немало выступлений зарубежных ревизионистов о том, что Октябрьская революция не была исторической необходимостью, а явилась насилием над историей, о том, что коммунистические партии не способны, в частности, осуществлять руководство литературой и искусством, что литературой и искусством вообще руководить нельзя, — они поле проявления творческих порывов, они требуют абсолютной свободы для художника и тому подобное. Даже диктатура пролетариата — и она ставилась под сомнение в таких писаниях.

Читать об этом было дико, ведь прошло тридцать девять лет советской власти, огромные успехи страны социализма сами по себе свидетельствовали о правильности руководства Коммунистической партии. Он начинал теперь отчетливо сознавать, что совершал ошибку, недостаточно зорко различая буржуазное влияние, которое под всевозможными одеждами проникало через рубежи и находило почву для существования у каких-то людей из среды интеллигенции: эти люди вторили зарубежным писаниям.

Только бы поскорее встать, только бы подняться, — он соберет городской партийный актив, он тряхнет стариной. Ведь когда-то как горячо, пламенно выступал он в красноармейских частях и на заводских митингах... Революция продолжается. Надо быть революционером, действовать революционно, то есть до предела принципиально, соизмерять все свои действия с их полезностью и необходимостью для дела рабочих и крестьян.

Горбачев считал дни до своего выздоровления. Но их еще было очень и очень много.

Анна Николаевна и Капа, приходившие к нему читать в будние дни, ни в какие разговоры не вступали: «Врачи не разрешают». Он подшучивал над ними, интересовался, отчего это они стали вдруг такие дисциплинированные. Но родные на шутки не отвечали. Для разговоров был отведен один час в воскресенье — с пяти и до шести вечера. Горбачев тогда спрашивал о том, как дела дома, — ему очень хотелось домой, — о том, что делается у Капы и у Андрея. Он говорил Капе: «Скоро?» Она понимала, о чем он. «Скоро, папочка, уже скоро». — «Боишься?» — «Кажется, нет». Он ждал этого потомка с нетерпением. Ему очень хотелось, чтобы это был мальчишка, непременно мальчишка — внук. Когда-нибудь Горбачев выйдет в отставку, на пенсию, и тогда они вдвоем с этим карапузом будут гулять в садах — старый и малый, дедушка и внучек. Но, пожалуй, внучек успеет уже своих детей завести к тому времени, когда дедушка уйдет в отставку. Любой из них, партийных сотоварищей Горбачева, тянет до тех пор, пока не упадет.

Побывали в больнице почти все Ершовы. С Дмитрием был интересный разговор. Оказывается, Дмитрий тоже усиленно читает Ленина.

— Дело в том, Иван Яковлевич, что некоторые Ильича вкривь и вкось стали толковать. Даже в журналах и газетах кое-что такое появилось, из чего можно бы вывод сделать, что Ленин уж до того добряк — мухи не обидит, такой непротивленец злу и попуститель анархии, что дальше некуда. А ведь железный человек был Ильич, когда дело касалось революции. Верно?

— Верно, Дмитрий Тимофеевич, совершенно верно.

— У него не пошалишь, не поозоруешь с таким делом. Он так тебя пригвоздит к стенке, что ни «а», ни «б» не выговоришь. А иначе и нельзя. Что нам заигрывать с тем, кто все равно на тебя ножик точит? За-

игрываешь с противником — только своих друзей с толку сбиваешь. Уж все должно быть ясно, четко и определенно.

— Правильно, — согласился Горбачев. — Но и дуги гнуть умение надо, как сказал наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов.

— Знаю, еще в школе учили, — ответил Дмитрий и прочитал басню почти без ошибок.

— У вас отличная память, Дмитрий Тимофеевич.

— Не жалуюсь. Что надо, все помню.

Зима шла плохая, морозов почти не было, с моря плыли туманы, хлюпало, капало, люди хворали гриппом, сморкались и кашляли и с нетерпением ждали весны. Одним из пасмурных февральских воскресений Горбачев долго не отпускал от себя Анну Николаевну с Капой. Ныло в суставах, ныло в сердце, было тоскливо и зябко.

— Посидите еще, — упрашивал он. — Ну десяток минут. Или пять хотя бы. Успеете домой. — Он принялся рассказывать им про детство, про то, как лазал через забор за яблоками и хозяин сада поймал его и отстегал крапивой. — С тех пор я прекрасно помню, что чужие яблоки трогать не следует. Крапива очень хорошее средство для воспитания здоровой морали.

И Анна Николаевна и Капа, конечно, не раз уже слышали об этих похождениях отцова детства, но они с готовностью и искренне посмеялись над историей с крапивой и все-таки ушли, как он ни просил их побыть с ним еще.

Нет, думал он, болеть — это самое последнее дело. Только бы встать на ноги, он заведет себе совсем другой режим жизни. Он будет закалять здоровье и укреплять сердце, чтобы ничто подобное не повторилось. Будет делать зарядку по утрам, непременно ходить пешком хотя бы пять-шесть километров в день, купаться, ездить на рыбную ловлю и на охоту. Столько интересного есть в жизни: надо пользоваться этим интересным, нельзя откладывать все на потом, на потом, ведь может случиться, что этого «потом» никогда и не будет. Только бы встать, всю жизнь перекрою по-другому.

К нему в палату, приоткрыв дверь и спросив: «Не спите, Иван Яковлевич? К вам можно?» — зашел сосед, директор научно-исследовательского института, доктор наук,

толстый веселый человек, только что перенесший второй инфаркт. Ходить он начал несколько дней назад и ходил непрерывно.

— Ноги начинают становиться ногами, — сказал он, — боль уменьшилась. А то, поверите ли, прямо как ножами резало их, ступить не было возможности. Атрофия мышц, не мышцы были, а мешочки кожи. Горький сказал: «Человек — это звучит гордо». Я бы добавил: здоровый человек звучит гордо. А больной!.. — Он махнул рукою, присаживаясь на стул возле постели Горбачева. — Больной — существо жалкое. Особенно вот такой, на манер нас с вами, инфарктник. От нянек зависим, что грудные младенцы. Я, знаете, Иван Яковлевич, когда еще с первым инфарктом лежал, клятвы себе давал самые страшные, что только бы мне встать, всю жизнь по-другому перестрою. Закаляться буду, гимнастику делать, пешком ходить. Рыбалка, охота... Наполеоновские намерения. А вернулся на работу — и опять завертелась мельница повседневной текучки. Мы что — ненормальные, что ли, все-то дела хотим переделать на свете? И ведь никто тебя не подгоняет, не подхлестывает. Сам узду закусишь и летишь.

Горбачев удивился, насколько то, что говорил сосед, точно совпадало с тем, о чем минуту назад думал он сам. А сосед поговорил, поговорил и пошел дальше, ему не сиделось, он спешил разбивать мышцы.

За темными окнами завывал ветер, сотрясал стекла и с грохотом прохаживался по крышам; с крыш, звеня, летели на тротуар сосульки. Шумело море. Горбачев представлял себе, что́ там творится сейчас во мраке. Прибрежные льды изломаны, искрошены, лезут на берег, подхлестываемые студеными валами.

— Барометр скачет, — сказала сестра, принесшая лекарство на ночь. — В такую ночь гипертоникам тяжело. Выпейте, Иван Яковлевич, да на сегодня ваши процедуры и закончатся. Спите спокойно, может быть, завтра солнышко будет, все повеселей. После шторма всегда солнышко бывает. Спокойной ночи.

Не спалось в эту трудную штормовую ночь. Все, что только было в жизни неприятного, вспомнилось вновь и вновь. Вспомнилось и злобное, отвратительное заявление Крутилича. Горбачев так и не дочитал его до конца. Там оставались, кажется, еще пять или шесть страниц. Даже

трудно себе представить, что еще мог напихать в них этот страшный человек. Для таких радость — доставить другому горе. И ничего с ними не сделаешь...

Горбачев стал перебирать в памяти все, что он прочел тогда в письме Крутилича, и вдруг ощутил в сердце такое же горячее сжатие, как тогда; в голову ударила кровь, зашумело в ушах. Протянул руку, чтобы прижать кнопку звонка и вызвать сестру или врача, но удержался: может быть, ничего и нет, может, простое волнение. Затем неожиданно пришла мысль, что вот так, в какую-то ночную минуту, он может и умереть, не увидев больше никогда ни верную свою, всего натерпевшуюся в жизни подругу Аннушку, ни Капитолину, ни сыновей и вообще никого, никого... Придут утром, а его уже нет.

Мысль была невыносимой. Нет, он должен, он немедленно должен увидеть родных, пусть это не по правилам, наплевать на все правила, он хочет их видеть, он хочет, чтобы они были рядом, он хочет взять их за руки, ощущать их тепло.

Он надавил на кнопку звонка.

Пришла няня, за ней прибежала сестра, потом появился врач. Началось нащупывание пульса, выслушивание сердца. Стали совещаться, не сделать ли укол. Решили, что укол надо сделать немедленно.

— Вы мне моих родных позовите! — волнуясь, настаивал Горбачев. — Мне нужны они, а не ваши уколы.

— Не волнуйтесь, Иван Яковлевич, не волнуйтесь, — уговаривал врач. — Но, может быть, не спешить? Сейчас ночь, их это встревожит. Давайте подумаем еще, взвесим все. Может быть, и до утра недалеко, а, Иван Яковлевич?..

В мозг вступил горячий туман, застлавший все перед глазами — и людей, и стены комнаты; только белоогненным глазом в самое сердце смотрела электрическая лампочка под потолком.

— Потушите свет! — сказал, задыхаясь, чувствуя, что эта горячая белая игла прокалывает сердце. — Аннушка, Капитолина, ребятки мои!.. Ребятки!..

Ревел ветер в городских улицах, шторм бил из тяжелых орудий над морем. Иван Горбачев, член партии большевиков с тысяча девятьсот восемнадцатого года, ничего уже не слышал.

Одним человеком на земле в эту ночь стало меньше.

Но к концу этой страшной ночи на земле родился новый человек. Горе сделало свое дело. Капа родила раньше времени на две недели. Родила, как очень хотелось Горбачеву, мальчика, ему внука.

26

Официально это называлось расширенным заседанием завкома с активом, но в клубном зале собралось несколько сотен рабочих, инженеров и служащих, и получилось громадное общезаводское собрание.

Открывая его, председатель завкома сказал, что повестка дня не совсем обычная — запутанное конфликтное дело, каких он на заводе и не упомнит. На это дело можно посмотреть с двух сторон. Можно представить его так, будто бы кто-то хочет из мухи раздуть слона и тогда все замять — чепуха, дескать, мелочи жизни, чего только среди людей не бывает, перемелется — мука будет. А можно встать на принципиальную, на большевистскую точку зрения и увидеть в этом деле отвратительные проявления буржуазной морали, буржуазных нравов, чуждых нам, мешающих, подлежащих беспощадному искоренению. Впрочем, это, так сказать, предисловие, само слово предоставим авторитетной комиссии, которая занималась расследованием дела.

Председатель комиссии, старый мартеновец, которому давно пора было на пенсию, но который от этого категорически отказывался, участник гражданской войны, буденновец, в память о прошлом носивший пышные белые усищи, взошел на деревянную полированную трибуну, откашлялся, налил воды из графина в стакан, отпил глоток. Заговорил негромко, ровно, голосом беспристрастного судьи. Он говорил о том, что комиссия работала долго, может быть, слишком долго, но он считает, что в серьезном деле поспешишь — только людей насмешишь. И тем более спешить было не надо, так как мало-помалу в ходе расследования открывались все новые и новые детали.

Он подробно изложил суть дела и все этапы его развития.

— Если обобщить, то что́ в конце концов мы перед собой имеем? — говорил он. — Мы имеем беспринципное содружество заместителя главного инженера товарища Орлеанцева, заместителя заведующего техкабинетом това-

рища Крутилича, обер-мастера доменного цеха товарища Воробейного...

— Это неверно! — раздался голос в рядах.

Все посмотрели туда — не могли понять, кто же крикнул.

Председатель завкома сказал:

— Вам будет дано слово, товарищ Орлеанцев. Вы все скажете. Имейте терпение.

— Зачем же тенденциозно извращать действительность! — снова крикнул Орлеанцев.

Председатель комиссии сделал знак рукой: не мешайте, мол.

— Зачем этой тройце, — продолжал он, — понадобилось шельмовать честных людей завода, тут уж компетенция комиссии кончается, а факт, что получилось шельмование, остается. Никто документов Крутилича в заводоуправлении и в глаза не видел.

Он читал выдержки из различных бумаг, из протоколов, он не столько обвинял кого-либо, сколько доказывал абсолютную честность инженера Козаковой, директора Чибисова, бывшего обер-мастера доменного цеха Платона Ершова, главного инженера и всех других, на кого Орлеанцев и Крутилич бросили тень.

Когда сообщение комиссии было окончено, наступила минутная тишина. Потом из разных мест зала закричали:

— Будут вопросы!

— К кому? — спросил председатель завкома.

— К Орлеанцеву!

— К изобретателю Крутиличу!

— Тогда, может быть, сначала им самим предоставить слово? — предложил председатель завкома. С ним согласились. — Товарищ Орлеанцев, — сказал он, — вы подавали реплики. Хотите взять слово и дать объяснение?

Орлеанцев поднялся, пошел к трибуне, взошел на нее, обвел усталым взором зал, ни на ком его не останавливая.

— Это, конечно, не объяснение, — заговорил он. — Я не на суде, и мне объяснять нечего. Я категорически отметаю инсинуации недобросовестных обследователей. Да, да, в комиссии были и недобросовестные люди. А были и подпавшие под их влияние честные, но слишком доверчивые товарищи. Все выглядит совсем не так. Никакого беспринципного содружества не было. Стыдно так говорить. Крутилич мне не родственник и не приятель. Я его

защищал как творческого, ищущего изобретателя. И только. Во имя наших общих государственных интересов. Воробейный — тем более: я его почти не знаю.

— А что он Гитлеру служил, ты этого тоже не знаешь? — крикнули в зале.

Председательствующий постучал карандашом о графин. Орлеанцев, как бы не слыша реплики, продолжал:

— Найдя документы Крутилича в пропыленной архивной папке, документы об очень важном техническом усовершенствовании, я, естественно, возмутился и, как коммунист, не мог не довести это безобразие до сведения нашего партийного руководства. Что — я не прав? А вы бы иначе поступили, видя вопиющее безобразие? Я не знаю, как в ту папку попали эти документы. Это не мое дело. Для меня важен факт, что они в ней были похоронены. Я всегда боролся за технический прогресс, за политику нашей партии. Буду и впредь верен этому делу. И никто меня с этого пути не столкнет.

Он гордо поднял голову и покинул трибуну.

— Товарищ Крутилич! Вам слово.

Крутилич сказал, что ему говорить нечего. Вышел, постоял на трибуне, развел руками.

— Я изобретатель. Мое дело думать над техническими проблемами, а не над кляузами. Судите уж меня сами, как знаете. Всегда старался для родины. И буду стараться.

— Скажите, — спросил его один из членов завкома, — как к вам попала расписка Ушаковой? Вы что — сами приносили ей документы или через кого-либо передали? Вы лично видели, как эта расписка писалась, и именно в январе, а не позже?

— Почему вы так спрашиваете? — насторожился Крутилич. — Может быть, вы меня в чем-то подозреваете?

— Нет, я никого ни в чем не подозреваю. Просто интересно. Вам лично вручила Ушакова эту расписку или кому-нибудь другому?

Крутилич не знал, что ответить, потому что не знал, что по этому поводу говорил в партийном комитете Орлеанцев.

— Да, — сказал он так, будто бы говорил «нет».

— Что да? Вам или кому-нибудь другому?

— Насколько я помню — мне.

— А когда? В январе, как это помечено на расписке? Или все-таки позже?

— Точно я дату не скажу. Я же не знал, что на меня будут возводить напраслину. Всех дат не запоминал.

— Ну примерно, примерно. Зимой или летом?

— Зимой, пожалуй.

Было много вопросов, на трибуну вызывали то Орлеанцева, то Крутилича, то Воробейного. Выступали члены завкома, высказывали свое мнение. Но дело вперед не подвигалось. Орлеанцев, Крутилич и Воробейный все отрицали, и прямых доказательств их вины не было. В одиннадцатом часу вечера председатель завкома предложил прервать заседание до следующего дня. Предложение приняли.

Сев в машину, дожидавшуюся его у подъезда, Чибисов поехал не домой, а к Зое Петровне. Он застал у нее Гуляева. Поздоровались. Зоя Петровна уже была на ногах, врачи ей разрешили ходить по комнате, иногда выбираться на улицу, но болезнь еще давала себя знать: случались страшные головокружения и приступы нестерпимой боли в затылке. Увидев Чибисова, Зоя Петровна растерялась. А он сказал:

— Простите. Мне надо с вами поговорить об очень серьезном. Вы можете на меня сердиться, можете даже ненавидеть или презирать меня, это ваше дело. Но есть кое-что выше наших с вами разногласий и ссор. Могли бы мы где-нибудь поговорить один на один?

Оказалось, что разговаривать один на один в доме Зои Петровны негде. Гуляев, правда, сказал, что он пойдет домой. Но оставались еще мать и дочка, которых на улицу так поздно не выгонишь.

— Оденьтесь, пожалуйста, — сказал Чибисов, — и пойдемте в машину.

Сидели в машине, шофер ходил вокруг, покуривая и дожидаясь конца разговора. Чибисов говорил:

— Дайте мне честное слово, что расписку эту вы написали добровольно, что вас никто не принуждал, никто ничем вам не грозил.

— Вы, очевидно, о нем превратного мнения, Антон Егорович, если думаете, что он может грозить. Я написала расписку совершенно добровольно, так как иначе и быть не могло, раз бумаги были мне вручены.

Чибисов не сомневался в том, что, называя «он», она говорила о Крутиличе.

— Тогда дайте мне честное слово коммуниста... вы же кандидат в члены партии, Зоя Петровна... дайте слово, что расписка была написана именно в январе, а не позже, — настаивал он.

— Антон Егорович! Вот это уже начинается принуждение и давление. Так нехорошо.

— Нехорошо? А хорошо покрывать негодяев? Это, по-вашему, хорошо? По-вашему, хорошо, когда один из этих подлецов убил честнейшего человека, старого коммуниста Горбачева, возведя на него клевету? По-вашему, хорошо, когда они вот уже несколько месяцев травят инженера Козакову, когда они сожрали обер-мастера Ершова, когда они и меня превратили черт знает в кого? Вы же работали со мной, вы же знаете, вы видели — сволочь я, мерзавец, уголовник?.. — Чибисов говорил почти шепотом, но Зоя Петровна чувствовала, что его трясет от ярости, что внутри у него все кричит, что нервы его напряжены до предела.

— Не волнуйтесь, — сказала она. — Ну что вы, Антон Егорович!

— А то, что, желая быть порядочной, вы непорядочны, если равнодушно смотрите, как подлецы торжествуют над честными людьми. Я знаю, я убежден, что дело с распиской — нечестное, нечистое дело. И не вы в нем виноваты. Что с вас возьмешь, вы женщина.

Чибисов так ничего и не добился от Зои Петровны. Он уехал взбешенный. Зоя Петровна возвратилась в дом, упала на постель лицом в подушку. Ей было так тяжело, так невыносимо, что она не отпустила Гуляева. Да он и сам не хотел оставлять ее в таком состоянии. Измученная, она не могла в одиночку нести страшный груз, какой взвалил на нее Орлеанцев. Она рассказала Гуляеву, зачем приезжал Чибисов, стала рассказывать всю историю с распиской.

— Что же делать, что мне делать, Александр Львович, что? Вы хороший человек, я вам верю больше, чем себе, скажите, как быть, на что решиться?

— Зоя Петровна, — сказал Гуляев, — если вы мне действительно верите, то выслушайте меня внимательно. То, что вы так храните тайну того, что произошло между вами и Орлеанцевым, в принципе, безусловно, очень благородно. Это, конечно, было бы благородно, если бы таким образом вы волей-неволей не оказались сообщницей

в грязном деле, в махинациях, от которых страдают хорошие люди. Вы должны, вы обязаны отказаться от своей в данном случае ложной позиции. Или... я, правда, беспартийный и, может быть, не могу об этом судить, но мне так кажется... или вы должны подать заявление и выйти из партии и уже тогда разделять мерзости Орлеанцева, как вам заблагорассудится. Но состоять в партии и занимать позицию, по сути дела противную партии, думаю, нельзя, нельзя, Зоя Петровна.

На следующий день, когда заседание завкома возобновилось, народу в зале было еще больше, чем накануне, и в том числе были тут Зоя Петровна с Гуляевым. Гуляев привел ее, усадил поудобней, наблюдал за ее состоянием.

Опять начались вопросы, снова пошли пререкания. Орлеанцев, Крутилич, Воробейный всячески изворачивались, произносили революционные слова, клялись в любви и верности народу. Их невозможно было зацепить за живое.

— Идите, Зоенька, идите, — сказал Гуляев. — Без вас дело не стронется с мертвой точки.

Когда Зоя Петровна поднялась и шла по залу, гул пронесся по рядам. Затем все затихли, замерли; установилась звенящая тишина.

— Мне передали, — сказала Зоя Петровна очень слабым голосом, но ее в этой тишине услышали, — мне передали, — повторила она, — что вчера товарищ Крутилич утверждал, будто бы расписку эту я дала ему лично, в его руки, будто бы я получила от него бумаги... И будто бы это было в январе. Товарищи, я, наверно, очень, очень плохо поступила. Я приму любое наказание за это. Хотя я и так уже жестоко наказана. Но все равно, судите меня самым беспощадным судом, я натворила бед. Расписку я давала не Крутиличу.

— Что вы ее слушаете! — крикнул Орлеанцев. — Она совсем больная. У нее жар.

— Не мешайте! — крикнули ему. — Мы вас слушали.

— У меня жара нет, — сказала Зоя Петровна. — Мне нездоровится, это правда, но жара у меня нет. Расписку, повторяю, я давала не Крутиличу, а товарищу Орлеанцеву. И не в январе, а каким-то осенним месяцем. А бумаг Крутилича вообще никогда не видала. Я сказала об этом неправду Антону Егоровичу и глупо держалась за эту неправду.

Она стояла, опустив голову. К трибуне тем временем подошел Орлеанцев и отстранил Зою Петровну.

— Знаете, товарищи, когда подымают больных людей с постели и выставляют в качестве свидетелей, это не только жестоко, это уже граничит с чем-то более серьезным. Чибисов выгнал Зою Петровну с завода, Чибисов оставил ее без куска хлеба, а теперь совершает нажим на ее волю, пользуясь таким... сами видите, каким ее состоянием.

— Товарищ Орлеанцев! Сядьте на место! — Председатель завкома постучал о графин. — Вот вы-то действительно пользуетесь недостойными методами для того, чтобы поставить под сомнение слова товарища Ушаковой. Ее утверждения полностью совпадают с материалами криминалистической экспертизы. — Он стал читать документ, в котором экспертиза устанавливала, что расписка появилась на свет не в январе, а действительно осенью, как только что сообщила и Зоя Петровна, и что документы Крутилича тоже более позднего происхождения, чем пытаются уверить Орлеанцев и Крутилич. — Вот так, товарищ изобретатель, — сказал председатель, отыскивая глазами Крутилича. — Не случайно память вам вчера изменила. Невозможно вспомнить то, чего не было, вы правы.

Услыхав о криминалистической экспертизе, бывалый Крутилич понял, что дело принимает такой серьезный оборот, что начинает пахнуть судом, уголовным кодексом, и бросился к трибуне.

— Товарищи! — закричал он. — Я скажу всю правду. Я больше не могу молчать. Я скромный, честный изобретатель. Мне ничего не надо, лишь бы работать на благо моей родины. А этот человек, Орлеанцев, втянул меня в скверную историю. Это он заставил меня ходить с моими черновиками и выдавать их за уже законченную работу. Это он, пользуясь особым влиянием на Ушакову, принес мне фальшивую расписку. Это он заставил меня отнести ее в партийный комитет. Я по простоте своей особого значения всему этому не придавал. А для него это было делом карьеры. Он карьерист. Спрашивайте меня, отвечу на все вопросы. Честно отвечу.

— Что вы изобрели? Какие из ваших изобретений внедрены в жизнь? — спросили его из зала.

— Изобрел я много. Но внедрено... Пока еще нет внедренного.

— Почему?

— Почему?.. — повторил Крутилич и вдруг сорвался, закричал: — Да потому, что меня травят! Потому что вельможи, бюрократы, зажимщики, монополисты... Все они готовы украсть твою идею... Или если даже и не украсть — таланта не хватит, — то хотя бы похоронить ее! — Он окончательно утратил контроль над собой и, только чувствуя, что говорит лишнее, говорил и говорил.

Все сидели изумленные, ошеломленные, размышляющие о путях, какими такой прогнивший тип проник на пост организатора работы с заводскими изобретателями и рационализаторами.

После него сразу же вновь взял слово Орлеанцев:

— Я продолжал бы, наверно, защищать Крутилича и продолжал бы ошибаться в своих отношениях к нему, если бы не его выступление, которое открыло мне глаза на этого человека. От его слов понесло антисоветским зловонием.

— Сами вы антисоветский тип! — крикнул Крутилич. — Вы что мне говорили? Вы мне говорили...

— Это вы мне всякие мерзости говорили! — крикнул Орлеанцев с трибуны. — Видите, товарищи, каков он, которого я защищал, за изобретения которого боролся и наживал себе врагов!

— Вы оба хороши! — крикнули из зала.

— Два сапога пара!

Снова на трибуну вышел Крутилич.

— Карьерист всегда остается карьеристом! — закричал он. — Спасая свою проеденную молью львиную шкуру, Орлеанцев топит других. Антисоветские, видите ли, настроения! А у вас какие, гражданин Орлеанцев? Кто вы в моральном отношении? У меня, товарищи, есть кое-какие документы. Вот два письма от его жены... — Он стал вытаскивать из кармана конверты. — Вот письмо некоей Газюни, у которой от него ребенок и которой он ни гроша не дает на его воспитание. Вот письмо Зои Петровны Ушаковой к этому грязному человеку...

— Хватит! — крикнул один из членов завкома. — Прекратите!

Гуляев видел, как покраснела Зоя Петровна при словах Крутилича о ее письме. Да, она однажды писала такое письмо, в котором просила Орлеанцева больше к ней не приходить, так как чувств его она не видит, а без

чувств — зачем продолжать эти тягостные отношения. Но она не отправила то письмо, оно завалялось в ее секретарских бумагах.

— Украл! Знаете, украл, — сказала она Гуляеву растерянно. — Ходил печатать на машинке и вот воспользовался тем, что я зазевалась...

Гуляев встал и пошел к трибуне, на которой под крики: «Хватит!», «Позор!», «Гнать его!» — все еще стоял Крутилич. Приблизясь, Гуляев сказал могучим своим басом:

— Немедленно отдайте письмо Зои Петровны. Ну, живо!

Крутилич отдал ему конверт. В зале зааплодировали. Гуляев вернулся на место. Зоя Петровна схватила письмо и принялась рвать его, мелко-мелко.

Все было ясно. Ни Орлеанцеву, ни Крутиличу слова больше не давали. Выступали рабочие, инженеры, высказывали свое возмущение тем, что на заводе творились такие безобразия, а руководство завода терпело это все, своевременных мер не принимало. Говорили о том, что ни Крутиличу, ни Орлеанцеву не место в руководителях; им бы у станка постоять несколько годиков для перевоспитания, а не руководить.

Выступил и Дмитрий Ершов, почти никогда раньше не выступавший на собраниях:

— Товарищи! Мы все видели, как эти люди извивались и изворачивались, когда им наступили на хвост. Соратнички! А коснулось дело собственной шкуры, продавать стали друг друга по дешевке. Крутилич, конечно, мелкота. Вредная, ядовитая, но мелкота. Хотя вот и от такой мелкоты люди гибнут. А тот — гражданин Орлеанцев — тот покрупнее, тот могутней. Таким бы не диктатуру пролетариата подавай, а диктатуру сильных личностей. Слышали, что Крутилич тут из их разговоров выбалтывал: век инженеров и техников! Не рабочих и крестьян, а инженеров и техников, будто уж наши инженеры и техники сами не вчерашние рабочие и крестьяне. Не выйдет, гражданин Орлеанцев, с гнилыми вашими теориями. Сомнем вас. Прямо говорю — сомнем!

Зал грохнул аплодисментами.

— Не было, нет и не будет силы, которая бы смогла подмять рабочий класс под себя, — продолжал Дмитрий. — Мы, рабочие люди, стоим туго плечом к плечу,

каждого зовем — хотите с нами заодно, становитесь рядом, не выдадим, не оставим, не бросим. Наше дело честное, за него великой кровью плачено. А из-за вас только тень на советскую интеллигенцию наводится. По вас, по таким вот, иной раз судят люди обо всей интеллигенции. И я грешил, не боюсь признаться. Теперь просветлел, разобрался, что к чему. Вы не интеллигенция, а так... возле нее что-то. Советская интеллигенция иная. И вы не с ней, а против нее идете. Вы вот хотели в порошок стереть инженера Козакову или еще вот нашего директора товарища Чибисова... Средств, как говорится, для этого не жалели. Может, где в ином месте вы бы их и стерли, где коллектив послабже. Но у нас кто же дал бы вам это сделать?

Дмитрий сошел с трибуны бледный, разволнованный. Впервые в жизни произнес такую длинную речь перед народом.

Орлеанцев попросил слово для справки.

— Товарищи, — начал он. — Здесь сказали много лишнего. Меня уже некоторые ораторы стали зачислять в ряды антисоветских элементов. Конечно, ошибки у меня, видимо, есть. Но так сразу, с ходу я их осмыслить не могу. Для этого время понадобится. Но допустим, ошибки есть. Однако нельзя так говорить: антисоветский тип. Я это отметаю. Я был пионером, я был комсомольцем... Я кровь свою проливал на фронтах Отечественной войны.

Тогда, тоже для справки, взял слово бывший заводской вахтер — старик пенсионер Сидорин.

— Они вот так всегда про детство свое канючат: пионер да комсомолец. А мы народ жалостливый и растаем: вроде и впрямь перед нами детишки неразумные.

— Не растаем, дед, не растаем! — крикнули из зала.

Приняли постановление, в котором осуждали нечестные действия Орлеанцева, Крутилича и Воробейного, просили администрацию подумать над тем, могут ли эти люди оставаться на своих руководящих постах, обращались к партийному комитету с просьбой обсудить вопрос о партийности Орлеанцева, а также обратить внимание на глубоко ошибочное поведение кандидата в члены партии Ушаковой, выдавшей фальшивую расписку.

Стали расходиться. К Воробейному подошел Степан Ершов.

— Вы меня не узнаете? — спросил Степан. — Личность моя ничего вам не напоминает?

— Что-то нет, — ответил Воробейный, всматриваясь в его лицо.

— Зайдемте куда-нибудь, — сказал Степан. — У меня к вам разговор. Очень небольшой. Совсем короткий.

— Пожалуйста.

Зашли в какую-то пустую комнату, заваленную клубным инвентарем. Степан прикрыл дверь.

— Гражданин Воробейный, — сказал он. — Я тот шофер, который должен был вести машину после взрыва доменных печей. Но вы вывернули свечи и остались служить немцам. А мы с покойным мастером Василенко ушли. Узнаете теперь?

Воробейный стоял растерянный, мигающий, не находящий слов.

— Вы, наверно, хотели бы знать, чего я хочу от вас? — спросил Степан, медленно подступая к нему. — Я хочу... Вы достойны только одного...

Степан все подступал, крепко держа руки в карманах. Он знал, что если вынет их, то будет плохо. Он вложит в этот удар все: и свою горечь за то, как изломало, искрутило его в жизни, и свою ненависть к тем, кто сделал это. Не жалкий, шкодливый Воробейный был перед ним. Степан видел кого-то совсем другого, кому он обязан отплатить за себя, за Оленьку Величкину, за Дмитрия, за отца и мать, за Игната — за все пережитое, за все изболевшее...

Отступая, втянув голову в плечи, Воробейный запнулся за что-то каблуком и полетел спиной в нагромождение пыльных клубных предметов.

Степан вышел, не оглядываясь и не слушая его ругательств.

27

После почти годового перерыва обер-мастер Платон Тимофеевич Ершов вновь шагал в свой доменный цех. Ступал крепко, прочно, в коленях не хрустело, недавней расслабленности как не бывало.

Первой, кого он встретил в цехе, была Искра. От радости она споткнулась и чуть не упала в желоб. Платон Тимофеевич ее подхватил. Она ходила за ним, пока он здоровался с рабочими, пока осматривал печь, проверял сложное доменное хозяйство.

— Так ничего и не сделали. Работнички! — сказал он. — А мы же с вами, Искра Васильевна, сколько всего напланировали!

— Как ничего! Кое-что сделали, — ответила Искра. — Новые электропушки на всех печах поставили. В пирометрической есть новые приборы. Шаровые мельницы привезли...

— Ладно, теперь возьмемся за дело как полагается. Выведем цех в передовые по Советскому Союзу. До чего тяжко без дела сидеть, Искра Васильевна, вы и понять этого не сможете. Удивляюсь на тех, кто здоровые, крепкие, а добровольно на пенсию выходят. Сам того не замечаешь — в старого деда превращаешься.

К ним подошли рабочие, стали закуривать, рассказывать истории о пенсионерах и отставниках, — не завидовали их жизни. Искра слушала, и сердце ее наполнялось тоской. Люди, у которых такой тяжелый, горячий труд, с сожалением отзываются о жизни тех, которые с утра до вечера могут ничего не делать или днями сидеть с удочками на берегу, копать грядки и выращивать овощи или цветы, спать вволю и читать сколько вздумается.

— Это ведь когда вот тут шесть дней покрутишься, то на седьмой оно и ничего плотичек потягать возле моста. А ну-к день-то за днем тягать их? Беспросветное существование!

Неужели и ее ждет такое беспросветное существование, думала Искра с горечью. Вчера Виталий вновь начал разговор об отъезде, он сказал, что, поскольку она дала слово уехать, как только закончится история с обвинением ее в плагиате, их больше здесь ничто не удерживает: история закончилась благополучно, нечего ждать следующей, которая может и не так благополучно кончиться, надо собираться.

Нелепо, нелепо! Вот именно теперь-то уж и совсем нет никакого смысла уезжать. Вернулся Платон Тимофеевич, Воробейного переводят куда-то в другой цех помощником мастера, теперь можно снова работать в полный размах, радостно, весело, как было прежде. Они возьмутся с Платоном Тимофеевичем за реконструкцию цеха, в доменном деле столько сейчас новшеств; может быть, съездят куда-нибудь за опытом — в Магнитогорск или в Кузнецк. Ну ведь она плохо варит эти противные борщи, которых желает от нее Виталий. Она неважная хозяйка, толку от ее

домашнего пребывания не будет. Что же делать, что же делать? Неужели все-таки надо уезжать? Неужели не удастся отговорить от этого Виталия?

Она подумала о Гуляеве. Не повлияет ли тот на сына своего покойного друга: как-никак, а Виталий с Александром Львовичем считается.

Искра решила, что после работы непременно съездит к Гуляеву, и, едва сдав смену, отправилась к нему домой. Отворила Устиновна и сказала, что его нету, с утра нету и когда будет — неведомо. Решила, что заедет еще раз.

Но сколько бы в этот день Искра ни заезжала к Гуляеву, она его все равно бы не застала. В тот день он собирал в дорогу Зою Петровну.

После заседания завкома Чибисов приехал к Зое Петровне, сказал, что если она хочет, он снова возьмет ее к себе. У него, мол, отходчивое сердце, и к старости он стал сентиментальным. И кроме того, с теми крашеными кикиморами, каких ему каждую неделю раздобывает в секретари отдел кадров, он работать не может.

— Одним словом, согласны вы или нет, — сказал он, — а вот уже приказ о вашем восстановлении на работе. Объявляю строгий выговор и восстанавливаю.

— Но я же больна.

— Месячный отпуск дадим. Профсоюз хлопочет о путевке в санаторий.

Он бубнил, ворчал. За напускной его грубостью Зоя Петровна видела совсем другое. Ей было бесконечно стыдно перед ним за все, что она против него сделала.

— А ведь вы же были правы, Антон Егорович, — сказала она, не глядя ему в глаза. — Вы правильно меня уволили. Я совершила отвратительный поступок. Это ведь даже преступление, а не просто поступок.

— За это, я думаю, вам еще и по партийной линии попадет. Поправитесь, отдохнете, с вами еще поговорят в партийном комитете. Я бы лично продлил вам на годик кандидатский стаж. Думается мне, что так оно и будет. Не давайте играть собою всяким проходимцам.

Все получилось так, как сказал Чибисов, — путевку достали, и Зоя Петровна вечерним поездом уезжала в Сочи. Там, говорили, уже весна, все цветет; расцветет и она, Зоя Петровна.

Искра вторично слышала от Устиновны: «Нет, не был, не приходил, не знаю где» — именно в тот час, когда Гуляев махал рукой Зое Петровне, делавшей какие-то знаки за стеклами отходящего поезда.

Когда поезд исчез во тьме, когда уже не стало видно и красных огоньков на его последнем вагоне, Гуляев сказал матери Зои Петровны:

— Надеюсь, вернется здоровой и веселой. Будем ждать.

Они шли по доскам перрона к выходу.

— Александр Львович, — сказала старуха. — А вы что — женитесь на ней или как?

— Не понимаю вопроса, — удивился Гуляев.

— На Зоеньке-то, говорю, женитесь, может быть?

— А с чего я должен на ней жениться, из каких соображений, разрешите полюбопытствовать?

— Одинокая же. Судьба ее обижает. А молодая и красивая еще. Любить вас будет.

— Вы уверены, что она пойдет за меня?

— Уж так уверена, как в себе. Она души в вас не чает. Ближе вас у нее никого и нету, Александр Львович. Меня, понятно, если не считать, да вот Ниночку. — Она указала на девочку, которая все оглядывалась, все смотрела в темноту, в которую уехала ее мама, и утирала слезы пестрой рукавичкой.

— Знаете, уважаемая мамаша, — сказал Гуляев, когда уже вышли на привокзальную площадь, — не пытайтесь судьбу вашей дочери решать за нее. Выходить за меня ей незачем, даже если бы она и согласилась. Она сейчас в таком состоянии, что рада любой ласке, любой поддержке. А дальше что? Дальше — жизнь с человеком, который ровно в два раза старше ее. Вот на вас бы я женился, — с усмешкой сказал Гуляев. — Вы, думаю, года на два, на три моложе меня. Пойдете? А Зоя Петровна пусть продолжает поиски счастья. Одним оно дается сразу. Другим вовсе не дается. Третьи завоевывают его в тяжелой борьбе, но в конце концов находят и уже тогда берегут как зеницу ока. Отчаиваться нельзя, надо бороться за счастье, надеяться на него, ждать до последнего твоего часа. Вот так. А что касается меня, то я Зое Петровне в отцы гожусь и в таком звании рад буду оказывать ей поддержку, если оная понадобится. Засим разрешите откланяться. Буду захаживать, проведывать вас и Ниночку. До свиданья.

Он шел по улице, бормотал себе под нос. С интересом прислушивался к словам, которые откуда-то, из своих закоулков, извлекала память:

...С тех пор привычка у меня —
Всегда держаться ближе к свету.
Хоть голоса любимого уж нету,
Никто меня не просит, не зовет, —
А старая привычка все живет!

Что это такое, задумался, откуда? Вспомнил, что это стихи Искры. «Ходите здесь, под фонарями, чтоб я вас дольше видеть мог».

Надо к ним сходить, к старым друзьям. А то совсем позабыл о них, совсем. Уже несколько недель все свободное время отдавал больной Зое Петровне. Даже от жизни театра несколько отстал. С Алексахиным бог знает сколько не встречался. А надо, очень надо встретиться. Есть интересная идея для новой пьесы — показать человека, от которого страдают хорошие, честные люди. Такого человека, который спекулирует революционными фразами, якобы радеет за общее дело, а сам сугубый индивидуалист. Обманывая коллектив, он, может быть, еще долго существовал бы своей второй, показной, жизнью, если бы не трудные дни, не сложные события в жизни народа, в природе которых индивидуалист-стяжатель ошибся. Проявление силы он принял за слабость, попытался использовать момент в личных целях и жестоко ошибся.

Вот бы воодушевить Алексахина. Типаж для него найдется, далеко ходить не надо. Знает такого убеленного сединой красавца Гуляев. Пусть думает парень над новой пьесой. Обстановка в театре изменилась, таких препятствий, как было год-полтора назад, молодой драматург там уже не встретит: и худрук стал иным, и Томашук полностью обанкротился, утратил свое непомерное влияние на дела театра. Надолго ли это, на коротко — кому ведомо? Когда идет будничная, трудовая, созидательная повседневная жизнь, видно и слышно лишь тех, которые с топорами, которые с шахтерскими лампочками, которые строят, создают, которые со сцены разговаривают со зрителями о больших идеях. Но вот осложнение, препятствие на пути — и лезут на глаза до того невидные и неслышные томашуки. Даже речи выкрикивают с трибун взъерошенные, бледные, пылающие, так сказать, святым огнем.

За размышлениями и не заметил, как дошел до дому. Устиповна сказала, что к нему дважды наведывалась инженер Козакова. Посмотрел на часы, было поздно, наверно, уже спят, — Искра ведь труженица, встает рано, с заводскими гудками; нельзя ее беспокоить.

Решил, что сходит завтра.

Назавтра застал дома одну Люсеньку. Девочка мирно играла, никаких признаков крупных событий в доме не было; успокоился и, написав на листе картона о том, что заходил, отправился в театр.

Искра увидела эту надпись вечером, отбросила картон: надобность в разговоре с Гуляевым у нее уже отпала. Они с Виталием поссорились. Она просила его о том, чтобы еще отсрочить время отъезда, он сказал, что нет и нет, ехать надо немедленно, завтра же, послезавтра. В конце концов она заявила, что вовсе не поедет, он сказал — ну вот и хорошо, кончатся его мучения, он вздохнет свободно.

— Да? — сказала Искра, холодея. — Ты рад расстаться со мной?

— Да. Рад.

— Повтори это еще раз, повтори?!

— Хоть сто раз, хоть тысячу!.. Ты измотала мои нервы. У меня не было жизни и, по сути дела, не было и жены. Тебе было бы приятно, если бы, предположим, от меня день и ночь пахло керосином или, например, нефтью-сырцом? А было бы именно так, если бы я работал мастером на нефтеперегонном заводе. От тебя несет коксом... Подумала бы об этом, ведь ты женщина, женщина!

— Прежде всего я человек! — крикнула Искра. — Как тебе не стыдно! Ты повторяешь мещанские пошлости. Ты встал в позу обывателя, жалкого, ничтожного обывателя...

— Вот и отлично. Оставайся неземным, сверхидейным существом. А с меня этих заоблачных высот достаточно.

К вечеру следующего дня Виталий стал складывать в чемодан рубашки, белье, бритвенный прибор, галстуки. Искра не спрашивала его, что это означает.

В девятом часу, когда она уложила Люську, Виталий взглянул на часы, сказал: «Ну что ж, до свиданья. Не я виной тому, что так получилось», взял чемодан и пошел к двери. В дверях постоял, может быть, ожидая, что Искра проронит хоть слово. Но Искра даже и не обернулась

от стола, на котором гладила утюгом Люськины смешные маленькие одежды. Было обидно оттого, что так кончается жизнь, так легко он разрушил все, что создавалось годами. Значит, ничто в их жизни ему и не было дорого.

Дверь позади нее стукнула. Искра обернулась. Виталия уже не было. Оставив утюг, она метнулась к вешалке, схватила пальто. Постояла, прижимая пальто к груди, повесила вновь на крючок. Что же это получится? Она будет бежать за Виталием по улицам, виснуть на его руке, тянуть обратно домой, рыдать на вокзале, а он, чем больше его упрашивай, будет все упрямей и упрямей и в конце концов оттолкнет ее и все-таки уедет. Нет, это не выход, нет.

Искра металась по комнате, хрустели суставы ее пальцев — так стискивала она руки; снова схватилась за пальто, оделась, выбежала на улицу. Она не думала о том, куда бежит и зачем, но прибежала к стоянке такси, попросила ехать на вокзал, и побыстрее.

Шофер гнал машину напрасно, поезд уже ушел — только что ушел, несколько минут назад. Значит, Виталий еще недалеко, где-то там, за окраиной города. Можно догнать на такси, домчаться до следующей станции. Но зачем, зачем, если он смог уехать, если его ничто не остановило? Того, кто хочет уйти, ничто не удержит; рано или поздно он все равно уйдет.

Снова села в такси Искра.

— Куда? — спросил шофер, трогая с места машину.

Куда? В самом деле—куда? Увидеть опустевшую комнату, опустевшую навсегда?..

Шофер ждал, машина едва катилась.

— Вы знаете Овражную? — спросила Искра. — Вот туда, пожалуйста. В самый конец.

Может быть, если бы путь был длиннее, Искра успела бы передумать и попросила бы шофера повернуть обратно. Но шофер проехал какими-то переулками, и через несколько минут машина остановилась против дома, на который указала Искра.

Может быть, если бы у Искры было время постоять возле калитки, то она, подумав, и не вошла бы в эту калитку. Но Дмитрий вышел на стук дверцы такси, времени для раздумий у Искры не оказалось, и она вошла в калитку.

— Что-то случилось? — спросил Дмитрий, приглашая Искру к столу и вглядываясь в ее лицо.

— Случилось?.. — сказала она с каким-то неожиданно пришедшим равнодушием. — Да... что-то случилось. — Она рассеянно осматривалась вокруг. — В доме никого нет?

— Никого. Капитолина все еще в больнице. Но дело уже на поправку. Андрей в цеху.

— Да, да, утром я должна буду принять от него смену. — Искра вдруг закрыла лицо руками. — Дмитрий Тимофеевич, — услышал он, — вы не представляете, не представляете, какая я несчастная!

Дмитрий взял руки Искры, отвел их от лица, увидел ее глаза, в которых было отчаяние.

— Что вы, Искра Васильевна? — заговорил растерянно. — Успокойтесь. Ну что вы? — Он стал осторожно гладить ее по плечу, по спине.

Она склонилась к нему.

— Не могу, Дмитрий Тимофеевич, не могу так жить. Я, наверно, умру. У меня нету сил больше...

Дмитрий не знал, что и делать, он осторожно обнял ее за плечи, тихо привлек к себе, она его не отталкивала, и едва слышно коснулся губами ее волос, от которых хорошо пахло, совсем не доменным цехом...

28

Подойдя к знакомой калитке, Леля взглянула в окно и отшатнулась. Через тюлевые гардины она отчетливо видела Дмитрия, который обнимал жену художника Козакова. Последняя паутинка, которая еще как-то связывала их, Лелю и Дмитрия, рвалась окончательно. В долгой молчаливой борьбе была побеждена она, Леля. Победила другая — здоровая, красивая и благополучная. Зачем ей, жене такого мужа, как художник Козаков, понадобился Дмитрий? У нее есть все для полного счастья, зачем еще и Дмитрий? Это уже прихоть, это каприз, это оттого, что и так всего много.

Леля не хотела больше видеть происходившее за плохо занавешенным окном, она медленно пошла обратно по Овражной. Она вспоминала последнюю встречу с Дмитрием. Это было три недели назад. Леля пришла в этот домик. «Ты меня звал когда-то, помнишь, — сказала

она. — Вот я и пришла». — «Ты хорошо сделала», — сказал он. «А почему ты такой злой? Может быть, мне уйти?» — «Ночью Горбачев умер... Капа родила до срока. Лежит в больнице. Положение тяжелое».

Она посидела возле него, тронула его жесткие, как она их называла, злые волосы, которые не слушались гребенок и торчали так, как им вздумается. Он не отстранялся. Она посидела с полчасика, сказала, что пойдет, надо идти. Она бы хотела, конечно, остаться у него и, говоря, что пойдет, надеялась, а вдруг он скажет: «Сиди уж, куда так поздно». Он этого не сказал. Она оправдывала его: столько волнений, столько несчастий сразу в семье.

Прощаясь у калитки, он сказал: «Лельк. — Совсем как, бывало, прежде назвал. — Лельк, ты приходи. Не забывай дорогу. Слышишь?» — «А тебе надо это, Дима?» — «Не было б надо, не говорил бы».

Солгал, значит, неправду сказал. Не надо этого ему совсем, чтобы она приходила. Он нашел, нашел себе другую... Невыносима была мысль. Леля говорила себе, что Дмитрий — это было все, что связывало ее с жизнью. Она жила только потому, что на свете был Дмитрий. А теперь Дмитрия нет, и жить уже не для чего. Что у нее будет в жизни без дум о Дмитрии? Сети, от которых нарывают пальцы? Койка в общежитии? Бутылка водки? Кто же заставит ее терпеть эту жизнь дальше?

На какой-то миг в памяти возникла страшная картина, которую она не успела осмыслить, и исчезла. Леля заволновалась: что это такое? Что ее так беспокоит? Что она силится вспомнить? И вдруг во всех подробностях она вспомнила рассказ деда Мокеича о девушке, в глазах у которой он вовремя не разглядел смертельную тоску.

Леля проходила мимо темной витрины какого-то магазина. Она попыталась увидеть в ней отражение своего лица. Увидела только расплывшееся пятно. «А ведь я в себе тоже несу смертельную тоску, — подумала. — Куда-то я ее принесу?..»

Леля уже знала, куда она ее принесет. Она несла ее туда же, куда несла и та девушка из рассказа Мокеича. «Фукнуло дымком, пар белый поднялся, и все тут».

На завод она прошла через щель в заборе. Доменный цех найти было проще простого. Под его крышами рокотало и вспыхивало такими кострами, что вокруг, на заводских дворах, становилось светло и багрово. Никто ее

не останавливал, никто не спрашивал, чего ей надо. В своей тужурке с воротником из потертого собачьего меха она была похожа на работницу, каких и в этот поздний час немало ходило по заводу.

Поднимаясь по железным зыбким лестницам, она чувствовала, как дрожат от клокотавших в них скрытых сил доменные печи, как мелкой, едва ощутимой дрожью сотрясаются и все пристройки вокруг печей.

Леля добралась до литейного двора. Здесь только что закончили выпуск чугуна, канавы еще тускло искрились, горновые их очищали. Внизу под эстакадой стояли чугуновозы, ковши которых были полны слепящего металла. «Фукнуло дымком...» Вот оттуда, из такого ковша, фукнуло. Леля стояла, неотрывно смотрела в пекло. Нет, этого она сделать не могла. Нет. Прости, незнакомая, несчастная девушка, но я за тобой пойти не сумею. Может быть, ты была еще несчастнее меня. Какой же мерой измерялось тогда твое несчастье...

— Леля! — услышала она голос. Это было так неожиданно, что вот тут-то она могла бы ринуться вниз через поручни в этот ослепляющий чугунный ад. Сердце ее отчаянно билось, и она не сразу узнала подходившего к ней Андрея. — Леля! — повторил он, недоумевая. — Как ты сюда попала?

— Андрюша! — рванулась она к нему, обхватила его за плечи, прижалась к его груди. — Милый! Родной! Что же жизнь-то с людьми делает?..

Андрей стоял удивленный, растроганный тем сочувствием к их с Капой несчастьям, какое услышал в Лелиных словах. А Леля горько плакала, кажется, и в самом деле веря в то, что плачет над бедами других людей, а не над своими.

— Это не жизнь так делает, — сказал Андрей. — А люди.

— Подлые они, подлые! — Леля плакала и видела перед собой Искру Козакову, жену художника, благополучную, здоровую, счастливую, от нечего делать отнимающую у других даже крохи нелегкого их счастья.

Жена художника Козакова в эту минуту также горько плакала, прижимаясь лицом к груди растерявшегося Дмитрия. Он держал в объятиях эту маленькую женщину, чего желал долгие месяцы, он чувствовал ее тепло,

под его руками были ее незнакомые руки и плечи. Зачем же он медлит, почему? Ведь он ждал этой минуты, так ждал.

А Дмитрий медлил, и минута проходила.

— Почему вы плачете? — спросил он.

Она с удивлением посмотрела на него, как смотрят спросонья люди, уснувшие в незнакомом месте.

— Ах, — сказала она, — у меня очень тревожно на сердце. Боюсь, не случилось бы чего с Люськой. Она ведь дома одна.

Он привлек ее к себе, заглядывая в глаза.

— Нет, нет, нет, — повторяла она, пытаясь его отстранить.

Он хотел поцеловать ее в губы.

— Не надо, не надо. — Она продолжала отталкивать его. — Дмитрий Тимофеевич, милый, не надо. Я вас буду очень любить. Очень. Только не надо.

Она говорила это, но думала о чем-то совсем другом. Дмитрий видел, как взволнованна, расстроена и угнетена Искра Васильевна. Все, что угодно, все, кто угодно, были в ее мыслях, только не он. Он отпустил ее, удивляясь своему спокойствию, улыбнулся.

— Зачем вы это говорите, Искра Васильевна? Вы никогда меня не будете любить.

Она промолчала, опустив глаза в пол.

— Я вас провожу, — сказал Дмитрий, подавая ей пальто.

— Вы на меня сердитесь? — сказала Искра едва слышно, не попадая руками в рукава.

— За что же, Искра Васильевна? От какого-то расстройства чувств вы приехали ко мне, вам понадобилось дружеское слово, поддержка, так ведь, да? Вот вам моя рука, держите. Все, что по ее силам, она для вас сделает. А насчет любви, о которой вы сказали, это вы, еще раз говорю, ошибаетесь. Любить вы меня не можете.

— Почему? — сжав кулачки, спросила Искра. — Почему?

— Потому что любите мужа.

— Нет у меня мужа, нет! — крикнула Искра. — Он уехал. Вы понимаете, он взял чемодан и уехал. Подло, постыдно убежал, убежал!

Дмитрий вздохнул. Вот она, разгадка ее волнений и метаний. Он понял, что в этот вечер его миновало большое несчастье. Он мог поверить словам этой милой ма-

ленькой женщины и со всей своей щедростью отдать ей навеки сердце. А она наутро, поплакав и погоревав, пошла бы на вокзал и отправилась догонять своего мужа.

По улице они шли молча. Возле дома Искры остановились на минуту.

— Ну, — сказал Дмитрий. — Итак, прощайте, Искра Васильевна.

— Нет, нет, только не прощайте! — воскликнула она поспешно. — Мы завтра увидимся, непременно увидимся. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Дмитрий и вновь улыбнулся так, как улыбаются взрослые, разговаривая с ребенком, о котором заведомо знают, что тот хитрит и говорит неправду.

Был час ночи, когда Искра, осторожно отомкнув дверь своим ключом, на цыпочках вошла в комнату.

— Виталий! — крикнула она, роняя ключи на пол. — Виталий!

За столом, в пальто и в кепке, сидел Виталий. В ожидании ее он, видимо, спал, положив голову на руки, — на щеке у него был отпечаток большой нарукавной пуговицы с четырьмя дырочками.

— Искруха, — сказал он виновато. — Я не могу жить без тебя. Честное слово. И кому в голову пришла такая дурацкая мысль — разъехаться! Но где ты ходила так долго? Я же сразу вернулся, даже и в вагон не пошел.

Она смотрела на него отчаянными глазами. Он не подозревает, нет, не подозревает о том, что́ могло сегодня случиться. Он, как всегда, ничего не замечает и ничего не подозревает.

— Как хорошо, что ты вернулся, — сказала она, подходя к нему. — Как хорошо!

Он обнял ее, она замерла на его плече, к ней пришло какое-то огромное облегчение, какой-то неслыханный груз свалился с нее; было чувство избавления от великой беды; было так, как бывало когда-то за отцовой надежной спиной.

29

За окном далеко-далеко лежало холодное море. Капа устроилась перед окном и кормила грудью маленькое существо, у которого, когда существо сердилось, багровело личико, и тогда существо больно кусалось, хотя и не имело

зубов. Это существо было ее сыном. Его звали Ваней. Так захотела Капа. Еще из больницы она писала Андрею: «Андрюша, ты не будешь против, если мы его назовем, как звали моего папу? Пожалуйста, Андрюша, согласись, хотя имя, может быть, и не совсем современное». Она очень боялась, что Андрюша будет ворчать. Но Андрюша не ворчал. Это был замечательный Андрюша, каких на свете больше, конечно, нет.

Маленькое существо сердилось и багровело отнюдь не от вздорности своего характера. Оно было слабое, нервное, появление его на свет было нелегким и преждевременным и в тот час не вызвало ни у кого никакой радости, потому что в тот час у всех его близких было большое горе. Дальше тоже далеко не все шло благополучно. Молока у его мамы долгие дни было очень мало, и было оно невкусным. Поневоле станешь кусаться. Правда, его мама была сильная и здоровая, и со временем дело улучшилось. Но, рожденное в штормовую трагическую ночь, существо вздрагивало от малейшего стука, часто и беспричинно плакало.

Капа любила его до боли в сердце и сердилась на Андрея за то, что тот не целует его непрерывно. Андрей говорил: «Капочка. Ведь своих мальчишек отцы знаешь когда по-настоящему начинают любить? Когда мальчишки станут проявлять свои мальчишеские качества. А до этого матери их любят больше, чем отцы». — «Какая ерундовая теория, стыдно слушать!» — сердилась Капа.

Вторую неделю жили они на новой квартире, в новом доме. Из особняка Анна Николаевна после смерти мужа должна была выехать. Страшась одиночества, она спросила Капу и Андрея, не захотят ли они жить вместе с ней. Ведь и Капе будет легче — будет кому нянчиться с ребенком. Капа согласилась. После смерти отца она с большей нежностью, с большей бережностью относилась к матери. Как ни горько было Капе, она понимала, что у нее-то есть Андрей, милый, родной, хороший, а у мамы? У мамы уже нет никого и ничего, и не будет — ни дети, ни внуки не заменят того, с кем прожито тридцать с лишним лет.

Да, они живут в новой квартире из трех комнат, о чем когда-то мечтала Капа. Третий этаж, на лестнице есть соседки, с ними можно говорить о погоде, о разных разностях, они приветливо здороваются, у подъезда нет милиционера. Но нет и того, кого она, Капа, укоряла этим

милиционером. Его отвезли на кладбище на пушечном лафете под рвущую сердце траурную музыку. Капа слушала эту музыку сквозь больничные окна.

Только в горькие для семьи дни она увидела, сколько друзей было у ее отца. Они никогда раньше не появлялись в доме, им всем всегда было некогда, всегда было недосуг посидеть вместе вечерок, отдохнуть, отвлечься от вечных, нескончаемых дел. Они, наверно, откладывали эти встречи на какое-то другое время, на более свободное, на после. Они нашли это время только тогда, когда понадобилось прошагать по слякоти до кладбища за гробом своего друга и посидеть возле Анны Николаевны.

Андрей рассказывал Капе — ему это говорили на заводе, — что изобретатель Крутилич, когда узнал о смерти Горбачева, сказал: «Чего жалеть-то? Одним бюрократом меньше стало. Вряд ли найдутся желающие за его гробом шлепать». Андрей упомянул об этом, когда рассказывал Капе, сколько тысяч людей шло провожать ее отца в последний путь, — людей со всех заводов города, из порта, из вузов, школ и учреждений.

Переезжали на новую квартиру без участия Анны Николаевны. На время переезда ее оставили в обществе Устиновны на Овражной. Она не могла видеть, когда трогали, сдвигали с места ту или иную вещь, особенно в кабинете Ивана Яковлевича, когда комнаты начинали пустеть, принимать нежилой, разоренный вид. В кабинете Ивана Яковлевича Капа нашла завалявшуюся среди множества других бумаг злосчастную объяснительную записку Крутилича. На полях рукописи были пометки, сделанные рукой отца. В конце она прочла: «Думаю, что товарища стоит поддержать. Человек беспокойный. А беспокойные люди ценны тем, что и другим не дают успокаиваться».

Андрей сказал Дмитрию, что пойдет с этой папкой к Крутиличу и треснет его ею по морде. «Не треснешь, — ответил Дмитрий. — Гражданин Крутилич снялся с якоря, как всегда он всю жизнь делал, когда люди начинали понимать, кто он такой есть, и уехал. На целину отправился. Не то в Казахстан, не то на Урал. Ищи его там. Орден будет зарабатывать». — «Его же судить надо!» — воскликнул Андрей. «За что? — спросил Дмитрий. — Я-то с тобой согласен, да много ли судят у нас клеветников? Может, конечно, где и есть такие случаи, только я их не знаю. От Крутилича, Андрюшка, еще не один человек

погибнет. И будет так всегда, пока не будет признано законом, что клевета — это одно из оружий врага против нас».

Капа много пережила за эту неделю. В эти дни ей пришлось выступать на комсомольском собрании в институте. «Товарищи! — говорила она горячо. — Пройдут немногие годы, и на нас с вами ляжет ответственность дело отцов довести до конца. Отцы оставляют нам огромное богатство, они оставляют нам завоеванный социализм. Мы не имеем права относиться с пренебрежением к тому, что завоевано кровью отцов и дедов. Мы не имеем права прощать кому-либо, даже лучшему своему другу, хотя бы малейшее отступление с этого пути. Я читала в журнале, как один критик издевается над теми, кто идет прямой шоссейной дорогой, а не обочинами и не канавами. Мы не можем идти обочинами, даже если там, может быть, и мягче ступать. Мы не можем слезать в канавы за незабудками. Это затруднит, замедлит движение. Ребята, девочки! Это может быть несколько более сурово, чем нам бы хотелось. Но ведь еще в мире идет борьба, и не просто идет, а и обостряется. И если отцы наши дрались на баррикадах, то ведь и мы еще не вправе покинуть поле сражения. А раз борьба, раз сражение, значит, и трудности».

«Капка, ты большевичка!» — сказала ей после собрания толстая Аллочка. «Правда? — переспросила Капа. — Ты так думаешь? Я очень рада. Для меня это слово полно огромного содержания».

Капа смотрела в окно, кормила маленького Ивана Андреевича, и множество мыслей переполняло ее голову. В море шел корабль. Куда он идет? В какую страну? Что везет в своих трюмах? Раньше, когда жили в особняке или на Овражной, она этого не видела, а здесь каждый день в окно видно, как идут куда-то корабли и откуда-то приходят. В портах мира все больше и больше красных флагов на мачтах. Страна Капы становится все могущественнее, все большее приобретает влияние в мире. Какие близятся светлые и радостные дни, как чудесно будет жить человек в том мире, в котором не станет границ и пограничной стражи! Может быть, и она, Капа, дождется этих дней, а уж он-то, крошечный Иван Андреевич, непременно, обязательно их дождется. Лишь бы только не было войн. Раньше Капа не очень серьезно думала о войне — ну, будет, ну, не будет. Это ее не забо-

тило. Сейчас, когда на руках она держит Ивана Андреевича, о возможной войне думается с тоской и с ненавистью к тем, кто может устроить так, что война будет.

Шаркая туфлями, пришла Анна Николаевна, забрала у Капы сына, понесла укладывать в постельку. Капа села за учебники, зажгла настольную лампу — смеркалось. Вскоре вместе с Андреем пришли все его дядья. Они еще не были здесь, на новой квартире, пришли посмотреть. А главное, как сказал Платон Тимофеевич, проведать наследного доменщика.

— Вот говорят: наследный принц. А у нас более серьезное звание: наследный металлург, наследный доменщик. Мы по дороге хотели шампанского взять. Да засомневались: как бы голова от него не стала болеть. А против водки наш трезвенник, Дмитрий, запротестовал. Вот и пришли с пустыми руками.

— Между прочим, и за Дмитриевы дела надобно бы поднять чарку, — сказал Яков Тимофеевич.

— Совершенно справедливо, — согласился Платон Тимофеевич. — В партийный комитет завода избрали. Прямой, говорят, и определенный...

— Уж прямей некуда, — засмеялся Яков Тимофеевич. — Ни вправо, ни влево не видит, что колун.

Дмитрий посмотрел на него с сожалением.

— Зигзагами-то юлить безопасней, — сказал он.

— К кому это относится? — спросил Яков Тимофеевич.

— Это вообще, вывод из фактов, наблюденных в жизни, — ответил Дмитрий.

— Ладно, хватит меж собой воевать! — сказал Платон Тимофеевич. — Степ, давай-ка расскажи ребятам, они не знают, как ты с Воробейным объяснялся.

— А что рассказывать? Я ему напоминаю некоторые детали. А он вдруг — брык ногами кверху и лежит.

— Иди ты! — весело изумился Яков Тимофеевич. — Неустойчивый, значит.

Завязался спор, правильно или неправильно, что Чибисов все-таки оставил Воробейного на заводе, а не прогнал в три шеи. Капа отозвала Дмитрия в другую комнату, спросила вполголоса:

— Так и неизвестно, где она? Леля?

— Нет, — ответил Дмитрий, глядя в черное окно. — Неизвестно. — В лице его ничто не изменилось, только

чуть сузились глаза, будто хотел он увидеть в черной за окном дали что-то такое, о чем другим людям знать и ненадобно.

Когда гости ушли, Капа сказала:

— Андрей, разве быть прямым и определенным — это значит непременно быть колуном? Как ты думаешь?

— Я думаю, что у кого так не получается — быть прямым и определенным, они от досады на тех, у кого получается, выдумывают всяческие насмешки вроде этого колуна.

— Но, может быть, это все-таки недостаток?

— Не знаю, Капочка. Владимир Ильич Ленин, например, был очень прямой.

— Я знаешь почему так спрашиваю? Потому что и мне иногда говорят: ты слишком прямая. Может быть, это плохо? Это тебе не кажется моей отрицательной чертой? Ты не страдаешь от этого?

Андрей засмеялся, обнял ее.

— Смешная ты моя! Нет в тебе отрицательных черт, нет недостатков...

— Ну перестань, я же серьезно.

— И я серьезно. Чудачка. Я же тебя люблю. Зачем мне рассматривать твои отрицательные черты, я хочу видеть и вижу только хорошие, и не заставляй меня видеть иное.

Кончался день, кончался вечер, хлопотные материнские дела отступили назад, на город опускалась ночь, и тогда вновь, лежа в темноте с открытыми глазами, Капа переживала то, что пережила в ночь смерти отца. Это, наверно, никогда не пройдет и не забудется. Боль душевная соединилась с болью физической. Капа была убеждена, что умирает. Но смерть была тогда не страшна, потеря отца все собою заслонила. Невозможно было представить, нельзя было поверить в то, что он больше никогда не посмотрит на нее своими смеющимися глазами, не тронет рукой ее голову, не взъерошит мальчишескую стрижку. Они вбежали тогда с матерью в палату, припали обе к его постели, их не могли поднять, не могли увести. Андрей взял ее на руки и, уже ничего не видящую вокруг, ничего не ощущающую, отдал на носилки санитарам и сестрам, которые повезли ее прямо в родильное отделение.

Капа видела перед собой отца. Она шептала что-то так тихо, что этого никто бы, даже и Андрей, не смог услы-

шать. Смысл ее неслышных слов заключался в том, что пусть бы уже скорее был окончен институт, чтобы скорее стала она врачом, самостоятельным человеком. Тогда увидят, увидят, как будет жить и работать дочка старого коммуниста Горбачева. Они многое сделают в жизни с Андреем, они докажут, что не только их отцы были большевиками, но что и они сами — большевики. Знай это, отец. Но, впрочем, ты, кажется, и так всегда это знал.

30

Слитки один за другим, горя белым огнем, бежали по рольгангам под валки стана. Плавными движениями Дмитрий перебрасывал их с боку на бок, гонял под валки и обратно; слитки становились все длиннее и тоньше, все тусклее светились; потом, вытянутые в длинный брус, угасали совсем, и Дмитрий отпускал их под другие прессы и агрегаты, под которыми там, дальше, они превращались в железнодорожные рельсы.

Дмитрий любил эту работу в кабине огромного тяжелого стана. Он любил ощущать свою силу над металлом, над сталью. Вот он нажмет на рукоятку — и слиток, вжимаясь меж валов, плющится, как кусок теста под каталкой. Потом Дмитрий ставит его на ребро, и он, плющась в другом направлении, удлиняется. Точные движения, точный расчет, осязаемый результат. И сколько сотен тонн металла пройдет вот так за смену через руки Дмитрия, сколько километров рельсов получится в конце концов из этого металла!

Кроме всего прочего, когда привычные, опытные руки работают автоматически, есть время для размышлений, для раздумий.

Дмитрий размышляет о состоявшемся накануне заседании нового партийного комитета, на котором разбиралось персональное дело коммуниста Орлеанцева. Трудное было заседание, неприятное. Орлеанцев снова, как и на заседании завкома, говорил о том, что он был в пионерах, в комсомольцах, во время Отечественной войны его дважды ранило. Но когда дело касалось признания вины, вновь и вновь уходил от прямого ответа: «Однажды я об этом уже говорил, я совсем не желаю устраивать над собой шахсей-вахсей».

Дмитрий пристально смотрел на Орлеанцева, наблюдал за каждым его движением, за каждым его жестом, вслушивался в каждое слово. И это коммунист, думал он. А что в нем коммунистического, что партийного? У него все построено на строгом расчете. Он и сейчас, в эту нелегкую для члена партии минуту, остается дельцом. Он борется за то, чтобы избежать наказания, и в то же время делает все, чтобы не признать своей вины, он смотрит куда-то далеко вперед, когда, может быть, придет такая минута — он вновь будет на коне.

Члены партийного бюро высказывались резко и определенно — ни у кого не было сомнений в том, что Орлеанцеву не место в партии.

— Человек, не уважающий организацию, в которой он состоит, не считающийся с товарищами по этой организации, должен быть из организации исключен, — как всегда несколько витиевато, говорил инженер из мартеновского цеха. — Он по меньшей мере балласт в партии.

— Нет, он не балласт, — возражал старый коммунист, машинист паровоза. — Он активно мешает партии, активно приносит ей вред. Раз для него другая дисциплина писана, пусть удалится вместе с ней куда знает.

Молчавший все заседание и стеснявшийся своего нового положения члена партийного комитета завода, Дмитрий в конце концов позабыл об этом положении, не выдержал:

— Не место Орлеанцеву в партии. Он потерял право на это. Может быть, когда-нибудь и имел, может быть. Но теперь потерял. Было нелегкое время для партии — минувший год. Для всего коммунистического движения в мире нелегкое. Экзамен держали на прочность. А где во время этого экзамена был товарищ Орлеанцев? Отстаивал он дело партии, дело рабочего класса, дело народа? Он на мутной волне, поднятой ревизионистами, хотел к руководящим постам пронестись. Я тоже за исключение этого гражданина из партии и где угодно буду стоять за такое решение.

Единогласно решили Орлеанцева из партии исключить. Тут только, кажется, впервые в жизни он утратил свою железную выдержку. Он не сумел вызвать на лице свою снисходительную улыбочку, не сумел выпрямить узкую длинную спину, не сумел гордо вскинуть седую благородную голову, не сумел пройти до дверей так, чтобы все взоры были прикованы к нему с интересом, завистью,

восхищением, почитанием. Вышел тихо, сутулый и незаметный, с лицом, вытянувшимся и еще более обрюзгшим.

Как бы радовался Крутилич: великий Орлеанцев пал. Но Крутилич где-то на новом месте — то ли в совхозе на целине, то ли на заводе Алтая, а может быть, в таком месте, о каком мы и не догадываемся, — запирал в это время в свой сундук какие-то бумаги, которые ему еще понадобятся, от которых еще кто-то наплачется и настрадается...

Дмитрий смотрел в поток искр, летевших из-под валов в толстое стекло перед его лицом, и, как часто теперь в эти дни, в этом слепящем потоке видел Лелю.

Леля... Ее не было. На следующий день после того, как Андрей сказал ему, что Леля зачем-то приходила в доменный цех, он поехал в Рыбацкий. Но там сказали, что она еще не возвращалась из города. Ждал до вечера. Ходил по берегу под студеным ветром, сидел на днищах опрокинутых баркасов. Зяб. Ждал. И не мог дождаться.

Через несколько дней он приехал снова. На этот раз ему сказали, что Леля появлялась и взяла расчет. Пусть пойдет в контору и спросит, там знают, куда она уехала. Но, прежде чем идти в контору, он долго расспрашивал женщин, которые жили в комнате с Лелей, не известно ли им, почему и куда она уехала. «Кто же ее знает, — ответили ему. — Она ведь свое никому не рассказывала. Сказала только: хватит, мол, ей хныкать и ждать чего-то, жизнь идет, какая ни на есть, а жизнь, и надо жить. Все, мол, ждала-ждала, не дождалась, убедилась, что ждать нечего. Не тебя ли, милый, ждала?» В конторе Дмитрию ответили, что только приблизительно могут сказать, куда уехала Леля. Дело в том, что ей не раз предлагали пойти учиться. Директор МРС советовал идти на моториста, на механика, на штурмана — на кого хочет. Другие товарищи хвалили специальность рыбовода. Она от всего отказывалась. А тут вдруг загорелась ни с того ни с сего — подай учение. А в наших краях приема на такие курсы сейчас нету. Вот и поехала искать их. Может быть, в Мурманск или в Ростов. В Одессу тоже... В Ленинград, в Прибалтику куда-нибудь...

Трудно переживал эти дни Дмитрий, очень трудно. В доме было пусто: Капа тогда еще лежала в больнице, Андрей, если не был на работе, то сидел или у Анны Николаевны, или в больничной приемной. Дмитрий один маялся по дому и переживал. Он понял, что Искра Васильевна, о которой думалось когда-то, к которой тянуло, —

это вроде тумана, какой наносит на путника, когда путник идет длинной дорогой через поля и лощины. Нанесет, собьет с дороги, закрутит, а потом рассеется — и нет его. Понял, что не жена художника Козакова была ему нужна — вот эта самая Искра Васильевна; толкало его к ней лишь то, чего не было и уже не будет в Леле. И когда ставил он их рядом, Леля брала верх над аккуратненькой, привлекательной женой художника Козакова — душой своей брала, любовью, теплотой человеческой. Леля не остановилась бы ни перед чем, если бы это было надобно ему, Дмитрию, она бы для него пожертвовала всем, даже жизнью. Она была таким другом, какие не каждому даются в жизни. «Что имеем, не храним», — с усмешкой вспомнил Дмитрий отцовы слова, которые сказал однажды Ивану Яковлевичу Горбачеву. Вот поучал. А сам поступил как? Кого потерял! Какого друга, какого человека... Он ни в чем не винил Искру Козакову. Но видеть ее не хотелось. Он слышал фальшь тогда в ее словах: «До завтра. Завтра увидимся, непременно». Неизвестно, как будет дальше у нее, у этой Искры Васильевны, может быть, все-таки и не сможет она вечно довольствоваться жизнью своей с художником Козаковым, но зато Дмитрий знал, что получил жестокий урок и что он не успокоится теперь, пока не найдет Лелю.

Кто-то положил ему руку на плечо. Обернулся: Чибисов. С директором в кабину стана поднялись главный инженер, еще инженеры из заводоуправления и из цеха и трое незнакомых, по виду иностранцы. Они заговорили, и Дмитрий понял, что это англичане. Они обращались к нему. Передал стан помощнику. Стал через переводчика отвечать на вопросы о производительности стана, о весе слитков, о заработке, о составе семьи.

Потом гости спустились вниз. Вместе с ними спустился и Дмитрий. Иностранцы заговорили о том, что поражаются успехами советской металлургии. Они уже не на первом заводе и всюду видят отличное оборудование, высокую культуру производства, оригинальную технологию. Переводчик старательно переводил. Но Дмитрий не без удовольствия видел, что его труды не пропали даром: он и без переводчика многое из их слов понимал. Особенно когда говорил высокий сухой старик с аккуратным, ровным пробором, под которым была видна розовая кожа: он говорил медленно и отчетливо, каждое слово ставил отдельно.

— Да, — сказал старик, — достижения есть. Серьезные достижения. Размах. Стремление. Качество... Но... Но Соединенные Штаты в год выплавляют почти сто миллионов тонн стали. А у вас, господа, только около шестидесяти.

— И у нас будут сто и больше, — тщательно выговаривая английские слова, сказал Дмитрий. Он очень волновался оттого, что вдруг его не поймут или засмеются. Но его отлично поняли, и все трое англичан с интересом на него посмотрели.

— О да, — сказал старик с улыбкой, — не сомневаюсь. Но когда у вас будет сто, у них уже будет двести.

— Когда у нас будет сто, — ответил Дмитрий, — у них, может быть, будет сто двадцать. Возможно. Не знаю. Хотя сомневаюсь. Но когда у них будет сто пятьдесят, у нас уже будет двести.

— Вы рабочий? — спросил другой англичанин.

— Да, рабочий. Я старший оператор этого стана.

— Где вы изучали английский язык?

— Дома. Но я еще очень плохо им владею.

— Очень хорошо владеете. Но когда у вас в год будут выплавляться двести миллионов тонн стали, вы будете говорить совсем отлично.

Дмитрий уловил иронию, с какой было это сказано.

— Когда у нас в год будут выплавляться двести миллионов тонн стали, тогда и вы, сэр, возможно, сядете за учебник русского языка, — ответил он.

Главный инженер незаметно дернул его за спецовку.

— А что, я правильно говорю, — сказал Дмитрий.

Англичане, улыбаясь, пожали ему руку, и вся толпа отправилась дальше. Он проводил их до ворот цеха. За воротами был ясный солнечный день. Солнце золотило морскую гладь; припекало, вдоль стены цеха пробивалась первая яркая зелень. Год с гнилыми оттепелями, со слякотью, с насморками и гриппами остался позади, широким разливом шла по стране весна. Ветерок, свежий и тугой, летел с моря, спецовка распахивалась ему навстречу. Сколько пройдено, сколько испытано и сколько преодолено...

Дмитрий вернулся в кабину стана. Заплясали слитки под валами, затрещали искры в стекло...

И вновь перед ним, в огненных искрах, возникла Леля. Нет, он не может ее не найти. Он найдет ее. Непременно. Он возьмет отпуск и объедет все эти города — и Мурманск,

и Одессу, и Ростов, и Прибалтику... И найдет... Он не может без нее. Он должен с ней, только с ней идти по тем большим дорогам, которые открываются впереди. Он не успокоится, пока не найдет и не приведет ее в домик на Овражной. Насовсем, навсегда.

Так думалось Дмитрию в горячие минуты. Но жизнь — у нее свои повороты, и как там будет в ней впереди, кто же знает?..

1956—1957

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Кочетов В.

К75 **Собрание сочинений.** В 6-ти томах. Т. 3. Братья Ершовы. Роман. М., «Худож. лит.», 1974

480 с.

В романе «Братья Ершовы» рассказывается о судьбах семьи потомственных металлургов Ершовых и окружающих ее людей, о путях технического прогресса на металлургическом заводе, о борьбе за передовые идеи социалистического искусства, о победе принципиальности и справедливости.

К $\frac{70302-046}{028(01)-74}$ **Подп. изд.** **Р2**

ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ КОЧЕТОВ

Собрание сочинений

том 3

Редактор В. Буланова

Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
С. Ефимова

Корректор А. Матюшина

Сдано в набор 1/VIII 1973 г. Подписано в печать 30/I 1974 г. А02218. Бумага типографская № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 15,0 печ. л. 25,20 усл. печ. л. 26,922 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 961. Цена 1 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

